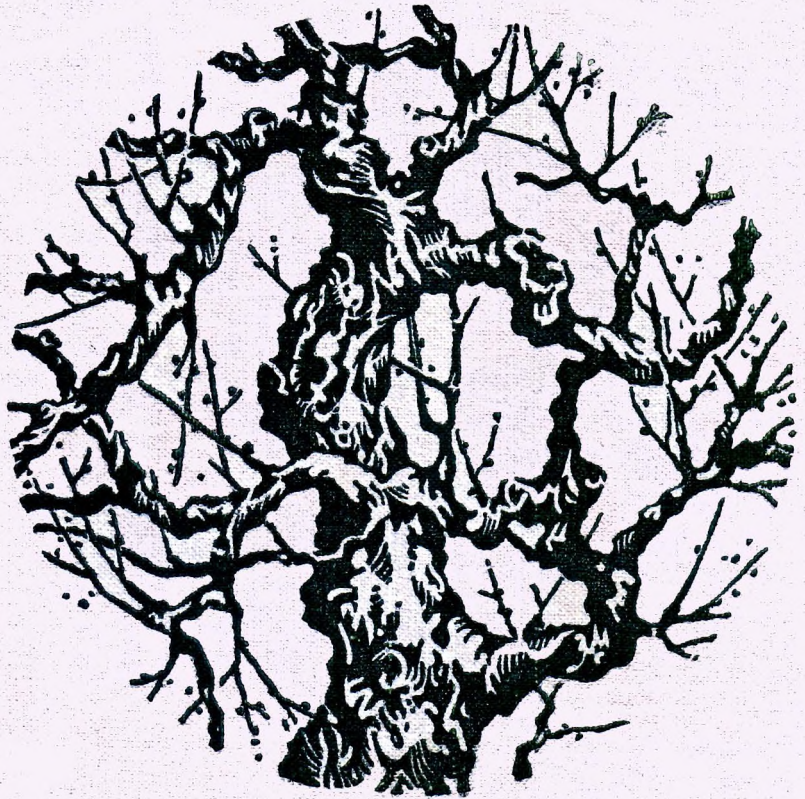


АКУТАГАВА

АКУТАГАВА









ИЗДАТЕЛЬСТВО  
♦ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ♦



АКУТАГАВА  
РЮНОСКЭ

ИЗБРАННОЕ  
В 2-х ТОМАХ

Том I

«ВОРОТА  
РАСЁМОН»  
И ДРУГИЕ НОВЕЛЛЫ

Перевод  
с японского

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА  
1971

И(Яп)

А44

Составители

В. Г р и в н и н

и А. С т р у г а ц к и й

Предисловие

и комментарий

Н. Ф е л ь д м а н

Оформление

художника

Ю. С е л и в е р с т о в а

7—3—4

199—71

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### 1

Акутагава Рюноске (1892—1927) можно назвать последним классиком новой японской литературы, понимая под этим литературу от последнего десятилетия XIX века (от Фтабатэя) до начала второй мировой войны, то есть того рубежа, за которым началась литература современная. Однако он привлекает до настоящего времени живой интерес читателей, о чем говорят три издания полного собрания его сочинений, вышедшие в Японии в сороковых и пятидесятых годах, и непрестанно выходящие сборники избранных новелл. Вышли и выходят монографии и статьи литературоведов и критиков, посвященные творчеству Акутагава в целом и отдельным проблемам. Учреждена литературная премия имени Акутагава, ежегодно присуждаемая молодому писателю. Словом, как классик он общепризнан<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Не лишне прибавить, что многие новеллы Акутагава, переведенные на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский языки и на эсперанто, издавались в странах Европы и Америки. В СССР ранее были изданы «Дзюриано Китисукэ» и «Тело женщины» («Восточные сборники», М. 1924); «В бамбуковой чаше» (сборник «Запад и Восток», М. 1926); «Генерал» и «Жизнь идиота» (журнал «Интернациональная литература», 1936, № 9); двадцать новелл в сборнике: Акутагава Рюноске, Расёмон, Л. 1936; тридцать шесть новелл в сборнике: Акутагава, Новеллы, М. 1959; Акутагава Рюноске, В стране водяных, М. 1962.



Когда Акутагава не было и года, у его матери началось психическое заболевание, и ребенка, еще при жизни отца, усыновил его дядя, чью фамилию он и принял. Эта старая интеллигентная семья имела в числе своих предков писателей и ученых периода Эдо (эпоха военно-феодальной диктатуры Токугава, XVII—XIX веков) и хранила культурные традиции тех времен. В семье господствовало увлечение средневековой поэзией и старинными школами живописи, строго соблюдался старинный уклад, требовавший беспрекословного повиновения главе дома.

Жизнь Акутагава бедна внешними событиями. В 1916 году он окончил отделение английской литературы и языка филологического факультета Токийского императорского университета, где его сокурсниками были будущие писатели Кумэ Масáo, Кйкути Хирóси (Кан), Ямамóто Юдзó и другие. Из университета Акутагава вынес знание европейской литературы, которое он расширял и углублял до конца жизни, и дружеские связи, имевшие некоторое значение в первые годы его литературной жизни. Окончив университет, Акутагава в течение трех лет работал преподавателем английского языка в Морском механическом училище в городе Камакура. В 1919 году он оставил службу и переехал в Токио. Недолго проработав в редакции газеты «Осака майнити», Акутагава всецело отдался писательской деятельности. Первые его рассказы были опубликованы еще в студенческие годы и привлекли внимание крупнейшего писателя тех лет, Нацумэ Сосаки. В последние годы жизни Нацумэ (он умер в 1916 году) Акутагава сблизился с ним и находился под его сильным моральным и психологическим влиянием. Он быстро выдвинулся в литературном мире и оставался в первых рядах писателей до конца своей недолгой жизни.

## 2

Акутагава вступил в литературу в 1916 году. В конце второго десятилетия XX века в Японии произошли сильные экономические и политические потрясения. За окончанием первой мировой войны последовала небывалая в Японии экономическая депрессия, прокатились знаменитые «рисовые бунты». В последующее десятилетие обострилась классовая борьба: в двадцатые годы произошел резкий подъем стачечного движения; участились революционные демонстрации пролетариата; расширилось социалистическое движение; сформировалась и окрепла Коммунистическая партия Японии. В двадцатые годы активизировалась и реакция: был принят так называемый «закон о борьбе с опасными мыслями»,

еще в первую половину двадцатых годов произошли вспышки террора, убийства и казни революционных деятелей. Интеллигенция не оставалась пассивной: значительная ее часть оказалась захваченной революционным подъемом тех лет. Но литература Японии не шла в ногу со своим временем. Растянута на десятилетия буржуазных реформ, вызванных революцией 1867 года, запоздалое соприкосновение с западной культурой, от которой до середины XIX века японский народ был отделен политикой военно-феодалных диктаторов,— все это привело к тому, что японская буржуазная литература проходила этапы, в свое время длившиеся в России и Западной Европе многие десятилетия, убыстренным темпом. Первое десятилетие XX века было временем расцвета критического реализма, во втором он уже стал перерождаться в натурализм. Часть же писателей подпала под влияние западной литературы «конца века». Акутагава сам сказал: «По моему мнению, девяностые годы XIX века были временем высшего расцвета искусства. И я сложился как человек в художественной атмосфере этого десятилетия. Мне не легко было освободиться от этих влияний юношеских лет. И по мере моего роста я чувствовал это все острее». Вот в несоответствии всего комплекса идей и подхода к жизни, восходящих к искусству «конца века» — минувшего, и окружающей действительности начала века — нынешнего, в остром осознании этого несоответствия и тщетных попытках преодолеть его и состоит трагедия Акутагава как человека и художника.

В самом начале литературной деятельности Акутагава совместно с писателями Кумэ и Кикиuti образовал группу, которая резко противопоставила себя натурализму и выступила глашатаям нового течения, подчеркивавшего ценность литературы прежде всего как искусства. В противовес бытописательству и нарочитой безыскусственности изложения, к чему стремилась натуралистическая литература, эта группа, именовавшая себя «Сингикоба» («Школа нового мастерства»), заявила права на литературную выдумку, на отчетливо выраженную фабульность, требовала разнообразия и красочности материала, ценила яркость образа и выразительность языка. Все это нашло воплощение в творчестве Акутагава, которого можно назвать лучшим мастером сюжетной новеллы в японской литературе<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Кроме новелл, которых им написано около полутора ста, Акутагава написал несколько десятков миниатюр, циклы лирико-философских заметок («Тёкодо» и «Слова пигмея»), несколько сценариев, небольшое число стихотворений, ряд литературно-критических статей.

Акутагава начинал свою литературную деятельность под сильным влиянием эстетизма. Он сам вполне ясно сказал об этом в «Жизни идиота», хотя бы в первой ее миниатюре: «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Об этом говорит и одна из лучших его новелл — «Муки ада», темой которой является противопоставление искусства жизни. И все же проклят художник, говорит эта новелла, который стремится достичь торжества искусства над жизнью.

Большинство его рассказов в этот период строилось на материале X—XII веков, казалось бы, очень далеком от реальной жизни. Однако весь цикл «исторических» рассказов Акутагава не дает оснований говорить об эстетском любовании стариной. Вот что писал о них сам автор: «Я беру тему и решаю воплотить ее в рассказе. Чтобы дать этой теме наиболее сильную художественную выразительность, мне нужно какое-нибудь необычайное событие, — мне не удастся рассказать об этом необычайном событии, — именно потому, что оно необычайное, — так, словно оно произошло в сегодняшней, в нашей Японии. Если я все же пишу наперекор всему, не считаясь с тем, что мне это не удастся, я, как правило, вызываю у читателя ощущение неестественности... Единственное средство избежать такого затруднения, это... отнести события в прошлое, рассказать о нем, как о прошедшем давным-давно, в старину, или не в Японии, или где-нибудь не в Японии и в старину. В моих рассказах, в которых материал взят из старинных хроник, действие разворачивается в далеком прошлом большей частью именно под влиянием этой необходимости. Таким образом, хотя я пишу о старине, к старине как таковой у меня пристрастия нет» («Старина», из заметок «Тёкодо», ч. II). Таким образом, Акутагава сознавал, что «необычайные события», придающие сюжетную напряженность его «историческим» рассказам, — только формальный литературный прием, и чувство художественной правды приводило к тому, что он переносил эти «необычайные события» в незапамятные времена: так, для сказки естественно начинаться со слов «давным-давно» или в «тридевятиом царстве, тридесятом государстве».

Сам исторический момент в таком случае связан с темой условно, является по отношению к ней чем-то внешним, и потому часто бывает указан только двумя-тремя деталями быта, спецификой речи, старинными именами героев, а чаще всего сюжетами из древних литературных памятников, положенными в основу фабулы (например, в рассказах «Ворота Расёмон», «Счастье», «Каса и Морито»).

Именно квазиисторические новеллы, составляющие весьма значительную часть творчества Акутагава, обычно имеют в виду те японские критики и литературоведы, которые настойчиво подчеркивают влияние на его творчество книжных источников, — с одной стороны, старой японской литературы, с другой — западных писателей, в частности, Франса и Браунинга.

С такой переоценкой этого влияния нельзя согласиться. Следует обратить внимание на то, что через все творчество Акутагава проходит одна основная тема: моральный облик человека. В первые годы своей писательской деятельности Акутагава не ставит в своем творчестве социально-политических проблем, нет у него и ярких картин современного ему быта. Его интересует психология и взаимоотношения людей в плане нравственном. Именно поэтому он так легко переносил действие своих рассказов в условную старину. В интересе к человеку как обособленной индивидуальности японские критики хотят видеть влияние индивидуализма, характерного для западного искусства «конца века». Но, учитывая психологически-моральную наполненность, которую мы находим у Акутагава, не правильнее ли видеть здесь влияние не западного искусства, а того писателя, которого сам Акутагава назвал своим учителем — Нацумэ Сосэки? Можно ли при таком отношении к социально-политическому аспекту говорить о подлинном влиянии Франса — автора «Острова пингвинов», «Боги жаждут», «Кренкебиля» и т. д.? Что касается Браунинга, то не приходится отрицать, что форма «драматических монологов», которую имеют новеллы «Кэса и Морито», «В чаше», «Повесть об отплате за добро», могла быть избрана под влиянием его «драматических монологов», но ведь это момент чисто внешний. (О роли поэмы «Кольцо и книга» речь пойдет ниже.) Наконец, что касается японской древней и средневековой литературы, то Акутагава заимствует оттуда голые фабулы, да и те изменяет соответственно своему творческому замыслу. Таким образом, о «влиянии» в полном смысле слова говорить нельзя. Так, например, в «Кондзяку-моногатари» («Сборник рассказов XI века») есть коротенький рассказ о воре, пришедшем в Киото с целью воровства и ограбившем в башне ворот Расёмон нищую старуху. Акутагава изменил весь смысл фабулы, сделав героем честного человека, лишенного всяких средств существования, отнюдь не помышляющего о воровстве. Именно отвращение к злу переходит у него в негодование на преступницу-старуху, а это негодование,

в свою очередь, ведет к преступлению против преступницы же. В «Гэмпэйсэйсуйки» (эпопея XIII века) Кэса представлена как образец самоотверженной супружеской любви: подвергшись домогательствам Морито и опасаясь, что дальнейшее ее упорство может толкнуть Морито на убийство ее мужа, она сама побуждает его к убийству, заранее решив заменить мужа собой. Акутагава в корне меняет всю ситуацию, приписывая инициативу убийства самому Морито, разлагая его любовь на чувства тщеславия, ненависти, страха и изменяя мотивировку самопожертвования Кэса.

Одним из самых ярких образцов творчества Акутагава этого периода является рассказ «В чаше». Литературным источником его считается драматическая поэма Браунинга «Кольцо и книга». Но если здесь и можно усмотреть влияние, то только ничтожное, внешнее: и там и тут сюжет — убийство, обстоятельства которого раскрываются в монологах разных лиц. Но какая глубокая разница в роли этих монологов! У Браунинга известен убийца, и высказывания всех действующих лиц не оставляют сомнения в том, при каких обстоятельствах оно произошло, каков психологический и моральный облик и убийцы, и жертвы, и тех, кто их обвиняет или защищает. Что же у Акутагава? Литературная загадка, три разных версии одного события, в каждой версии фактическим убийцей называет себя сам рассказчик. Что же произошло в действительности, неизбежно спросит читатель. Вопрос этот законен, читатель вправе ждать, что в произведении есть своя действительность, созданная художником. Реалистическое оно, романтическое или даже фантастическое — мир, в нем созданный, должен быть цельным, реальным для художника миром, где все движется по единым для этого мира внутренним его законам. Сказка всех времен и народов знает превращения своих героев, но превращения не нарушают тождества личности, и это потому, что мир сказки и есть цельный, условно-реальный мир. Но в том-то и дело, что у Акутагава в рассказе «В чаше» нет единства мира, поскольку нет тождества личности действующих лиц. Удивительно, что большинство японских критиков не обратило на это внимания. Тоже задаваясь вопросом: «А что же произошло в действительности?» — они пишут, как, например, Вада: «Эта вещь написана не для того, чтобы путем обобщения объяснений-рассказов раскрыть истинный характер происшествия (именно в этом смысл поэмы «Кольцо и книга». — Н. Ф.), а скорее, чтобы усилить скепсис, усилить полный отчаяния страх перед невозможностью раскрыть правду». На основе такого же толкования рассказ «В чаше» экранизирован в получившем

мировую известность фильме «Расёмон». Сценаристы тоже исходят из представления, что показания трех рассказчиков выдуманы с целью сокрытия правды, и потому в фильме дается придуманная сценаристами четвертая, якобы действительная, версия.

Но дело в том, что у Акутагава три версии, это три самостоятельные новеллы на тему: зависимость разрешения конфликта от характеров его участников. Поэтому при сохранении существа конфликта, обстановки, имен и внешнего облика действующих лиц сами они в каждой версии — другие люди, с другими характерами, другой психологией и, естественно, с другими, обусловленными их характером, действиями. Таким образом, каждая версия сама по себе есть правда. И никакой другой, якобы скрытой, правды для этих трех вариантов нет и быть не может. Это три психологических этюда, искусно соединенных в одно литературное целое.

#### 4

Следует заметить, что не духовная жизнь конкретного человека, а чувство само по себе, психологический конфликт сам по себе является объектом творчества писателя, и такой психологизм носит несколько абстрактный характер. Японская критика отметила это, говоря об интеллектуализме творчества Акутагава. Надо, однако, подчеркнуть, что Акутагава не бесстрастен и тем более не исходит из нигилистического отрицания добра и зла, а наоборот — из высоких этических требований. Не цинизм, а скепсис и пессимизм характеризуют его отношение к человеку, скепсис, часто окрашенный душевной болью. В этом смысл таких рассказов, как «Счастье», «Рассказ о том, как отвалилась голова», и многих других. В особенности репутацию скептика заслужили ему те новеллы, которые направлены против бусидо — свода моральных правил, составлявших идеологию японского рыцарства. Бусидо издавна искусственно культивировалось в Японии как квинтэссенция «японского национального духа». Воссоздавая обстановку и атмосферу феодального клана, автор показывает несостоятельность этой морали даже в тех исторических условиях, в которых она сложилась и процветала. Но вместе с тем, поскольку бусидо надолго пережило средневековье, та же тема связывается и с современностью. Отношение автора к бусидо неизменно безоговорочно отрицательно, идет ли речь о прошлом или настоящем. «Правящая нами мораль — это отравленная

капитализмом мораль феодализма. Она приносит только вред и никаких благодетелей» («Слова пигмея»). В таких новеллах, как «Носовой платок» и «Оиси Кураноскэ в один из своих дней», автор еще только иронизирует и сомневается. Рассказ «История одной мести» самим сюжетом своим и эмоциональной окраской, особенно последних страниц, создает впечатление глубокой бесплодности, нравственной ложности идей, руководивших действиями героев. В рассказе «Генерал» дана убийственная моральная характеристика одного из столпов японского воинствующего национализма в XX веке, «героя бусидо» в современности. Этот выпуклый злой портрет сделан средствами тонкой психологической характеристики, свойственной Акутагава.

Но не только отрицание — скепсис — составляет окраску новелл Акутагава. Им владеет тоска по не существующей в действительности нравственной чистоте и высоким и цельным чувствам.

Именно в этой тоске, видимо, коренится его интерес к христианству. Мотивы христианства занимают в творчестве Акутагава заметное место. Его «христианские» рассказы неизменно представляют собой соединение иронии и восхищения — иронии, направленной на объективную сторону религии, и восхищения субъективным миром верующего. Всякую сверхчувственную реальность Акутагава всецело отрицал. «Мой материализм не мог не отвергнуть всякую мистику» («Зубчатые колеса»). Но сама по себе религиозность, сила веры и душевная ясность верующих на некоторое время предстали перед ним как этически высокие и неподдельные чувства, составлявшие в его глазах подлинную духовную ценность. В рассказе «Показания Огата Рёсай» и в рассказе «Святой» поистине вера движет горами. В пересказе старинной легенды «Дзюриано Китискэ» восхищение простодушием и силой веры в то же время соединено с иронией над самой верой. В созданной Акутагава легенде «Нанкинский Христос» ирония переходит в сарказм. В этом рассказе большая проститутка выздоравливает благодаря своей простодушной вере, но совершенно независимо от ее содержания. Подмена Христа пьяницей-журналистом носит нарочито кощунственный, издевательский характер. В рассказе «О-Гин» героиня из любви к отцу и матери отрекается от христианства, то есть с точки зрения религиозной совершает смертный грех. При этом она думает, что обрекает себя на вечные муки в аду. Ее самоотверженность, ее чисто земная любовь к родителям и есть в глазах Акутагава подлинная моральная ценность.

В начале двадцатых годов характер творчества писателя несколько меняется.

Новые тенденции в творчестве Акутагава можно коротко характеризовать как отчетливое стремление вырваться из пут абстрактного психологизирования, стремление приблизиться к современности, показывать «живых людей, как они есть», не прибегая при этом к искусственной сюжетной напряженности, которая для рассказа о «сегодняшней, этой Японии», как мы уже видели, ощущалась им как нечто неестественное, «литературное, слишком литературное». После одного из своих полуфантастических-полуисторических рассказов «Дракон» Акутагава писал: «В искусстве нет застоя. Не идти вперед — это значит идти назад. Когда художник идет назад, всегда начинается известный процесс автоматизации, это означает, что как художник он стоит на краю смерти. И я, написав «Дракона», явно подошел к порогу такой смерти» (заметки «Искусство и прочее»).

На путь реалистического рассказа его толкала и критика. Даже его друг Кикиuti язвительно заметил, что у Акутагава «слишком много рассудочной холодности, словно он разглядывает человеческую жизнь, поворачивая ее серебряными щипчиками», а Кумэ выразил желание, чтобы Акутагава «по-человечески вгрызлся в жизнь». На Акутагава нападали и апологеты натуралистической литературы. К концу десятих годов большую популярность приобрел так называемый «роман о себе» (ватáкуси сёсэцу), в котором протокольное бытописание и мелочное психологизирование было доведено до крайности. Это было полным вырождением натурализма. Присущие ряду произведений этого вида литературы характер откровенной саморекламы и пошлый налет скандальной хроники вызывали глубокое возмущение Акутагава. В литературных заметках он писал: «Вы часто поощряете меня: «Пиши больше о своей жизни, смелей откровенничай!» Но ведь нельзя сказать, чтобы я не был откровенным. Мои рассказы — это до некоторой степени признание в том, что я пережил. Но вам этого мало. Вы толкаете меня на другое: «Делай самого себя героем рассказа, пиши без стеснения о том, что приключилось с тобой самим». Вдобавок вы говорите: «И в конце рассказа приведи в таблице рядом с вымышленными и подлинными именами всех действующих лиц рассказа». Нет, уж увольте!» («Признание» из заметок «Тёкодо», ч. II).

В реалистических рассказах внимание писателя по-прежнему устремлено не на социальные условия бытия человека, а на внут-



ренный его мир. Но через психологию героев, через душевные движения действующих лиц можно увидеть окружающую их действительность. С грустью рисует Акутагава душевную черствость («Учитель Мори», «Ком земли»), с радостью — проявление душевного тепла («Мандарины»). Интересен в этом отношении рассказ «Подкидыш», тема которого особенно ясна при сопоставлении с «А-ба-ба-ба», физиологическая привязанность к детенышу лежит вне морали, она может быть и морально слепа. Любовь к ребенку, как свободный нравственный акт, неизмеримо выше. Рассказ «Вальдшнеп» проникнут радостью по поводу того, что великий писатель и в жизни может быть великодушен в самом глубоком смысле этого слова. Кстати сказать, этот строго документированный рассказ о размолвке Толстого с Тургеневым, как свидетельство прекрасного знания японским писателем русской художественной и мемуарной литературы, представляет для русского читателя особый интерес.

Подобно многим буржуазным западным писателям, смотревшим отрицательно на окружающую их действительность, но не понимавшим правильных путей изменения общественного строя, Акутагава видел в индивидуальной доброте, в добре единственное примиряющее с жизнью начало. Но добро было чуждо окружающей жизни, ничем в ней не поддержано. Об этом в свое время проникновенно сказал Горький: «Мы не хотим помнить, что хорошее в человеке — самое удивительное из всех чудес, созданных и создаваемых им. Ведь, в сущности-то, у человека нет никаких оснований быть «хорошим», доброе, человеческое не поощряется в нем ни законами природы, ни условиями социального бытия»<sup>1</sup>. Муки совести рассказчика в новелле «Сомнение» только приносят ему славу сумасшедшего. Женщина, пожертвовавшая своей любовью ради сестры, несчастна, жертва ее не вознаграждена («Осень»). Железнодорожный сторож, самоотверженно спасший девочку, погибает на рельсах так же, как погиб бы преступник («Холод»). И все-таки любовь к человеку — то, что символизирует дружески протянутая рука («душа» перчатки в этом же рассказе), — единственный «теплый луч солнца» в окружающей неблагоприятной жизни.

Тем не менее Акутагава не смог устоять против натиска аполлобетов «ватакуси-сэсэцу». С 1924 года стали появляться рассказы, называемые по имени их героя Хорикава Ясукити — «Ясукити-монбэ», в которых герой отождествляется с самим пи-

---

<sup>1</sup> Горький, О. М. М. Пришвине, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, стр. 268.

сателем. Однако их все же еще нельзя ставить в ряд с «ватакуси-сёсацу». Один из основных исследователей творчества Акутагава Ёсида Сэйити тонко замечает, что самый стиль этих рассказов отдаляет читателя от рассказчика. Затем последовал ряд рассказов, где повествование ведется от первого лица. Иногда сам автобиографический момент не играет в них никакой роли, рассказ имеет свою тему, как, например, «А-ба-ба-ба», «Холод», иногда же — в позднейших — они посвящены незначительным бытовым эпизодам из жизни автора, как, например, «Мираж», «У моря» и особенно «Болезнь ребенка» — рассказ, которым автор как будто выразил согласие с тем, что любой незначительный эпизод его личной семейной жизни может представлять интерес для читателя, и который является наглядным образцом вырождения натурализма в жанре «ватакуси-сёсацу». Автобиографический характер носит и «Поминальник», художественно несколько более интересный, чем другие рассказы этого типа. Некоторые японские литературоведы (например, Вада Сигэджиро) считают, что особенно силен автобиографический элемент в «Каппа», но в зашифрованном виде.

В последние годы жизни Акутагава его рассказы, и раньше невеселые, приобрели мрачную окраску. Многие из них представляют собой как бы объективизацию в образах душевной подавленности самого автора и потому проникнуты удивительным лиризмом. Такова уже «Осень» с ее тоном примиренной, безнадежной грусти о неудавшейся жизни. Таков «Сад», повествующий о том, как распадается семья, одно за другим умирают три поколения и гложет, гибнет старый сад, символизируя своей гибелью конец целой эпохи. (Интересно отметить одну деталь: в обоих этих рассказах прямая речь не выделена графически в абзацы. Прием этот служит целям тесного включения прямой речи героев в авторскую речь, то есть предназначен для того, чтобы подчинить прямую речь лирической интонации рассказа в целом.) Аналогичен по теме рассказ «Барышня Рокуномия». Безвозвратный уход в прошлое Хэйанского периода (VIII—XII века) с его эстетизмом, его культом поэзии и изящной любви показан через историю никчемной жизни и жалкой смерти типичной хэйанской барышни — «кисейной барышни», можно было бы сказать, если бы знатные девицы того времени носили кисею, а не тяжелые шелка. И как в новелле «Сад» в конце говорится, что на месте сада построена железнодорожная станция — символ нового времени, символ промышленного капитализма, так в рассказе «Барышня Рокуномия» на последней его странице появляется самурай, знаменуя своим появлением выход на историческую сцену воинского сословия взамен родовой аристократии. В обоих этих

исторических рассказах сюжет неотделим от эпохи, потому что весь его смысл состоит в отражении судьбы эпохи. И вместе с тем их лиризм свидетельствует, что тема угасания, умирания была близка угнетенному состоянию, сознанию обреченности самого автора. Даже «Лошадиные ноги» — рассказ, начинающийся как веселая шутка, оборачивается исполненной трагизма повестью о непреодолимом душевном одиночестве.

Эту мрачную окраску вызвал переживавшийся писателем тяжелый душевный кризис.

## 6

Выше уже говорилось, что двадцатые годы ознаменовались бурным развитием рабочего движения, от которого не осталась в стороне и прогрессивная интеллигенция. Это привело к созданию движения, за которым исторически закрепилось название «пролетарской литературы». С 1921 года, когда это движение впервые организационно оформилось, до 1927 года, года смерти Акутагава, оно неуклонно вовлекало в свою орбиту все более широкие слои деятелей литературы и искусства. Но из буржуазных писателей «с именем» к нему не примкнул почти никто. Более того, некоторые, в частности Кикиути, бывший соратник Акутагава по «школе нового мастерства», повели с пролетарской литературой прямую борьбу.

Но Акутагава по такому пути не пошел. Он внимательно следил за левыми течениями; можно сказать, что внимание к явлениям революционного подъема было существенным фактором его душевной жизни последних лет. Акутагава понимал их значительность. Он стал отчетливо сознавать, что реальная эпоха требует от писателя иных идей, чем те, с которыми он вступил в жизнь. Органическое неприятие окружающей действительности, гуманистическая любовь к человеку направляли его симпатии в сторону прогрессивных тенденций, в сторону социалистических идей. Характерна его заметка «Чаплин»: «Если говорить о социалистах, то Чарли Чаплин тоже социалист. И если преследовать социалистов, то надо преследовать и Чаплина. Вообразите, что Чаплин убит жандармом. Вообразите, как он идет вразвалочку и его закальвают. Ни один человек, видевший Чаплина в кино, не сможет удержать справедливого негодования. Но попробуйте перенести это негодование в действительность, и вы сами, наверно, попадете в черный список» (заметки «Тёкодо», ч. II). С удивительной прозорливостью в двадцатых годах Акутагава

предсказал преследования, которым подвергся Чаплин в сороковых, главное же, что, чувствуя чаплиновский гуманизм, Акутагава, естественно, для себя связывал его с социалистическими убеждениями. Он с симпатией нарисовал образ мятущегося интеллигента, художника и журналиста, который говорит, что «хотел бы пожить только в одном месте — в Советской России», и характеризует себя так: «Я... по характеру — романтик, по мировоззрению — реалист, по политическим убеждениям — коммунист» (новелла «Он»). Когда в 1926 году издательство «Круг» намеревалось издать сборник новелл Акутагава, он дал для него свое предисловие, где заявил о том, что «нам, японцам, близка Россия», и о себе: «Эту заметку написал японец, который считает ваших Наташу и Соню своими сестрами. Читая, помните об этом». Там же он, хоть и в непривычных для нас образах, высказал свое глубоко уважительное отношение к Ленину. В «Словах пигмея» он называет Ленина героем.

Акутагава внимательно и дружески следил за пролетарской литературой, никогда, однако, не снижая требовательности взыскательного художника. По поводу стихов пролетарского поэта и прозаика Накано Сигэхару, в которых Акутагава нашел «чистейшую красоту», он писал: «Я смотрю на пролетарскую литературу с надеждой. Это отнюдь не ирония. Вчера пролетарская литература ставила единственным обязательным условием для писателя наличие у него общественной сознательности... Критики говорили так называемым буржуазным писателям: «Вам не хватает общественной сознательности». Я против этого не возражаю. Но и я хочу сказать так называемым пролетарским писателям: «Вам не хватает поэтического духа». И вот недавно я почувствовал, что эти мои надежды были ненеправильны» («Разное о литературе»). Наконец, Акутагава прямо, хотя и мимоходом, сказал: «Правота социализма не подлежит дискуссиям. Социализм — просто неизбежность» («Фанатики, ступающие по огню», заметки «Тёкодо», ч. II). Однако как художник Акутагава чувствовал, что для поворота на новый путь ему нужно прежде всего перестроить самые основы своего творческого существа. Без этого бесполезно было пытаться творчески овладеть новым идейным содержанием, новой тематикой. Но такую ломку он считал невозможной. Он слишком остро ощущал себя мелкобуржуазным интеллигентом, «мосье Бовари среднего класса» («Зубчатые колеса»). «Мы не можем перешагнуть границ своей эпохи. Мы не можем перешагнуть границы своего класса... Немало было мелкобуржуазных революционеров, это правда. Они выражали свои идеи в теории и на практике. Но действительно ли они перешагнули границу своего класса по

духу? Лютер выступил против римско-католической церкви. Однако он воочию видел дьявола, чинившего козни его делу. Его разум был разумом новым. Но его дух не мог отрешиться от видения ада католической церкви...» («Пролетарская литература»).

«Наш дух несет на себе печать своего класса». И Акутагава пишет миниатюру «Некий социалист», где на двух страничках рассказывает «обыкновенную историю» мелкобуржуазного интеллигента, возомнившего себя социалистом. Следует иметь в виду, что в глазах Акутагава концовка этого рассказа: «По-человечески, пожалуй, слишком по-человечески» — отнюдь не служила оправданием отступничества героя. «Человеческое, слишком человеческое — это всегда нечто животное» («Слова пигмея»).

Тем не менее в социалистическом движении двадцатых годов, в особенности в пролетарской литературе, мелкобуржуазная интеллигенция играла значительную роль. И многие из ее числа соединили свою судьбу с революционным движением прочно и верно и, перенеся жестокие преследования в годы реакции и войны, оказались после нее в первых рядах прогрессивной литературы. Акутагава, несомненно, недооценивал роль сознания, преобразующую силу мировоззрения и слишком много значения придавал «Африке своего духа» — подсознанию. Вместе с тем верно и то, что в двадцатые годы было немало и таких напущенных в свое время писателей, для которых присоединение к революционному движению оказалось данью кратковременному увлечению или моде. И смешаться с ними Акутагава не хотел и не мог. Для этого он был слишком честен интеллектуально и слишком требователен к себе как художник.

Отсюда и проистекала его позиция, которую верно обосновал известный историк японской литературы Ямада Сэйдзабуро. «Акутагава смотрел на существование и приход нового времени спокойным взором... Осыпать новое время сарказмами, относиться к нему пессимистически не позволял его ясный ум. Но не было у него и пыла, чтобы встретить это время с распростертыми объятиями». Однако это-то и подавляло писателя. Тот же Ямада пишет, что «члены «школы нового мастерства» закрыли глаза перед потрясенной войной действительностью. Но бездумно ставший на путь оппортунизма Кикиути преуспел как литературный делец, а мучившегося саморефлексией Акутагава Рюноске ждал путь поражения». Один из современных исследователей творчества Акутагава, Кюмия Тоётакá, заметил, что «жизненные силы Акутагава подтачивала его серьезность, его нравственное чувство». Но это отнюдь не означает, что Акутагава был моралистом. Напротив, как правильно отмечает тот же Кюмия, «Акутагава

ужасно не любил таких слов, как «нравственность», «совесть». Акутагава видел, что в современном ему обществе морализирование нередко означает лицемерие и фальшь и что абсолютизирование существующей морали обречено оставаться в пределах того строя, которым она порождена и который Акутагава не принимал. «Совесть, как всякий вид изящных искусств, имеет своих фанатичных приверженцев. Эти приверженцы на девять десятых — просвещенные аристократы или богачи» («Слова пигмея»). Вот почему Акутагава и свою совесть изобразил в виде ангела в безупречном цилиндре («Диалог» в «Жизни идиота»). А такая совесть — не совесть, и именно в этом смысле Акутагава с горечью повторял: «У меня нет совести. У меня есть только нервы».

И вот, отойдя идейно от литературной среды, к которой Акутагава принадлежал по своему литературному положению, по литературным и личным связям всей своей жизни, от среды, где царило полное душевное благополучие литературных дельцов типа Кикиути, и, не имея сил недвусмысленно пойти по другому пути, Акутагава оказался в общественной и идейной изоляции, в «аду одиночества». «Ад одиночества... внезапно появляется среди пиков гор, на широких полях, в просторе небес, в тени деревьев — всюду. Слово видимый мир сразу так, как он есть, являет мучение ада. И вот уже два-три года, как я низринут в этот ад... Я вижу — и все время мечусь из одного мира в другой. Но, конечно, из ада мне все же не уйти» («Ад одиночества»).

Акутагава не смог уйти из своего ада, не смог вырваться из-под власти своего дьявола — того «демона конца века», о котором с почти суеверным ужасом он пишет в «Жизни идиота». Он подлинно зашел в тупик.

## 7

Тогда Акутагава оглянулся на свою жизнь, на свое искусство и стал судить себя суровым судом. Таково содержание написанных им в последние месяцы жизни и опубликованных только посмертно вещей: «Зубчатые колеса», «Диалог во тьме» и «Жизнь идиота». Нельзя не почувствовать в этих предсмертных вещах еще и пронизывающего их страдания. «Зубчатые колеса» — это поистине крик боли. «Жить в таком душевном состоянии — невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?»

Страх перед наследственным безумием, конечно, сыграл свою роль в тяжелом душевном состоянии Акутагава. Но при этом

нельзя упускать из виду, что в последний год, вплоть до самого последнего дня жизни, Акутагава проявлял огромную творческую активность. За это время им написано девятнадцать новелл, сценарий, очерк, ряд миниатюр и литературных заметок, причем последняя по времени написания — «Жизнь идиота» — по значительности содержания и по совершенству формы может быть названа вершиной его творчества. И даже в таком произведении, как «Зубчатые колеса», в котором появляются признаки начинающейся психической болезни автора, он в то же время предстает во всеоружии своих творческих сил и мысли. Именно здесь он дает беспощадную оценку своему искусству, сравнивая его с бесполезным умением одного юноши сдирать шкуру с дракона, о чем говорится в рассказе-притче древнего китайского философа и поэта Чжуан-цзы, и вспоминая о проклятье, висевшем над апологетом верховенства искусства над жизнью, художником Ёсихидэ («Муки ада»). Здесь пишет он о своей мечте: наполнить свое искусство общественно значимым содержанием, написать роман. «Героем его должен был быть народ во все периоды своей истории» (в числе оставшихся после смерти Акутагава бумаг нашелся незаконченный рассказ и исторические материалы, касающиеся известных средневековых крестьянских волнений в деревне Ятимата). Народу посвятил он последние три записи в своих лирико-философских раздумьях «Слова пигмея», законченных в декабре 1926 года (и тоже опубликованных посмертно). Придя к мысли, что «избранное меньшинство» — это другое название для идиотов и негодяев («Диалог во тьме»), он понял, что творцом самого для него дорогого — искусства — является народ. Первая запись под названием «Народ»: «Шекспир, Гете, Ли Тай-бо, Тикамацу Мондзаэмон погибнут. Но искусство оставит имена в народе». В «Диалоге во тьме» Акутагава уточняет слова, углубляет мысль: «Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась форма, родится из его недр». Вторая запись: «О том же. Слушайте ритм ударов молота! Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет». Третья запись: «О том же. Разумеется, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст еще кого-нибудь. Гибель одного дерева не более чем частное явление. Пока существует несущая в себе бесчисленные семена великая земля». В «Диалоге во тьме» Акутагава измененно выражение этой мысли, снимая даже столь дорогое интеллигенту представление о неповторимости своей личности:

«Г о л о с. Ты, пожалуй, погибнешь.

Я. Но то, что меня создало, создаст второго меня».

Еще ранее (в «Зубчатых колесах») Акутагава писал: «Такой, каким я был теперь, я в глазах всех, несомненно, был юношей из Шоулин». Акутагава имеет в виду одну из притч Чжуан-цзы. Некий юноша из города Шоулин хотел дойти до города блаженных. С этой целью он стал учиться ходить так, как ходят там, но научиться не смог. Все-таки он отправился в город блаженных, но с полпути ползком вернулся обратно, поскольку разучился ходить даже так, как ходят в его родном городе. Акутагава не захотел оставаться в своем Шоулине, но, почувствовав себя не в силах идти вперед, не захотел и возвращаться. Оценив свое бессилие как поражение, казня себя за него как за вину, в июле 1927 года он покончил с собой, приняв смертельную дозу веронала.

В «Жизни идиота» с лаконичностью, характерной для японской поэзии, в удивительно емких, выразительных образах Акутагава запечатлел трагедию своей жизни, своих исканий, трагедию интеллигента, не сумевшего встать вровень со своим временем, слиться с живыми силами действительности, «евнуха жизни» («Жизнь идиота»).

\* \* \*

Японская литературная энциклопедия «Нихон бунгаку дзитэн» (1954) пишет об Акутагава: «Его смерть явилась высшим завершением его творчества и придала особую чистоту его художественной славе». Так, С. Цвейг пишет (о самоубийстве Клейста): «Должен время от времени являться мастер гибели, создающий из смерти бессмертную поэму». Трагическая личная судьба стала фактом творческой биографии Акутагава как ее логическое завершение. Жизненный и творческий путь Акутагава предстал как нечто удивительно цельное: как типичный путь интеллигента, сформировавшегося в рамках буржуазной культуры в период между ее расцветом и упадком, интеллектуально стремившегося приобщиться к самым прогрессивным тенденциям своего времени, но творчески к этому неспособного. Вот почему самоубийство Акутагава произвело сильнейшее впечатление: это был факт, переросший рамки чисто индивидуального порядка. Оно было воспринято как *memento mori*, как грозное предостережение широким кругам интеллигенции, еще колебавшейся в выборе пути. Поэтому и нынешние литературоведы, говоря о развитии в их годы так называемой пролетарской литературы, отмечают самоубийство Акутагава как явление общественной жизни. Так, Ямада Сэйдзабуро в своей «Истории пролетарской литературы» посвящает этому факту целую главу — «Смерть Акутагава Рюноскэ»,



где пишет: «Мы уже раньше показали, что творчество Акутагава Рюноскэ с самого начала явилось отражением чувства тревоги нашей интеллигенции, резко возросшего после первой мировой войны. В начале этого раздела говорилось и о том, что после великого землетрясения<sup>1</sup>, когда свирепствовал террор, антагонизм между трудом и капиталом все углублялся. И мы видели, что на такой исторической почве пролетарская литература вступила во второй этап борьбы. Кончину Акутагава ускорила именно эта общественная обстановка, о чем неопровержимо свидетельствует тот факт, что он сам наложил на свое самоубийство клеймо: «Поражение» («Жизнь идиота»). Известный критик и историк литературы Одагири Хидэб в томе IV «Истории новой японской литературы», в разделе «Становление движения пролетарской литературы», пишет: «Самоубийство Акутагава было воспринято как фатальное поражение интеллигента с совестью...» Один из старейших демократических теоретиков литературы Кубокава Цурудзиро сказал: «Важно, что Акутагава отнюдь не отвергал человеческую жизнь и жизнь вообще, он только утратил надежду на то, что сам сможет жить дальше... Его проникновенное понимание или скорее острая чувствительность к обществу, к жизни, к человеку, его нервная строгость к морали и насквозь проникающий все это гуманизм не допускали поражения его идеалов. Выражаясь в духе самого Акутагава, не оттого ли именно, что все это не допускало их поражения, он отверг поражение тем, что сам прервал свою жизнь? Акутагава до конца остался гуманистическим идеалистом».

О творчестве Акутагава тот же Кубокава пишет: «Для всей литературы Акутагава характерной чертой являются психологические искания нравственной или гуманистической внутренней правды». Этими исканиями, тоской от сознания недостижимости гуманистического идеала в существующем обществе, нравственной чистотой, грустной любовью к человеку, всем этим, воплощенным в тонкой художественной форме, творчество Акутагава дорого читателю до нынешних дней.

*Н. Ф Е Л Ъ Д М А Н*

1968

---

<sup>1</sup> Землетрясение 1923 года в восточной части острова Хонсю, катастрофическое по числу человеческих жертв и материальных разрушений.

## НОВЕЛЛЫ



## ВОРОТА РАСЁМОН

Это случилось однажды под вечер. Некий слуга переждал дождь под воротами Расёмон.

Под широкими воротами, кроме него, не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Расёмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы переждать дождь несколько женщин и молодых людей в итимэгаса и момизэбóси. Тем не менее, кроме слуги, не было никого.

Объяснялось это тем, что в течение последних двух-трех лет на Киото одно за другим обрушивались бедствия — то землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи будд и священную утварь и, свалив в кучу на краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице; поэтому о поддержании ворот Расёмон, разумеется, никто больше не заботился. И, пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко, и никто не осмеливался подходить к воротам близко.

Зато откуда-то собиралось несчетное множество ворон. Днем они с карканьем описывали круги над высоко загнутыми концами конька кровли. Под вечер, когда небо над воротами алело зарей, птицы выделялись на нем четко, точно рассыпанные зерна кунжута. Вороны, разумеется, прилетали клевать трупы в верхнем ярусе ворот. Впрочем, на этот раз, должно быть из-за позднего часа, ни одной не было видно. Только на полуобрушенных каменных ступенях, в трещинах которых проросла высокая трава, кое-где белел высохший вороний помет. Слуга в застиранной синей одежде, усевшись на самой верхней, седьмой, ступеньке, то и дело потрагивал рукой чирей, выскочивший на правой щеке, и рассеянно смотрел на дождь.

Автор написал выше: «Слуга переждал дождь». Но если бы даже дождь и перестал, слуге, собственно, некуда было идти. Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вернуться к хозяину. Однако этот хозяин несколько дней назад уволил его. Как уже говорилось, в то время Киото запустел необычайно. И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много лет, было просто частным проявлением общего запустения. Поэтому, может быть, более уместно было бы сказать не «слуга переждал дождь», а «слуга, загнанный дождем под крышу ворот, сидел как потерянный, не зная, куда деться». К тому же и погода немало способствовала подавленности этого хэйанского слуги. Не видно было и признака, чтобы дождь, ливший с конца часа Обезьяны, наконец перестал. И вот слуга, снова и снова перебирая бессвязные мысли о том, как бы ему, махнув на все рукой, прожить хоть завтрашний день,— другими словами, как-нибудь уладить то, что никак не ладилось,— не слушая, слышал шум дождя, падавшего на улицу Судзаку.

Дождь, окутывая ворота, надвигался издалека с протяжным шуршаньем. Сумерки опускали небо все ниже, и, если взглянуть вверх, казалось, что кровля ворот своим черепичным краем подпирает тяжелые темные тучи.

Для того чтобы как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, разбираться в средствах не приходилось. Если разбираться, то оставалось, в сущности, одно — умереть от голода под забором или на улице. И потом

труп принесут сюда, на верхний ярус ворот, и бросят, как собаку. Если же не разбираться... мысли слуги уже много раз, пройдя по этому пути, упирались в одно и то же. Но это «если» в конце концов по-прежнему так и оставалось «если». Признавая возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле признать то, что естественно вытекало из этого «если»: хочешь не хочешь, остается одно — стать вором.

Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе, уже куда-то скрылся.

Втянув шею и приподняв плечи в синем кимоно, надетом поверх желтой натальной безрукавки, слуга оглянулся кругом: он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Тут, к счастью, он заметил широкую лестницу, тоже покрытую красным лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзори на нижнюю ступеньку.

Прошло несколько минут. На середине широкой лестницы, ведущей наверх, в башню ворот Расёмон, какой-то человек, съездившись, как кошка, и затаив дыхание, заглядывал в верхний этаж. Свет, падавший из башни, слабо освещал его правую щеку. Ту самую, на которой среди короткой щетины алел гнойный прыщ. Слуга сначала пребывал в полнейшей уверенности, что наверху одни мертвецы. Однако, поднявшись на две три ступени, он обнаружил, что наверху есть кто-то с зажженным светом, к тому же свет двигался то в одну сторону, то в другую. Это сразу бросалось в глаза, так как тусклый желтый свет, колеблясь, скользил по потолку, затканному по углам паутиной. Если в такой дождливый вечер в башне ворот Расёмон горел огонь, это было неспроста.

Неслышно, как ящерица, слуга наконец почти ползком добрался до верхней ступени. И затем, насколько возможно прижавшись всем телом к лестнице, насколько

ко возможно вытянув шею, боязливо заглянул внутрь башни.

В башне, как о том ходили слухи, в беспорядке валялось множество трупов, но так как свет позволял видеть меньшее пространство, чем можно было предполагать, то, сколько их тут, слуга не разобрал. Единственное, что, хоть и смутно, но удавалось разглядеть, это — что были среди них трупы голые и трупы одетые. Разумеется, трупы женщин и мужчин вперемешку. Все они валялись на полу как попало, с раскрытыми ртами, с раскинутыми руками, словно глиняные куклы, так что можно было даже усомниться, были ли они когда-нибудь живыми людьми. Освещенные тусклым светом, падавшим на выступающие части тела — плечи или груди, отчего тени во впадинах казались еще черней, они молчали, как немые, вечным молчанием.

От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос: сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния.

Только в этот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, в кимоно цвета коры дерева хиноки. Держа в правой руке зажженную сосновую лучину, она пристально вглядывалась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины.

Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Употребляя старинное выражение летописца, он чувствовал, что у него «кожа на голове пухнет». Между тем старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на которую она до сих пор смотрела, и, совсем как обезьяна, ищущая вшей у детенышей, принялась волосок за волоском выдергивать длинные волосы. Они, по-видимому, легко поддавались ее усилиям.

По мере того как она вырывала один волос за другим, страх в сердце слуги понемногу проходил. И в то же время в нем понемногу поднималась сильнейшая ненависть к старухе. Нет, сказать «к старухе» было бы, пожалуй, не совсем правильно. Скорее, в нем с каждой минутой усиливалось отвращение ко всякому злу вообще. Если бы в это время кто-нибудь еще раз предло-

жил ему вопрос, о котором он думал внизу на ступенях ворот — умереть голодной смертью или сделаться вором, — он, вероятно, без всякого колебания выбрал бы голодную смерть. Ненависть к злу разгорелась в нем так же сильно, как воткнутая в пол сосновая лучина.

Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдергивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Расёмон выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что еще недавно сам подумывал сделаться вором.

И вот, напряжнив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь. И, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошел к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить.

Как только ее взгляд упал на слугу, старуха вскочила, точно ею выстрелили из пращи.

— Стой! Куда? — рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Все же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул ее обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил ее на пол. Руки ее были кости да кожа, точь-в-точь куриные лапки.

— Что ты делала? Говори. Если не скажешь, пожалеешь!

И, оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднес блестящий клинок к ее глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что они чуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда слуга отчетливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило плававшую в нем злобу. Остались только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал:

— Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами. Поэтому я не собираюсь

тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне?

Старуха еще шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами, из-за морщин почти слившимися с носом. Было видно, как на ее тонкой шее двигается острый кадык. И из ее горла до ушей слуги донесся прерывистый, глухой голос, похожий на карканье вороны:

— Рвала волосы... рвала волосы.... это на парики.

Слуга был разочарован тем, что ответ старухи вопреки ожиданиям оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с легким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Все еще держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала:

— Оно правда, рвать волосы у мертвецов, может, дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы: она резала змей на полоски в четыре сун и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушеную рыбу... Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым жила. А говорили, что сушеная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали ее себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала поневоле. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо, нет! Ведь и я тоже без этого умру с голоду, значит, и я делаю поневоле. И эта женщина,— она ведь хорошо знала, что значит делать поневоле,— она бы, наверно, меня не осудила.

Вот что рассказала старуха.

Слуга холодно слушал ее рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал алевший на щече чирей. Однако, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную



тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором; мало того, в эту минуту, в сущности, он был так далек от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову.

— Вот, значит, как? — насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришел к концу. Потом шагнул вперед и вдруг, отняв руку от чирея, схватил старуху за ворот и зарычал: — Ну, так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придется умереть с голоду.

Слуга сорвал с нее кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму.

Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мертвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете еще горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот — только черная глубокая ночь.

Слуга с тех пор исчез бесследно.

*Апрель 1915 г.*



## МАСКА ХЁТТОКО

На мосту Адзумабаси толпится народ. Время от времени подходит полицейский и уговаривает всех разойтись, но толпа тут же образуется снова. Все ждут, когда под мостом пройдут лодки, направляющиеся на праздник цветущей вишни.

По одной и по две лодки плывут вверх по реке, уже поднимающейся от прилива. Над многими натянута парусина, к которой прикреплены свешивающиеся до низу белые в красную полосу занавески. На носу водружены флаги и старые вымпелы. Все, сидящие в лодках, видимо, слегка навеселе. Из-за занавесок можно разглядеть людей, которые, обмотав голову полотенцем на манер женщин из Ёсивара или торговых рисом, играют в кэн, выкрикивая: «Раз, два!» Кто-то пытается петь, качая в такт головой. Сверху, с моста, все это кажется очень забавным. Когда мимо проплывают лодки с музыкантами, толпа на мосту раздражается громкими возгласами. Кто-то даже кричит: «Вот дурачьё!»

С моста река похожа на оловянную пластинку, блестящую на солнце, временами на волнах от проходящих катеров вспыхивает ослепительная позолота. И, как укусы вшей, вонзаются в эту гладкую водную поверхность бодрый стук барабанов, звуки флейты и сямисэна. От кирпичных стен пивоваренного завода Саппоро далеко за насыпь тянется что-то закопченное,

грязно-белое — это и есть вишни, которые сейчас в цвету. У пристани Кототои собралось множество японских и европейских лодок. Шлюпочный сарай университета заслоняет их от солнца, и отсюда видно только, как движется что-то грязное и темное.

Но вот из-под моста вынырнула еще одна лодка. Как и все прежние, это четверка, направляющаяся на праздник цветущей вишни. Укрепив на лодке красно-белые занавески с полосатым вымпелом таких же цветов, гребцы, повязавшие голову полотенцами с нарисованными на них алыми цветками вишни, поочередно гребут веслами и отталкиваются шестом. И все же лодка идет не очень быстро. В тени занавесок сидит с десяток человек. Пока лодка не вошла под мост, они наигрывали на двух сямисэнах не то «Весна в сливовом цвету», не то еще что-то, а когда песня кончилась, оркестр заиграл праздничную музыку. Зеваки на мосту снова раздражаются восклицаниями. Слышится плач ребенка, придавленного в сумятице. Потом пронзительный женский голос, выкрикивающий: «Эй, смотрите! Вон, танцует!» На палубе мужчина невысокого роста в шутовской маске хёттоко как-то нелепо прыгает под музыку.

Он еще раньше снял верхнюю одежду из ткани, какие делают в Титибу, и выставил на обозрение яркую, в узорах нижнюю рубашку с узкими рукавами. Что он сильно пьян, ясно уже потому, что воротник его с черным обшлагом небрежно распахнут, темно-синий пояс развязался и болтается сзади. Танцует он, конечно, тоже по-сумасшедшему. Совершает какие-то неуклюжие телодвижения и без конца размахивает руками в подражание священным танцам. Но и это выглядит так, будто, сильно опьянев, он не владеет своим телом, и иногда кажется, что он потерял равновесие и просто двигает руками и ногами, чтобы не свалиться в воду.

Это было еще смешней, и на мосту оживленно загалдели. И, смеясь, все обменивались критическими замечаниями:

- Вот это походка!
- Развеселился как! И откуда это чучело?!
- Потеха! Ой, смотрите, спотыкается!
- Лучше б он без маски танцевал!

И все в таком духе.

Тем временем,— вино, что ли, подействовало сильнее,— движения танцора становились все более странными. Голова его с завязанным у подбородка праздничным полотенцем качалась, как стрелка испорченного метронома, чуть не свешиваясь за борт лодки. Лодочник даже забеспокоился и дважды его окликнул, но тот, казалось, и не слышал.

И вдруг боковая волна от проходящего катера высоко подбросила лодку. В этот момент человек в маске, будто от удара, подался на три шага вперед, описал последний большой круг и, остановившись, как прекративший вращение волчок, упал навзничь на дно лодки, задрав ноги в трикотажных штанах.

Зеваки на мосту снова расхохотались. В лодке от этого толчка, кажется, даже сломалась ручка сямисэна. Из-за занавесок видно было, как пьяная шумная компания в смятении то привставала, то садилась. Игравший всю оркестр неожиданно умолк, будто задохнулся. Стали слышны только громкие голоса. Поднялся переполох. Через некоторое время из-под тента выглянул человек с красным лицом и, растерянно жестикулируя, что-то скороговоркой сказал лодочнику. Тогда лодка почему-то взяла круто вправо и направилась не в ту сторону, где цвели вишни, а к противоположному берегу, к Яманосюку.

О смерти человека в маске зеваки на мосту узнали спустя десять минут. Более подробные сведения были помещены в газете на следующий день в отделе «Разное». Там было сказано, что звали этого чудака Ямамура Хэйкити и что умер он от кровоизлияния в мозг.

\* \* \*

Ямамура Хэйкити — владелец полученной в наследство от отца художественной лавки в Вакамацу-мати, в районе Нихомбаси. Умер он в возрасте сорока пяти лет, оставив веснушчатую жену и служившего в армии сына. Они были не очень богаты, но все же имели прислугу и жили, по-видимому, не хуже других. Рассказывают, что во время японо-китайской войны они занялись скупкой натуральной малахитовой краски где-то в окрестностях Акита и не прогадали, а раньше магазин славился только своей старинной репутацией,

товары же, составлявшие его особую гордость, можно было пересчитать по пальцам.

Хэйкити — круглолицый, лысоватый, с мелкими морщинами вокруг глаз, чем-то забавный человек и перед всеми заискивает. Больше всего он любит выпить и, выпив, становится добродушным. Но вот есть у него привычка — как выпьет, так и принимается за свои странные танцы. Как сам он рассказывал, началось все с того, что он учился танцевать у хозяйки заведения Тоёда на улице Хаматё, бравшей уроки танцев жриц; в те времена и в Симбаси и в Ёситё священные танцы были в большом ходу. Но, конечно, хвастаться своим искусством ему не приходится. Грубо говоря — танцы его какие-то сумасшедшие, выражаясь мягче — они немногим приятнее, чем движения актеров Кабуки. Однако он и сам, видно, это осознает и в трезвом виде даже не упоминает о священных танцах. «Ямамура-сан! Изобрази-ка что-нибудь!» — говорят ему, но он уклоняется, сводя все к шутке. И все же, стоит ему приложиться к божественному напитку, как он тотчас повязывает голову полотенцем, изображает звуки флейты и барабана, становится в позу и подергивает плечами, охваченный желанием танцевать в маске свои шутовские танцы. А стоит ему начать, как он увлекается и уже не может остановиться. При этом он не слушает ни сямисэна, ни песни.

Уже два раза под пагубным действием вина он падал и терял сознание, как при апоплексии. В первый раз это случилось в бане, когда он обливался горячей водой и вдруг упал на цементную раковину. Тогда он только ушиб поясницу и уже через десять минут пришел в себя. Во второй раз он упал дома, в амбаре. Позвали врача, и на этот раз, чтобы привести его в чувство, потребовалось уже полчаса. При этом каждый раз ему запрещают пить, и он самым похвальным образом решает, что ему не придется больше краснеть за себя, но решение это выполняется лишь в первое время, и, начиная с «одного стаканчика», он постепенно увеличивает дозу, и не проходит и полмесяца, как он незаметно возвращается к старому. Однако он спокоен, и все завершается его самодовольным заявлением: «Если я не пью, так мне, наоборот, еще хуже».

Но пьет Хэйкити не только из физической потребности, хотя сам он так говорит. Он не может бросить пить и по психологическим причинам. Ведь только выпив, он смеется и не смущается ничьим присутствием. Хочется ему танцевать — танцует, хочется спать — спит. Никто не может упрекнуть его. А для Хэйкити это важнее всего. Почему важнее? Он и сам не понимает.

Он знает только, что, когда выпьет, становится другим человеком. Натанцует, бывало, а как протрезвеет и скажут ему: «Ну, и набрался же ты вчера», — он, конечно, ужасно смущается и привычно врет: «Я как выпью, так уж ничего не соображаю. Утром встал и не помню, что вчера делал. Как во сне». На самом деле он отлично помнит, что танцевал и что заснул. И трудно себе представить, что тот Хэйкити, который остался у него в памяти, и Хэйкити сегодняшний — один и тот же человек. Какой же из них настоящий, — он и сам толком не понимает. Напивается он изредка, обычно бывает трезв. Выходит, трезвый Хэйкити — он и есть настоящий, но, как это ни странно, сам Хэйкити не может поручиться ни за то, ни за другое. Ведь то, чего он потом стыдится, почти всегда совершается в пьяном виде. Танцы — это бы еще ладно. Но он играет в цветочные карты. Спит с продажными женщинами. Словом, делает такое, о чем и не напишешь. Никто не станет утверждать, будто в подобных делах и выражается его истинное «я». У бога Януса два лица, и никому не ведомо, какое из них настоящее. Так и с Хэйкити.

Я уже сказал, что Хэйкити трезвый и Хэйкити пьяный — два совершенно различных человека. Мало кто лжет в трезвом виде, как Хэйкити. Иногда он и сам это понимает. Но это вовсе не значит, что он лжет с каким-то расчетом. Лжет он почти бессознательно. И хотя солгав, тут же замечает это, но пока он говорит, у него совсем нет времени подумать о последствиях.

Хэйкити не мог бы объяснить, почему он лжет. Но стоит ему с кем-нибудь заговорить, как у него сама собой с языка срывается ложь, о которой он и не помышлял. Однако это не особенно его тяготит. И не кажется чем-то дурным. Потому — что ни день Хэйкити лжет со спокойным сердцем.

Хэйкити как-то рассказывал, что одиннадцати лет поступил на службу в писчебумажный магазин в Минами-Дэмматё. Хозяин его был ревностный молельщик и даже к ужину не прикасался, не помолившись. Однако через два месяца после появления Хэйкити в магазине, повинувшись какому-то неожиданному порыву, хозяйка сбежала в чем была с молодым приказчиком. Потому ли, что хозяину, помешанному на молитвах, не помогла его вера, с помощью которой он надеялся поддерживать мир в семье, но рассказывали, что он вдруг переметнулся в секту Монто, бросил в реку изображение Тайсяку, положил под котел изображение Ситимэн и сжег его,— и вообще много всего натворил.

По словам Хэйкити, он прожил там до двадцати лет и, бывало, мошенничал со счетами и тогда отправлялся куда-нибудь поразвлечься. По его воспоминаниям, он как-то сблизился с женщиной, которая предложила ему вместе с ней покончить жизнь самоубийством, но он струсил. Разными отговорками ему удалось этого избежать, а потом он узнал, что через три дня она совершила самоубийство вместе с рабочим из мастерской металлических украшений. Человек, с которым она прежде была близка, ушел к другой, и назло ему она хотела умереть с первым встречным.

Когда Хэйкити исполнилось двадцать, умер его отец, и тогда, взяв в лавке расчет, он поехал домой. Как-то через полмесяца приказчик, служивший еще при жизни отца, попросил молодого хозяина написать письмо. Это был человек лет пятидесяти, вполне порядочный, который в то время повредил себе пальцы правой руки и не мог писать. Приказчик этот попросил сообщить в письме следующее: «Дело удалось, скоро приеду»,— так Хэйкити и написал. Письмо было адресовано женщине, и Хэйкити поддразнил его: «Смотрите-ка! Какой вы ловкий!» — на что тот ответил кратко: «Это письмо сестре». Через три дня этот человек уходит из дому, сказав, что идет к покупателям за заказами, и не возвращается. При проверке счетов обнаруживается огромная недостача. Письмо, по всей вероятности, было адресовано любовнице. Где еще

сыщешь такого, как Хэйкити, дурака, который сам же взялся бы писать такое послание!..

Все это ложь. Но без этих рассказней в жизни Хэйкити (той, что известна людям), наверно, ничего и не останется.

\* \* \*

Наверняка в пьяном виде забрался Хэйкити в лодку соседей, которая шла на праздник цветущей вишни, и взял у оркестрантов маску хёттоко.

Я уже рассказывал, что он упал на дно лодки и умер во время танцев. Все сидящие в лодке пришли в изумление. Но больше всех поражен был достопочтенный учитель музыки, которому Хэйкити свалился буквально на голову. Потом Хэйкити упал на обшитый красной материей шкафут лодки, где были разложены морская капуста и вареные яйца.

— Что за шутки? Ты же мог пораниться? — сердито сказал предводитель компании, все еще думая, что Хэйкити шутит. Но Хэйкити не шевелился.

Сидевший рядом парикмахер, заподозрив неладное, положил руку на плечо Хэйкити и окликнул его: «Хозяин, эй, хозяин!» — но никакого ответа опять не последовало. Он взял его за руку и почувствовал, что она холодна. Вдвоем с предводителем они подняли Хэйкити. Лица присутствующих в волнении склонились над ним. «Хозяин, эй, хозяин!» — наконец громко закричал парикмахер.

И тут едва различимый звук — не то вздох, не то голос — послышался парикмахеру из-под маски. «Маску... снимите... маску...» Предводитель и парикмахер дрожащими руками сдернули маску и полотенце.

Но то, что они увидели под маской, уже не походило на лицо Хэйкити. Маленький нос заострился, изменился цвет губ, по бледному лбу градом катился пот. Никто бы теперь не узнал в нем весельчака, комика, болтуна Хэйкити. Не переменилась только вытянутая губы, нарочито глуповатая, спокойно смотрящая на Хэйкити с красной материи маска хёттоко.

*Декабрь 1915 г.*



## НОС

О носе монаха Дзэнти в Икэноо знал всякий. Этот нос был пяти-шести сун в длину и свисал через губу ниже подбородка, причем толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди лица этакая длинная штуковина, похожая на колбасу.

Монаху было за пятьдесят, и всю жизнь, с давних времен пострига и до наших дней, уже удостоенный высокого сана найдодзёгубу, он горько скорбел душой из-за этого своего носа. Конечно, даже теперь он притворялся, будто сей предмет беспокоит его весьма мало. И дело было не только в том, что терзаться по поводу носа он полагал неподобающим для священнослужителя, которому надлежит все помыслы свои отдавать грядущему существованию подле будды Амида. Гораздо более беспокоило его, как бы кто-нибудь не догадался, сколь сильно досаждают ему его собственный нос. Во время повседневных бесед он больше всего боялся, что разговор зайдет о носах.

Тяготился же своим носом монах по двум причинам. Во-первых, длинный нос причинял житейские неудобства. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время

трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников, с тем чтобы тот поддерживал нос при помощи специальной дощечки шириною в сун и длиной в два сяку. Вкушать таким образом пищу было всегда делом нелегким как для ученика, так и для учителя. Однажды вместо ученика нос держал мальчишка-послушник. Посредине трапезы он чихнул, его рука с дощечкой дрогнула, и нос упал в рисовую кашу. Слух об этом происшествии дошел в свое время до самой столицы... И все же не это было главной причиной, почему монах скорбел из-за носа. По-настоящему он страдал от уязвленного самолюбия.

Жители Икэноо говорили, будто монаху Дзэнти с его носом повезло, что он монах, а не мирянин, ибо, по их мнению, вряд ли нашлась бы женщина, которая согласилась бы выйти за него замуж. Некоторые критиканы даже утверждали, будто он и постригся-то из-за носа. Однако самому монаху вовсе не представлялось, что его принадлежность к духовному сословию хоть сколько-нибудь смягчает страдания, причиняемые ему носом. Самолюбие его было глубоко уязвлено воздействием таких соображений, как вопрос о женитьбе. Поэтому он пытался лечить раны своей гордости как активными, так и пассивными средствами.

Во-первых, монах искал способ, каким образом сделать так, чтобы нос казался короче, чем на самом деле. Когда никого поблизости не было, он из сил выбивался, разглядывая свою физиономию под всевозможными углами. Как ни менял он поворот головы, спокойнее ему не становилось, и он упорно всматривался в свое отражение, то подпирая щеку ладонью, то прикладывая пальцы к подбородку. Но он так ни разу и не увидел свой нос коротким настолько, чтобы это утешило хотя бы его самого. И чем горше становилось у него на сердце, тем длиннее казался ему нос. Тогда монах убирал зеркало в ящик, вздыхал тяжелее обычного и неохотно возвращался на прежнее место к пюпитру читать сутру «Каннон-кё».

Монаха всегда очень заботили носы других людей. Храм Икэноо был из тех храмов, где часто устраиваются церемонии посвящения, читаются проповеди и так далее. Вся внутренность храма была плотно застроена кельями, в храмовых банях каждый день грели воду.

Посетителей — монахов и мирян — было необычайно много. Монах без устали рассматривал лица этих людей. Он надеялся найти хоть одного человека с таким же носом, как у него, тогда ему стало бы легче. Поэтому глаза его не замечали ни синих курток, ни белых кимоно, а коричневые шляпы мирян и серые одежды священнослужителей настолько ему примелькались, что их для него все равно что не было. Монах не видел людей, он видел только носы... Но носы в лучшем случае были крючковатые, таких же носов, как у него, видеть ему не приходилось. И с каждым днем монах падал духом все более. Беседуя с кем-нибудь, он бессознательно ловил пальцами кончик своего болтающегося носа, всякий раз при этом краснея, совершенно как ребенок, пойманный на шалости, каковое обстоятельство полностью вытекало из этого его дурного душевного состояния.

Наконец, чтобы хоть как-нибудь утешиться, монах выискивал персонажи с такими же носами, как у него, в буддийских и светских книгах. Однако ни в одной из священных книг не говорилось, что у Мандгалаяна или у Шарипутры были длинные носы. Нагарджуна и Асвагхоша тоже, конечно, оказались святыми с самыми обычными носами. Как-то в беседе о Китае монах услышал, будто у шуханьского князя Лю Сюань-дэ были длинные уши, и он подумал, насколько менее одиноким почувствовал бы он себя, если бы речь шла о носе.

Нечего и говорить, что монах, ломая голову над пассивными средствами, пробовал также и активные способы воздействия на свой нос. Тут он тоже сделал почти все, что возможно. Он пробовал пить настой из горелой тыквы. Он пробовал втирать в нос мышиную мочу. Но что бы он ни предпринимал, нос его по-прежнему свисал на губы пятивершковой колбасой.

Но вот однажды осенью один из учеников монаха ездивший по его поручению в столицу, узнал там у приятеля-врача способ укорачивать длинные носы. Врач этот в свое время побывал в Китае и по возвращении сделался священнослужителем при главной статуе будды в храме Тёраку.

Монах, как полагается, сделал вид, будто вопрос о носах ему совершенно безразличен, и даже не заикнулся о том, чтобы немедленно испробовать упомяну-

тый способ. С другой стороны, он как бы мимоходом заметил, что ему крайне неприятно беспокоить ученика всякий раз, когда нужно принимать пищу. В глубине души он ожидал, что ученик так или иначе станет уговаривать его испытать этот способ. И ученик отлично понял хитрость монаха. И сколь ни претила ученику эта хитрость, на него гораздо сильнее подействовали, возбуждая его сострадание, те чувства, которые вынудили монаха к ней прибегнуть. Как и ожидал монах, ученик принялся изо всех сил уговаривать его испытать этот способ. Как и ожидал ученик, монах в конце концов уступил его горячим уговорам.

Что касается способа, то он был чрезвычайно прост: нос нужно было проварить в кипятке и хорошенько оттоптать ногами.

Воду грели в храмовых банях каждый день. Ученик сходил и принес большую флягу кипятка, такого горячего, что в него нельзя было сунуть палец. Прямо погружать нос во флягу было опасно, пар от кипятка причинил бы ожоги лицу. Поэтому решено было провертеть дыру в деревянном блюде, накрыть им флягу и просунуть нос в кипяток через эту дыру. Когда нос погрузился в кипяток, было ничуть не больно. Прошло некоторое время, и ученик сказал:

— Теперь он проварился достаточно.

Монах горько усмехнулся. Он подумал, что если бы кто-нибудь подслушал эту фразу, ему и в голову бы не пришло, что речь идет о носе. Нос же, ошпаренный кипятком, зудел, словно его кусали блохи.

Монах извлек нос из дыры в блюде. Ученик взгромоذился на этот нос, от которого еще поднимался пар, обеими ногами и принялся топтать изо всех сил. Монах лежал, распластав нос на дощатом полу, и перед его глазами вверх и вниз двигались ноги ученика. Время от времени ученик с жалостью поглядывал на лысую голову монаха, потом спросил:

— Вам не больно? Врач предупредил, чтобы топтать сильно. Больно вам?

Монах хотел помотать головой в знак того, что ему не больно. Но на носу у него стояли ноги ученика, и голова не сдвинулась с места. Тогда он поднял глаза и, уставясь на растрескавшиеся от холода пятки ученика, ответил сердитым голосом:

— Нет, не больно.

И правда, топтание по зудящему носу вызывало у монаха не столько боль, сколько приятные ощущения.

Через некоторое время на носу наконец стали вылезать какие-то шарики, похожие на просыяные зерна. Совершенно как бывает, когда жарят ошипанную курицу. Заметив это, ученик слез с носа и проговорил про себя:

— Велено было извлечь эти штуки щипцами для волос.

Монах, недовольно надувшись, молча подчинился. Не то чтобы он не понимал добрых чувств ученика. Нет, он это понимал, но ему неприятно было, что с носом его обращаются, как с посторонним предметом. И он с видом больного, которому делает операцию не достойный доверия врач, с отвращением наблюдал, как ученик извлекает щипчиками сало из его носа. Кусочки сала имели форму стволиков от птичьих перьев длиной примерно в четыре бу.

Когда наконец эта процедура была закончена, ученик с облегчением сказал:

— А теперь проварим еще разок.

Монах все с тем же недовольным выражением на лице сделал, как ему сказано. И когда вторично проваренный нос был извлечен из фляги, оказалось, что он стал коротким, как никогда. Теперь он ничем не отличался от весьма обыкновенного крючковатого носа. Поглаживая этот укороченный нос, монах с трепетом и ощущением неловкости заглянул в зеркало, которое поднес ему ученик.

Нос, тот самый нос, что некогда свисал до подбородка, неправдоподобно съежился и теперь скромно довольствовался местом над верхней губой. Кое-где на нем выделялись красные пятна, видимо, следы, оставшиеся от ног ученика. Уж теперь, наверное, смеяться никто не станет... Лицо в зеркале глядело на монаха и удовлетворенно помаргивало.

Правда, монах боялся, что через день-другой нос снова делается длинным. При каждом удобном случае, читая ли вслух священные книги или во время трапезы, он то и дело поднимал руку и украдкой ощупывал кончик носа. Однако нос весьма благопристойно держался над губой и, по всей вероятности, не был осо-

бенно расположен спускаться ниже. Рано утром на следующий день, пробудившись от сна, монах прежде всего прошелся пальцами по носу. Нос по-прежнему был короткий. И тогда монах почувствовал огромное облегчение, словно завершил многолетний труд по переписке «Сутры священного лотоса».

Но не прошло и двух-трех дней, как монах сделал неожиданное открытие. Самурай, посетивший в это время храм Икэноо для каких-то своих дел, не спускал глаз с его носа, при этом с ним отнюдь не заговаривая и вид имея чрезвычайно насмешливый. Мало того, мальчик-послушник, тот самый, который некогда уронил его нос в рисовую кашу, проходя мимо него возле зала, где произносились проповеди и поучения, сперва глядел вниз, видимо, силясь побороть смех, а потом все-таки не выдержал и прыснул. Несколько раз, отдавая приказания монахам-работникам, он замечал, что те держатся почтительно лишь перед его лицом, а стоит ему отвернуться, как они тут же принимаются хихикать.

Сначала монах отнес это на счет того, что у него переменилось лицо. Однако само по себе такое объяснение, пожалуй, мало что объясняло... Конечно, монахи-работники и послушник смеялись как раз по этой причине. Однако, хотя они смеялись совсем по-прежнему, смех этот теперь чем-то отличался от тех времен, когда нос был длинный. Наверное, непривычно короткий нос выглядел более забавным, нежели нос привычно длинный. Но было, видимо, и еще что-то.

— Никогда прежде они не смеялись столь нагло, — бормотал временами монах, отрываясь от чтения священной книги и склоняя набок лысую голову. При этом наш красавец, рассеянно уставясь на изображение Вишвабхадры, висящее рядом, вспоминал о том, какой длинный нос был у него несколько дней назад, и уныло думал: «Ныне подобен я впадшему в бедность человеку, скрывающему бывшее процветание...» К сожалению, монаху не хватало проницательности, чтобы понять, в чем дело.

...В сердце человеческом имеют место два противоречивых чувства. Нет на свете человека, который бы не сострадал несчастью ближнего. Но стоит этому ближнему каким-то образом поправиться, как это уже вызы-

вает чувство, будто чего-то стало недоставать. Слегка преувеличив, позволительно даже сказать, что появляется желание еще разок ввергнуть этого ближнего в ту же неприятность. Сразу же появляется хоть и пассивная, а все же враждебность к этому ближнему... Монах не понимал, в чем дело, но тем не менее испытывал известную скорбь, — несомненно, потому, что смутно подозревал в отношении к себе мирян и монахов Икэ-ноо этот эгоизм сторонних наблюдателей.

И настроение монаха портилось с каждым днем. Он злобно ругал всех, кто попадался ему на глаза. Дело в конце концов дошло до того, что даже его ученик, тот самый, который лечил ему нос, стал тихонько поговаривать, будто он, монах, грешит равнодушием к религии. Монаха особенно возмутила выходка шалопая-послушника. Однажды, услышав за окном собачий визг, он вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, что послушник, размахивая палкой длиною в два фута, гоняет по двору косматую тощую собачонку. И если бы он просто гонял! Нет, он гонял и при этом азартно вопил:

— А вот я тебя по носу! А вот я тебя по носу!

Монах вырвал у мальчишки палку и яростно ударил его по лицу. Палка оказалась старой дощечкой для поддержания носа.

Монах все больше жалел, что столь опрометчиво укоротил себе нос.

А потом настала одна ночь. Вскоре после захода солнца подул ветер, и звон колокольчиков под кровлей пагоды надоедливо лез в уши. Вдобавок изрядно похолодало, поэтому старый монах, хотя ему очень хотелось спать, никак не мог заснуть. Он лежал с раскрытыми глазами и вдруг почувствовал, что у него страшно зачесался нос. Коснулся пальцами — нос разбух, словно пораженный водянкой. Кажется, стал даже горячим.

— Беднягу несправедливо укоротили, вот он и заболел, — пробормотал монах, почтительно взявшись за нос, как берут жертвенные цветы для возложения на алтарь перед буддой.

На следующее утро он пробудился, по обыкновению, рано. Выглянув в окно, он увидел, что гинко и конские каштаны во дворе храма за ночь осыпались и двор сиял, словно выстланный золотом. Крыши покрылись

инеем. В еще слабых лучах рассвета ярко сверкали украшения пагоды. Монах Дзэнти, стоя у раскрытого окна, глубоко вздохнул.


И в эту минуту к нему вновь вернулось некое почти забытое ощущение.

Он взволнованно схватился за нос. То, чего коснулась его рука, не было вчерашним коротким носом. Это был его прежний длинный нос пяти-шести сун в длину, свисающий через губу ниже подбородка. Монах понял, что за минувшую ночь его нос вновь возвратился в прежнее состояние. И тогда к нему вернулось откуда-то чувство радостного облегчения, точно такое же, какое он испытал, когда нос его сделался коротким.

— Уж теперь-то смеяться надо мной больше не будут,— прошептал монах, подставляя свой длинный нос осеннему ветру.

*Февраль 1916 г.*





---

## БАТАТОВАЯ КАША

Было это в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна. Точное время для нашего повествования роли не играет. Читателю достаточно знать, что случилось это в седую старину, именуемую Хэйанским периодом... И служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивара некий гой.

Хотелось бы привести, как полагается, его настоящее имя, но в старинных хрониках оно, к сожалению, не упомянуто. Вероятно, это был слишком заурядный человек, чтобы стоило о нем упоминать. Вообще следует сказать, что авторы старинных хроник не слишком интересовались заурядными людьми и обыкновенными событиями. В этом отношении они разительно отличаются от японских писателей-натуралистов. Романисты Хэйанской эпохи, как это ни странно, не такие лентяи... Одним словом, служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивара некий гой, и он-то и является героем нашей повести.

Это был человек чрезвычайно неприглядной наружности. Начать с того, что он был маленького роста. Нос красный, внешние углы глаз опущены. Усы, разумеется, реденькие. Щеки впалые, поэтому подбородок кажется совсем крошечным. Губы... Но если вдаваться в такие подробности, этому конца не будет. Коротко говоря,

внешний вид у нашего гои был на редкость затрапезный.

Никто не знал, когда и каким образом этот человек попал на службу к Мотоцунэ. Достоверно было только, что он с весьма давнего времени ежедневно и неутомимо отправляет одни и те же обязанности, всегда в одном и том же выцветшем суйкане и в одной и той же измятой шапке эбоси. И вот результат: кто бы с ним ни встречался, никому и в голову не приходило, что этот человек был когда-то молодым. (В описываемое время гои перевалило за сорок.) Всем казалось, будто сквозняки на перекрестках Судзяку надули ему этот красный простуженный нос и символические усы с самого дня его появления на свет. В это бессознательно верили поголовно все, и, начиная от самого господина Мотоцунэ и до последнего пастушонка, никто в этом не сомневался.

О том, как окружающие обращались с человеком подобной наружности, не стоило бы, пожалуй, и писать. В самурайских казармах на гои обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчиненные — а их, со званием и без званий, было около двух десятков — относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура гои так же мало застила им зрение, как воздух. И если уж так вели себя подчиненные, то старшие по должности, всякие там домоправители и начальствующие в казармах, согласно всем законам природы вообще решительно отказывались его замечать. Скрывая под маской ледяного равнодушия свою детскую и бессмысленную к нему враждебность, они при необходимости сказать ему что-либо обходились исключительно жестами. Но люди обладают даром речи не случайно. Естественно, время от времени возникали обстоятельства, когда объясниться жестами не удавалось. Необходимость прибегать к словам относилась целиком на счет его умственной недостаточности. В подобных случаях они неизменно оглядывали его сверху донизу, от верхушки измятой шапки эбоси до продранных соломенных дзори, затем оглядывали снизу доверху, а затем, презрительно фыркнув, поворачивались спиной. Впрочем, гои никогда не сердился. Он был

настолько лишен самолюбия и был так робок, что просто не ощущал несправедливость как несправедливость.

Самураи же, равные ему по положению, всячески издевались над ним. Старики, потешаясь над его невыигрышной внешностью, мусолили застарелые остроги, молодые тоже не отставали, упражняя свои способности в так называемых экспромтах все в тот же адрес. Прямо при гои они без усталости обсуждали его нос и его усы, его шапку и его суйкан. Частенько предметом обсуждения становилась его сожигательница, толстогубая дама, с которой он разошелся несколько лет назад, а также пьяница-бонза, по слухам, бывший с ней в связи. Временами они позволяли себе весьма жестокие шутки. Перечислить их все просто не представляется возможным, но если мы упомянем здесь, как они выпивали из его фляги сакэ и затем мочились туда, читатель легко представит себе остальное.

Тем не менее гои оставался совершенно нечувствителен к этим проделкам. Во всяком случае, казался нечувствительным. Что бы ему ни говорили, у него не менялось даже выражение лица. Он только молча поглаживал свои знаменитые усы и продолжал заниматься своим делом. Лишь когда издевательства переходили все пределы, например, когда к узлу волос на макушке ему прицепляли клочки бумаги или привязывали к ножнам его меча соломенные дзори, тогда он странно морщил лицо — то ли от плача, то ли от смеха — и говорил:

— Что уж вы, право, нельзя же так...

Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости. (Это была жалость не к одному только красноносому гои, она относилась к кому-то, кого они совсем не знали, — ко многим людям, которые скрывались за его лицом и голосом и упрекали их за бессердечие.) Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек, приехавший из провинции Тамба. У него на верхней губе еще только-только начали пробиваться мягкие усики.

Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услышал голос, говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так...» И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью. В испитой, серой, тупой физиономии он увидел тоже Человека, страдающего под гнетом общества. И всякий раз, когда он думал о гои, ему представлялось, будто все в мире вдруг выставило напоказ свою изначальную подлость. И в то же время представлялось ему, будто обмороженный красный нос и реденькие усы являют душе его некое утешение...

Но так обстояло дело с одним-единственным человеком. За этим исключением гои окружало всеобщее презрение, и он жил истинно собачьей жизнью. Начать с того, что он не имел никакой приличной одежды. У него был один-единственный серо-голубой суйкан и одна-единственная пара штанов сасинуки того же цвета, однако вылиняло все это до такой степени, что определить первоначальный цвет было уже невозможно. Суйкан еще держался, у него только слегка обвисли плечи и странную расцветку приняли шнуры и вышивка, только и всего, но вот что касается штанов, то на коленях они были в беспримерно плачевном состоянии. Гои не носил нижних хакама, сквозь дыры проглядывали худые ноги, и вид его вызывал брезгливость не только у злых обитателей казармы: словно смотришь на тощего быка, влачащего телегу с тощим дворянином. Меч он имел тоже до крайности подержанный: рукоять едва держалась, лак на ножнах весь облупился. И недаром, когда он плелся по улице со своим красным носом, на своих кривых ногах, волоча соломенные дзори, горбясь еще более обычного под холодным зимним небом и бросая по сторонам просительные взгляды, все задевали и дразнили его. Даже уличные разносчики, бывало и такое.

Однажды, проходя по улице Сандзё в сторону парка Синсэн, гои заметил у обочины толпу ребятишек. Волчок запускают, что ли, подумал он и подошел посмотреть. Оказалось, что мальчишки поймали бродячую собаку, накинули ей петлю на шею и истязают ее. Робкому гои не было чуждо сострадание, но до той поры он никогда не пытался воплотить его в действие. На

этот раз, однако, он набрался смелости, потому что перед ним были всего лишь дети. Не без труда изобразив на своем лице улыбку, он похлопал старшего из мальчишек по плечу и сказал:

— Отпустили бы вы ее, собаке ведь тоже больно...

Мальчишка, обернувшись, поднял глаза и презрительно на него уставился. Он глядел на гои совершенно так же, как управитель в казармах, когда гои не мог взять в толк его указаний. Он отступил на шаг и, выскомерно оттопырив губу, сказал:

— Обойдемся без твоих советов. Проваливай, красноносый.

Гои почувствовал, будто эти слова ударили его по лицу. Но вовсе не потому, что он был оскорблен и рассердился. Нет, просто он устыдился того, что вмешался не в свое дело и тем себя унижил. Чтобы скрыть неловкость, он вымученно улыбнулся и, не сказав ни слова, пошел дальше по направлению к парку Синсэн. Мальчишки, вставши плечом к плечу, строили ему вслед рожи и высовывали языки. Он этого, конечно, не видел. А если бы и видел, что это могло значить для лишенного самолюбия гои!

Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Что такое бататова каша? Сладкий горный батат кладут в горшок, заливают виноградным сиропом и варят, пока он не разварится в кашу. В свое время это считалось превосходным кушаньем, его подавали даже к августейшему столу. Следовательно, в рот человека такого звания, как гои, оно могло попасть разве что раз в год, на каком-нибудь ежегодном приеме. И даже в этих случаях попадало весьма немного, только смазать глотку. И поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего гои. Конечно, мечтой этой он ни с кем не делился. Да что говорить, он и сам, наверное, не вполне отчетливо сознавал, что вся его жизнь пронизана этим желанием. И тем не менее можно смело утверждать, что жил он именно для этого. Люди иногда посвящают свою жизнь таким желаниям, о которых не знают, можно их удовлетворить или нельзя. Тот же, кто

смеется над подобными причудами, — просто ничего не понимает в человеческой природе.

Как это ни странно, мечта гои «нажраться бататовой каши» осуществилась с неожиданной легкостью. Чтобы рассказать о том, как это произошло, и написана повесть «Бататовая каша».

\* \* \*

Как-то второго января в резиденции Мотоцунэ состоялся ежегодный прием. (Ежегодный прием — это большое пиршество, которое устраивает регент — первый советник императора в тот же день, когда дается благодарственный банкет в честь императрицы и наследника. На ежегодный прием приглашаются все дворяне, от министров и ниже, и он почти не отличается от храмовых пиров.) Гои в числе самураев угощался тем, что оставалось на блюдах после высоких гостей. В те времена еще не было обыкновения отдавать остатки челяди, и их поедали, собравшись в одном помещении, самураи-дружинники. Таким образом, они как бы участвовали в пиршестве, однако, поскольку дело происходило в старину, количество закусок не соответствовало аппетитам. А подавали рисовые лепешки, пончики в масле, мидии на пару, сушеное птичье мясо, мальгу из Удзи, карпов из Оми, струганого окуня, лосося, фаршированного икрой, жареных осьминогов, омаров, мандарины большие и малые, хурму на вертеле и многое другое. Была там и бататовая каша. Гои каждый год надеялся, что ему удастся всласть наесться бататовой каши. Но народу всегда было много, и ему почти ничего не доставалось. На этот же раз ее было особенно мало. И потому казалось ему, что она должна быть особенно вкусной. Пристально глядя на опустошенные миски, он стер ладонью каплю, застрявшую в усах, и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Хотел бы я знать, придется ли мне когда-нибудь поесть ее вволю? — И со вздохом добавил: — Да где там, простого самурая бататовой кашей не кормят...

Едва он произнес эти слова, как кто-то расхохотался. Это был непринужденный грубый хохот воина. Гои поднял голову и робко взглянул. Смеялся Тосихито Фудзивара, новый телохранитель Мотоцунэ, сын Токунага,

министра по делам подданных, мощный, широкоплечий мужчина огромного роста. Он грыз вареные каштаны и запивал их черным сакэ. Был он уже изрядно пьян.

— А жаль, право,— продолжал он насмешливо и презрительно, увидев, что гои поднял голову.— Впрочем, если хочешь, Тосихито накормит тебя до отвала.

Затравленный пес не сразу хватает брошенную ему кость. С обычной своей непонятной гримасой — то ли плача, то ли смеха — гои переводил глаза с пустой миски на лицо Тосихито и снова на пустую миску.

— Ну что, хочешь?

Гои молчал.

— Ну так что же?

Гои молчал. Он вдруг ощутил, что все взгляды устремлены на него. Стоит ему ответить, и на него градом обрушатся насмешки. Он даже понимал, что издеваться над ним будут в любом случае, каким бы ни был ответ. Он колебался. Вероятно, он переводил бы глаза с миски на Тосихито и обратно до бесконечности, но Тосихито произнес скупающим тоном:

— Если не хочешь, так и скажи.

И, услышав это, гои взволнованно ответил:

— Да нет же... Покорнейше вас благодарю.

Все слушавшие этот разговор разразились смехом. Кто-то передразнил ответ: «Да нет же, покорнейше вас благодарю». Высокие и круглые самурайские шапки разом всколыхнулись в такт раскатам хохота, словно волны, над чашами и корзинками с оранжевой, желтой, коричневой, красной снедью. Веселее и громче всех гоготал сам Тосихито.

— Ну, раз так, приглашаю тебя к себе,— проговорил он. Физиономия его при этом сморщилась, потому что рвущийся наружу смех столкнулся в его горле с только что выпитой водкой.— Ладно, так тому и быть...

— Покорнейше благодарю,— повторил гои, заикаясь и краснея.

И, разумеется, все снова захохотали. Что же касается Тосихито, который только и стремился привлечь всеобщее внимание, то он гоготал еще громче прежнего, и плечи его тряслись от смеха. Этот северный варвар признавал в жизни только два способа времяпрепровождения. Первый — наливать сакэ, второй — хохотать.

К счастью, очень скоро все перестали о них говорить. Не знаю уж, в чем тут дело. Скорее всего остальной компании не понравилось, что внимание общества привлечено к какому-то красноносому гои. Во всяком случае, тема беседы изменилась, а поскольку сакэ и закусок осталось маловато, общий интерес привлекло сообщение о том, как некий оруженосец пытался сесть на коня, влезши второпях обеими ногами в одну штанину своих мукабаки. Только гои, по-видимому, не слышал ничего. Наверное, все мысли его были заняты двумя словами: бататовая каша. Перед ним стоял жареный фазан, но он не брал палочек. Его чаша была наполнена черным сакэ, но он к ней не прикасался. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и все его лицо, вплоть до корней волос, тронутых сединой, пылало наивным румянцем от волнения, словно у девицы на смотринах. Он сидел, забыв о времени, уставившись на черную лакированную миску из-под бататовой каши, и бессмысленно улыбался...

\* \* \*

Однажды утром, спустя несколько дней, по дороге в Аватагути вдоль реки Камогава неторопливо ехали два всадника. Один, при длинном богатом мече, черноусый красавец с роскошными кудрями, был в плотной голубой каригину и в того же цвета хакама. Другой, самурай лет сорока, с мокрым красным носом, был в двух ватниках поверх обтрепанного суйкана, небрежно подпоясан и вообще вид собой являл донельзя расхлябанный. Впрочем, кони у того и у другого были отличные, жеребцы-трехлетки, один буланый, другой гнедой, добрые скакуны, так что проходившие по дороге торговцы вразнос и самураи оборачивались и глядели им вслед. Позади, не отставая от всадников, шли еще двое — очевидно, оруженосец и слуга. Нет необходимости подсказывать читателю, что всадниками были Тосихито и гои.

Стояла зима, однако день выдался тихий и ясный, и ни малейший ветерок не шевелил стебли пожухлой полыни по берегам речки, бежавшей меж угрюмых камней на белой равнине. Жидкий, как масло, солнечный свет озарял безлистные ветви низеньких ив, и на



дороге отчетливо выделялись даже тени трясогузок, вертевших хвостами на верхушках деревьев. Над темной зеленью холмов Хигасияма округло вздымались горы Хизэй, похожие на волны заиндевевшего бархата. Всадники ехали медленно, не прикасаясь к плеткам, и перламутровая инкрустация их седел блестела на солнце.

— Позволительно ли будет спросить, куда мы направляемся? — произнес гои, дергая повод неумелой рукой.

— Скоро приедем, — ответил Тосихито. — Это ближе, чем ты полагаешь.

— Значит, это Аватагути?

— Очень даже может быть...

Заманивая сегодня утром гои, Тосихито объявил, что они поедут в направлении Хигасияма, потому что там-де есть горячий источник. Красноносый гои принял это за чистую монету. Он давно не мылся в бане, и тело его невыносимо чесалось. Угоститься бататовой кашей да вдобавок еще помыться горячей водой — чего еще оставалось желать? Только об этом он и мечтал, трясясь на буланом жеребце, сменном коне Тосихито. Однако они проезжали одну деревню за другой, а Тосихито и не думал останавливаться. Между тем они миновали Аватагути.

— Значит, это не в Аватагути?

— Потерпи еще немного, — отозвался Тосихито, усмехаясь.

Он продолжал ехать как ни в чем не бывало и только отвернулся, чтобы не видеть лицо гои. Хижины по сторонам дороги попадались все реже, на просторных зимних полях виднелись только вороны, добывающие себе корм, и тусклой голубизной отливал вдали снег, сохранившийся в тени гор. Небо было ясное, острые верхушки желтинника вонзались в него так, что болели глаза, и от этого почему-то было особенно зябко.

— Значит, это где-нибудь неподалеку от Ямасина?

— Ямасина — вон она. Нет, это еще немного дальше.

Действительно, вот и Ямасина они проехали. Да что Ямасина. Незаметно оставили позади Сэкияма, а там солнце перевалило за полдень, и они подъехали к храму

Миидэра. В храме у Тосихито оказался приятель-монах. Зашли к монаху, отобедали у него, а по окончании трапезы снова взгромоздились на коней и пустились в дорогу. Теперь их путь, в отличие от прежнего, лежал через совершенно уже пустынную местность. А надо сказать, что в те времена повсюду рыскали шайки разбойников... Гои, совсем сгорбившись, заглянул Тосихито в лицо и осведомился:

— Нам далеко еще?

Тосихито улыбнулся. Так улыбается взрослому мальчишка, которого уличили в проказливой шалости. У кончика носа собираются морщины, мускулы вокруг глаз растягиваются, и кажется, будто он готов разразиться смехом, но не решается.

— Говоря по правде, я вознамерился отвезти тебя к себе в Цуруга,— произнес наконец Тосихито и, рассмеявшись, указал плетью куда-то вдаль. Там ослепительно сверкнуло под лучами солнца озеро Оми.

Гои растерялся.

— Вы изволили сказать — в Цуруга? Ту, что в провинции Этидзэн? Ту самую?

Он уже слышал сегодня, что Тосихито, ставши зятем цуругского Арихито Фудзивара, большею частью живет в Цуруга. Однако до сего момента ему и в голову не приходило, что Тосихито потащит его туда. Прежде всего, разве возможно благополучно добраться до провинции Этидзэн, лежащей за многими горами и реками, вот так — вдвоем, в сопровождении всего лишь двух слуг? Да еще в такие времена, когда повсеместно ходят слухи о несчастных путниках, убитых разбойниками... Гои умоляюще поглядел на Тосихито.

— Да как же это так? — проговорил он. — Я думал, что надо ехать до Хигасияма, а оказалось, что едем до Ямасина. Доехали до Ямасина, а оказалось, что надо в Миидэра... И вот теперь вы говорите, что надо в Цуруга, в провинцию Этидзэн... Как же так... если бы вы хоть сразу сказали, а то потащили с собой, как холопа какого-нибудь... В Цуруга, это же нелепо...

Гои едва не плакал. Если бы надежда «нажраться бататовой каши» не возбудила его смелости, он, вероятно, тут же оставил бы Тосихито и повернул обратно в Киото. Тосихито же, видя его смятение, слегка сдвинул брови и насмешливо сказал:

— Раз с тобой Тосихито, считай, что с тобой тысяча человек. Не беспокойся, ничего не случится в дороге.

Затем он подозвал оруженосца, принял от него колчан и повесил за спину, взял у него лук, блестящий черным лаком, и положил перед собой поперек седла, тронул коня и поехал вперед. Лишенному самолюбия гои ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле Тосихито. Боязливо поглядывая на пустынные просторы окрест себя, он бормотал полузабытую сутру «Каннон-кё», красный нос его почти касался луки седла, и он однообразно раскачивался в такт шагам своей нерезвой лошади.

Равнина, эхом отдающая стук копыт, была покрыта зарослями желтого мисканта. Там и сям виднелись лужи, в них холодно отражалось голубое небо, и потому никак не верилось, что они покроются льдом в этот зимний вечер. Вдали тянулся горный хребет, солнце стояло позади него, и он представлялся длинной темно-лиловой тенью, где не было уже заметно обычного сверкания нестаявшего снега. Впрочем, унылые кущи мисканта то и дело скрывали эту картину от глаз путешественников... Вдруг Тосихито, повернувшись к гои, живо сказал:

— А вот и подходящий посыльный нашелся! Сейчас я передам с ним поручение в Цуруга.

Гои не понял, что имеет в виду Тосихито. Он со страхом поглядел в ту сторону, куда Тосихито указывал своим луком, но по-прежнему нигде не было видно ни одного человека. Только одна лисица лениво пробиралась через густую лозу, отсвечивая теплым цветом шубки на закатном солнце. В тот момент, когда он ее заметил, она испуганно подпрыгнула и бросилась бежать — это Тосихито, взмахнув плеткой, пустил к ней вскачь своего коня. Гои, забыв обо всем, помчался следом. Слуги, конечно, тоже не задержались. Некоторое время равнина оглашалась дробным стуком копыт по камням, затем наконец Тосихито остановился. Лисица была уже поймана. Он держал ее за задние лапы, и она висела вниз головой у его седла. Вероятно, он гнал ее до тех пор, пока она могла бежать, а затем догнал и схватил. Гои, возбужденно вытирая пот, выступивший в реденьких усах, подъехал к нему.

— Ну, лиса, слушай меня хорошенько! — нарочито напыщенным тоном произнес Тосихито, подняв лису перед своими глазами. — Нынче же ночью явишься ты в поместье цуругского Тосихито и скажешь там так: «Тосихито вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи выслать ему навстречу в Такасима людей, да с ними пригнать двух коней под седлами». Запомнила?

С последним словом он разок встряхнул лису и зашвырнул ее далеко в заросли кустарника. Слуги, к тому времени уже нагнавшие их, с хохотом захлопали в ладоши и заорали ей вслед: «Пошла! Пошла!» Зверек, мелькая шкуркой цвета опавших листьев, удирал со всех ног, не разбирая дороги среди камней и корней деревьев. С того места, где стояли люди, все было видно как на ладони, потому что как раз отсюда равнина начинала плавно понижаться и переходила в русло высохшей реки.

— Отменный посланец, — проговорил гой.

Он с наивным восхищением и благоговением взирал снизу вверх на лицо этого дикого воина, который даже лисицу обводит вокруг пальца. О том, в чем состоит разница между ним и Тосихито, он не имел времени подумать. Он только отчетливо ощущал, что пределы, в которых властвует воля Тосихито, очень широки, и его собственная воля тоже теперь заключена в них и свободна лишь постольку, поскольку это допускает воля Тосихито... Лесть в таких обстоятельствах рождается, видимо, совершенно естественным образом. И впредь, даже отмечая в поведении красноносого гой шутовские черты, не следует только из-за них опрометчиво сомневаться в характере этого человека.

Отброшенная лисица кубарем сбегала вниз по склону, ловко проскользнула между камнями через русло пересохшей реки и по диагонали вынеслась на противоположный склон. На бегу она обернулась. Самураи, поймавшие ее, все еще возвышались на своих конях на гребне далекого склона. Они казались маленькими, не больше чем в палец величиной. Особенно отчетливо были видны гнедой и буланный: облитые вечерним солнцем, они были нарисованы в морозном воздухе.

Лисица оглянулась снова и вихрем понеслась сквозь заросли сухой травы.

Как и предполагалось, на следующий день в час Змеи путники подъехали к Такасима. Это была тихая деревушка у вод озера Бива, несколько соломенных крыш, разбросанных там и сям под хмурым, не таким, как вчера, заволоченным тучами небом. В просветы между соснами, росшими на берегу, холодно глядела, похожая на неотполированное зеркало поверхность озера, покрытая легкой пепельной рябью. Тут Тосихито обернулся к гои и сказал:

— Взгляни туда. Нас встречают мои люди.

Гои взглянул — действительно, между соснами с берега к ним спешили двадцать — тридцать человек верховых и пеших, с развевающимися на зимнем ветру рукавами, ведя в поводу двух коней под седлами. Остановившись на должном расстоянии, верховые торопливо сошли с коней, пешие почтительно склонились у обочины, и все стали с благоговением ожидать приближения Тосихито.

— Я вижу, лиса выполнила ваше поручение.

— У этого животного натура оборотня, выполнить такое поручение для нее раз плюнуть.

Так, разговаривая, Тосихито и гои подъехали к ожидающей челяди.

— Стремянные! — произнес Тосихито.

Почтительно склонившиеся люди торопливо вскочили и взяли коней под уздцы. Все вдруг сразу возликовали.

Тосихито и гои сошли на землю. Едва они уселись на меховую подстилку, как перед лицом Тосихито встал седой слуга в коричневом суйкане и сказал:

— Странное дело приключилось вчера вечером.

— Что такое? — лениво осведомился Тосихито, передавая гои поднесенные слугами ящички вариго с кусками и бамбуковые фляги.

— Позвольте доложить. Вчера вечером в час Пса госпожа неожиданно потеряла сознание. В беспамяත්стве она сказала: «Я — лиса из Сакамото. Приблизьтесь и хорошенько слушайте, я передаю вам то, что сказал сегодня господин». Когда все собрались, госпожа соизволила сказать такие слова: «Господин вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу

Змеи вышлите ему навстречу в Такасима людей, да с ними пригоните двух коней под седлами».

— Это поистине странное дело,— согласился гои, чтобы доставить удовольствие господину и слуге, а сам переводил зоркий взгляд с одного на другого.

— Это еще не все, что соизволила сказать госпожа. После этого она устрашающе затряслась, закричала: «Не опоздайте, иначе господин изгонит меня из родового дома!» — а затем безутешно заплакала.

— Что же было дальше?

— Дальше она погрузилась в сон. Когда мы выезжали, она еще не изволила пробудиться.

— Каково? — с торжеством произнес Тосихито, обернувшись к гои, когда слуга замолчал.— Даже звери служат Тосихито!

— Остается только подивиться,— отозвался гои, склонивши голову и почесывая свой красный нос. Затем, изобразив на своем лице крайнее изумление, он застыл с раскрытым ртом. В усах его застряли капли сакэ.

\* \* \*

Прошел день, и наступила ночь. Гои лежал без сна в одном из помещений усадьбы Тосихито, уставясь невидящим взглядом на огонек светильника. В душе его одно за другим проплывали впечатления вечера накануне — Мацуяма, Огава, Карэно, которые они проезжали на пути сюда, болтая и смеясь, запахи трав, древесной листвы, камней, дыма костров, на которых жгли прошлогоднюю ботву; и чувство огромного облегчения, когда они подъехали наконец к усадьбе и сквозь вечерний туман он увидел красное пламя углей в длинных ящиках. Сейчас, в постели, обо всем этом думалось как о чем-то далеком и давнем. Гои с наслаждением вытянул ноги под желтым теплым плащом и мысленным взором задумчиво обозрел свое нынешнее положение.

Под нарядным плащом на нем были два подбитых ватой кимоно из блестящего шелка, одолженные Тосихито. В одной этой одежде так тепло, что можно даже, пожалуй, вспотеть. А тут еще поддает жару сакэ, в изобилии выпитое за ужином. Там, прямо за ставней у изголовья, раскинулся широкий двор, весь блестящий от инея, но в таком вот блаженном состоянии это не

страшно. Огромная разница по сравнению с теми временами, скажем, когда он был в Киото учеником самурая. И все же в душе нашего гои зрело какое-то несообразное беспокойство. Во-первых, время тянулось слишком медленно. А с другой стороны, он чувствовал себя так, словно ему вовсе не хочется, чтобы рассвет — и час наслаждения бататовой кашей — наступил поскорее. И в столкновении этих противоречивых чувств возбуждение, овладевшее им из-за резкой перемены обстановки, улеглось, застыло, под стать сегодняшней погоде. Все это, вместе взятое, мешало ему и отнимало надежду на то, что даже вожденное тепло даст ему возможность заснуть.

И тут во дворе раздался громовой голос. Судя по всему, голос принадлежал тому самому седому слуге, который встречал их давеча на середине пути. Этот сухой голос, потому ли, что он звучал на морозе, был страшен, и гои казалось, будто каждое слово отдается у него в костях порывами ледяного ветра.

— Слушать меня, холопы! Во исполнение воли господина пусть каждый принесет сюда завтра утром к часу Зайца по мешку горных бататов в три сун толщиной и в пять сяку длиной! Не забудьте! К часу Зайца!

Он повторил это несколько раз, а затем замолк, и снаружи снова вдруг воцарилась зимняя ночь. В тишине было слышно, как шипит масло в светильнике. Трепетал огонек, похожий на ленточку красного шелка. Гои зевнул, пожевал губами и снова погрузился в бессвязные думы. Горные бататы было велено принести, конечно, для бататовой каши... Едва он подумал об этом, как в душу его опять вернулось беспокойное чувство, о котором он забыл, прислушиваясь к голосу во дворе. С еще большей силой, нежели раньше, ощутил он, как ему хочется по возможности оттянуть угощение бататовой кашей, и это ощущение зловеще укрепилось в его сознании. Так легко явился ему случай «нажраться бататовой каши», но терпеливое ожидание в течение стольких лет казалось теперь совершенно бессмысленным. Когда можешь поесть, тогда вдруг возникает какое-либо тому препятствие, а когда не можешь, это препятствие исчезает, и теперь хочется, чтобы вся процедура угощения, которого наконец дождался, прошла как-нибудь благополучно... Эти мысли, подобно

волчку, неотвязно кружились в голове у гои, пока, истомленный усталостью, он не заснул внезапно мертвым сном.

Проснувшись на следующее утро, он сразу вспомнил о горных бататах, торопливо поднял штору и выглянул наружу. Видимо, он проспал, и час Зайца прошел уже давно. Во дворе на длинных циновках горой громоздились до самой крыши несколько тысяч предметов, похожих на закругленные бревна. Приглядевшись, он понял, что все это — невероятно громадные горные бататы толщиной в три сун и длиной в пять сяку.

Протирая заспанные глаза, он с изумлением, почти с ужасом тупо взирал на то, что делается во дворе. Повсюду на заново сколоченных козлах стояли рядами по пять-шесть больших котлов, вокруг которых сутились десятки женщин подлого звания в белых одеждах. Они готовились к приготовлению бататовой каши — одни разжигали огонь, другие выгребали золу, третьи, черпая новенькими деревянными кадушками, заливали в котлы виноградный сироп, и все мельтешило так, что в глазах рябило. Дым из-под котлов и пар от сиропа смешивались с утренним туманом, еще не успевшим рассеяться, и весь двор скоро заволокло серой мглой, и в этой мгле выделялось яркими красными пятнами только яростно бьющее под котлами пламя. Все, что видели глаза, все, что слышали уши, являло собой сцену страшного переполоха не то на поле боя, не то на пожаре. Гои с особенной ясностью мысли подумал о том, что вот эти гигантские бататы в этих гигантских котлах превратятся в бататовую кашу. И еще он подумал о том, что тащился из Киото сюда, в Цуруга, в далекую провинцию Этидзэн, специально для того, чтобы есть эту самую бататовую кашу. И чем больше он думал, тем тоскливее ему становилось. Достойный сострадания аппетит нашего гои к этому времени уже уменьшился наполовину.

Через час гои сидел за завтраком вместе с Тосихито и его тестем Арихито. Перед ним стоял один-единственный серебряный котелок, но котелок этот был до краев наполнен изобильной, словно море, бататовой кашей. Гои только недавно видел, как несколько десятков молодых парней, ловко действуя тесаками, искрошили один за другим всю гору бататов, громоздившихся до



самой крыши. Он видел, как служанки, суетливо бегая взад и вперед, свалили искрошенные бататы в котлы до последнего кусочка. Он видел, наконец, когда на циновках не осталось ни одного батата, как из котлов поплыли, изгибаясь, в ясное утреннее небо столбы горячего пара, напитанные запахами бататов и виноградного сиропа. Он видел все это своими глазами, и ничего удивительного не было в том, что теперь, сидя перед полным котелком и еще не прикоснувшись к нему, он уже чувствовал себя сытым... Он неловко вытер со лба пот.

— Тебе не приходилось поестъ всласть бататовой каши,— произнес Арихито.— Приступай же без стеснения.

Он повернулся к мальчикам-слугам, и по его приказу на столе появилось еще несколько серебряных котелков. И все они до краев были наполнены бататовой кашей. Гои зажмурился, его красный нос покраснел еще сильнее, и он, погрузив в кашу глиняный черпак, через силу одолел половину котелка. Тосихито пододвинул ему полный котелок и сказал, безжалостно смеясь:

— Отец же сказал тебе. Валяй, не стесняйся.

Гои понял, что дело плохо. Говорить о стеснении не приходилось, он с самого начала видеть не мог этой каши. Половину котелка он, преодолевая себя, кое-как одолел. А дальше выхода не было. Если он съест еще хоть немного, то все поперет из глотки обратно, а если он откажется, то потеряет расположение Тосихито и Арихито. Гои снова зажмурился и проглотил примерно треть оставшейся половины. Больше он не мог проглотить ни капли.

— Покорно благодарю,— пробормотал он в смятении.— Я уже наелся досыта... Не могу больше, покорно благодарю.

У него был жалкий вид, на его усах и на кончике носа, как будто в разгар лета, висели крупные капли пота.

— Ты ел еще мало,— произнес Арихито и добавил, обращаясь к слугам.— Гость, как видно, стесняется. Что же вы стоите?

Слуги по приказу Арихито взялись было за черпаки, чтобы набрать каши из полного котелка, но гои, зама-

хав руками, словно отгоняя мух, стал униженно отказываться.

— Нет-нет, уже довольно,— бормотал он.— Очень извиняюсь, но мне уже достаточно...

Вероятно, Арихито продолжал бы действительно потчевать гои, но в это время Тосихито вдруг указал на крышу дома напротив и сказал: «Ого, глядите-ка!» И это, к счастью, отвлекло всеобщее внимание. Все посмотрели. Крыша была залита лучами утреннего солнца. И там, купая глянцевитый мех в этом ослепительном свете, восседал некий зверек. Та самая лиса из Сакамото, которую поймал позавчера на сухих пустошах Тосихито.

— Лиса тоже пожаловала отведать бататовой каши,— сказал Тосихито.— Эй, кто там, дайте пожрать этой твари!

Приказ был немедленно выполнен. Лиса спрыгнула с крыши и тут же во дворе приняла участие в угощении.

Уставясь на лису, лакающую бататовую кашу, гои с грустью и умилением мысленно оглянулся на себя самого, каким он был до приезда сюда. Это был он, над кем потешались многие самураи. Это был он, кого даже уличные мальчишки обзывали красноносым. Это был он, одинокий человек в выцветшем суйкане и драных хакама, кто уныло, как бездомный пес, слонялся по улице Судзаку. И все же это был он, счастливый гои, лелеявший мечту поесть всласть бататовой каши... От сознания, что больше никогда в жизни он не возьмет в рот эту бататовую кашу, на него снизошло успокоение, и он ощутил, как высыхает на нем пот, и высохла даже капля на кончике носа. По утрам в Цуруга солнечно, однако ветер пробирает до костей. Гои торопливо схватился за нос и громко чихнул в серебряный котелок.

*Сентябрь 1916 г.*

## ОБЕЗЬЯНА

Дело было в то время, когда я, возвратившись из дальнего плавания, уже готов был проститься со званием «хангёку» (так на военных кораблях называют кадетов). Это произошло на третий день после того, как наш броненосец вошел в порт Екóсука, часа в три дня. Как всегда, громко протрубил рожок, призывавший на переключку увольняемых на берег. Не успела у нас мелькнуть мысль: «Да ведь сегодня очередь сходить на берег правобортовым, а они уже выстроились на верхней палубе!» — как вдруг протрубили общий сбор. Общий сбор — дело нешуточное. Решительно ничего не понимая, мы бросились наверх, на бегу спрашивая друг друга, что случилось.

Когда все построились, помощник командира сказал нам так:

— За последнее время на нашем корабле появились случаи кражи. В частности, вчера, когда из города приходил часовщик, у кого-то пропали серебряные карманные часы. Поэтому сегодня мы произведем поголовный обыск команды, а также осмотрим личные вещи.

Вот что примерно он нам сказал. О случае с часовщиком я слышал впервые, но что у нас бывали покражи, это мы знали: у одного унтер-офицера и у двоих матросов пропали деньги.

Раз личный обыск, понятно, всем пришлось раздеться догола. Хорошо, что было только начало октября, когда кажется, что еще лето, — стоит лишь посмотреть, как ярко озаряет солнце буи, колышущиеся в гавани, — и раздеваться не так уж страшно. Одна беда: у некоторых из тех, кто собирался на берег повеселиться, при обыске нашли в карманах порнографические открытки, превентивные средства. Они стояли красные, растерянные, не знали, куда деться. Кажется, двоих-троих офицеры побили.

Как бы там ни было, когда всей команды шестьсот человек, то для самого краткого обыска все-таки нужно время. И странное же это было зрелище, более странного не увидишь: шестьсот человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с черными лицами и руками, — кочегары; в краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах: хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно.

Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз — ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах, и я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За все время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые, и рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Мákита, тоже кадет, как и я, нашел украденные вещи. И часы и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нарáсима. Там же нашелся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда.

Скомандовали «разойтись» и сейчас же после этого — «собраться сигнальщикам». Остальные, конечно, были рады-радешеньки. В особенности кочегары, на которых пало подозрение, — они чувствовали себя прямо счастливыми. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет.

Я-то был еще неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находят, а виновник — нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, при-

чем в девяти случаях из десяти вешаются в угольном трюме, в воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли еще живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь.

Поскольку случались такие вещи, то, когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем, но сейчас он даже в лице изменился и так волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрительно переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис!

Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться, однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго — так строго, что штатскому даже не понять, — соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация — великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз.

Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал:

— Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну.

— Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, все будет в порядке.

— Ну, знаешь, если мы будем благодушествовать, как раз и упустим — удерет.

— Пусть удирает. Обезьяна — она и есть обезьяна.

Так, перебрасываясь шутками, мы спустились вниз.

Речь шла об обезьяне, которую во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За два дня до захода в Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти и тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль — снизу, от самой коче-

гарки, доверху, до артиллерийских башен, словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было множество других животных и птиц, у кого — полученных в подарок, у кого — купленных, так что, пока мы бегали по кораблю, собаки хватили нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые, — в общем, все было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, ее не упустили. Один из них схватил ее за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию — двухдневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и еще до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. «Как увидел ее такую унылую — хоть обезьяна, а все же жалко стало», — говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной.

Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблескивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, — прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от неожиданности: у входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена, и я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой.

Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всем теле. Оно — как бы это сказать? — было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьем в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нара-

сима и быстрее, чем кидается на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи.

— Нарасима!

Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос мой как-то странно дрожал. Нечего говорить, что это и в самом деле был виновный — Нарасима.

Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, все так же видимый из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» — этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли — и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остается, когда бежать некуда, это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесется, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, что ожидаемого сопротивления не последовало, и еще более этим раздраженный, я смотрел на это «тихо» поднятое лицо.

Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы — вот какое это было лицо! И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слез глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подергивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воле. И само это потное, землисто-серое лицо — его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, это страшное выражение — его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом свое описание. Я почувствовал, что это выражение как молния выжгло что-то у меня в душе — так сильно потрясло меня лицо матроса.

— Негодяй! Чего тебе тут надо? — сказал я.

И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» — я сам. Что мог бы я ответить на вопрос: «Негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать: «Я хочу сделать из этого человека преступника»? Кто мог бы это сделать, глядя на такое лицо? Так, как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения про-

мелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг еле слышно, но отчетливо донеслись до моего слуха слова: «Мне стыдно».

Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало мое собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало «стыдно», как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм.

Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключенных там часто заставляют «таскать ядра». Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать с места на место на расстояние нескольких метров чугунные шары весом в девятнадцать кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительней этого для заключенных нет ничего. Помню у Достоевского в «Мертвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остается лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал,— веснушчатый, робкий, тихий человек...

Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошел Макита и шутливо сказал:

— Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой.

Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь.

— Нарасима — человек. Он не обезьяна,— ответил я резко и отошел от борта.

Остальные, конечно, удивились: мы с Макита еще в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились.


Шагая по палубе от кормы к носу, я с теплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику, как к обезьяне, а он ему по-человечески



сочувствовал. И мы, дураки, еще презирали его — невыразимая глупость! У меня стало скверно на душе, я понурил голову. И опять зашагал по уже темной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится.

Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он просидел за решеткой: потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания, человека же простить нельзя.

*Сентябрь 1916 г.*



---

НОСОВОЙ  
ПЛАТОК

Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Драматургию» Стриндберга.

Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал «Драматургию», может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как ученый, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, не нужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis»<sup>1</sup> и «Замыслы» Оскара Уайльда — книги, которыми зачитывались студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стриндберге

---

<sup>1</sup> «Из глубины» (лат.).

или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов сделать сочинение драм делом всей своей жизни.

Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в желтом холщовом переплете на колени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь-гифу. Странно, стоило профессору отложить книгу, как мысль его покидала Стриндберга. Вместо Стриндберга ему приходила на ум жена, с которой они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке, во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь-гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о страсти его жены ко всему японскому.

Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре-гифу, а также о представленной этим фонарем японской культуре. Профессор был убежден, что за последние пятнадцать лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего, достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришел к заключению, что, кроме бусидо — этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом, что весьма ценно. И, возможно, способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь-гифу и представленная этим

фонарем японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен.

Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стриндберга. Он сокрушенно покачал головой и опять со всем прилежанием уставился в строчки мелкой печати. В абзаце, за который он только что принялся, было написано следующее:

«...Когда актер находит удачное средство для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический прием...»

Профессор всегда относился к искусству, в частности к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попало имя Байко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил:

— Послушайте, кто такой этот — Байко?

— Байко? Байко — актер театра Тэйкёку в Маруноути. Сейчас он играет роль Мисао в десятом акте пьесы «Тайкёки», — вежливо ответил студент в дешевеньких хакама.

Поэтому и о различных манерах игры, которые Стриндберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стриндберга почти так же, как читает пьесы Еернарда Шоу учитель английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако так или иначе, интерес есть интерес.

С потолка веранды свисает еще не зажженный фонарь-гифу. А в плетеном кресле профессор Хасэгава Киндзо читает «Драматургию» Стриндберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходило после обеда в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что про-

фессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод — значит намеренно стараться истолковать прервратно чувства, с которыми я пишу... Но тут профессору пришлось прервать чтение Стриндберга на полуслове, — чистым наслаждениям профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей. Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не уморят профессора делами...

Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано: «Нисийама Тóкуко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокояно оправляя на себе легкое кимоно из шелкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь-гифу. Вероятно, всякому случалось бывать в таком положении, и в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идет о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось и не такой незнакомой гостьи.

Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приемную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет сорока поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в легкое кимоно лиловато-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить; и там, где хаори из черного шелкового газа, слегка прикрывавшее грудь, расходилось, виднелась нефритовая застежка на поясе в форме водяного ореха. Что волосы у гостьи уложены в прическу «марумагэ» — это даже профессор, обычно не обращавший внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Женщина была круглолица, с характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости — интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что ее лицо он уже где-то видел.

— Хасэгава,— любезно поклонился профессор: он подумал, что если они с гостьей уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет.

— Я мать Нисияма Конъитиро́,— ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон.

Нисияма Конъитиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ибсене и Стрикдберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет занялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспалением брюшины и лег в университетскую больницу; профессор раза два его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни.

— А, Нисияма-кун... вот как! — Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком: — Прошу.

Извинившись за неожиданный визит и вежливо поблагодарив, дама села на указанный ей стул. При этом она вынула из рукава что-то белое, видимо, носовой платок. Профессор сейчас же предложил ей лежавший на столе корейский веер и сел напротив.

— У вас прекрасная квартира.

Дама с преувеличенным вниманием обвела взглядом комнату.

— О нет, разве только просторная.

Профессор, привыкший к таким похвалам, пододвинул гостье холодный чай, только что принесенный горничной, и сейчас же перевел разговор на сына гостьи.

— Как Нисияма-кун? Особых перемен в его состоянии нет?

— Н-нет...

Скромно сложив руки на коленях, дама умолкла на минуту, а потом тихо произнесла,— произнесла все тем же спокойным, ровным тоном:

— Да я, собственно, и пришла из-за сына, с ним случилось несчастье. Он был многим вам обязан...

Профессор, полагая, что гостья не пьет чай из застенчивости, решил, что лучше самому подать пример, чем назойливо, нудно угощать, и уже собирался поднести ко рту чашку черного чая. Но не успела чашка коснуться мягких усов, как слова дамы поразили про-

фессора. Выпить чай или не выпить?.. Эта мысль на мгновение беспокоила его совершенно независимо от мысли о смерти юноши. Но не держать же чашку у рта до бесконечности! Решившись, профессор залпом отпил полчашки, слегка нахмурился и сдавленным голосом проговорил:

— О, вот оно что!..

— ...и когда он лежал в больнице, то часто говорил о вас. Поэтому, хотя я знаю, что вы очень заняты, я все же взяла на себя смелость сообщить вам о смерти сына и вместе с тем выразить свою благодарность...

— Нет, что вы...

Профессор поставил чашку, взял синий вощенный веер и с прискорбием произнес:

— Вот оно что! Какое несчастье! И как раз в том возрасте, когда все впереди... А я, не получая из больницы вестей, думал, что ему лучше... Когда же он скончался?

— Вчера был как раз седьмой день.

— В больнице?

— Да.

— Поистине неожиданно!

— Во всяком случае, все было сделано, все возможное, значит — остается только примириться с судьбой. И все же, когда это случилось, — я нет-нет да и начинала роптать. Нехорошо.

Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у нее не было слез. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на нее, можно было подумать, что разговор идет о повседневных мелочах. Профессору это показалось странным.

...Очень давно, когда профессор учился в Берлине, скончался отец нынешнего кайзера, Вильгельм I. Профессор услышал об этом в своем любимом кафе, и, разумеется, известие не произвело на него особо сильного впечатления. С обычным своим энергичным видом, с тросточкой под мышкой он возвращался к себе в пансионат, и тут, едва только открылась дверь, как двое детей хозяйки бросились к нему на шею и громко рас-

плакались. Это были девочка лет двенадцати в коричневой кофточке и девятилетний мальчик в коротких синих штанишках. Не понимая, в чем дело, профессор, горячо любивший детей, стал гладить светловолосые головки и ласково утешать их, приговаривая: «Ну в чем дело, что случилось?» Но дети не унимались. Наконец, всхлипывая, они проговорили: «Дедушка-император умер!»

Профессор удивился тому, что смерть главы государства оплакивают даже дети. Но это заставило его задуматься не только над отношениями между царствующим домом и народом. На Западе его, японца, приверженца бусидо, постоянно поражала непривычная для его восприятия импульсивность европейцев в выражении чувств. Смешанное чувство недоверия и симпатии, которое он в таких случаях испытывал, он до сих пор не мог забыть, даже если бы хотел. А теперь профессор сам удивлялся тому, что дама не плачет.

Однако за первым открытием немедленно последовало второе.

Это случилось, когда от воспоминаний об умершем юноше они перешли к мелочам повседневной жизни и вновь вернулись к воспоминаниям о нем. Вышло так, что бумажный веер, выскользнув из рук профессора, упал на паркетный пол. Разговор не был настолько напряженным, чтобы его нельзя было на минуту прервать. Поэтому профессор нагнулся за веером. Он лежал под столиком, как раз возле спрятанных в туфли белых таби гости.

В эту секунду профессор случайно взглянул на колени дамы. На коленях лежали ее руки, державшие носовой платок. Разумеется, само по себе это еще не было открытием. Но тут профессор заметил, что руки у дамы сильно дрожат. Он заметил, что она, вероятно, сиюсь подавить волнение, обеими руками изо всех сил комкает платок, так что он чуть не рвется. И, наконец, он заметил, что в тонких пальцах вышитые концы смятого шелкового платочка подрагивают, словно от дуновения ветерка. Дама лицом улыбалась, на самом же деле всем существом своим рыдала.

Когда профессор поднял веер и выпрямился, на лице его было новое выражение: чрезвычайно сложное, в какой-то мере театрально преувеличенное выражение,



которое складывалось из чувства почтительного смущения оттого, что он увидел нечто, чего ему видеть не полагалось, и какого-то удовлетворения, проистекавшего из сознания этого чувства.

— Даже я, не имея детей, хорошо понимаю, как вам тяжело,— сказал профессор тихим, прочувствованным голосом, несколько напряженно запрокинув голову, как будто он смотрел на что-то ослепляющее.

— Благодарю вас. Но теперь, как бы там ни было, это непоправимо.

Дама слегка наклонила голову. Ясное лицо было по-прежнему озарено спокойной улыбкой.

\* \* \*

Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, затем поел вишен и опять удобно уселся в плетеное кресло на веранде.

В летние сумерки долго еще держится слабый свет, и на просторной веранде с раскрытой настежь стеклянной дверью все никак не темнело. Профессор давно уже сидел в полусумраке, положив ногу на ногу и прислонившись головой к спинке кресла, и рассеянно глядел на красные кисти фонаря-гифу. Книга Стриндберга снова была у него в руках, но, кажется, он не прочел ни одной страницы. Вполне естественно. Мысли профессора все еще были полны героическим поведением госпожи Нисияма Токуко.

За ужином профессор подробно рассказал обо всем жене. Он похвалил поведение гостыи, назвав его бусидо японских женщин. Выслушав эту историю, жена, любившая Японию и японцев, не могла не отнестись к рассказу мужа с сочувствием. Профессор был доволен тем, что нашел в жене увлеченную слушательницу. Теперь в сознании профессора на некоем этическом фоне вырисовывались уже три представления — жена, дама-гостыи и фонарь-гифу.

Профессор долго пребывал в такой счастливой задумчивости. Но вдруг ему вспомнилось, что его просили прислать статью для одного журнала. В этом журнале под рубрикой «Письма современному юношеству» публиковались взгляды различных авторитетов на вопросы морали. Использовать сегодняшний случай и сейчас же

изложить и послать свои впечатления?.. При этой мысли профессор почесал голову.

В руке, которой профессор почесал голову, была книга. Вспомнив о книге, он раскрыл ее на недочитанной странице, которая была заложена визитной карточкой. Как раз в эту минуту вошла горничная и зажгла над его головой фонарь-гифу, так что даже мелкую печать можно было читать без затруднения. Профессор рассеянно, в сущности, не собираясь читать, опустил глаза на страницу. Стриндберг писал:

«В пору моей молодости много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки. Это был прием двойной игры, заключающейся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...»

Профессор опустил книгу на колени. Он оставил ее раскрытой, и на странице все еще лежала карточка Нисияма Токуко. Но мысли профессора были заняты уже не этой дамой. И не женой, и не японской культурой. А чем-то еще неясным, что грозило разрушить безмятежную гармонию его мира. Сценический прием, мимоходом высмеянный Стриндбергом, и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. Однако в намеке, скрытом в прочитанной фразе, было что-то такое, что расстраивало благодущие разнеженного ванной профессора. Бусидо и этот прием...

Профессор недовольно покачал головой и стал снова смотреть вверх, на яркий свет разрисованного осенними травами фонаря-гифу.

*Октябрь 1916 г.*

## ТАБАК И ДЬЯВОЛ

В былые времена в Японии о табаке и понятия не имели. Свидетельства же хроник о том, когда он попал в нашу страну, крайне разноречивы. В одних говорится, что это произошло в годы Кэйтё, в других — что это случилось в годы Тэммон. Правда, уже к десятому году Кэйтё табак в нашей стране выращивался, видимо, повсеместно. Насколько курение табачных листьев вошло тогда в обычай, свидетельствует популярная песенка годов Бунроку.

Неслыханно!  
На картишки — запрет,  
На табак — запрет!  
Лекаришка  
Имя китайское нацепил.

Кто же привез табак в Японию? Чьих это рук дело? Историки — о, те отвечают единодушно: или португальцы, или испанцы. Есть, однако, и другие ответы на этот вопрос. Один из них содержится в сохранившейся от тех времен легенде. Согласно этой легенде, табак в Японию привез откуда-то дьявол. И дьявол этот проник в Японию, сопутствуя некоему католическому патеру (скорее всего святому Франциску).

Быть может, приверженцы христианской религии обвинят меня в клевете на их патера. И все же осмелюсь

сказать, что упомянутая легенда весьма похожа на правду. Почему? Ну посудите сами, ведь если вместе с богом Южных Варваров в Японию является и дьявол Южных Варваров, естественно, что вместе с благом к нам обычно попадает из Европы и скверна.

Я вряд ли смогу доказать, что табак в Японию привез дьявол. Однако сумел же дьявол, как писал о том Анатоль Франс, соблазнить некоего деревенского кюре с помощью куста резеды. Именно последнее обстоятельство принудило меня окончательно усомниться в том, что история о табаке и дьяволе — совершенная ложь. Впрочем, окажись она все же ложью, как ошибся бы тот, кто не увидел бы в этой лжи хоть малой доли истины.

Поэтому-то я и решился рассказать историю о том, как попал табак в нашу страну.

\* \* \*

В восемнадцатом году Тэммон дьявол, оборотившись миссионером, сопровождавшим Франциска Ксавье, благополучно одолел длинный морской путь и прибыл в Японию...

Миссионером он обернулся вот как. Однажды, когда черный корабль остановился то ли близ Амакава, то ли еще где-то, один из миссионеров вздумал сойти на берег. Не зная об этом, корабельщики отправились далее без него. Тут-то наш дьявол, который висел вниз головой, уцепившись хвостом за рею, и вынюхивал все, что творилось на корабле, принял облик отставшего и стал усердно прислуживать святому Франциску. Для маэстро, который явился доктору Фаусту гусаром в багровом плаще, это был сущий пустяк...

Однако, приехав в нашу страну, он убедился, что увиденное никак не вяжется с тем, что он в бытность свою в Европе прочел в «Записках» Марко Поло.

Так, например, в «Записках» говорилось, что в Японии полно золота, но сколь ни прилежно глядел дьявол кругом себя, золота он так и не заметил. А, когда так, рассудил он, поскребу-ка я легонько святое распятие и превращу в золото, — хоть этим соблазну будущую паству.

Далее в «Записках» утверждалось, будто японцы постигли тайну воскрешения из мертвых посредством

силы жемчуга или еще чего-то в этом роде. Увы! И здесь Марко Поло, по всей видимости, соврал. А если и это ложь, то стоит плюнуть в каждый колодец, как вспыхнет эпидемия страшной болезни и люди от безмерных страданий и думать забудут об этом самом парайсо.

Так думал про себя дьявол, следуя за святым Франциском, удовлетворенным взглядом окидывая местность и довольно улыбаясь.

Правда, был в его затее некий изъян. И с ним даже он, дьявол, совладать не мог. Дело в том, что Франциск Ксавье попросту не успел еще начать свои проповеди, — стало быть, не появились еще вновь обращенные, а значит, дьявол не имел пока достойного противника, иными словами, ему некого было соблазнять. Есть от чего прийти в уныние, будь ты хоть тысячу раз дьявол! И самое главное — он положительно не представлял себе, как ему провести первое, самое скучное время.

Он и так раскидывал, и этак и решил наконец, что займется полеводством. В ушах у него хранились семена самых разных растений, цветов; он приготовил их загодя, отправляясь из Европы; арендовать поблизости клочок земли не представляло труда. К тому же сам святой Франциск признал это занятие вполне достойным. Святой, конечно, не сомневался, что служба его намерен вырастить в Японии какое-нибудь целебное растение.

Дьявол сразу же занял у кого-то мотыгу и с превеликим усердием начал вскапывать придорожное поле.

Стояли первые весенние дни, обильная дымка льнула к земле, и звуки дальнего колокола тянулись и навели дрему. Колокола здесь звучали мелодично, мягко, не в пример тем, к которым привык дьявол на Западе и которые бухали в самое темя. Но если бы вы решили, что дьявол поддался покою здешних мест и умилился духом, вы бы, наверное, ошиблись.

Буддийский колокол заставил его поморщиться еще более недовольно, нежели в свое время звонница св. Павла, и он с удвоенным рвением продолжал рыхлить свое поле. Эти мирные звуки колокола, эти гармонично льющиеся с горных высот солнечные лучи странным образом размягчали сердце. Мало того что здесь пропадала всякая охота творить добро, — исчезало малейшее

желание чинить зло! Стоило ехать так далеко, чтобы соблазнять японцев!

Вот почему дьявол, который всегда презирал труд, так что даже сестра Ионна укоряла его, говоря, что не нажил он мозолей на ладонях своих, ныне столь усердно махал мотыгой,— он хотел прогнать от себя нравственную лень, грозившую захватить и плоть его.

Некоторое время спустя дьявол закончил рыхление поля и бросил в готовые борозды семена, привезенные им в ушах.

\* \* \*

Прошло несколько месяцев, и семена, посеянные дьяволом, пустили ростки, вытянули стебли, а к концу лета широкие листья укрыли все поле. Названия растения не знал никто. Даже когда сам святой Франциск вопрошал дьявола, тот лишь ухмылялся и молчал.

Меж тем на кончиках стеблей густо повисли цветы. Они имели форму воронки и были бледно-лилового цвета. Глядя, как распускаются бутоны, дьявол испытывал страшную радость. Ежедневно после утренней и вечерней служб он приходил на поле и старательно ухаживал за цветами.

И вот однажды (это случилось в отсутствие святого Франциска, уехавшего на проповеди) мимо поля, таща за собой пегого бычка, проходил некий торговец скотом. За плетнем, там, где густо разрослись бледно-лиловые цветы, он увидел миссионера в черной рясе и широкополой шляпе; тот очищал листья растений от насекомых. Цветы эти сильно удивили торговца. Он невольно остановился, снял шляпу и вежливо обратился к миссионеру:

— Послушайте, достопочтенный святой! Что за цветы это, позвольте узнать?

Служка оглянулся. Короткий нос, глазки маленькие, вид у красноволосого был наидобродушнейший.

— Эти?

— Они самые, ваша милость.

Красноволосый подошел к плетню и отрицательно покачал головой. Затем на непривычном для него японском языке ответил:

— Весьма сожалею, но названия цветка открыть не могу.

— Эка незадача! Может, святой Франциск сказывал вашей милости, чтобы ваша милость не говорили об этом мне?

— Не-ет! Дело совсем в другом.

— Так скажите мне хоть одно словечко, ваша милость. Ведь и меня просветил святой Франциск и обратил к вашему богу.

Торговец с гордостью ткнул себя в грудь. В самом деле, с его шеи свисал, поблескивая на солнце, маленький латунный крестик. Вероятно, блеск его был слишком резок, иначе от чего бы миссионер опустил голову. Потом, голосом, полным сугубого добродушия, миссионер то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

— Увы, ничего не выйдет, любезный. Этого не должен знать никто на свете — таков уж порядок, заведенный в моей стране. Разве вот что — попробуй-ка ты сам угадать! Ведь японцы мудры! Угадаешь — все, что растет на поле, твое.

«Уж не смеется ли надо мной красноволосяй?» — подумал торговец.

С улыбкой на загорелом лице он почтительно склонился перед миссионером.

— Что это за штука — ума не приложу! Да и не могу я отгадать так быстро.

— Можно и не сегодня. Даю тебе три дня сроку, подумай хорошенько. Можешь даже справиться у кого-нибудь. Мне все равно. Угадай — и все это отойдет тебе. Да еще в придачу красного вина получишь. Или, ежели хочешь, подарю тебе красивых картинок, где нарисован парайсо и все святые.

Торговца, очевидно, испугала такая настойчивость:

— Ну, а коли не угадаю, тогда как?

— Коли не угадаешь. — Тут миссионер сдвинул шляпу на затылок, помахал ладошкой и рассмеялся. Рассмеялся так резко, будто ворон закаркал. Торговца даже удивил его смех. — Что ж, коли не угадаешь, тогда и я с тебя что-нибудь возьму. Так как же? По душе тебе такая сделка? Угадаешь или не угадаешь? Угадаешь — все твое.

И в голосе его прозвучало прежнее добродушие.

— Ладно, ваша милость, пусть так. А уж я расстаюсь для вашей милости, все отдам, чего ни пожелаете.

— Неужто все? Даже своего бычка?

— Коли вашей милости этого довольно будет, так хоть сейчас берите! — Торговец ухмыльнулся и хлопнул бычка по лбу. По-видимому, он был совершенно уверен, что добродушный служка решил над ним подшутить. — Зато, если выиграю я, то получу всю эту цветущую траву.

— Ладно, ладно. Итак, по рукам?!

— По рукам, ваша милость. Клянусь в том именем господина нашего Дзэсусу Кирисито.

Маленькие глаза миссионера сверкнули, и он довольно пробормотал себе что-то под нос. Затем, упершись левой рукой в бок и слегка выпятив грудь, он правой рукою коснулся светло-лиловых лепестков и сказал:

— Но если ты не угадаешь, получу я с тебя и душу твою, и тело.

С этими словами миссионер плавным движением руки снял шляпу. В густых волосах торчала пара рожек, совершенно козлиных. Торговец побледнел и выронил шляпу. Листья и цветы неведомого растения потускнели — оттого, быть может, что солнце в этот миг спряталось за тучу. Даже пегий бычок, как будто испугавшись чего-то, наклонил голову и глухо заревел; сама земля, казалось, подала голос.

— Так вот, любезный! Хоть ты обещал это *мне*, обещание есть обещание. Не так ли?! Ведь ты поручился именем, произнести которое мне не дано. Помни же о своей клятве. Сроку тебе — три дня. А теперь прощай.

Дьявол говорил учтивым тоном, и в самой учтивости его заключена была пренебрежительная усмешка. Затем он отвесил торговцу подчеркнуто вежливый поклон.

\* \* \*

Тут-то, к горести своей, понял торговец, что как последний простак дал дьяволу себя провести. Если так и дальше пойдет, не миновать ему лап нечистого и будет он жариться на «негасимом адском огне». Выходит, напрасно он отбилсЯ от прежней веры и принял крещение. И клятву нарушить никак нельзя — ведь он поклялся именем Дзэсусу Кирисито! Конечно, будь здесь святой Франциск, уж как-нибудь бы все обошлось, но святой



Франциск, к несчастью, отсутствовал. Три ночи не смыкал торговец глаз. Он измышлял способ разрушить дьявольские ковы и не придумал ничего лучшего, как любую ценой добыть имя странного цветка. Но кто скажет ему имя, которого не знал и сам святой Франциск!

Поздним вечером того дня, когда истекал срок договора, торговец, таща за собой неизменного пегого бычка, явился потихоньку к дому миссионера. Дом стоял вблизи поля и лицом был обращен к дороге. Миссионер, наверное, уже спал. Ни единой полоски света не просачивалось из его дома. Светила луна, однако было чуть пасмурно, и на тихом поле сквозь ночной полумрак там и сям виднелись унылые светло-лиловые цыты. Служка имел некий план, не слишком, правда, надежный, но при виде этого грустного места он почувствовал странную робость и решил было удрать, пока не поздно. Когда же он вообразил себе, что за теми дверьми спит господин с козлиными рожками и видит там свои адские сны, последние остатки храбрости, столь тщательно им хранимые, покинули его. Но не икать же от слабости душевной, когда душа и тело твое вот-вот угодят в лапы нечистого.

И тогда торговец, всецело положась на защиту Бирудзэн Марии, приступил к выполнению своего плана. А план был весьма прост. Развязав веревку, на которой он держал пегого бычка, торговец со всей силы пнул его ногой в зад.

Пегий бычок подпрыгнул, разломал плетень и пошел топтаться по всему полю, не забыв при этом несколько раз хорошенько боднуть и стену дома. Топот и рев, колебля слабый ночной туман, разнеслись далеко вокруг. Одно из окон распахнулось... В темноте лица видно не было, но наверняка там стоял сам дьявол в обличье миссионера. На голове служки торчали рога. Впрочем, торговцу, быть может, это только помешалось.

— Какая скотина топчет там мой табак? — спросонья закричал дьявол, размахивая руками. Он был чрезвычайно разгневан, — кто-то осмелился прервать его сон. Но торговцу, прятавшемуся за полем, его хриплая ругань показалась божьим гласом.

— Какая скотина топчет там мой табак!!!

\* \* \*

Дальнейшие события развивались вполне счастливо, как и во всех подобного рода историях. Угадав название цветка, торговец оставил дьявола в дураках. Весь табак, возросший на его поле, он забрал себе. Вот и все.

Но тут я задумался, не таит ли старинная эта легенда более глубокого смысла. Пусть дьяволу не удалось заполучить душу и тело торговца, зато он распродал табак по всей нашей стране. То есть, я хочу сказать, не сопутствовал ли поражению дьявола успех, равно как спасению торговца падение. Дьявол, коли уж упадет, даром не встанет. И разве не бывает так, что человек, уверенный, будто поборол искушение, неожиданно для себя оказывается его рабом?

Попутно, очень коротко, расскажу о дальнейшей судьбе дьявола. По возвращении своем святой Франциск силою священной пентаграммы изгнал дьявола из пределов страны. Но и после этого он появлялся то тут, то там в обличье миссионера. Согласно одной из хроник, он частенько навещался в Киото как раз тогда, когда там возводился храм Намбандзи. Существует версия, будто Касин Кодзи, тот самый, который поднял на смех Мацунага Дандзё, и был этим дьяволом. Впрочем, дабы не отнимать драгоценного времени, я отсылаю вас к трудам достопочтенного Лефкадио Хёрна. После того как Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру, кое-кто еще видел дьявола, но потом он исчез совершенно. На этом свидетельства хроник о нем обрываются. Жаль только, что мы ничего не знаем о деятельности дьявола, когда он появился в Японии вновь, после Мэйдзи...

*Ноябрь 1916 г.*

|

---

MENSURA  
ZOILA<sup>1</sup>

Я сижу за столом посреди пароходного салона, напротив какого-то странного человека.

Погодите! Я говорю — пароходный салон, но я в этом не уверен. Хотя море за окном и вся обстановка вызывают такое предположение, но я допускаю, что может быть, это и обыкновенная комната. Нет, все же это пароходный салон! Иначе бы так не качало. Я не Киносита Мокутаро и не могу определить с точностью до сантиметра высоту качки, но качка, во всяком случае, есть. Если вам кажется, что я вру, взгляните, как за окном то подымается, то опускается линия горизонта. Небо пасмурно, и по морю широко разлита зеленая муть, но та линия, где муть моря сливается с серыми облаками, качающейся хордой перерезывает круг иллюминатора. А те существа одного цвета с небом, что плавно пролетают среди мути,— это, вероятно, чайки.

Но возвращаюсь к странному человеку напротив меня. Сдвинув на нос сильные очки для близоруких, он со скучающим видом уставился в газету. У него густая борода, квадратный подбородок, и я, кажется,

---

<sup>1</sup> Мера Зоила (лат.).

где-то видел его, но никак не могу вспомнить, где именно. По длинным, косматым волосам его можно было бы принять за писателя или художника. Однако с этим предположением не вяжется его коричневый пиджак.

Некоторое время я украдкой посматривал на этого человека и маленькими глотками пил из рюмки европейскую водку. Мне было скучно, заговорить с ним хотелось ужасно, но из-за его крайне нелюбезного вида я все не решался.

Вдруг господин с квадратным подбородком вытянул ноги и произнес, как будто подавляя зевоту:

— Скучно! — Затем, кинув на меня взгляд из-под очков, он опять принялся за газету. В эту минуту я был почти уверен, что где-то с ним встречался.

В салоне, кроме нас двоих, никого не было.

Немного погодя этот странный человек опять произнес:

— Ох, скучно! — На этот раз он бросил газету на стол и стал рассеянно смотреть, как я пью водку. Тогда я сказал:

— Не выпьете ли рюмочку?

— Благодарю... — Не отвечая ни «да», ни «нет», он слегка поклонился. — Ну и скука! Пока доедешь, прямо помрешь.

Я согласился с ним.

— Пока мы ступим на землю Зоилии, пройдет больше недели. Мне пароход надоел до отвращения.

— Как? Зоилии?

— Ну да, республики Зоилии.

— Разве есть такая страна — Зоилия?

— Признаюсь — удивлен! Вы не знаете Зоилии? Не ожидал. Не знаю, куда вы собрались ехать, но только этот пароход заходит в гавань Зоилии по обычному, старому маршруту.

Я смутился. В сущности, я не знал даже, зачем я на этом пароходе. А уж «Зоилия» — такого названия я никогда раньше не слышал.

— Вот как?..

— Ну разумеется! Зоилия — исстари знаменитая страна. Как вы знаете, Гомера осыпал отчаянными ругательствами один ученый именно из этой страны. До сих пор в столице Зоилии стоит прекрасная мемориальная доска в его честь.

Я был поражен эрудицией, которой никак не ожидал, судя по его виду.

— Значит, это очень древнее государство?

— О да, очень древнее! Если верить мифам, в этой стране сначала жили одни лягушки, но Афина-Паллада превратила их в людей. Поэтому некоторые утверждают, что голоса жителей Зоилии похожи на лягушечье кваканье. Впрочем, это не совсем достоверно. Кажется, в летописях самое раннее упоминание о Зоилии связано с героем, отвергавшим Гомера.

— Значит, теперь это довольно культурная страна?

— Разумеется. Например, университет в столице Зоилии, где собран цвет ученых, не уступает лучшим университетам мира. И в самом деле, такая вещь, как измеритель ценности, недавно изобретенный тамошними профессорами, слывет новейшим чудом света. Впрочем, я это говорю со слов «Вестника Зоилии».

— Что это такое — «измеритель ценности»?

— Буквально: аппарат для измерения ценности. Правда, он, кажется, применяется главным образом для измерения ценности романов или картин.

— Какой ценности?

— Главным образом — художественной. Правда, он может измерять и ценности другого рода. В Зоилии, в честь знаменитого предка, аппарат называли *mensura Zoili*.

— Вы его видели?

— Нет. Только на иллюстрации в «Вестнике Зоилии»... По внешнему виду он ничем не отличается от обыкновенных медицинских весов. На платформу, куда обычно становится человек, кладут книги или полотна. Рамы и переплеты немного мешают измерениям, но потом на них делают поправку, так что все в порядке.

— Удобная вещь!

— Очень удобная. Так сказать, орудие культуры! — Человек с квадратным подбородком вынул из кармана папиросу и сунул в рот. — С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем им — крышка. Ведь размер ценности наглядно обозначается в цифрах. Весьма разумно поступил народ Зоилии, немедленно установив этот аппарат на таможнях.

— Это почему же?

— Потому что все рукописи и картины, которые ввозят из-за границы, проверяются на этом аппарате, и вещи, лишенные ценности, ввозить не разрешают. Говорят, недавно в одно и то же время проверяли вещи, привезенные из Японии, Англии, Германии, Австрии, Франции, России, Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии и других стран, и, по правде сказать, результат для японских вещей, кажется, получился неважный. А ведь на наш пристрастный взгляд в Японии есть писатели и художники как будто сносные...

Во время этого разговора дверь отворилась, и в салон вошел негр-бой с пачкой газет под мышкой. Это был проворный малый в легком темно-синем костюме. Бой молча положил газеты на стол и исчез за дверью.

Страхнув пепел с сигары, человек с квадратным подбородком развернул газету. Это и был так называемый «Вестник Зоилии», испещренный строчками странных клинообразных знаков. Я опять изумился эрудиции этого человека, читавшего такой странный шрифт.

— По прежнему только и пишут о mensura Zoili,— сказал он, пробегая глазами газету.— А, опубликована ценность рассказов, вышедших в Японии за прошлый месяц! И даже приложены отчеты инженеров-измерителей.

— Фамилия Кумэ встречается? — спросил я, обеспокоенный за товарища.

— Кумэ? Должно быть, рассказ «Серебряная монета»? Есть.

— Ну и как? Какова его ценность?

— Никуда не годится! Во-первых, импульсом к его написанию явилось открытие, что человеческая жизнь бессмысленна. А кроме того, всю вещь обесценивает этаким менторский тон всеведущего знатока.

Мне стало неприятно.

— Простите, весьма сожалею,— человек с квадратным подбородком насмешливо улыбнулся,— но ваша «Трубка» тоже упомянута.

— Что же пишут?

— Почти то же самое. Что в ней нет ничего, кроме общих мест.

— Гм!..

— И еще вот что: «Этот молодой писатель чересчур плодовит...»

— Ой-ой!..

Я почувствовал себя более чем неприятно, пожалуй, даже глупо.

— Да не только вы — любому писателю или художнику, попади он на измеритель, придется туго: никакие надувательства тут не действуют. Сколько бы он сам свое произведение ни расхваливал, измеритель отмечает подлинную ценность, и все идет прахом. Разумеется, дружные похвалы приятелей тоже не могут изменить показания счетчика. Что ж, придется вам засесть за работу и начать писать вещи, представляющие настоящую ценность!

— Но каким же образом устанавливают, что оценки измерителя правильны?

— Для этого достаточно положить на весы какой-нибудь шедевр. Положат «Жизнь» Мопассана — стрелка сейчас же показывает наивысшую ценность.

— И только?

— И только.

Я замолчал: мне показалось, что у моего собеседника голова не особенно приспособлена к теоретическому мышлению. Но у меня возник новый вопрос.

— Значит, вещи, созданные художниками Зоилии, тоже проверяют на измерителе?

— Это запрещено законом Зоилии.

— Почему?

— Пришлось запретить, потому что народ Зоилии на это не соглашается: Зоилия исстари — республика. «Vox populi — vox dei»<sup>1</sup> — это у них соблюдается буквально. — Человек с квадратным подбородком как-то странно улыбнулся. — Носятся слухи, что, когда их произведения попали на измеритель, стрелка показала минимальную ценность. Раз так, они оказались перед дилеммой: либо отрицать правильность измерителя, либо отрицать ценность своих произведений, а ни то, ни другое им не улыбалось. Но это только слухи.

В эту минуту пароход сильно качнуло, и человек с квадратным подбородком в мгновение ока скатился со стула. На него упал стол. Опрокинулась бутылка с водкой и рюмки. Слетели газеты. Исчез горизонт за окном. Треск разбитых тарелок, грохот опрокинутых стульев,

---

<sup>1</sup> «Глас народа — глас божий» (лат.).

шум обрушившейся на пароход волны. Крушение! Это крушение! Или извержение подводного вулкана...

Придя в себя, я увидел, что сижу в кабинете на кресле-качалке; оказывается, читая пьесу St. John Ervine «The critics»<sup>1</sup>, я вздремнул. И вообразил себя на пароходе, вероятно, потому, что качалка слегка покачивалась.

А человек с квадратным подбородком... иногда мне кажется, что это был Кумэ, иногда кажется, что не он. Так до сих пор и не знаю.

*Январь 1917 г.*

---

<sup>1</sup> Сент Джон Эрвин, «Критики» (англ.).



## СЧАСТЬЕ

Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь нее все, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киёмидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошел бонза с гонгом. Прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем — редкое зрелище — проехала тележка с плетеным камышовым верхом, запряженная рыжим быком. Все это появлялось в широких щелях тростниковой занавески то справа, то слева и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом.

Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину-гончару:

— А на поклонение к Каннон-сама по-прежнему народ так и валит.

— Да! — ответил гончар несколько недовольно, может быть, оттого что был поглощен работой. Впрочем, в лице, да и во всем облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздернутым носом злости не было ни капли. Одет он был в холщовое кимоно. А на голове красовалась высокая памятая шапка мимиэбси, что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тоба.

— Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак в люди не выйду, просто беда.

— Путишь...

— Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах — дело нетрудное, было бы лишь за что! Та же торговля — только не с заказчиками, а с богами и буддами.

Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвел взглядом мастерскую. В крытом соломой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться, и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина; словно под легким весенним ветром, обвевавшим красноватые глиняные тела горшков и кувшинов, все здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. И казалось, даже ласточки и те из года в год вьют свои гнезда под кровлей этого дома...

Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова:

— Дедушка, ты на своем веку много чего и видал и слышал. Ну как, и вправду Каннон-сама посылает людям счастье?

— Правда. В старину, слышал я, это часто бывало.

— Что бывало?

— Да коротко об этом не расскажешь. А начнешь рассказывать — вашему брату оно и не любопытно.

— Жаль, ведь и я не прочь уверовать. Если только привалит счастье, так хоть завтра...

— Не прочь уверовать? Или не прочь поторговать?

Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен, — глина, которую он мял, стала принимать форму горшка.

— Помышлений богов — этого вам в ваши годы не понять.

— Пожалуй, что не понять, так вот я и спросил, дедушка.

— Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают — счастье или злосчастье.

— Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего же тут не понять, счастье это или злосчастье?

— Вот этого-то вам как раз и не понять!

— А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры.

Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таща за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с кадками на голове. У одной в руке была цветущая ветка вишни, вероятно — подарок дсмашним.

— Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на Западном рынке держит лавку с пряжей.

— Вот я и жду не дождусь рассказа, дедушка!

Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипывая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки: должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни.

— Не расскажешь, а, дедушка? — сонным голосом проговорил подмастерье немного погодя.

— Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот...

С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал свое повествование. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить только человек, не думающий о том, долог ли, короток ли день.

— Дело было лет тридцать — сорок тому назад. Эта женщина, тогда еще девица, обратилась с молитвой к этой самой Каннон-сама в храме Киёмидзу. Просила, чтоб та послала ей мирную жизнь. Что ж, у нее как раз умерла мать, единственная ее опора, и ей стало трудно сводить концы с концами, так что молилась она не зря.

Покойная ее мать раньше была жрицей в храме Хакусюся и одно время пользовалась большой славой, но с тех пор, как разнесся слух, что она знается с лисой, к ней никто почти больше не ходил. Она была моложавая, свежая, статная женщина, а при такой осанке — что там лиса, и мужчина бы...

— Я бы лучше послушал не о матери, а о дочери...

— Ничего, это для начала. Ну, когда мать умерла, девица одна своими слабыми руками никак не могла заработать себе на жизнь. До того дошло, что она, красивая и умная девушка, робела из-за своих лохмотьев даже в храме.

— Неужто она была так хороша?

— Да. Что нравом, что лицом — всем хороша. На мой взгляд, ее не стыдно было бы показать где угодно.

— Жаль, что давно это было! — сказал подмастерье, одергивая рукав своей полинялой синей куртки.

Старик фыркнул и не спеша продолжал свой рассказ. За домом в бамбуковой роще неумолчно пели соловьи.

— Двадцать один день она молилась в храме, и вот вечером в день окончания срока она вдруг увидела сон. Надо сказать, что среди молящихся, которые пришли на поклонение в этот храм, был один горбатый бонза, который весь день монотонно гнусавил какие-то молитвы. Вероятно, это на нее и подействовало, потому что, даже когда ее стало клонить ко сну, этот голос все еще неотвязно звучал у нее в ушах — точно под полом трещал сверчок... И вот этот звук вдруг перешел в человеческую речь, и она услышала: «Когда ты пойдешь отсюда, с тобой заговорит человек. Слушай, что он тебе скажет!»

Ахнув, она проснулась, — бонза все еще усердно читал свои молитвы. Впрочем, что он говорил — она как ни старалась, разобрать не могла. В эту минуту она безотчетно подняла глаза и в тусклом свете неугасимых лампад увидела лик Каннон-сама. Это был давно почитаемый, величавый, проникновенный лик. И вот что удивительно: когда она взглянула на этот лик, ей почудилось, будто кто-то опять шепчет ей на ухо: «Слушай, что он тебе скажет!» И тут-то она сразу уверилась, что это ей возвестила Каннон-сама.

— Вот так так!

— Когда совсем стемнело, она вышла из храма. Только она стала спускаться по пологому склону к Годзё, как в самом деле кто-то сзади схватил ее в объятия. Стоял теплый весенний вечер, но, к сожалению, было темно, и потому не видно было ни лица этого человека, ни его одежды. Только в тот миг, когда она пыталась вырваться, она задела его рукой за усы. Да, в неподходящее время это случилось — как раз в ночь окончания срока молений!

Она спросила его имя — имени он не назвал. Спросила, откуда он, — не ответил. Он твердил лишь одно: «Слушай, что я тебе скажу!» И, крепко обняв, тащил ее за собой вниз по дороге, все дальше и дальше.

Хоть плачь, хоть кричи, — пора была поздняя, прохожих кругом никого, так что спасения не было.

— Ну, а потом?

— Потом он втащил ее в пагоду храма Ясакадэра, и там она провела ночь. Ну, а что там случилось, об этом мне, старику, говорить, пожалуй, незачем.

Старик засмеялся, и в углах его глаз опять собрались морщинки. Тени на улице стали еще длиннее. Легкий ветерок сбил к порогу рассыпанные лепестки цветов вишни, и теперь они белыми крапинками виднелись среди камней.

— Да чего уж там! — сказал подмастерье, словно что-то вспомнив, и опять принялся щипать бородку: — Что же, это все?

— Будь это все, не стоило бы и рассказывать. — Старик по-прежнему мял в руках горшок. — Когда рассветло, этот человек — должно быть, так уж судила ему судьба — сказал ей: «Будь моей женой!»

— Да ну?!

— Не будь у ней вещего сна — дело другое, ну а тут девушка подумала, что так угодно Каннон-сама, и потому утвердительно кивнула... Они для порядка обменялись чарками, и он со словами: «Это тебе для начала!» — вынес из глубины пагоды кое-что ей в подарок: десять кусков узорчатой ткани и десять кусков шелка. Да, такая штука тебе, как ни старайся, пожалуй, и не под силу!

Подмастерье усмехнулся и ничего не ответил. Словы больше не пели.

— Вскоре этот человек сказал ей: «Вернись вечером!» — и торопливо куда-то ушел. Осталась она одна, и тоска одолела ее еще пуще. Какая она ни была умница, но после всего, что случилось, у нее, конечно, руки опустились. Тут, чтобы как-нибудь развлечься, она так, случайно, заглянула в глубь пагоды, — чего только там не было! Что парча или шелка! Там стояли бесчисленные ящики со всякими сокровищами — драгоценными камнями, золотым песком. От всего этого даже у храброй девушки екнуло сердце.

«Всяко бывает, но раз уж у него такие сокровища, сомнения нет. Он либо вор, либо разбойник!»

До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала,

что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что еще ждет ее впереди?

Решила она бежать и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзин кто-то ее хрипло окликнул. Само собой, она испугалась,— ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит — какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись, между нагроможденными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет шестидесяти, сгорбленная, низенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ли старуха, что задумала девушка, нет ли, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от нее ожидать, судя по ее виду.

Особенно бояться было нечего, но девушка подумала, что, если она выдаст свое намерение убежать отсюда, будет худо, и потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха сообщила, что живет у этого человека в служанках. Но стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку, к тому же монахиня была глуховата и сто раз переспрашивала одно и то же. Все это девушку расстроило чуть не до слез.

Так продолжалось до полудня. И вот пока беседовали они о том, что в Киёмидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзё, монахиня задремала, должно быть, от старости. А может быть, это случилось оттого, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, улучив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души.

Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было, но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шелке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшись о мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у нее замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять что к чему, но затем вдруг как полоумная вцепилась ей в ноги. И, чуть не плача, что-то быстро забор-

мотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придется плохо. Но так как оставаться здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга.

Дрались. Лягались. Кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на ее старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И все же, должно быть, сказалась разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шелком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня осталась лежать недвижимой. Об этом девушка услышала уже потом — ее труп, с испачканным кровью носом, с ног до головы осыпанный золотым песком, лежал в полутемном углу, лицом вверх, точно она спала.

Девушка же ушла из храма Ясакадэра, и когда наконец показали более населенные места, зашла к знакомому в Годзё-Кёгоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался, но, может быть, потому, что она дала ему локоть шелка, принялся хлопотать по хозяйству: приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегченно вздохнула.

— Да и я наконец успокоился!

Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ним и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их еще тянулись по мостовой...

— Значит, на этом и делу конец?

— Однако, — старик покачал головой, — пока она сидела у знакомого, на улице вдруг поднялся шум и раздались злобные крики: поглядите, вот он, вот он! А так как девушка чувствовала себя замешанной в темное дело, у нее опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришел рассчитывать с ней? Или за ней гонится стража? От этих мыслей каша не лезла ей в горло.

— Да ну?

— Тогда она тихонько выглянула из щели приоткрытой двери: окруженные зеваками, торжественно шли пять-шесть стражников; их сопровождал началь-

ник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимому, поймали вора и теперь тащили его, чтоб на месте выяснить дело.

Этот вор — уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзэ? Когда она увидела его, ее почему-то стали душить слезы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет! Просто, когда она увидела его связанным, у нее сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась, вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился...

— Н-да...

— Так вот, прежде чем помолиться Каннон-сама, надо подумать!

— Однако, дедушка, ведь она после этого все-таки выбилась из бедности?

— Мало сказать «выбилась», она живет теперь в полном достатке. А все благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шелк. Выходит, Каннон-сама сдержала свое обещание!

— Так разве нехорошо, что с ней все это приключилось?

Заря уже пожелтела и померкла. То там, то здесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела.

— Убить человека, стать женой вора... на это надо решиться...

Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает.

— Как бы там ни было, а она счастливица.

— Куда уж!

— Разумеется! Да дедушка и сам так думает.

— Это я-то? Нет уж, покорно благодарю за такое счастье.

— Вот как? А я бы с радостью взял.

— Ну так иди, поклонись Каннон-сама.

— Вот-вот. Завтра же засяду в храме!

*Январь 1917 г.*



## ПОКАЗАНИЯ ОГАТА РЕСАИ

Повинуясь высокому указанию, почтительно сообщаю властям предержавшим обо всем, что я видел и слышал собственноручно, о том, как в последнее время приверженцы христианства творят злокозненные дела и смущают умы в нашей деревне.

Итак, сообщаю, что третьего месяца седьмого дня сего года в дом ко мне явилась женщина по имени Сино, вдова Ёсаку, здешнего землепашца, и, ссылаясь на то, что девятилетняя дочь ее Сато тяжело захворала, слезно просила меня осмотреть больную.

Вышеназванная Сино, третья дочь крестьянина Собэя, десять лет назад была просватана за крестьянина Ёсаку, от брака с коим родила дочь Сато, однако вскоре муж ее от болезни скончался, после чего Сино вторично в брак не вступала, добывая себе скудное пропитание ткачеством и поденной работой. Сразу же после кончины мужа она по какому-то наваждению всецело предалась христианской ереси и часто навещала живущего в соседней деревне христианского патэрэн, по прозванию Родриге, из-за чего многие односельчане утверждают, будто Сино вступила с оным патэрэн в незаконную связь. Родные Сино, и прежде всего отец ее Собэй, а также братья и сестры, всячески увещевали ее, уговаривая одуматься, она же, нимало не внимая этим советам, денно и ночью молилась вместе с дочерью

Сато перед курусу, каковой представляет собой крохотный столбик с перекладиной для распятия, и даже пренебрегала посещением могилы покойного мужа, отчего в настоящее время не только близкие и дальние ее родственники, чья закон, прервали с ней всякие отношения, но и на деревенских сходках не раз уже обсуждался вопрос, не изгнать ли ее вовсе из деревни.

В силу этого, несмотря на усиленные ее мольбы, я объявил ей, что навестить больную мне никак невозможно, и она удалилась, заливаясь слезами, но на завтра, восьмого дня, снова явилась, повторяя: «Век не забуду вашу доброту, умоляю, навестите больную!» — И сколько я ни отказывался, никак не хотела слушать, в довершение же своих просьб бросилась на пол в прихожей моего дома, сокрушаясь и укоряя: «Призвание врача — исцелять людские недуги... Уму непостижимо, как можете вы не внять мне, когда я молю о тяжело занемогшем моем ребенке!» Я же ответил: «Сказано справедливо, но ежели я отказываюсь лечить больную, значит, тем более согласись, к тому имеются веские основания. Скажу напрямик — поведение твое давно уже весьма непохвально, особливо же плохо то, что ты постоянно поносишь богов и Будду, коих почитаю я и все наши односельчане, и твердишь, будто мы поклоняемся сим святыням по наущению бесов и дьявола,— об этом мне доподлинно известно от людей верных. Как же ты, столь праведная и чистая, просишь ныне меня, одержимого дьяволом, исцелить твою дочь? С таковой просьбой надлежит тебе обратиться к дэусу, ему ты и поклоняешься столь усердно. Однако, если ты во что бы то ни стало желаешь, чтобы я все-таки осмотрел твоего больного ребенка, признай же отныне и навсегда, что вера твоя — бесплодное заблуждение. Если же ты на это не согласишься, то, сколько бы ты ни твердила, что врачевание — ремесло гуманное, я наотрез отказываюсь оказать тебе помощь, ибо и мне ведом страх перед карой богов и Будды!» Так говорил я с ней, и Сино волей-неволей пришлось отправиться восвояси, хотя я отнюдь не был уверен, что она по-настоящему поняла мои доводы.

Назавтра, девятого, на рассвете хлынул проливной дождь, отчего на какое-то время деревенские улицы обезлюдели совершенно, и в эту самую пору, приближи-

тельно в шесть часов утра, Сино, не захватив с собой даже зонтика и промокнув до нитки, вновь явилась в мой дом и опять принялась умолять меня навестить и осмотреть ее дочку, я же ответил: «Пусть я не самурай, однако и мое слово твердо... Итак, выбирай,— жизнь дочери или дэусу, от чего-нибудь одного тебе надлежит отказаться». При этих словах Сино точно разумом помутилась — упала передо мной на колени, стала бить земные поклоны, сложила руки, как на молитве, и, задыхаясь и плача, кричала и умоляла: «Слова ваши поистине справедливы, но ведь по христианскому вероучению, если отступить от веры, не только тело, но и душа моя погибнет навеки. Умоляю вас, пощадите, сжальтесь хотя бы над дочкой!» И хоть была она еретичкой, все же сердце у нее было, очевидно, как у всех прочих женщин; тем не менее, испытывая к ней известное сострадание, но, памятуя, что негоже, повинувшись личному чувству, нарушать установленные властью законы, я продолжал стоять на своем, как она меня ни молила. «Если не отречешься, навестить твою больную мне никак невозможно».

Тогда Сино, будто внезапно уразумев, что дальнейшие мольбы бесполезны, молча воззрившись на меня и некоторое время не произносила ни слова, но вдруг слезы градом покатились у нее из глаз, и, припав к моим ногам, она забормотала что-то голосом едва слышным, как писк москита, но тут как раз с новой силой зашумел на улице дождь, по каковой причине разобравшись, что она говорит, я не мог, отчего и пришлось несколько раз переспросить ее, и тогда наконец она отчетливо выговорила свое решение: «Пусть будет так. Раз иного выхода нет, значит, нужно отречься...» Когда же я возразил ей, что не имею никаких доказательств, сдержит ли она свое обещание, и что оное доказательство ей надлежит представить, она молча вытащила из-за пазухи вышеназванный курусу, опустила на пол в прихожей и трижды наступила на него ногой. К этому времени вид у нее был уже довольно спокойный, слезы как будто просохли, только взгляд, которым она смотрела на курусу, валявшийся под ногами, чем-то напоминал взгляд больного лихорадкой, так что и мне, и слуге моему, и всем домочадцам невольно стало не по себе.

Итак, поскольку условие мое было таким образом выполнено, я немедленно приказал слуге взять шкапулку с лекарствами и, невзирая на дождь, отправился вместе с Сино в ее жилище, где в тесной каморке, на постели, обращенной изголовьем к югу, одиноко лежала больная Сато. В самом деле, тело ее было охвачено сильным жаром, так что и впрямь находилась она в забытьи; слабенькой ручкой чертила она в воздухе крест, провозглашая «аллилуйя!» и всякий раз при том улыбаясь. Вышеозначенное же слово «аллилуйя» есть христианское песнопение, прославляющее верховное божество этой веры,— так, плача, пояснила мне Сино, припавшая к изголовью постели. Не теряя времени, я осмотрел больную; оказалось, что больна она, вне всяких сомнений, тифом, и к тому же болезнь сильно запущена, так что жить ей оставалось считанные часы, о чем поневоле мне и пришлось сообщить Сино; та, казалось, вновь впала в безумие, повторяя: «Я отреклась от веры единственно ради спасения жизни ребенка. Если же дочка моя умрет, выходит, все напрасно!.. Поймите же скорбь души той, что отвернулась от пресвятого дэусу, молю вас, спасите как-нибудь жизнь моей дочки!» — так непрерывно просила она, отбивая земные поклоны не только передо мной, но и перед моим слугой, но, поскольку исцелить больную было выше сил человеческих, я всячески наставлял ее, убеждая не впадать в новое прегрешение, и наконец, оставив ей лекарственный настой на три приема, хотел уже возвратиться домой, благо дождь как раз перестал, однако Сино вцепилась мне в рукав и ни за что не хотела отпускать. Губы ее шевелились, будто она пыталась что-то сказать, но ни единого слова выговорить была не в силах; как вдруг прямо на глазах стала она изменяться в лице и тут же на месте потеряла сознание. От сей неожиданности пришел я в великое замешательство, вместе со слугой стал поспешно приводить ее в чувство, и она наконец снова очнулась, однако теперь была уже слишком слаба, чтобы подняться на ноги, и, заливаясь слезами, проговорила: «Выходит, по собственному малодушию я ныне навсегда потеряла и дочку, и всеблагого дэусу!» Так, сокрушаясь, обливаясь она слезами, и хотя я всячески утешал ее, казалось, вовсе не внимала сим утешениям; к тому же со-

стояние ее дочери тоже не внушало более ни малейшей надежды, а посему мне ничего иного не оставалось, как снова позвать слугу и поспешно пуститься в обратный путь.

В тот же день после обеда, навестив больную матушку деревенского старосты господина Цукигоси Ядзаэмона, услышал я от него, что дочка Сино скончалась, сама же Сино с горя помешалась в рассудке. Судя по словам господина Ядзаэмона, смерть Сато наступила примерно через час после моего ухода, а уже в половине одиннадцатого утра Сино впала в безумие и, обняв мертвое тело дочери, громко провозглашала какие-то варварские молитвы. Добавлю также, что данный факт непосредственно наблюдал не только сам господин Ядзаэмон, но и уважаемые жители деревни — господин Киэмон, господин Того, господин Дзибэй и другие, так что не может быть ни малейших сомнений в том, что все это поистине так и было.

Назавтра, третьего месяца десятого дня, с утра зарядил мелкий дождь, к часу же Дракона внезапно ударил первый весенний гром; а когда непогода чуть поутихла, в просвет между ливнем, за мной прислали лошадь от благородного господина Янасэ Киндзюро с просьбой явиться, дабы осмотреть больного, по каковой причине я поспешно сел на коня и верхом выехал со двора; проезжая же мимо дома Сино, увидел толпу крестьян, которые с громкой бранью и восклицаниями: «Проклятые патэрэн! Еретики!» — совсем запрудили дорогу, так что коню моему невозможно было ступить, а посему, не слезая с седла, заглянул я сквозь распахнутые двери в дом Сино — а там чужеземец и трое японцев, все в черных одеждах, похожих на облачение монахов, с какими-то палочками в руках, наподобие палочек фимиама, который курят в храмах, хором провозглашают: «Аллилуйя! Аллилуйя!» В довершение сей картины у ног рыжеволосого лежит, прижимая к груди свою дочь, Сино — растрепанная, поникшая, словно утратившая сознание. В особенности же поразило меня, что Сато обеими руками крепко обнимает Сино за шею и детским голоском своим попеременно то провозглашает «аллилуйя!», то окликает мать. Правда, находился я сравнительно далеко, по каковой причине разглядеть все досконально никак не мог, однако цвет лица Сато


показался мне чрезвычайно здоровым. Видел я также, что время от времени, отнимая руки от шеи матери, она делала такое движение, словно хотела поймать дым, поднимающийся от вышеназванных курительных палочек. Я слез с коня и подробно расспросил деревенских жителей о том, как воскресла Сато. Оказалось, что чужеземец патэрэн Родриге, в сопровождении трех японских послушников, явился сегодня утром в дом Сино из соседней деревни, выслушал ее покаяние и исповедь, после чего все они вместе вознесли молитву к верховному божеству своей веры и принялись то курить какой-то чужеземный варварский фимиами, то кропить все кругом святой водой, отчего безумие Сино само собой постепенно утихло, а вскоре воскресла к жизни и Сато, — так в страхе поведали мне крестьяне. Спору нет, с древних времен и до сего дня известно немало случаев воскрешения из мертвых, однако то почти всегда бывало при отравлении вином либо ядовитыми испарениями гор или вод. Но чтобы к жизни воскресал умерший от тифа, подобно Сато, об этом, сколько живу, ни разу не слыхивал, а следовательно, по одному этому факту уже полностью ясно, что здесь дело не обошлось без злого христианского колдовства; особенно же следует упомянуть, что, когда патэрэн появился в деревне, непрерывно грохотали раскаты грома, из чего можно заключить, что и небу он ненавистен.

О том, что Сино с дочерью Сато в тот день перебрались вместе с патэрэн Родриге в соседнюю деревню, а также о том, что стараниями преподобного Никкан, настоятеля храма Дзигэндзи, дом Сино разрушен и предан сожжению, уже сообщил властям деревенский староста господин Цукигоси Ядзаэмон, а посему виденное и слышанное мною лично исчерпывается в основном вышеизложенным показанием. Добавлю лишь, что если паче чаяния я что-либо забыл или пропустил, то сообщу о том дополнительно в ближайшие дни, пока же показания свои заканчиваю.

Область Иё, уезд Увагори, деревня...

*Лекарь Огата Рёсай*

*Январь 1917 г.*



---

## ОИСИ КУРАНОСКЭ В ОДИН ИЗ СВОИХ ДНЕЙ

На плотно задвинутые сёдзи падал яркий солнечный свет, и тень старого вишневого дерева на несколько кэн — от правого края до левого — четко, как на картине, выделялась на всем этом освещенном пространстве. Оиси Кураноскэ Ёсикацу, бывший вассал Асано Такуми-но ками, а ныне узник в доме князя Хосокава, сидел спиной к сёдзи, прямой, со скрещенными ногами, и не отрываясь читал. Это был, кажется, какой-то том «Троецарствия», который ему одолжил один из вассалов Хосокава.

Обычно в этой комнате находилось девять человек, но сейчас Катабака Гэнгоэмон вышел в отхожее место; Хаями Тодзаэмон отправился поболтать в нижнюю комнату и еще не возвратился; остальные шестеро — Ёсида Тюдзаэмон, Хара Созэмон, Маса Кюдайю, Онодэра Дзюнай, Хорибэ Яхэй и Хадзама Кихэй, — как будто не замечая солнца, освещавшего сёдзи, были погружены в чтение или заняты писанием писем. И не потому ли, что они, все шестеро, были люди старые — каждому перевалило за пятьдесят, — в комнате, чуть тронутой весной, было зловеще тихо. Даже когда кто-нибудь покашливал, звук был не настолько силен, чтобы поколебать застоявшийся в комнате легкий запах туши.

Кураноскэ отвел глаза от «Троецарствия» и, устремив взор куда-то вдаль, тихонько положил руки на стоявшее возле него хибати. В хибати, накрытом металлической сеткой, под тлевшими угольками поблескивали, освещая пепел, красивые красные огоньки. Кураноскэ ощутил их тепло, и душу его охватило чувство спокойной удовлетворенности. Той самой удовлетворенности, которую в пятнадцатый день последнего месяца прошлого года, после отмщения за своего погибшего господина, когда они все ушли в храм Сэнгáкудзи, он выразил в стихе:

Какая радость!  
Рассеялись заботы.  
Отдал я жизнь.  
Ясна луна на небе,  
Сошли с нее все тучи.

Как прожил он, сгорая от нетерпения и изощряясь в хитростях, эти долгие дни и месяцы, почти целых два года после того, как покинул замок Ако! Уже одно то, что приходилось терпеливо ждать, пока созреет случай, и при этом сдерживать пыл своих горячих товарищей, было совсем нелегко. К тому же за ним неотступно следил Сайсаку, подсланный домом его врага. Приходилось обманывать Сайсаку, маскируясь разгулом, и вместе с тем рассеивать подозрения друзей, которых этот разгул вводил в заблуждение. Он вспоминал про их прежние сошествия в Ямáсина и в Мару́яма, и в его душу снова вернулось было тяжелое чувство. Но все пришло к тому, к чему шло.

Если что-либо и оставалось незавершенным, то это только приговор — приговор всем сорока семи. Но этот приговор, несомненно, не так уж далек. Да. Все пришло к тому, к чему шло. И дело не только в том, что свершен акт мести. Все произошло в той форме, которая почти полностью отвечала его моральным требованиям. Он чувствовал не только удовлетворение от исполнения долга, но и удовлетворение от воплощения в жизнь высоконравственных начал. Думал ли он о цели мщения, думал ли о его средствах, его чувство удовлетворения не омрачал никакой укор совести. Могло ли для него существовать удовлетворение выше?

При этих словах морщины между сдвинутыми бровями Кураноскэ разгладились, и он обратился через



хибати к Есида Тюдзаэмону, который тоже, по-видимому, устал читать и теперь чертил что-то пальцем у себя на коленях, на которые опустил книгу.

— Сегодня как будто очень тепло.

— Да... Когда вот так сидишь, то, должно быть, оттого что очень тепло, страшно хочется спать.

Кураноскэ усмехнулся. В его памяти вдруг всплыли строки стихов, которые в день Нового года сложил Томимóри Скээмóн после трех чарок новогоднего вина:

Весна сегодня,  
И даже самураю  
Соснуть не стыдно.

И эти строки дышали такой же удовлетворенностью, какую он сейчас чувствовал.

— Это и есть расслабление духа, которое означает, что задуманное исполнено.

— Да, пожалуй.

Тюдзаэмон поднял трубку, лежавшую тут же, и потихоньку затянулся. Голубоватый дымок чуть-чуть затуманил послеполуденный весенний воздух и исчез в светлой тиши.

— Мы ведь никак не думали, что сможем еще проводить такие мирные дни.

— Да, мне и во сне не снилось, что я встречу еще один Новый год.

— У меня все время такое чувство, будто мы — настоящие счастливицы.

Оба с довольной улыбкой переглянулись.

Если бы в этот миг на сёдзи позади Кураноскэ не появилась тень человека, если бы эта тень не исчезла, едва человек отодвинул сёдзи, и вместо нее в комнате не показалась крупная фигура Хаями Тодзаэмона, быть может, Кураноскэ продолжал бы наслаждаться приятным теплом весеннего дня и чувством гордого удовлетворения. Но сейчас, сияя широкой улыбкой и румянцем щек, в их комнату бесцеремонно ввалился Тодзаэмон. Впрочем, они не обратили на него особого внимания.

— Там, внизу, кажется, было весело?

С этими словами Тюдзаэмон снова затянулся трубкой.

— Сегодня дежурный — Дэнъэмон, потому и разговоров было много. Катаока сейчас тоже засел там.

— Ну и правильно! Он все боялся опоздать.

Поперхнувшись дымом, Тюдзаэмон грустно засмеялся. Онодэра Дзюнай, все время что-то писавший, поднял голову, как будто о чем-то подумав, но сейчас же снова опустил глаза на бумагу и стал торопливо писать дальше. Вероятно, он писал письмо жене в Киото. Кураноскэ засмеялся, морща уголки глаз.

— Ну и что же? Было что-нибудь интересное?

— Нет, как всегда — одна болтовня. Правда, когда Тикамацу рассказывал про Дзингоро, даже Дэнъэмон и тот слушал со слезами на глазах. Ну а кроме этого?.. Впрочем, одно было интересно. С того времени, как мы зарубили князя Кира, по всему Эдо один за другим следовали случаи мести.

— Кто бы мог подумать!

Тюдзаэмон недоуменно посмотрел на Тодзаэмона. Тот почему-то был очень доволен, что завел этот разговор.

— Нам рассказали о двух-трех таких случаях. Один очень забавный — тот, что произошел на улице Минато-мати и Минами-Хаттёбори. Хозяин тамошней рисовой лавки подрался в бане с мастером из соседней красильни. Все вышло как будто из-за того, что один брызнул на другого кипятком. Словом, из-за пустяка. В ответ мастер избил хозяина лавки шайкой. Тогда приказчик хозяина, затаив злобу, дождался темноты и, когда мастер вышел на улицу, всадил ему в плечо чуть ли не целый багор. При этом он заявил: «Это тебе за хозяина!»

Свой рассказ Тодзаэмон сопровождал жестами и хохотал.

— Но это же настоящее буйство!

— Да, мастер, кажется, здорово пострадал. Но вот что удивительно: там все кругом говорят, что приказчик поступил правильно. Кроме того, подобные случаи произошли в третьем квартале той же улицы, во втором квартале в Кодзи-мати и еще где-то, словом, всюду. Толкуют, что это все с нас берут пример. Не забавно ли?

Тюдзаэмон и Тодзаэмон посмотрели друг на друга и засмеялись. Конечно, слышать, какое впечатление произвел на умы эдосцев подвиг их мести, хотя дело шло и о пустяках, было приятно. Только Кураноскэ,

приложив руку ко лбу, с недовольным лицом хранил молчание. Рассказ Тодзаэмона странным образом омрачил его чувство удовлетворенности. Это, разумеется, не значило, что он почувствовал ответственность за последствия, которые повлекло за собой содеянное ими. То, что после совершенного ими подвига отмщения в городе начались подобные акты мести, естественно, его совесть никак не задевало. И тем не менее он чувствовал, что в его душу, согретую весенним теплом, проник холод.

По правде говоря, он был несколько удивлен тем, что влияние их поступка распространилось так далеко. Те случаи, над которыми он в другое время сам посмеялся бы вместе с Тюдзаэмоном и Тодзаэмоном, теперь посеяли в его душе, исполненной чувства удовлетворенности, семена чего-то неприятного. Это потому, что чувство удовлетворенности было приятным для него, приятным настолько, что — при ощущаемом где-то в глубине души противоречии с логикой — оно как-то утверждало и самый его поступок, и все то, что являлось последствием этого поступка. Разумеется, тогда он вовсе не рассуждал так аналитически. Он только почувствовал в весеннем воздухе струйку холода, и она была ему неприятна.

Однако то, что Кураноскэ не засмеялся, не привлекло особого внимания тех двоих. Скорее другое: такой простой и добрый человек, как Тодзаэмон, вероятно, был даже уверен, что его рассказы интересны Кураноскэ так же, как они интересны ему самому. Иначе он, конечно, не направился бы опять в нижнюю комнату, чтобы пригласить сюда Хориути Дэнъэмона — вассала дома Хосокава, бывшего в тот день дежурным. Он же, наоборот, решительный во всем, сказал Тюдзаэмену что-то вроде — «я позову Дэнъэмона», тут же раздвинул фусума и направился вниз. И, по-прежнему улыбаясь, довольный, вернулся назад, ведя за собой грубоватого на вид Дэнъэмона.

— Спасибо, что потрудились зайти к нам, — улыбаясь при виде Дэнъэмона, сказал Тюдзаэмон.

Благодаря простому, прямому нраву Дэнъэмона, с того времени, как они были отданы под его надзор, между ним и его подопечными установились теплые отношения, словно у старых друзей.

— Тодзаэмон сказал мне, чтобы я обязательно зашел. Вот я и пришел, хоть и помешал вам.

Усевшись, Дэнъэмон, поводя густыми бровями и двигая загорелыми щеками, как будто готовый вот-вот засмеяться, обвел взглядом присутствующих. Тогда и те, кто читал, и те, кто писал, один за другим поздоровались с ним. Кураноскэ также учтиво приветствовал его. Было, правда, немножко смешно, когда Хорибэ Яхэй, дремавший, как был в очках, над начатым томом «Тайхэйки», вежливо наклонил голову и спросонок уронил очки. Даже Хидзама Кихэй, отвернувшись к ширме, с трудом сдерживал смех.

— Видно, что и вы, Дэнъэмон-доно, не любите стариков, вот к нам и не заглядываете.

Кураноскэ сказал это мягким тоном, непохожим на свой обычный: вероятно, оттого, что, хотя он и расстроился немного, в его груди все еще разлито было прежнее теплое чувство удовлетворения.

— Что вы, совсем нет! Просто меня там останавливал то один, то другой, вот я и заговорился.

— Как я сейчас услышал, там у вас рассказывали о чем-то очень интересном,— вмешался Тюдзаэмон.

— О чем-то интересном? То есть?

— О том, что по всему Эдо стали подражать нашей мести, об этом именно...— сказал Тодзаэмон и с улыбочкой взглянул на Дэнъэмона и Кураноскэ.

— Ах, об этом! Да, поистине странно устроен человек! Восхитившись вашей верностью господину, даже горожане и мужики и те захотели вам подражать. Еще неизвестно, как благотворно это повлияет на разложившиеся у нас нравы и в верхах и в низах. Во всяком случае, сейчас больше не бегают на представления дзёрури или там Кабуки, и то хорошо.

Разговор стал принимать неприятный для Кураноскэ оборот. Тогда он намеренно внушительным тоном и употребляя простонародные выражения попытался повернуть его в другую сторону.

— За то, что вы похвалили нашу верность, за это вам спасибо. Но сдается мне, что нам прежде всего должно быть стыдно.— Проговорив это, он, обведя взглядом собравшихся, продолжал: — «Почему?» — спросите вы. А вот почему. В клане Ако самураев много, а видите вы перед собой одних только низших

по положению. Правда, в самом начале с нами был сам старейшина клана Окуно Сёгэн, но на полдороге он изменил свое решение и кончил тем, что вышел из нашего союза. Назвать это как-нибудь иначе, чем полнейшей неожиданностью, просто нельзя. С нами были и Синдо Гэнсиро Кавáмура Дэмбэй, Кóмура Гэнюэмóн. По положению они выше Хáра Соэмóна. И еще Сасáки Кодзаэмóн — он ниже Ёсида Тюдзаэмона. И все они, как только стало близиться к самому делу, раздумали. Среди них были и мои родственники. Если все это принять во внимание, понятно, что нам должно быть стыдно.

При этих словах Кураноскэ вся атмосфера — атмосфера веселости, царившая в комнате, — исчезла, и сразу ее место заняла серьезность. Можно сказать, что разговор принял тот оборот, к которому Кураноскэ и стремился. Но был ли этот оборот, в конце концов, так уж ему приятен, вопрос особый.

Услышав эти слова, Тодзаэмон, сжав кулаки, ударил несколько раз по коленям и первый сказал:

— Вся эта компания — не люди, а скоты. Никого из них к настоящему самураю и близко подпускать нельзя.

— Правильно! А что касается Такада Гомбэя, то он еще хуже скота.

Тюдзаэмон, подняв брови, взглянул на Хорибэ Яхэя, как бы ища у него одобрения. Вспыльчивый Яхэй, конечно, не промолчал:

— Когда мы тогда утром уходили, я подумал: если бы пришлось с ним в эту минуту повстречаться, мало было бы плюнуть ему в лицо. Ведь представить себе только, — явился к нам со своей наглой физиономией и говорит: «Желание ваше сбылось. Какая великая радость!»

— Что ж, Такада и есть Такада. Но вот Оямáда Сёдзаэмóн, тот действительно хорош, — сказал, ни к кому особо не обращаясь, Мáса Кюдайю, и тут принялись в один голос бранить отступников и Хáра Соэмóн и Онóдэра Дзюна́й. Даже молчаливый Хадзама Кихэй и тот, сам ничего не говоря, кивая седой головой, выражал свое согласие со всеми.

— Подумать только, в одном и том же клане столь перные вассалы, как мы, и вот такой народ. Поэтому-то все, про самураев уж и говорить нечего, но даже горо-

жане и мужики — и те их ругают: собаки, дармоеды! Окобаяси Мокунóскэ-дóно в прошлом году сделал себе харакири, и вот разнесся слух, будто и родственники его по сговору тоже покончили с собой. Ну ладно, может быть, оно и не так, но раз уж дошло до этого, то не миновать позора. Тем более вашим. Теперь, когда всюду начались эти акты мести, не исключено, что найдется человек, который возьмет да и убьет их, ссылаясь на то, что быть храбрым в служении справедливости значит действовать по-эдоски и что и вы с давних пор в гневе на них.

Дэнъэмон говорил горячо, с таким видом, как будто это не было для него посторонним делом. Казалось, он недоволен, что не может сам взять на себя обязанность убить их. Возбужденные разговором Ёсида Тюдзаэмон, Хара Созмон, Хаями Тодзаэмон и Хорибэ Яхэй, как будто почувствовав воодушевление, принялись осыпать бранью недостойных вассалов и беспутных сыновей.

Среди всего этого только один человек, только Оиси Кураноскэ, положив руки на хибати, все более и более мрачнел, все меньше и меньше вмешивался в разговор и не отводил от хибати задумчивого взгляда.

Перед ним раскрылось нечто новое: оборот, который он придал разговору, привел к тому, что стали все больше и больше восхвалять их верность как бы в возмещение за измену бывших единомышленников. И вместе с тем весенний ветерок, который веял у него в груди, опять утратил часть своего тепла. Конечно, свое сожаление об отступниках он высказал не только для того, чтоб повернуть разговор в другую сторону. Он действительно сожалел об их измене, она была ему неприятна, но ему было жаль этих неверных самураев, и ненавидеть их он не мог. Для него, вдоволь насмотревшегося на всякие колебания человеческих чувств и всякие перемены житейских обстоятельств, их измена была более чем естественна. Если здесь допустимо слово «чистосердечно», то они поступили до сожаления чистосердечно. Поэтому он никогда не менял своегонисходительного к ним отношения. Тем более теперь, когда отмщение совершено, на них оставалось только смотреть с улыбкой сожаления. А люди считают, что их и убить мало. «Почему же, если нас называют рыцарями верности, то их надо считать скотами? Разница между

нами и ими не так уж велика». Кураноскэ, которому раньше было бы неприятно услышать о странном влиянии, оказанном их поступком на эдоских горожан, увидел теперь в общественном мнении, выраженном Дэнъэмоном, хотя и в несколько ином смысле, как это влияние отозвалось на отступниках. И выражение горечи, появившееся на его лице, отнюдь не было случайным. Но его недовольству суждено было завершиться еще одной последней чертой.

Дэнъэмон, видя, что он замолк, предположил, что это вызвано присущей ему скромностью. И вот этот простоватый самурай из Хиго, преклонявшийся перед ним, желая выразить свое преклонение, круто перевел разговор на эту тему и произнес целую речь, восхваляющую верность и преданность Кураноскэ.

— Как-то от одного сведущего человека я слышал, что в Китае один самурай, не помню, как его звали, так старательно выслеживал врага своего господина, что даже проглотил уголь, чтобы онеметь. Но по сравнению с тем, как Кураноскэ против всякого желания вел разгульную жизнь, это не так уж трудно.

После такого предисловия Дэнъэмон начал длинно-длинно излагать всякие рассказы о том, что произошло год назад, когда Кураноскэ устраивал всевозможные кутежи; как тяжелы были ему, Кураноскэ, притворившемуся безумным, эти прогулки к красным клёнам в Такао и Атаго; как мучительны были ему, Кураноскэ, не щадившему себя ради осуществления планов мести, попойки в праздник цветущей вишни в Симабара и Гион.

— Как я слышал, в те дни в Киото даже распевали песенку: «Оиси не камень, он не тверд, он легок, словно он бумажный»<sup>1</sup>. Чтобы так обмануть всех на свете, нужно большое искусство. Недавно сам Аmano Ядзэмон и тот похвалил: «Вот это настоящее мужество». И это совершенно правильно.

— Что вы! Ничего особенного тут нет,— принужденно отозвался Кураноскэ.

Его сдержанный ответ, по-видимому, не удовлетворил Дэнъэмона. Однако он увлекался все более и более. Поэтому он отвернулся от Кураноскэ, к которому до

---

<sup>1</sup> Оиси — большой камень.

сих пор обращал свою речь, и, оборотившись к Онодэра Дзюнаю, с которым некогда долгое время служил в Киото, принялся еще горячее выражать свое восхищение. Такая его чисто детская горячность была для Дзюнаю, пользовавшегося во всей их группе репутацией человека с большим опытом, смешна и в то же время трогательна. Он сам, в тон Дэнъэмону, во всех подробностях рассказал, как Кураноскэ, с целью обмануть Сайсаку, подосланного домом его врага, в облачении монаха пробрался к Югири из Масаю.

Кураноскэ, такой серьезный человек, сочинил даже песенку. Она стала очень модной. Не было публичного дома, где бы ее не распевали. В ней говорилось, как Кураноскэ в черной рясе монаха, пьяный, шагает по осыпанному лепестками вишен Гиону. Да, нет ничего удивительного, что и песенка пошла в ход, и кутежи прославились. И Югири и Укихаси — все знаменитые куртизанки в Симабара и Сьюмоку-мати, когда приходил Кураноскэ, не знали, как лучше его принять.

Кураноскэ слушал рассказы Дзюнаю с горечью, как будто его обдавали презрением. И в то же время в его памяти, словно сами собой, пробудились воспоминания о былом разгуле. Это были какие-то до странности яркие, красочные воспоминания. В них он снова видел свет большой свечи, ощущал запах ароматического масла, слышал звуки сямисэна. Даже слова той песенки, о которой упомянул Дзюнаю:

Оиси не камень,  
Он не тверд, он легок,  
Словно он бумажный...—

вызывали в его душе пленительные, словно живые образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. Вспомнил, как он без всяких колебаний повел эту разгульную жизнь — ту самую, которая сейчас всплыла у него в памяти. Как он среди этого разгула моментами наслаждался свободой и приисльем, совершенно забывая о деле мести. Он был слишком честен, чтобы отрицать тот факт, что обманывал и самого себя. Конечно, ему, понимающему человеческую природу, и во сне не могло присниться, что этот факт аморален. Оттого-то ему и было неприятно, что им восхищаются, считая его разгул лишь средством выпол-



нения долга верности. Это было ему неприятно, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым.

И не было ничего удивительного в том, что, слушая восхваления своего притворного безумия и тех мучений, на которые он себя обрек, Кураноскэ сидел с самым мрачным видом. Получив еще и этот последний удар, он с полной ясностью почувствовал, как из его груди улетучиваются последние остатки весеннего тепла. В ней оставалась только досада на всеобщее непонимание, досада на собственное неразумие, на то, что он не сумел предвидеть такое непонимание. Холодная тень этого чувства все шире и шире ложилась на его душу. Ведь и память о его подвиге отмщения, о его товарищах и, в конце концов, о нем самом, вероятно, так и перейдет в последующие времена в сопровождении столь неоправданных восхвалений. Перед лицом этого нерадостного факта он, положив руки на хибати, где уже остывали угольки, и стараясь не встречаться глазами с Дэнъэмоном, печально вздохнул.

\* \* \*

Это было немного спустя. Оиси Кураноскэ, вышедший из комнаты под первым же удобным предлогом, прислонившись к столбу наружной галереи, любовался яркими цветами, распустившимися на старом сливовом дереве среди мхов и камней старого сада. Свет солнца уже ослабел, и из бамбуков, насаженных в саду, надвигались сумерки. Там, за сёдзи, по-прежнему слышались оживленные голоса. Слушая эти голоса, Кураноскэ почувствовал, что его медленно окутывает печаль. Вместе с легким ароматом сливы все его существо охватило уныние, невыразимое уныние, проникшее в самую глубь его снова похолодевшего сердца.

Кураноскэ недвижно стоял, подняв глаза на эти твердые, холодные цветы, как будто врезанные в синее небо.

*Сентябрь 1917 г.*

## РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОТВАЛИЛАСЬ ГОЛОВА

### НАЧАЛО

Хэ Сяо-эр выронил шашку, подумал: «Мне отрубили голову!» — и в беспамятстве вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал это уже после того, как вцепился. Просто что-то с глухим звуком впилось в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Сяо-эр повалился на луку седла, как конь громко заржал, вздернул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля гаоляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ Сяо-эра они донеслись, как во сне.

Высокий, выше человеческого роста, гаолян, приминаемый бешено несущейся лошадей, ложился и вставал волнами. И справа и слева стебли то трепали косу Хэ Сяо-эра, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся из шеи черную кровь. Но голова его неспособна была осознавать все это в отдельности. В его мозгу с мучительной отчетливостью стоял только один простой факт — зарезан. «Зарезан! Зарезан!» — твердил он мысленно и совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади.

Хэ Сяо-эр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки,

отделенной от лагеря рекой, минут десять назад среди полей желтеющего гаоляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ Сяо-эр и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно: вот враг. И может быть, еще: убить врага. Поэтому, повернув лошадей, оскалившись, как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появилось отражение их собственных лиц с оскаленными зубами. И одновременно вокруг них взвились шашки.

А дальше... Дальше представление о времени исчезло. Хэ Сяо-эр до странности ясно помнил, как качался, словно от порывов бури, высокий гаолян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка и что и в какой последовательности произошло — этого он почти не помнил. Во всяком случае, все это время Хэ Сяо-эр, громко выкрикивая как безумный что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота. И в то же время удивительно сохло во рту. Тут внезапно перед его лошадью вынырнуло искаженное лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезаящими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрубленной посередине фуражке с красным кантом видна была наголо обритая голова. Увидев его, Хэ Сяо-эр взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретилась с взметнувшимся клинком шашки противника. В кипевшем кругом шуме удара прозвенел отчетливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах

металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэ Сяо-эра и описал широкий круг... И в тот же миг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилося ему в шею.

\* \* \*

Лошадь со стонущим от боли Хэ Сяо-эром на спине бешено неслась вскачь по полям гаоляна. Гаолян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиное ржание, лягз скрежывающихся шашек — все уже затихло. Осеннее солнце в Ляодуне сияло так же, как в Японии.

Хэ Сяо-эр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нем выражалось более сложное ощущение: Хэ Сяо-эр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки — от головокружительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти.

Ему было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучавшим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того... Все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того, как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть: «Умираю, умираю!» — то произнести имя отца или матери, то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывававшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны — настолько раненый ослабел.

«Нет человека несчастней меня! Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня все равно что враги. Из-за них, из-за всех этих людей я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько еще хотелось сделать. И я, кото-

рый позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали,— какой же я дурак!»

Вот что выражали стоны Хэ Сяо-эра, пока он, вцепившись в шею коня, несся все дальше и дальше по полям гаоляна. Время от времени то там, то сям вспархивали выводки перепуганных перепелов, но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался вскачь, с ключьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине.

Поэтому, если бы позволила судьба, Хэ Сяо-эр, немолчно стеная и жалуясь небу на свое несчастье, трясся бы в седле целый день, пока медно-красное солнце не склонилось бы к закату. Однако равнина постепенно переходила в пологий склон, и когда на пути заблестела узкая мутная речонка, протекавшая между двумя стенами гаоляна, судьба предстала у берега в виде нескольких ив, на низких ветвях которых скопилось опавшая листва. Как только конь Хэ Сяо-эра стал продираться между деревьями, густые ветви вцепились во всадника и сбросили его в мягкую грязь у самой воды.

В момент падения Хэ Сяо-эру почему-то привиделось в небе пылающее желтое пламя. Такое же ярко-желтое пламя, какое он в детстве видел дома, под большим котлом на кухне. «А огонь пылает!» — подумал он и тут же потерял сознание.

#### ПРОДОЛЖЕНИЕ

Совсем ли потерял сознание Хэ Сяо-эр, упав с коня? Действительно, боль от раны вдруг почти прекратилась. Однако, лежа на пустынном берегу, выпачканный в крови и земле, он сознавал, что смотрит в высокое синее небо, которое гладят листья ив. Это небо было глубже и синей, чем любое другое небо, какое он видел до сих пор. Словно смотришь снизу в огромную опрокинутую темно-синюю чашу. И на дне этой чаши откуда-то появлялись облачка, похожие на сгустки пены, и опять куда-то тихо исчезали. Можно было подумать, что их все снова и снова стирают шевелящиеся листья ив.

Значит, Хэ Сяо-эр не совсем потерял сознание? Однако между его глазами и синим небом как тени про-

носились разнообразные вещи, которых там на самом деле не было. Прежде всего появилась грязноватая юбка матери. Сколько раз ребенком он в радости и горе цеплялся за эту юбку! Но теперь, едва он протянул к ней руку, она исчезла у него из глаз. Исчезая, она стала тонкой, словно газ, и сквозь нее, как сквозь слюду, просвечивали клубы облаков.

Потом плавно проплыли широкие кунжутные поля, которые тянулись за домом, где он родился. Кунжутные поля в разгаре лета, поля с унылыми цветами, раскрытыми, будто в ожидании сумерек. Хэ Сяо-эр искал взглядом среди этих полей себя и своих братьев. Но на полях не видно было ни души. Слабый солнечный свет озарял лишь молчаливо застывшие бледные цветы и листья. Они проплыли наискосок по воздуху и исчезли, как будто их куда-то утянули.

Потом в воздухе появилось нечто странное, нечто извивающееся. Присмотревшись, он понял, что это большой «драконов фонарь», с каким ходят по улицам в ночь на пятнадцатое января. В длину он был, пожалуй, около пяти-шести кэн. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от дракона, как их рисуют на картинках. С зажженной, несмотря на яркий день, свечой внутри, он тускло маячил в синем небе. Кроме того, — удивительная вещь! — этот фонарь казался живым драконом и в самом деле свободно шевелил длинными усами... Пока Хэ Сяо-эр рассматривал его, дракон медленно уплывал из глаз и сразу исчез.

Когда он скрылся, в небе вдруг показались изящные женские ножки. Их раньше бинтовали, поэтому они были не длиннее трех сун. На кончиках грациозно изогнутых пальцев мягко выделялись белые ногти. В душе Хэ Сяо-эра вызвало печаль, легкую и смутную, как укусы блохи во сне, воспоминание о временах, когда он видел эти ножки. Если бы он мог коснуться их еще раз!.. Но это, конечно, невозможно. Отсюда до того места, где он видел эти ножки, много сотен ли пути. Так он думал, а ножки тем временем стали прозрачными и незаметно слились с тенями в облаках.

Это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Хэ Сяо-эра поднялась ни разу до сих пор не испытанная странная печаль. Над его головой без-

молвно распростерлось огромное синее небо. Под этим небом, под легким веяньем ветерка люди вынуждены влачить свое жалкое существование. Как это грустно! И что он сам до сих пор не знал этой грусти — как это странно! Хэ Сяо-эр глубоко вздохнул.

В этот миг между его глазами и небом стремительно, гораздо быстрее, чем это было в действительности, пронесся отряд японской кавалерии в фуражках с красным кантом. И так же стремительно исчез. Ах, и им, наверно, так же грустно, как и ему! Не будь они призраком, хорошо было бы друг друга утешить и хоть ненадолго забыть свою печаль. Но и это сейчас слишком поздно.

На глаза Хэ Сяо-эра все время набегали слезы. Какой безобразной показалась ему его прежняя жизнь, когда он взглянул на нее глазами, полными слез, — об этом не нужно и говорить. Ему хотелось у всех просить прощения. И самому хотелось всех простить.

«Если меня спасут, я во что бы то ни стало искуплю свое прошлое», — плача, повторял он про себя. Но бесконечно глубокое, бесконечно синее небо, как будто ничему не внемля, медленно, дюйм за дюймом, все ниже и ниже опускалось ему на грудь. В этом океане синевы там и сям что-то слегка сверкало, — должно быть, звезды, которые видно и днем. Прежние призраки уже не заслоняли неба. Хэ Сяо-эр еще раз вздохнул и, с дрожащими губами, медленно закрыл глаза.

## КОНЕЦ

Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошел год. Как-то ранней весной в одной из комнат японского посольства в Пекине сидели за столом военный атташе майор Кимура и только что приехавший из Японии инженер министерства сельского хозяйства и торговли, кандидат наук Ямакава. Они непринужденно беседовали, забыв о делах за чашкой кофе и папиросой. Несмотря на весну, в большом камине горел огонь, и в комнате было так тепло, что собеседники слегка потели. От карликовой красной сливы в горшке, стоявшей на столе, иногда долетал чисто китайский аромат.

Некоторое время разговор вертелся вокруг императрицы Ситайхоу, затем перешел на воспоминания о японо-китайской войне, и тогда майор Кимура, видимо под влиянием какой-то мысли, вдруг встал и перенес на стол подшивку газет «Шэньчжоу жибао», лежащую в углу. Он развернул одну из газет перед инженером Ямакава, указал пальцем на одну из заметок и взглядом предложил прочесть. Инженер немного оторопел от неожиданности: впрочем, он давно знал, что майор держится просто, совсем не как военный. Поэтому он мгновенно представил себе какой-то исключительный случай, связанный с войной, взглянул на газету, и действительно, там оказалась внушительная заметка, которая в переводе на японский газетный язык выглядела так:

«Владелец парикмахерской на улице... некий Хэ Сяо-эр, будучи храбрым воином, не раз обнаруживал свою доблесть во время японо-китайской войны. Тем не менее после своего славного возвращения он вел себя невоздержанно, губил себя вином и женщинами; ...числа, когда он выпивал в ресторане с приятелями, разгорелась ссора, в конце концов перешедшая в драку, вследствие чего он был ранен в шею и немедленно скончался. Весьма странные обстоятельства связаны с раной на шее убитого: она не была нанесена оружием во время драки, а это вскрылась рана, полученная им на поле битвы в японо-китайскую войну, причем, судя по рассказам очевидцев, когда убитый во время драки упал, повалив стол, голова его внезапно отделилась от туловища и в потоках крови покатила по полу. Хотя власти сомневаются в достоверности этого рассказа и в настоящее время заняты строгими розысками виновного, все же, если в «Странных историях» Ляо Чжэя повествуется о том, как у некоего человека из Чжучэня отвалилась голова, то почему то же самое не могло случиться и с Хэ Сяо-эром?» и т. д.

— Что это значит? — изумленно произнес инженер Ямакава, прочитав заметку.

Майор Кимура, медленно выпуская струйки папирозного дыма, снисходительно улыбнулся:

— Любопытная история! Такая вещь только в Китае и может случиться.



— Да разве это мыслимо где бы то ни было?

Инженер Ямакава, усмехаясь, стряхнул пепел в пепельницу.

— Но еще интересней, что...— майор помедлил со странно серьезным лицом,— я знал этого Хэ Сяо-эра.

— Знали? Удивительно! Надеюсь, при вашем звании атташе вы не станете заодно с репортером сочинять небылицы?

— Кто же будет заниматься такой ерундой? Нет, когда я был ранен в битве при... этот самый Хэ Сяо-эр тоже лежал в нашем полевом лазарете, и я для практики в китайском языке несколько раз беседовал с ним. Здесь ведь говорится, что у него была рана на шее, так что девять шансов из десяти, что это он и есть. Отправившись на разведку или что-то в таком роде, он попал в стычку с нашей кавалерией, и японская пашка угодила ему в шею.

— Странная история. Кстати, этот Хэ Сяо-эр, судя по газете, гуляка. Пожалуй, умри такой человек тогда,— все было бы только лучше.

— В то время это был чрезвычайно искренний, хороший, очень тихий человек, среди пленных такие просто редкость. Оттого и врачи его особенно любили и, по-видимому, лечили со всем усердием. Он рассказывал о себе очень интересные вещи. В частности, я до сих пор хорошо помню, как он описывал мне свое состояние, когда он, раненный, упал с лошади. Он скатился в грязь у реки, лежал и смотрел в небо над прибрежными ивами и будто бы отчетливо видел в этом небе материнскую юбку, женские ножки, кунжутные поля...

Майор Кимура бросил папиросу, поднес к губам чашку с кофе и, взглянув на сливу в горшке, прибавил словно про себя:

— Он говорил, что именно тогда с горечью почувствовал, как отвратительна ему вся его прежняя жизнь.

— И как только кончилась война, он превратился в гуляку? Немногого же стоит человек!

Откинув голову на спинку стула и вытянув ноги, инженер Ямакава, иронически улыбаясь, выдохнул дым к потолку.

— «Немногого стоит человек»? Это вы в том смысле, что он просто прикидывался тихоней?

— Ну да.

— Нет, этого я не думаю. Я думаю, он так чувствовал всерьез, по крайней мере, тогда. Да и теперь, в ту самую секунду, когда у него (употребляя газетное выражение) отвалилась голова, он, вероятно, чувствовал то же самое. Я представляю себе это так: в драке его, пьяного, опрокинули вместе со столом. Рана его открылась, и в тот же миг голова с болтающейся длинной косой покатила на пол. И юбка матери, женские ножки и цветущие кунжутные поля, которые он видел тогда, опять туманно проплыли у него перед глазами. А может быть, хотя над ним и была крыша, он смотрел далеко ввысь, в глубокое синее небо. И тогда он опять с горечью почувствовал, как отвратительна ему его прежняя жизнь. Но на этот раз было поздно. Впервые, когда он потерял сознание, японские санитары заметили и подобрали его. А теперь тот, с кем он дрался, набросился на него, колотил, пинал. И тут он, полный раскаяния, горько сожалел, испустил дух.

Инженер Ямакава пожал плечами и засмеялся.

— Вы большой фантазер. Но почему же в таком случае после стольких переживаний он сделался гулякой?

— А это потому, что человек немногого стоит, только в другом смысле.— Закурив новую папиросу, майор Кимура, улыбаясь, ясным, несколько назидательным голосом произнес: — Каждый из нас должен твердо знать, что он немногого стоит. В самом деле, только те, кто это знает, хоть чего-нибудь да стоят. А иначе, как знать, и у нас когда-нибудь отвалится голова, как отвалилась она у Хэ Сяо-эра... Китайские газеты нужно читать именно так и никак иначе.

*Январь 1918 г.*

## КЭСА И МОРИТО

Ночь. Морито за оградой глядит на диск луны и ступает по опавшей листве, погруженный в думы.

Его разговор с самим собой.

«Вот и луна взошла. Обычно я жду не дождусь ее восхода, а сегодня боюсь света! При одной мысли о том, что я, такой, каким был до сих пор, в одну ночь исчезну и с завтрашнего дня сделаюсь убийцей, я дрожу всем телом. Представляю себе, как вот эти руки станут красными от крови. Как проклят я буду в своих собственных глазах! Я не мучился бы так, если бы убил человека, которого ненавижу. Но этой ночью я должен убить человека, к которому ненавижи у меня нет.

По виду я его знаю давно. Его имя — Ватáру Сазмонно дзё — я узнал только теперь, но уже не помню, как давно мне знакомо его белое, слишком нежное для мужчины лицо. Когда я узнал, что он муж Кэса́, я почувствовал ревность — это правда. Но эта ревность теперь исчезла, не оставив следа в моем сердце. И хотя Ватáру — мой соперник в любви, у меня нет к нему ни ненависти, ни злобы. Нет, скорее даже я ему сочувствую. Когда я услышал, сколько стараний положил Ватáру, чтобы завоевать Кэса в устье Коромога́ва, я даже думал о нем с теплотой. Полный одним стремлением сделать Кэса своей женой, разве не стал он даже

учиться писать танка? Когда я представляю себе любовные стихи, написанные этим настоящим самураем, я не могу сдерживать улыбки. Но это вовсе не улыбка насмешки. Просто меня трогает человек, который так старается понравиться женщине. А может быть, его рвение доставляет мне, влюбленному, своеобразное удовлетворение, потому что он старается понравиться женщине, которую я люблю.

Но люблю ли я Кэса настолько, чтобы так говорить? Моя любовь к Кэса делится на две поры: теперь и раньше. Еще до того, как Кэса связала свою судьбу с Ватару, я ее любил. Или думал, что люблю. Но теперь я вижу, что тогда в моем сердце было много нечистого. Чего я желал от Кэса? Я не знал еще женщин и просто желал овладеть ее телом. Не будет большим преувеличением сказать, что моя любовь к Кэса была лишь чувствительностью, приукрашивавшей это желание. И вот подтверждение: перестав встречаться с Кэса, я все же три года действительно не мог ее забыть, но помнил бы я ее так, если бы тогда узнал ее тело? Как ни стыдно, у меня не хватает духа ответить: да, помнил бы так же. И позже в моей любви к Кэса значительную долю составляло сожаление о том, что я не знал ее тела. Снедаемый такими чувствами, я наконец вступил в связь, которой я так боялся и так ждал. «Ну и что же теперь? — снова спрашиваю я сам себя. — Действительно ли я люблю Кэса?»

Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне, как ни тяжело, приходится припомнить некоторые обстоятельства. Случайно встретив Кэса после трехлетней разлуки на заупокойной службе у моста Ватанабэ, я полгода всеми средствами добивался тайного свидания с ней. И мне это удалось. Нет, удалось не только добиться свидания, но и овладеть ее телом, как это мне только снилось во сне. Но меня толкнуло на это не только прежнее сожаление о том, что я не знаю ее тела. Сидя на циновках в одной комнате с Кэса в доме у Коромогава, я заметил, что это сожаление как-то незаметно для меня ослабело. Может быть, дело было в том, что к тому времени я уже знал женщин. Но была причина важнее: Кэса подурнела. В самом деле, теперешняя Кэса уже не та, что три года назад. Кожа ее потеряла свой блеск, под глазами появились темные круги. Прежняя

пышная мягкость щек и подбородка исчезла, как выдумка. Единственное, что не изменилось, это, пожалуй, только все те же властные, смелые черные глаза. Эта перемена нанесла моему желанию страшный удар. Я до сих пор хорошо помню, что, встретившись с Кэса впервые после трехлетней разлуки, я был так потрясен, что невольно отвел глаза.

Так зачем же, уже не чувствуя прежнего влечения к ней, я вступил с ней в связь? Во-первых, мною двигало странное желание покорить ее. Встретившись со мной, Кэса намеренно преувеличенно рассказывала мне о своей любви к Ватару. А во мне это почему-то вызвало только ощущение лжи. «Эту женщину связывает с мужем только одно чувство — тщеславие», — думал я. «А может быть, она просто сопротивляется, боится вызвать жалость?» — думал я также. И во мне все сильней разгоралась жажда избаловать эту ложь. Но если меня спросят, почему я решил, что это ложь, и скажут мне, что в таких мыслях сказалась моя самовлюбленность, я не смогу возражать. И все же я был убежден, что это ложь. И убежден до сих пор.

Но и желание покорить ее было не все, что мною тогда владело. Кроме того... стоит мне это сказать, как я чувствую, что краска заливает мне лицо. Кроме того, мною владело чисто чувственное желание. Это не было сожаление о том, что я не знал ее тела. Нет, это было более низменное чувство, вовсе не нуждавшееся именно в этой женщине, это было желание ради желания. Даже мужчина, покупающий распутную девушку, пожалуй, не так подл, как я был тогда.

Как бы то ни было, под влиянием всех этих побуждений я вступил в связь с Кэса. Или, вернее, опозорил Кэса. Теперь, возвращаясь к вопросу, который я поставил себе с самого начала... Нет, мне незачем спрашивать себя вновь, люблю ли я Кэса. Временами я скорее ненавижу ее. В особенности после того, как все уже было кончено и она лежала в слезах, а я поднял ее, насильно обнимая, — тогда она казалась мне бесстыдней, чем я, бесстыдный! Ее растрепанные волосы, ее потное лицо — все свидетельствовало о безобразии ее тела и ее души. Если раньше я ее и любил, то этот день был последним — любовь исчезла навек. Или если раньше я ее не любил, то с этого дня в душе у меня

родилась ненависть — можно сказать и так. И вот... О! Разве не готов я сегодня ради этой женщины, которую я не люблю, убить мужчину, к которому не питаю ненависти?

В этом совершенно никто не виноват. Я заговорил об этом сам, своими собственными устами. «Убить Ватару?» — прошептал я, приблизив губы к ее уху. Когда я вспоминаю об этом, мне начинает казаться, что я тогда сошел с ума! Но я это прошептал. С мыслью «не прошепчу», стиснув зубы, прошептал. Почему мне захотелось так шепнуть, я и теперь, оглядываясь назад, никак не пойму. Но если хорошенько подумать... Чем больше я ее презирал, чем больше я ее ненавидел, тем больше и больше хотелось мне чем-нибудь ее унижить. Ничто не приблизило бы меня к этой цели так, как слова, которые я произнес: «Убить Ватару», — убить мужа, любовь к которому Кэса выставляла напоказ, вынудить у нее согласие на это. И вот я, точно одержимый злым духом, сам того не желая, вызвался совершить убийство. Но если даже этих моих побуждений, из-за которых я сказал «убить Ватару», было мало, то потом какая-то невидимая сила (наверное, сам дьявол) поработила мою волю и увлекла меня на путь зла — иначе объяснить это невозможно. Так или иначе, я неоступно шептал на ухо Кэса одно и то же.

Тогда немного погодя Кэса вдруг подняла лицо и прямо ответила, что согласна на мой замысел. Для меня не только легкость этого ответа оказалась неожиданной. Когда я взглянул на ее лицо, в ее глазах таился странный блеск, какого я ни разу еще у нее не видел. Прелюбодейка! — вот что сразу же пришло мне в голову. И чувство, похожее на отчаяние, в один миг развернуло перед моими глазами весь ужас задуманного мною. Разумеется, излишне упоминать, что меня и тогда мучило отвращение к ее развратному, поблекшему виду. Если бы я только мог, я бы тут же на месте нарушил свое обещание. Я повергнул бы эту неверную жену на дно гнуснейшего позора. Возможно, тогда — пусть я и играл этой женщиной — моя совесть могла бы укрыться за справедливым негодованием. Но на это я уже не был способен. Когда лицо ее вдруг изменилось и она, точно видя меня насквозь, пристально посмотрела мне в глаза, признаюсь прямо: я принужден был дать обещание

убить Ватару и назначил день и час потому, что я боялся: если я не соглашусь, Кэса мне отомстит. И до сих пор страх неотвязно сковывает мне сердце. Если кто-нибудь посмеется надо мной, как над трусом, — пусть смеется! Это сделает только тот, кто не видел Кэса тогда. «Если я не убью его, то Кэса — пусть и не собственными руками — все равно убьет меня. Так пусть лучше я сам убью Ватару!» — с отчаянием думал я, глядя в ее глаза, плачущие без слез. Я дал клятву, и когда я увидел, как Кэса опустила глаза и засмеялась, так что на ее бледных щеках появились ямочки, разве основательность моего страха не подтвердилась?

О, из-за этой проклятой клятвы я должен на свою обещанную, дважды обещанную душу принять грех убийства! Если бы этой ночью я нарушил клятву... Нет, этого я тоже не вынесу. Во-первых, есть та, кому я клялся. И, кроме того, я говорил, что боюсь мести. И это не ложь. Но есть и еще нечто. Что? Что это за великая сила, которая гонит меня, такого труса, на убийство безвинного? Не знаю. Не знаю, но иногда... Нет, не может быть! Я презираю эту женщину. Боюсь. Ненавижу. И все-таки... и все-таки... может быть, я все еще люблю ее...»

Продолжая ходить взад и вперед, Морито больше не признает ни слова. Лунный свет. Слышно, как где-то поют песни имаё:

О душа, о сердце  
человека!  
Ты, как непроглядный мрак,  
темно и глухо.  
Ты горишь одним огнем —  
страстей нечистых,  
Угасаешь без следа, —  
и вот вся жизнь!

2

Ночь. Кэса, встав с постели и отвернувшись от света лампы, кусает рукав, погруженная в думы.

Ее разговор с самой собой.

«Придет ли он? Или не придет? Не может быть, чтобы не пришел. Однако луна уже склоняется к закату, а шагов не слышно, — может быть, он раздумал?»

Вдруг он не придет?.. О, тогда я опять должна буду смотреть на солнце со стыдом, как распутная девка! Как выдержу я такую мерзость, такую гнусность? Тогда я буду все равно что труп, валяющийся на дороге. Опозоренная, попираемая, в довершение всех зол обреченная нагло выставлять свой позор на свет, я все же должна буду молчать, как немая. Если это случится, пусть я умру — даже смерть не облегчит моих мук! Нет, нет, он непременно придет! Я не могу думать иначе с тех пор, как при прощании я видела его глаза. Он боится меня. Ненавидит, презирает и все же боится. В самом деле, если бы я надеялась только на себя, я не могла бы сказать, что он непременно придет. Нет, я надеюсь на подлый страх, рожденный его себлюбием. Вот почему я могу так сказать. Он непременно прокрадется сюда...

Я, не способная больше надеяться на самое себя, — что я за жалкий человек! Три года назад я больше всего надеялась на себя, на свою красоту. Три года назад... может быть, ближе к правде будет сказать — до того дня. В тот день, когда я встретила с ним в одной комнате, в доме у тетки, я с первого же взгляда увидела в его сердце свое безобразие. Лицо его оставалось спокойным, он как ни в чем не бывало говорил мне нежные слова, чтобы меня увлечь. Но разве может поддаться таким словам сердце женщины, однажды понявшей свое безобразие! Я только терзалась. Боялась. Гореваала. Я вспомнила, как мне было жутко, когда в детстве, на руках у няньки, я смотрела на лунное затмение, — но насколько тогда было лучше, чем теперь! Все мои мечты сразу развеялись. И меня охватила тоска, как на дождливом рассвете. Дрожа от тоски, я в конце концов отдала свое все равно что мертвое тело этому человеку. Этому человеку, которого я не люблю, который меня ненавидит, который меня презирает, этому сластолюбцу... Может быть, я не могла вынести тоски, охватившей меня, когда я увидела свое безобразие? И я хотела обмануть всех, когда, словно в порыве страсти, прижала голову к его груди? Или же меня, как и его, толкала только гнусная чувственность? От одной этой мысли мне стыдно. Стыдно! Стыдно! Особенно в тот миг, когда я высвободилась из его объятий, как презирала я сама себя!



Как ни хотела я сдерживать слезы, от гнева и тоски они лились опять и опять. Но это была не только печаль о нарушенной верности. Мучительнее всего было то, что, заставив меня нарушить мою верность, меня еще и унизили, что, ненавидя меня, как прокаженного пса, меня еще и терзают. Что же я потом сделала? Теперь это представляется мне смутным, как далекое воспоминание. Я только помню, как я рыдала, и вдруг его усы коснулись моего уха, и он, горячо дыша, тихо прошептал: «Убить Ватару?» Услыхав эти слова, я почувствовала еще мне самой непонятное, странное ощущение возвращения жизни. Жизни? Если сияние луны можно назвать светом, то и это было возвращение жизни. Но как эта жизнь не похожа на свет солнца! И все же разве эти ужасные слова не утешили меня? О, неужели я, неужели женщина может так радоваться любви другого мужчины, что готова убить своего мужа?

Ощущая это возвращение жизни, тоскливой, как лунный свет в эту ночь, я все еще плакала. А потом? Потом? Когда, как я взяла с него клятву убить мужа? Только принимая клятву, я в первый раз вспомнила о муже. Я открыто говорю — в первый раз. До тех пор я была поглощена лишь мыслями о самой себе, о своем позоре. И только тогда вспомнила о муже, о своем тихом муже... нет, не о муже. Перед моими глазами, как живое, всплыло лицо мужа, что-то с улыбкой мне говорящего. Наверно, мой замысел шевельнулся в моей душе как раз в тот миг, когда я вспомнила это лицо. Потому что как раз тогда я решила умереть. Я радовалась, что я в силах решиться. Но вот, перестав плакать, я подняла лицо, взглянула на Морито, снова, как и раньше, прочла в его сердце, что я безобразна, и вся моя радость сразу погасла. Я опять вспомнила мрак лунного затмения, которое я видела, лежа на руках у кормилицы. Как будто разом вырвались на волю все притаившиеся на дне радости злые духи. Если я заменяю собой мужа, значит ли это, что я действительно люблю его? Нет, нет, мне только хочется под этим предлогом искупить свой собственный грех — то, что я отдалась этому человеку. Я, у которой не хватает мужества покончить с собой! Я, исполненная подлого желания выставить себя перед людьми в лучшем свете! Но это еще можно было бы изменить. Я была еще подлец! Еще,

еще безообразней! Под предлогом заменить собой мужа не хотела ли я отомстить этому человеку за его ненависть, за его презрение, за его гнусную чувственность, в угоду которой он сделал меня своей игрушкой, отомстить за все? Вот подтверждение: когда я увидела его лицо, странное оживление, похожее на лунный свет, потухло во мне, и мое сердце вдруг оледенила печаль. Я умру не ради мужа. Я хочу умереть ради себя самой. Я хочу умереть из-за горечи оттого, что изранили мое сердце, и из-за злобы оттого, что осквернили мое тело. Вот почему я хочу умереть. О, моя жизнь ничего не стоит! Ничего не стоит и моя смерть.

Но насколько эта смерть, даже если она и ничего не стоит, желанней, чем жизнь! Скрывая печаль, я принудила себя улыбнуться и еще раз взяла с него клятву убить мужа. Он догадлив, и он по этим моим словам, вероятно, догадался, что я натворю, если увижу, что он нарушил клятву. А если так — он должен прийти, дав клятву, он не может не прийти... Что это, ветер? Когда я подумаю, что мои мучения, начавшиеся с того дня, этой ночью наконец прекратятся, у меня становится легко на сердце. Завтра солнце бросит холодный свет на мой обезглавленный труп. Когда это увидит мой муж... Нет, о муже не надо думать, муж меня любит. Но эта любовь мне не нужна. С давних пор я могла любить только одного человека. И этот единственный человек сегодня ночью придет меня убить. Даже при свете лампы мне слишком светло. Мне, измученной моим возлюбленным...»

Кэса гасит светильник. Вскоре в темноте — слабый звук отодвигаемой ставни. И сквозь щель падает бледный свет луны.

*Апрель 1918 г.*

## ПАУТИНКА

### 1

Однажды Будда бродил в одиночестве по берегу райского пруда.

Весь пруд устлали лотосы жемчужной белизны, золотые сердцевины их разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание.

В раю тогда было утро.

Будда остановился в раздумье и вдруг увидел в окне воды, мерцавшей среди широких листьев лотоса, все, что творилось глубоко внизу, на дне Лotosового пруда.

Райский пруд доходил до самых недр преисподней.

Сквозь его кристальные воды Игольная гора и река Сандзу были видны так отчетливо-ясно, словно в глазок биоскопа.

Там, в бездне преисподней, кишело великое множество грешников. И случилось так, что взор Будды упал на одного грешника по имени Кандата.

Этот Кандата был страшным разбойником. Он совершил много злодеяний: убивал, грабил, поджигал, но все же и у него на счету нашлось одно доброе дело.

Как-то раз шел он сквозь чащу леса и вдруг увидел: бежит возле самой тропинки крохотный паучок. Кандата занес было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе: «Нет, он хоть и маленький, а, что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать его».

И пощадил паучка.

Созерцая картину преисподней, Будда вспомнил, что разбойник Кандата подарил однажды жизнь паучку, и захотел он, если возможно, спасти грешника из бездны ада в воздаяние за одно лишь это доброе дело. Тут, по счастью, на глаза Будде попался райский паучок. Он подвесил прекрасную серебряную нить к зеленому, как нефрит, листу лотоса.

Будда осторожно взял в руку тончайшую паутинку и опустил ее конец в воду между жемчужно-белыми лотосами. Паутинка стала спускаться прямо вниз, пока не достигла отдаленнейших глубин преисподней.

## 2

Там, на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения в Озере крови, то всплывая наверх, то погружаясь в пучину.

Повсюду, куда ни взгляни, царила крошечная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. Это тускло поблескивали иглы на страшной Игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников.

Преступные души, низверженные после многих мук в самые глубины преисподней, не находили сил стоять и плакать.

Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлебываясь кровью в Озере крови, лишь беззвучно корчился, как издыхающая лягушка.

Но вдруг Кандата поднял голову и начал вглядываться в темноту, нависшую над Озером крови. Из этой пустынной мглы, с далекого-далекого неба, прямо к нему, поблескивая тонким лучиком, плавно спускалась серебряная паутинка, словно опасаясь, как бы ее не заметили другие грешники.

Кандата от радости забил в ладоши. Надо только уцепиться за эту паутинку и ползть по ней, взбираясь все выше и выше. Тогда уж, верное дело, ускользнешь из преисподней.

А если повезет, то, чего доброго, и в рай попадешь. И не погонят тебя больше на вершину Игольной горы, не бросят снова в Озеро крови.

Подбодренный этой надеждой, Кандата крепко ухватился за паутинку обеими руками и начал изо всех сил карабкаться вверх.

Само собой, для опытного вора это было делом привычным.

Но от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри. Как он ни старался, нелегко ему было добраться до горных высот. Лез, лез Кандата вверх и наконец даже его, такого силача, одолела усталость. Не смог он без единой передышки добраться до самого неба.

Делать нечего, пришлось дать себе роздых. Вот остановился он на полдороге, висит на паутинке, отдыхает, и вдруг поглядел вниз, в глубокую пропасть.

Недаром так упорно взбирался Кандата вверх по этой тонкой паутинке. Озеро крови, где он только что терпел лютые муки, скрылось в непроглядной тьме. А вершина страшной Игольной горы, смутно сверкавшая во мраке адской бездны, уже у него под ногами. Если он и дальше будет так проворно карабкаться, что ж, пожалуй, ему и в самом деле удастся дать тягу из преисподней.

Крепко цепляясь за паутинку, Кандата впервые за много лет вновь обрел человеческий голос и с хохотом крикнул:

— Спасен! Спасен!

Но тут же внезапно заметил, что и другие грешники без числа и счета облепили паутинку и, как шеренга муравьев, ползут вслед за ним все выше и выше.

При этом зрелище Кандата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, поддурачки широко разинув рот.

Эта тоненькая паутинка и его-то одного с трудом выдерживала, где же ей выдержать такое множество людей!

Если паутинка лопнет, тогда и он сам,— подумать только, он сам! — уже забравшийся так высоко, полетит вверх тормашками в ад. Прощай надежда на спасение!

А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из темных глубин Озера крови. Сотни, тысячи грешников, растянувшись длинной цепочкой, торпливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий луч,

паутинке. Надо что-то скорей предпринять, или паутинка непременно порвется и он полетит в бездну.

И Кандата завопил во весь голос:

— Эй вы, грешники! Это моя паутинка! Кто вам позволил взбираться по ней? А ну, живо слезайте. Слезайте вниз!

Но что случилось в тот же миг!

Паутинка, до той поры целая и невредимая, с треском лопнула как раз там, где за нее цеплялся Кандата.

Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками все ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы.

И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в беззвездном, безлунном небе преисподней.

### 3

Стоя на берегу Лotosового пруда, Будда видел все, что случилось, с начала и до конца. И когда Кандата, подобно брошенному камню, погрузился на самое дно Озера крови, Будда с опечаленным лицом опять возобновил свою прогулку.

Сердце Кандаты не знало сострадания, он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней, и за это был наказан по заслугам: снова ввергнут в пучину ада. Каким постыдным и жалким выглядело это зрелище в глазах Будды!

Но лотосы в райском Лotosовом пруду оставались безучастны.

Чашечки их жемчужно-белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды.

И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание.

В раю время близилось к полудню.

*Июль 1918 г.*

## МУКИ АДА

### 1

Второго такого человека, как его светлость Хорикава, раньше-то, уж конечно, не было, да и впредь вряд ли будет. Ходила молва, будто перед его рождением у изголовья достопочтенной матушки явился сам святой Дайитоку. Как бы там ни было, он с самого рождения своего, говорят, непохож был на обыкновенных людей. И оттого ни разу не случалось, чтобы мы не подивились тому, что ему угодно было сделать. Посмотреть хоть на его дворец у реки Хорикава, такой, как это говорят, «величественный», что ли? Там такое понаделано, что нам с нашим простым разумением этого и не понять. Люди рассказывают о его светлости невесть что, сравнивают его светлость с императором Ши Хуан-ди и Ян-ди, да ведь это, пожалуй, все равно что, как говорится в пословице, слепому на ощупь судить о слоне. Однако его светлость помышлял не только о себе, о своем блеске и славе. Нет, он вникал и в то, что было куда ниже его. Он, как говорится, радовался вместе со всем миром — такое уж у него было великодушное сердце.

Вот почему, даже когда его светлость оказался во дворце Нидзэ во время ночных бесчинств злых духов, с ним не приключилось ничего дурного. И дух самого садайдзина Тору, который, как шла молва, из ночи в ночь появлялся во дворце Кахараин, на Третьей

Восточной улице, — в том дворце, что прославлен изображением видов Сиогама в Митиноку, — так вот, даже этот призрак исчез, стоило его светлости на него прикрикнуть. Вот какое могущество было у его светлости, так что не удивительно, что народ во всей столице — стар и млад, мужчины и женщины, когда заходила речь о его светлости, говорили о нем, как о живом Будде. Прошел даже слух, что когда при возвращении из дворца с праздника сливовых цветов понесли быки, впряженные в колесницу его светлости и примяли одного старика, как раз там проходившего, то старик только сложил руки и благодарил за то, что по нему прошли быки его светлости.

Вот как все обстояло, и поэтому много чего можно будет порассказать о жизни его светлости даже в грядущие времена. Как он на пиру выставил в подарок гостям целых тридцать белых коней, как он при постройке моста Нагара отдал «в свай» своего любимого отрока, как повелел китайцу-монаху, что знал искусство врачевания, разрезать себе нарыв на ляжке... Если перебирать все по отдельности — и конца не будет! Но из всего этого множества рассказов самый страшный, пожалуй, будет о том, как появились ширмы с картиной мук ада, что и сейчас в доме его светлости почитаются самой большой драгоценностью. Ведь даже его светлость, которого ничто на свете не могло расстроить, и тот был тогда потрясен. А мы, кто ему прислуживал, еле живы остались, — об этом что уж говорить! Даже мне, служившей у его светлости целых тридцать лет, никогда больше не приходилось видеть такие ужасы.

Но прежде чем поведать вам об этом, нужно сначала рассказать о мастере-художнике Ёсихидэ, что нарисовал эти ширмы с изображением мук ада.

## 2

Ёсихидэ... верно, и теперь еще есть люди, которые его помнят. Это был такой знаменитый художник, что вряд ли в то время нашелся бы человек, который мог бы с кистью в руках сравниться с ним. В ту пору было ему, пожалуй, лет под пятьдесят. Посмотришь на него — такой низенький, тощий, кожа да кости, угрюмый ста-



рик. Во дворец к его светлости он являлся в темно-желтом платье каригину, на голове — шапка момизэбси. Нрава был он прегадкого, и губы его, почему-то не по возрасту красные, придавали ему неприятное сходство с животным. Говорили, будто он лижет кисти и оттого к губам пристаёт красная краска, а что это было на самом деле — кто его знает? Злые языки говорили, что Ёсихидэ всеми своими ухватками похож на обезьяну, и даже кличку ему дали: «Сáрухидэ»<sup>1</sup>.

Да, раз уже я сказала «Сарухидэ», то расскажу заодно вот еще о чем. В ту пору во дворце его светлости возвели в ранг камеристки единственную пятнадцатилетнюю дочь Ёсихидэ, милую девушку, совсем непохожую на своего родного отца. К тому же, может, оттого, что она рано лишилась матери, она была задумчивая, умная не по летам, ко всем внимательная, и потому все другие дамы, начиная с дворцовой управительницы, любили ее.

Вот по какому-то случаю его светлости преподнесли ручную обезьяну из провинции Тáмба, и сын его светлости, большой проказник, назвал ее Ёсихидэ. Обезьяна и сама по себе смешная, а тут еще такая кличка, вот никто во дворце и не мог удержаться от смеха. Ну, если бы только смеялись, это еще ничего, но случилось, что, когда она взберется на сосну в саду или запачкает татами в покоех, люди забавы ради подымали крик: «Ёсихидэ, Ёсихидэ!» — чем, конечно, сильно донимали художника.

Как-то раз, когда дочь Ёсихидэ, о которой я сейчас говорила, шла по длинной галерее, неся ветку сливы с письмом, из противоположной двери навстречу ей, прихрамывая, кинулась обезьянка Ёсихидэ — она, видно, повредила себе лапу и не могла взобраться на столб, как обычно делала. А за ней — что бы вы думали? — гнался молодой господин, размахивая хлыстом и крича:

— Негодный воришка! Постой, постой!

Увидев это, дочь Ёсихидэ было растерялась, но тут как раз обезьянка подбежала, уцепилась за ее подол и жалобно заскулила. Девушке сразу стало так ее жалко — прямо не совладать с собой. С веткой сливы в руке

---

<sup>1</sup> Сару — обезьяна.

она отвела пахнувший фиалками рукав, нежно обняла обезьянку и, склонившись перед молодым господином, ясным голоском обратилась к нему:

— Осмелюсь сказать, это ведь животное. Пожалуй-ста, простите ее.

Но молодой господин уже стоял перед ними. Он гневно нахмурился и топнул ногой.

— Чего заступаешься! Обезьяна украла мандарины.

— Ведь это животное...— повторила девушка, набравшись смелости, а потом с грустной улыбкой добавила: — К тому же ее зовут Ёсихидэ. Выходит, будто вы гневаетесь на моего отца, и я не могу спокойно смотреть на это.

Тогда, конечно, молодой господин овладел собой.

— Вот как!.. Ну, раз просишь за отца, я, так и быть, уступлю и прощу,— сказал он неохотно, бросил хлыст и ушел через ту самую дверь, откуда показался.

### 3

Дружба дочери Ёсихидэ с обезьянкой и началась с этого случая. Девушка подвязала ей на шею, на красивой красной ленте, золотой колокольчик, полученный в подарок от молодой госпожи, и обезьянка уже не отходила от девушки. А когда однажды дочь Ёсихидэ, простудившись, лежала в постели, обезьянка неотлучно сидела возле нее,— может, это только казалось,— с грустной мордочкой и все время кусала себе ногти.

С тех пор — странная вещь! — никто уже больше не мучил обезьянку, как бывало раньше. Напротив, малопомалу ее стали ласкать, даже сам молодой господин иногда кидал ей персимоны или каштаны. Мало того, когда однажды кто-то из слуг пнул обезьянку ногой, молодой господин очень разгневался; и говорили, что вскоре за тем его светлость повелел дочери Ёсихидэ явиться к нему с обезьянкой на руках именно потому, что ему стало известно, как разгневался молодой господин. Тут, кстати, до него дошли и рассказы о том, почему девушка так любит обезьянку.

— Девчонка — хорошая дочь. Хвалю.

Так по воле его светлости девушка получила в награду алое акомэ. А когда и обезьянка почтительно

взяла в руки акомэ, делая вид, будто его рассматривает, его светлость изволил еще больше развеселиться. Да, вот как это было, и, значит, его светлость стал благоволить к дочери Ёсихидэ именно потому, что одобрил ее почтение и любовь к отцу, сказавшиеся в ее любви к обезьяне, а вовсе не потому, что был сластолюбив, как говорили люди. Правда, и такая молва пошла не без причины, но об этом я расскажу не торопясь, как-нибудь в другой раз. Пока же довольно сказать, что при всей ее красоте не такой был человек его светлость, чтобы засматриваться на какую-то дочь художника.

Так вот, дочь Ёсихидэ удалилась от его светлости с честью, но так как она была девушка умная, то не навлекла на себя зависти остальных камеристок. Напротив, с тех пор ее вместе с обезьянкой стали баловать, и так часто сопровождала она молодую госпожу на прогулку, что, можно сказать, почти не отходила от нее.

Однако оставлю пока что девушку и расскажу еще об ее отце, Ёсихидэ. Да, обезьяну вскорости все полюбили, но самого-то Ёсихидэ по-прежнему терпеть не могли и по-прежнему за спиной звали Сарухидэ. И так было не только во дворце. В самом деле, и отец настоятель из Ёкогава, когда произносили при нем имя Ёсихидэ, менялся в лице, словно встретился с чертом, и вообще изволил его ненавидеть. Правда, поговаривали, будто причина в том, что Ёсихидэ изобразил отца настоятеля на шуточных картинках, но это болтали низшие слуги, и не могу сказать наверняка, так ли это. Во всяком случае, отзывались о нем дурно везде, кого ни спросишь. Если кто не говорил о нем плохо, то разве два-три приятеля-художника. Да еще люди, которые видели его картины, но не знали его самого.

Однако Ёсихидэ не только с виду был гадкий, у него был отвратительный нрав, и нельзя не сказать, что ему доставалось по заслугам.

#### 4

А нрав у него был вот какой: он был скупой, бессовестный, ленивый, алчный, а пуще всего — спесивый, заносчивый человек. Что он первый художник в стране — это прямо-таки капало у него с кончика носа. Ладно

бы дело шло только о живописи, но он и в другом не хотел никому уступать и высмеивал даже нравы и обычаи. Один старый ученик Ёсихидэ рассказывал мне, что, когда как-то раз в доме одной знатной особы в знаменитую жрицу Хигáки вселился дух и она начала вещать страшным голосом, Ёсихидэ и слушать ее не стал, а взял припасенную кисть и спокойно срисовал ужасное лицо жрицы. Должно быть, и нашествие духа было в его глазах просто детским надувательством.

Вот какой это был человек, и потому лицо будды Киссётэн он срисовал с простой потаскушки; а будду Фудó писал с оголтелого каторжника, и много чего непотребного он делал, а когда его за это упрекали, он только посвистывал. «Что же, боги и будды, которых Ёсихидэ нарисовал, его же за это накажут? Чудно!» Такие слова пугали даже учеников, и многие из них в страхе за будущее торопились его оставить. Как бы там ни было, он думал, что такого замечательного человека, как он, в его время нет нигде на свете.

Нечего говорить о том, какой высоты Ёсихидэ достиг в искусстве живописи. Правда, так как его картины и по рисунку и по краскам во всем отличались от произведений других художников, то среди его недоброжелателей, собратьев по кисти, поговаривали, что он шарлатан. По их словам, когда дело касается картин Каванáри, или Канаóка, или других знаменитых старых мастеров, то о них ходят удивительные рассказы: то будто на разрисованной створке двери в лунные ночи благоухает слива, то будто слышно, как придворные, изображенные на ширме, играют на флейте... Когда же речь идет о картинах Ёсихидэ, то говорят только странные и жуткие вещи. Например, о картине «Круговорот жизни и смерти», которую Ёсихидэ написал на воротах храма Рюгáйдзи, рассказывали, что когда поздно ночью проходишь через ворота, то слышатся стоны и рыдания небожителей. Больше того, находились такие, которые уверяли, что чувствовали даже зловоние разлагающихся трупов. А портреты женщин, нарисованные по приказу его светлости? Говорили ведь, что не проходит и трех лет, как те, кто на них изображен, заболевают, словно из них вынули душу, и умирают.

Послушать злоязычных, так это самое верное доказательство, что в картинах Ёсихидэ замешано колдовство.

Но поскольку Ёсихидэ, как я уже говорила, был человек особенный, то он только гордился этим, и когда как-то раз его светлость изволил пошутить: «Ты, кажется, любишь уродство?» — то он, неприятно усмехнувшись своими не по возрасту красными губами, самодовольно ответил: «Да, всем этим художникам-верхоглядам не понять красоты уродства!» Пусть он и первый художник в стране, но так кичиться в присутствии его светлости... Недаром ученик, о котором я давеча упоминала, потихоньку дал ему кличку «Тирайдзю», жуля его за то, что он зазнается. Вы, наверно, знаете: Тирайдзю — так звали черта, который давно в старину прибыл к нам из Китая.

Но даже у Ёсихидэ, даже у этого человека, который не признавал никого и ничего, было одно настоящее человеческое чувство.

## 5

Ёсихидэ до безумия любил свою единственную дочь, ту самую девушку-камеристку. Я уже говорила, что девушка была нежная, хорошая дочь, но и его любовь к ней отнюдь не уступала ее чувству, и если рассказать, что этот человек, который на храмы никогда не жертвовал, на платья дочери или украшения для ее волос денег не жалел никогда, может показаться, что это просто ложь.

Впрочем, любовь Ёсихидэ к дочери сводилась лишь к тому, что он ее лелеял, а найти ей хорошего мужа — этого у него и в мыслях не было. Какое там! Если за девушкой кто-нибудь приударял, он, наоборот, не останавливался перед тем, чтоб набрать головорезов, которые нападали на смельчака и его убивали. Поэтому, когда по слову его светлости девушку произвели в камеристки, старик отец был очень недоволен и даже перед лицом его светлости хмурился. Должно быть, отсюда-то и пошли толки о том, что его светлость увлечен красотой девушки и держит ее во дворце, не считаясь с недовольством отца.

Впрочем, хотя толки-то были ложные, но что Ёсихидэ из любви к дочери постоянно просил, чтобы ее отпустили из дворца, это правда. Однажды, рисуя по приказу его светлости младенца Мбндзю, он очень удачно изобразил лицо любимого отрока его светлости, и его светлость, весьма довольный, изволил милостиво сказать:

— В награду дам тебе что хочешь. Выскажи твое желание, не стесняясь.

Тогда Ёсихидэ — что бы вы думали? — дерзко сказал:

— Пожалуйста, отпустите мою дочь!

В других дворцах — дело особое, но тех, кто служил его светлости Хорикава, так ласкали... Где ж еще найдется человек, который бы так грубо обратился с подобной просьбой? Это даже его светлость, такого великодушного, видимо, рассердило, и он некоторое время только молча смотрел в лицо Ёсихидэ, а потом изволил резко сказать: «Нельзя», — и тут же поднялся. И такие вещи повторялись несколько раз. Как вспомнишь теперь, пожалуй, с каждым разом его светлость изволил смотреть на Ёсихидэ все холоднее. Да и девушка, должно быть, беспокоясь за отца, часто приходила в комнаты камеристок и горько плакала, кусая рукав. Тогда толки о том, что его светлость влюбился в дочь Ёсихидэ, еще усилились. Некоторые даже говорили, будто ширмы с муками ада появились-де из-за того, что девушка противилась желаниям его светлости; но этого, разумеется, не могло быть.

Как я понимаю, его светлость не хотел отпустить дочь Ёсихидэ потому, что он с жалостью думал о судьбе молодой девушки. Он милостиво полагал, что, чем оставлять ее у такого упрямого отца, лучше держать ее у себя во дворце, где ей жилось привольно. Разумеется, он благоволил к милой девушке. Но что у него были сластолюбивые помыслы, это досужие выдумки. Да нет, можно сказать, что это просто ложь, лишенная всяких оснований.

Но, как бы там ни было, только уже в то время, когда Ёсихидэ из-за дочери оказался почти в немилости, его светлость, — о чем он помыслил, не знаю, — вдруг призвал к себе художника и повелел ему разрисовать ширмы, изобразив на них муки ада.

Стоит только сказать: «Ширма с муками ада»,— как эта страшная картина так и встает у меня перед глазами.

Если взять другие изображения мук ада, то надо сказать вот что: то, что нарисовал Ёсихидэ, не похоже на картины других художников, прежде всего, как бы это сказать, по расположению. В углу на одной створке мелко нарисованы десять князей преисподней, а по всему остальному пространству бушует такое яростное пламя, что можно подумать, будто пылают меч-горы, поросшие нож-деревом. Только кое-где желтыми или синими крапинками пробивается китайская одежда адских слуг, а так, куда ни кинь взгляд, все сплошь залито алым пламенем, и среди огненных языков, изогнувшись, как крест мандзи, бешено вьется черный дым разбрызганной туши и летят горящие искры развеянной золотой пыли.

Уже в этом одном сила кисти поражает взор, но и грешники, корчащиеся в огне,— таких тоже почти что не бывает на обычных картинах ада. Среди множества грешников Ёсихидэ изобразил людей всякого звания, от высшей знати до последнего нищего. Важные сановники в придворных одеяниях, очаровательные юные дамы в шелковых нарядах, буддийские монахи с четками, молодые слуги на высоких асида, отроковицы в длинных узких платьях, гадатели со своими принадлежностями — перечислять их всех, так и конца не будет! В бушующем пламени и дыму, истязуемые адскими слугами с бычьими и конскими головами, эти люди судорожно мечутся во все стороны, как разлетающиеся по ветру листья. Там женщина, видно, жрица, подхваченная за волосы на вилы, корчится со скрюченными, как лапы у паука, ногами и руками. Тут мужчина, должно быть, какой-нибудь наместник, с грудью, насквозь пронзенной мечом, висит вниз головой, как летучая мышь. Кого стегают железными бичами, кто придушен тяжестью камней, которых не сдвинет и тысяча человек, кого терзают клювы хищных птиц, в кого впились зубы ядовитого дракона,— пыток, как и грешников, там столько, что не перечеть.

Но самое ужасное — это падающая сверху карета, соскользнувшая до середины нож-дерева, которое торчит, как клык хищного животного. За бамбуковой занавеской, приподнятой порывами ветра преисподней, женщина, так блистательно разряженная, что ее можно принять за фрейлину или статс-даму, с развевающимися в огне длинными черными волосами, бьется в муках, откинув назад белую шею, и взять ли эту женщину, взять ли пылающую карету — все, все так и вызывает перед глазами муки огненного ада. Кажется, будто ужас всей картины сосредоточился в этой одной фигуре. Это такое нечеловеческое искусство, что, когда глядишь на картину, в ушах сам собой раздается страшный вопль.

Да, вот какая это вещь, и для того, чтобы она была написана, и произошло то страшное дело. Ведь иначе даже сам Ёсихидэ — как мог бы он так живо нарисовать муки преисподней? За то, что он создал эту картину, ему пришлось перенести такие страдания, что сама жизнь ему опостылела. Можно сказать, этот ад на картине — тот самый ад, куда предстояло попасть и самому Ёсихидэ, первому художнику своей страны.

Может быть, торопясь поведать вам об этой удивительной ширме с муками ада, я забежала вперед. Ну, теперь буду продолжать по порядку и перейду к Ёсихидэ в ту пору, как он получил от его светлости повеление написать картину мук ада.

## 7

Месяцев пять-шесть Ёсихидэ совсем не показывался во дворец и занимался только своей картиной. Странное дело, стоило ему сказать себе: «Ну, принимаюсь за работу!» — как он, такой чадолюбивый отец, забывал даже родную дочь. Тот ученик, о котором я давеча упоминала, рассказывал мне, что, когда Ёсихидэ брался за работу, в него точно лиса вселялась. И правда, в то время прошел слух, будто Ёсихидэ составил себе имя в живописи потому, что дал обет богу счастья. В подтверждение некоторые говорили, что надо только потихоньку подсмотреть, как Ёсихидэ работает, и тогда



непременно увидишь, как вокруг него — и спереди, и сзади, и со всех сторон — вьются призраки-лисицы. Правда то, что, взяв в руки кисть, он забывал обо всем на свете, кроме своей картины. И днем и ночью сидел он, запершись, и редко выходил на дневной свет. А когда писал ширму с муками ада, то стал совсем как одержимый.

Мало того что у себя в комнате, где и днем были спущены занавеси, он при свете лампад тайными способами растирал краски или, нарядив учеников в суйкан или каригину, тщательно срисовывал каждого в отдельности. От таких чудачеств он не воздерживался никогда, даже еще до того, как стал писать ширмы с муками ада, при любой работе. Когда он писал в храме Рюгайдзи картину «Круговорот жизни и смерти», то спокойно присаживался перед валявшимися на дорогах трупами, от которых всякий обыкновенный человек нарочно отворачивается, и точка в точку срисовывал полуразложившиеся руки, ноги и лица. Каким образом находил на него такой стих — это, пожалуй, не всякий поймет. Рассказывать подробно сейчас не хватит времени, но если поведать вам самое главное, то вот как это происходило.

Однажды, когда один из учеников Ёсихидэ (тот самый, о котором я уже говорила) растирал краски, мастер вдруг подошел и сказал ему:

— Я хочу немного соснуть. Только в последнее время я все вижу плохие сны.

В этом не было ничего особенного, и ученик, не бросая работы, коротко ответил:

— Хорошо.

Однако Ёсихидэ — что бы вы думали! — с небывало грустным видом смущенно спросил:

— Не посидишь ли ты возле меня, пока я буду спать?

Ученику показалось странным, что мастер принимает так близко к сердцу какие-то сны, но просьба не была обременительна, и он согласился. Тогда мастер опять встревоженно и как-то смущенно продолжал:

— Тогда ступай в заднюю комнату. А если придут другие ученики, то пусть ко мне не входят.

Это была та комната, где он писал картины, и там при задвинутой, как ночью, двери в тусклом свете лам-

пад стояла ширма с картиной, пока набросанной только тушью. Ну вот, когда они пришли туда, Ёсихидэ подложил под голову локоть и крепко заснул, как будто совсем обессилев от усталости. Но не прошло и получаса, как до слуха сидевшего возле него ученика стали доноситься какие-то непонятные, еле слышные стоны.

8

Стоны становились громче и постепенно перешли в прерывистую речь — казалось, будто утопающий стонет и вскрикивает, захлебываясь в воде.

— Что ты говоришь: «Приходи ко мне?» Куда приходить? — «Приходи в ад. Приходи в огненный ад!» — Кто ты? Кто ты, говорящий со мной? Кто ты? — «Как ты думаешь, кто?»

Ученик невольно перестал растирать краски и украдкой боязливо взглянул на мастера: морщинистое лицо старика побледнело, на нем крупными каплями выступил пот, рот с редкими зубами и пересохшими губами был широко раскрыт, как будто он задыхался. А во рту что-то шевелилось быстро-быстро, словно дергали за нитку, — да, да, это был его язык. Отрывистые слова срывались с этого языка.

— «Как ты думаешь, кто?» — Да, это ты. Я так и думал, что это ты. Ты пришел за мной? — «Говорю тебе, приходи. Приходи в ад!» — В аду... в аду ждет моя дочь.

Ученику стало жутко, ему вдруг померещилось, будто с ширмы соскользнули какие-то зыбкие, причудливые тени. Разумеется, ученик сейчас же протянул руку к Ёсихидэ и что было сил стал трясти его, чтобы разбудить, но мастер продолжал во сне, как в бреду, говорить сам с собой и никак не мог проснуться. Тогда ученик, собравшись с духом, плеснул ему в лицо стоявшую рядом воду для мытья кистей.

— «Она ждет, садись в экипаж... садись в этот экипаж и приезжай в ад!..»

В ту же минуту эти слова превратились в стон, как будто говорящему сдавили горло, и Ёсихидэ, раскрыв глаза, вскочил так быстро, словно его кольнули. Должно быть, необычайные видения сна еще витали под его

веками. Некоторое время он испуганно смотрел прямо перед собой с широко раскрытым ртом и наконец, придя в себя, вдруг грубо приказал:

— Мне уже лучше, ступай!

Зная, что мастеру нельзя перечить, иначе непременно получишь выговор, ученик поспешно вышел из комнаты, и когда он опять попал на яркий солнечный свет, то облегченно вздохнул, как будто сам проснулся от дурного сна.

Но это еще ничего, а вот примерно через месяц Ёсихидэ позвал к себе в комнату другого ученика: художник, кусая кисть, сидел при тусклом свете лампы и, резко обернувшись к вошедшему, сказал:

— Слушай, у меня к тебе просьба: разденься до гола!

Так как и раньше случалось, что мастер давал такое приказание, ученик, быстро скинув одежду, разделся донага. Тогда Ёсихидэ как-то странно скривился.

— Я хочу посмотреть на человека, закованного в цепи, так что, как мне ни жаль тебя утруждать, исполни ненадолго мою просьбу,— хладнокровно произнес он.

Этот ученик был крепко сложенный юноша, которому больше пристало держать в руках меч, чем кисти, но тут даже он испугался. Позже, рассказывая об этом, он всегда повторял: «Я думал, уж не сошел ли мастер с ума, не хочет ли он убить меня». Но мастера его нерешительность, должно быть, вывела из терпения. Перебирая в руках откуда-то взявшуюся тонкую железную цепь, он стремительно, точно набрасываясь на врага, схватил ученика за плечи, силой скрутил ему руки и обмотал цепью все тело, потом рванул за конец, и ученик, потеряв равновесие, во весь рост грохнулся на пол.

## 9

В эту минуту ученик похож был на опрокинутую бутылку сакэ. Руки и ноги его были безжалостно скручены, так что шевелить он мог только головой. К тому же цепь так стягивала его полное тело, что кровь в нем

остановилась, и не только на лице и на груди, но на всем теле кожа у него стала багровой. Но Ёсихидэ все это ничуть не беспокоило. Расхаживая вокруг этого тела, похожего на опрокинутую бутылку, и рассматривая его со всех сторон, он один за другим делал наброски. Какие мучения испытывал скованный ученик, об этом, пожалуй, незачем и говорить.

Так, вероятно, продолжалось бы долго, если бы не произошло нечто неожиданное. К счастью (а может быть, лучше сказать — к несчастью), из-за стоявшего в углу комнаты горшка вдруг, извиваясь, узкой лентой потекло что-то похожее на струю черного масла. Вначале оно двигалось вперед медленно, как липкая жидкость, но потом стало скользить быстрее и, поблескивая, подтекло к самому носу ученика. Тогда он с трудом, не помня себя, застонал: «Змея, змея!» Как он потом рассказывал, ему казалось в эту минуту, что вся кровь в нем застыла, — и было отчего. Змея уже чуть не касалась своим холодным жалом его шеи, в которую въелись цепи. Это неожиданное вмешательство испугало даже бесчеловечного Ёсихидэ. Поспешно бросив кисть, он нагнулся и мигом ухватил змею за хвост, так что она повисла вниз головой. Змея, покачиваясь, подняла голову и обвилась сама вокруг себя, но никак не могла дотянуться до его руки.

— Из-за тебя пропал рисунок, — хрипло и злобно пробормотал он, бросил змею в горшок в углу комнаты и с явной неохотой развязал цепь, которой был опутан ученик. Это было все, он даже не сказал ученику доброго слова. Должно быть, он досадовал не столько из-за того, что ученика могла укусить змея, сколько из-за того, что испортил рисунок. Потом уже стало известно, что и эту змею он нарочно держал у себя, чтобы рисовать с нее.

Пожалуй, довольно рассказать это одно, чтобы вы в общем представили себе его увлечение работой — неистовое, прямо бешеное. Но уж расскажу заодно, как другой ученик, лет тринадцати — четырнадцати, из-за ширмы с муками ада пережил такой ужас, который чуть не стоил ему жизни. У этого ученика была белая, как у женщины, кожа. Однажды вечером мастер позвал его в свою комнату, и он, ничего не подозревая, пошел

на зов. Смотрит — Ёсихидэ при свете лампы кормит с рук сырым мясом какую-то невиданную птицу. Величиной она была, пожалуй, с кошку. Да и перья, торчавшие с обеих сторон, как уши, и большие круглые янтарные глаза — все это тоже напоминало кошку.

10

Ёсихидэ обычно терпеть не мог, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. Так было и со змеей, о которой я сейчас рассказывала, и вообще о том, что делалось у него в комнате, он ученикам не сообщал. То на столе у него стоял череп, то красовались серебряные шарики или лакированные подносики; смотря по тому, что он рисовал, в комнате его появлялись самые неожиданные предметы. И куда он потом все это деваает — никто не знал. Пожалуй, и толки о том, что ему помогает бог счастья, пошли отсюда.

Поэтому ученик, решив, что и эта невиданная птица понадобилась мастеру для картины с муками ада, стоя перед мастером, почтительно спросил:

— Что вам угодно?

Но Ёсихидэ, как будто не слыша его, облизнул свои красные губы и указал подбородком на птицу.

— Ну что, совсем ручная, а?

— Как она называется? Я такой никогда не видал! — сказал ученик, с опаской поглядывая на ушастую птицу, похожую на кошку.

— Что, не видал? — усмехнулся Ёсихидэ. — По-городскому воспитан, вот беда... Эта птица называется филин, мне ее несколько дней назад подарил охотник из Курамá. Только ручные среди них, пожалуй, редко попадаются.

С этими словами он медленно поднес руку к птице, только что кончившей есть, и тихонько погладил ее по спине, от хвоста вверх. И что ж? — в тот же миг птица издала пронзительный крик и вдруг как взлетит со стола, да как расправит когти, да как ринется прямо на ученика! Если бы он не успел закрыться рукавом, она, наверно, истерзала бы ему лицо. Ахнув от страха, ученик стал махать рукавом, стараясь отогнать филина, а птица, щелкая клювом, опять на него... Тут уж

ученику было не до того, что здесь сам мастер: он принял и стоя отбиваться, и сидя ее гнать, и метаться по тесной комнате то туда, то сюда, а диковинная птица все за ним — то повыше взлетит, то пониже опустится, и так и метит все через какую-нибудь щелочку прямо в глаз. При этом она страшно хлопала и шелестела крыльями, и от этого ему почему-то чудился не то запах опавших листьев, не то брызги водопада, не то прелый дух перебродивших фруктов, что обезьяны прячут в дуплах... Сказать «жутко» — мало. Сердце у него сжималось, и тусклый свет лампы казался ему лунным сиянием, а комната учителя — далеким горным ущельем, осажденным демонами.

Однако ученика испугало не только то, что на него накинута филин. Нет, волосы у него встали дыбом, когда мастер Ёсихидэ, хладнокровно глядя на весь этот переполох, спокойно развернул бумагу, вынул кисть и стал срисовывать эту страшную картину — как женоподобного юношу терзает диковинная птица. Стоило ученику одним глазом увидеть это, как его охватил неслезанный страх, и он даже подумал, уж не собирается ли мастер убить его.

## 11

Да и в самом деле, нельзя сказать, чтобы мастер не был на это способен. Ведь похоже было на то, что он нарочно позвал ученика, чтобы натравить на него птицу и срисовать, как он будет метаться. Поэтому, когда ученик увидел, что делает мастер, он, не помня себя, спрятал голову в рукава, закричал страшным голосом и скорчился на полу у двери в углу комнаты. Тогда Ёсихидэ как-то испуганно вскрикнул и вскочил, но тут птица зашумела крыльями еще сильнее, и в этот миг раздался оглушительный грохот, как будто что-то упало и разбилось. Ученик, полумертвый от страха, невольно опустив рукав, поднял голову, смотрит — в комнате совершенно темно, и только слышно, как мастер сердито кличет учеников.

Наконец издали отозвался какой-то ученик и торопливо вошел со свечой в руке. При коптящем огоньке стало видно, что лампада опрокинута, пол и татами

залиты маслом и на полу валяется филин, судорожно хлопая одним крылом. Есихидэ так и застыл, приподнявшись над столом, и с ошеломленным видом бормочет что-то непонятное. И не удивительно: вокруг филина, захватив его голову и полтуловища, обвилась черная змея. Должно быть, когда ученик скорчился у порога, он опрокинул горшок. Змея выползла, филин хотел ее клюнуть — вот и началась вся эта кутерьма. Ученики переглянулись и только подивились представшему перед ними странному зрелищу, а потом молча поклонились мастеру и быстро вышли из комнаты. Что стало со змеей и птицей дальше — никто не знает.

Подобным историям не было числа. Я забыла сказать — ширмы с муками ада художнику повелели написать в начале осени, и вот до самого конца зимы ученики все время жили под страхом этих чудачеств мастера. Но в конце зимы у мастера с работой стало что-то не ладиться, вид у него сделался еще мрачнее, говорил он с раздражением. А картина на ширме как была набросана на три четверти, так дальше и не подвигалась. Мало того, порой художник даже замазывал то, что раньше нарисовал, и этому не видно было конца.

Но что именно у него не ладилось — никто не знал. Да вряд ли кто и старался узнать: наученные горьким опытом, ученики чувствовали себя так, словно сидели в одной клетке с тигром или волком, и только старались не попадаться мастеру на глаза.

## 12

За это время не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Вот только... у упрямого старикашки почему-то глаза стали на мокром месте; бывало, как останется один — плачет. Один ученик говорил мне — раз он зачем-то зашел в сад и видит: мастер стоит на галерее, смотрит на весеннее небо, а глаза у него полны слез. Ученику стало как-то неловко, он молча повернулся и торопливо ушел. Ну, не странно ли, что этот самонадеянный человек, который для «Круговорота

жизни и смерти» срисовывал трупы, валяющиеся по дорогам, плакал, как дитя, из-за того, что ему не удается, как хочется, написать картину.

Но пока Есихидэ работал как бешеный над своей картиной, будто совсем потеряв рассудок, его дочь отчего-то становилась все печальней, и даже мы стали замечать, что она то и дело глотает слезы. Она и всегда была задумчивая, тихая, а тут еще и веки у нее отяжелели, глаза ввалились — совсем грустная стала. Сначала мы гадали — то ли об отце думает, то ли любовная тоска, ну а потом пошли толки, будто его светлости угодно стало склонять ее к своим желанием, и уж после этого все разговоры как ножом отрезало, точно все о ней вдруг позабыли.

Как-то ночью, уже когда пробила стража, я одна проходила по галерее. Вдруг откуда-то подбежала обезьянка Есихидэ и ну дергать меня за подол юбки. Была теплая ночь, луна слабо светила, казалось, пахнет цветущими сливами. Вот я при свете луны и увидела, — что вы думаете? — обезьянка оскалила свои белые зубы, сморщила нос и кричит, как сумасшедшая. Мне стало как-то не по себе, досада меня взяла, что она дергает за новую юбку, и я было оттолкнула ее и хотела пройти дальше, но потом передумала: ведь уже был случай, когда один слуга обидел обезьянку и ему досталось от молодого господина. К тому же видно было, что и обезьянка так поступала неспроста. Тогда я решила узнать, в чем дело, и нехотя прошла несколько шагов в ту сторону, куда она меня тащила.

Так я оказалась у того места, где галерея поворачивала за угол и откуда за изогнутыми ветвями сосен был виден пруд, чуть поблескивавший даже в ночном полумраке. И вдруг я с испугом услышала из комнаты рядом тревожный и в то же время странный тихий шум чьего-то спора. Кругом все замерло в полной тишине, не слышно было человеческого голоса, и только не то в лунных лучах, не то в ночной мгле — не поймешь — плескались рыбы. Поэтому, услышав эти звуки, я невольно остановилась. «Ну, если это кто-нибудь озорничает, я им покажу!» — подумала я и, сдерживая дыхание, тихонько прильнула к двери.



Обезьянке, видно, казалось, что я мешкаю. Она нетерпеливо покружилась у моих ног, потом жалобно застонала, точно ее душили, и вдруг вскочила мне на плечо. Я невольно отвела голову в сторону, хотела от нее увернуться, а обезьянка, чтобы не соскользнуть вниз, вцепилась мне в рукав, — и в эту минуту, совсем забывшись, я покачнулась и всем телом ударилась о дверь. Ну, тут уж медлить нельзя было. Я быстро раздвинула дверь и хотела было кинуться в не освещенную луной глубину комнаты, но тут же остановилась в испуге, потому что навстречу мне, словно стрела, спущенная с тетивы, выскочила из комнаты какая-то женщина. В дверях она чуть не столкнулась со мной, кинулась наружу, там вдруг упала на колени и, задыхаясь, испуганно уставилась на меня так, словно увидела перед собой что-то страшное.

Я думаю, незачем и говорить, что это была дочь Ёсихидэ. Но в этот вечер она показалась мне прямо на себя непохожей. Глаза широко раскрыты. Щеки пылают румянцем. К тому же беспорядок в одежде придавал ей прелесть, необычную при ее всегдашнем младенческом виде. Неужто это в самом деле нежная, пугливая дочь Ёсихидэ? Я прислонилась к двери, глядя на эту красивую девическую фигуру, озаренную луной, и, указывая в ту сторону, откуда слышались чьи-то поспешно удалявшиеся шаги, спросила глазами: кто?

Но девушка, закусив губы, молча покачала головой. Какой у нее был расстроенный вид!

Тогда я нагнулась и, приблизив губы к ее уху, шепнула: «Кто?» Но опять она только покачала головой и ничего не ответила. Мало того, на ее длинных ресницах повисли слезы, и она еще крепче сжала губы.

Я от природы глупа и, кроме самых простых, всем понятных вещей, ничего не смыслю. Поэтому я просто не знала, что еще сказать, и некоторое время стояла неподвижно, словно прислушивалась, как бьется ее сердце. Да и расспрашивать ее дальше мне почему-то казалось нехорошо...

Сколько времени это продолжалось, не знаю. Наконец я задвинула дверь и, оглянувшись на девушку,

которая, видно, уже немного пришла в себя, как можно мягче сказала: «Ступай к себе в комнату». Потом с какой-то тревогой в душе, как будто я увидела что-то недозволенное, и чувствуя себя неловко, — а перед кем, не знаю, — я пошла туда, куда направлялась. Но не прошла и десяти шагов, как кто-то опять робко потянул меня сзади за подол. Я испуганно оглянулась. Как вы думаете, кто это был?

Смотрю — у моих ног стоит обезьянка Ёсихидэ и, сложив руки, как человек, звеня золотым колокольчиком, учтиво мне кланяется.

#### 14

После происшествия этого вечера минуло дней двадцать. Однажды Ёсихидэ неожиданно пришел во дворец и попросил приема у его светлости: художник был человек низкого звания, но давно уже пользовался благоволением его светлости. И его светлость, который не так-то легко принимал кого бы то ни было, и на этот раз охотно соизволил дать свое согласие и сейчас же позвал его к себе. Ёсихидэ был в своем всегдашнем темно-желтом каригину и помятой момизэбоси; с видом еще более угрюмым, чем обычно, он почтительно простерся ниц перед его светлостью и хриплым голосом проговорил:

— Дело идет о ширме с картиной мук ада, что ваша светлость давно изволили повелеть мне написать. С великим усердием днем и ночью держал я кисть и добился успеха. Большая часть моей работы уже сделана.

— Прекрасно, я доволен.

Однако голос его светлости, изволившего произнести эти слова, звучал как-то вяло, без воодушевления.

— Нет, ничего прекрасного нет! — Ёсихидэ с несколько рассерженным видом опустил глаза. — Большая часть сделана, но одного я сейчас никак не могу нарисовать.

— Что такое?! Не можешь нарисовать?

— Да, не могу. Я никогда не могу рисовать то, чего не видел. А если нарисую, то недоволен. Выходит, все равно что не могу.

Услышав эти слова, его светлость насмешливо улыбнулся.

— Значит, чтобы нарисовать ширмы с муками ада, тебе нужно увидеть ад?

— Да, ваша светлость изволит говорить правду. Но несколько лет назад, во время большого пожара, я собственными глазами видел такой яростный огонь, что он может сойти за пламя ада. И пламя на картине «Ёдзирри-Фудо» я написал благодаря тому, что мне привелось видеть этот пожар. Ваша светлость изволите знать эту картину.

— А как же с грешниками? Да и адских слуг ты вряд ли видел?

Его светлость задавал один вопрос за другим с таким видом, как будто слова Ёсихидэ совершенно не доходили до его ушей.

— Я видел человека, закованного в цепи. Я полностью срисовал, как другого человека терзала хищная птица. Так что нельзя сказать, что я совсем не знаю мучений грешников. И адские слуги...— Ёсихидэ криво усмехнулся,— и адские слуги не раз являлись мне не то во сне, не то наяву. Черты с бычьими мордами, с конскими головами или с тремя лицами и шестью руками, бесшумно хлопая в ладоши, беззвучно разевая рты, приходят меня истязать, можно сказать, ежедневно и ежедневно. Нет... что я хочу и не могу нарисовать — это не то.

Такие слова, должно быть, изумили даже его светлость. Некоторое время его светлость недовольно смотрел на Ёсихидэ, а потом, грозно сдвинув брови, отрывисто бросил:

— Говори, чего же ты не можешь нарисовать?

## 15

— Я хочу в самой середине ширмы нарисовать, как сверху падает карета.

Сказав это, Ёсихидэ в первый раз устремил пронизывающий взгляд в лицо его светлости. Я слышала, что, говоря о картинах, он как будто делается сумасшедшим, и вот в эту минуту от его взгляда действительно становилось жутко.

## 161

— А в карете,— продолжал художник,— разметав охваченные пламенем черные волосы, извивается в муках изящная придворная дама. Задыхаясь от дыма, искривив брови, она запрокинула лицо вверх. Рука срывает бамбуковую занавеску, может быть, чтобы избавиться от сыплющихся с нее дождем искр. Над нею, щелкая клювами, кружат и выются десять, двадцать диковинных птиц... Вот эту даму в карете — ее-то мне и не удастся никак нарисовать!

— Ну и что же? — почему-то с довольным видом понукал художника его светлость.

А Ёсихидэ с трясущимися, точно от лихорадки, красными губами еще раз, как во сне, повторил:

— Ее-то мне и не удастся нарисовать...— И вдруг резко, точно набрасываясь на кого-то, он выкрикнул: — Прошу вашу светлость — сожгите у меня на глазах карету. И кроме того, если можно...

Лицо его светлости потемнело, но вдруг он громко захохотал. И, давась от смеха, изволил проговорить:

— Я сделаю все, как ты просишь. А можно или нельзя — об этом рассуждать ни к чему.

Когда я услышала эти слова, сердце у меня екнуло, и мне вдруг стало страшно. Да и в самом деле, вид у его светлости тоже был необыкновенный — на губах пена, в бровях гроза, можно было подумать, что его заразило безумие Ёсихидэ. Его светлость замолчал было, но вдруг точно что-то прорвалось в нем, и он опять, безостановочно, громко смеясь, сказал:

— Сожгу карету! И посажу туда изящную женщину, наряженную придворной дамой. И женщина в карете, терзаемая пламенем и черным дымом, умрет мучительной смертью. Тот, кто замыслил это нарисовать, действительно первый художник на свете! Хвалю. О, хвалю!

Услыхав слова его светлости, Ёсихидэ сразу побледнел, только губы у него шевелились, точно он ловил ртом воздух, и вдруг, как будто все тело его ослабело, он припал руками к полу и тихо, едва слышно, поблагодарил:

— Это великое счастье!

Должно быть, при словах его светлости перед ним воочию предстал весь ужас его замысла. За всю мою жизнь я только в этот единственный раз его пожалела.

Это случилось через два-три дня, ночью. Его светлость, согласно своему обещанию, изволил позвать Ёсихидэ, чтобы дать ему посмотреть своими глазами, как горит карета. Разумеется, это произошло не во дворце у реки Хорикава. Карету сожгли на загородной вилле, где раньше, кажется, изволила проживать сестра его светлости. Эту виллу в просторечии называли «Дворец Юкигэ».

Этот «Дворец Юкигэ» был давно уже необитаем, и большой заброшенный сад совсем запустел. Это место выбрали, вероятно, по предложению тех, кто видел, как здесь пустынно. Ходили всякие толки и о скончавшейся здесь сестре его светлости: например, будто и теперь в безлунные ночи по галерее таинственно, не касаясь земли, скользит ее алое платье. Здесь и днем было мрачно, и выпы жутко носились при свете звезд, точно какие-то диковинные существа.

И тогда как раз была темная безлунная ночь. При светильниках можно было видеть, как его светлость в придворном платье — желтой наоси и темно-лиловой хакама с гербами — сидит, скрестив ноги, у края наружной галереи на подушке, окаймленной белой парчой. Вокруг него почтительно расположились приближенные. Среди них особенно бросался в глаза один силач, о котором рассказывали, что еще недавно, во время войны в Митиноку, он от голода ел человеческое мясо и с тех пор мог сломать рога живому оленю. Он с внушительным видом восседал в углу, опоясанный широким поясом, держа меч рукояткой вниз. Ветер колебал пламя светильников, и человеческие фигуры то выступали на свет, то уходили в тень, и все это было похоже на сон и почему-то наводило страх.

А в саду сверкала золотыми украшениями, как звездами, карета, незапряженная, с оглоблями, опущенными наклонно на подставку. Над высоким верхом ее нависал густой мрак, и при взгляде на нее холод пробежал по спине, даром что уже начиналась весна. Синяя бамбуковая занавеска с узорчатой каймой была опущена донизу и скрывала то, что находилось внутри. Вокруг кареты стояли наготове слуги с горящими сосно-

выми факелами в руках, следя за тем, чтобы дым не относился к галерее.

Сам Ёсихидэ сидел на корточках поодаль, напротив галереи. В своем всегдашнем каригину и помятой шапке момиэбоси он казался каким-то особенно маленьким, жалким, словно его давила тяжесть звездного неба. Позади него в таком же костюме сидел, по-видимому, сопровождавший его ученик. Так как они оба были далеко и в темноте, с моего места под галереей нельзя было различить даже цвета их платья.

17

Время близилось к полуночи. Темнота, окутывавшая сад с его деревьями и ручейками, поглощала все звуки, и в тишине, когда кажется, будто слышишь свое дыхание, раздавался только легкий шелест ветерка; при каждом его дуновении доносился запах копоти и дыма факелов. Его светлость некоторое время изволил молча смотреть на эту причудливую картину, а потом, нагнувшись вперед, резким голосом позвал:

— Ёсихидэ!

Художник как будто что-то ответил, но до моего слуха донесся лишь невнятный стон.

— Ёсихидэ! Сегодня я, как ты хотел, сожгу карету.

Проговорив это, его светлость бросил беглый взгляд на приближенных. В эту минуту они как будто многозначительно переглянулись и улыбнулись, а может быть, мне это показалось. Ёсихидэ поднял голову и почтительно посмотрел на галерею, но ничего не сказал.

— Смотри же хорошенько! Это карета, в которой я раньше ездил. Ты ее, наверно, помнишь. Я хочу сейчас зажечь ее и воочию показать тебе огненный ад.— Его светлость замолчал и опять кинул взгляд на приближенных. Потом вдруг жестко произнес: — Внутри, связанная, сидит преступница. И, значит, когда карету зажгут, тело негодницы сгорит, кости обуглятся, и она погибнет в жестоких мучениях. Для твоей ширмы это неповторимая натура! Непусти же, присмотришь, как запылает белоснежная кожа. Смотри хорошенько, как, воспламенившись, искрами разлетятся черные волосы.

Его светлость замолчал в третий раз, но потом, точно что-то вспомнив и смеясь, — на этот раз неслышно, так, что только тряслись плечи, — произнес:

— Такого зрелища не увидишь до скончания века! Я тоже на него погляжу. Ну-ка, подымите занавески, покажите Ёсихидэ, кто сидит внутри!

Услышав повеление, один из слуг с высоко поднятым факелом подошел к карете и, протянув руку, одним движением откинул занавеску. Пламя пылающего факела алым колеблющимся светом ярко озарило тесную внутренность кареты. Женщина, беспощадно закованная в цепи... о, кто бы мог ошибиться! На роскошное, затканное цветами вишни шелковое платье изящно спускались блестящие черные волосы, красиво сверкали косо воткнутые золотые шпильки. По костюму ее было не узнать, но хрупкая фигурка, белая шея и грустно-застенчивое личико... Это была дочь Ёсихидэ! Я чуть не вскрикнула.

И тогда... силач, сидевший против меня, встал и, схватившись за рукоятку меча, устремил грозный взгляд на Ёсихидэ. Испуганная, я увидела, что Ёсихидэ чуть не лишился рассудка. До сих пор он сидел на корточках внизу, но теперь вскочил и, протянув вперед обе руки, не помня себя, хотел броситься к карете. К сожалению, он был далеко от меня и было темно, так что выражение его лица я не разглядела. Но не успела я об этом пожалеть, как бледное, обескровленное лицо Ёсихидэ, нет, не лицо, а вся его фигура, как будто подтянутая в воздух какой-то невидимой силой, прорезав тьму, вдруг отчетливо встала у меня перед глазами. Это, по слову его светлости «зажечь!», слуги бросили факелы, и, подожженная ими, ярко вспыхнула карета, в которой сидела дочь художника.

## 18

Пламя быстро охватило верх кареты. Лиловые кисти, которыми были увешаны ее края, заколыхались, как от ветра, снизу вырвались белые даже в темноте клубы дыма, искры посыпались таким дождем, словно не то занавеска, не то расшитые рукава одежды женщины, не то золотые украшения разом рассыпались и разле-

телись кругом... Страшнее этого ничего не могло быть! А пламя, что, вытягивая огненные языки, обвивало кузов и полыхало до небес,— как его описать? Каза-лось, точно упало само солнце и на землю хлынул небесный огонь. В первый миг я чуть было не закричала, но теперь душа у меня отлетела, и я только в ужасе смотрела с раскрытым ртом на эту страшную картину. Но отец, Ёсихидэ...

Лица Ёсихидэ я не могу забыть до сих пор. Он хотел было, не помня себя, броситься к карете, но в тот миг, когда вспыхнуло пламя, остановился и, вытянув вперед руки, впивающимся взглядом смотрел туда, не отрываясь, точно его притягивал дым, окутавший карету. Залитое светом морщинистое, безобразное лицо его было ясно видно все до кончика бороды. Широко раскрытые глаза, искривленные губы, судорожно подергивающиеся щеки... весь ужас, отчаяние, страх, попеременно овладевавшие душой Ёсихидэ, были написаны на его лице. У вора перед казнью, у грешника с десятью грехами и пятью злодействами, представшего перед князьями преисподней,— вряд ли даже у них может быть такое страдальческое лицо! И даже силач побледнел и со страхом смотрел на его светлость.

Но его светлость, кусая губы и только иногда злоеще посмеиваясь, не сводил глаз с кареты. А там... что я увидела там — у меня не хватает духа об этом рассказывать. Это запрокинутое лицо задыхающейся от дыма женщины, эти длинные спутанные волосы, охваченные пламенем, это красивое, затканное цветами вишни платье, которое на глазах у всех превращалось в огонь... о, что это был за ужас! В особенности в ту минуту, когда порыв ночного ветра отогнал дым и в расступившемся пламени, в алом, мерцающем золотой пылью зареве стало видно, как она, кусая повязку, которой ей завязали рот, бьется и извивается так, что чуть не лопаются цепи,— о, в эту минуту у всех, начиная с меня и кончая тем силачом, волосы стали дыбом, словно мы собственными глазами видели муки ада!

И вот опять будто порыв ночного ветра пробежал по верхушкам деревьев... Так, верно, подумали все. И едва этот звук пронесся по темному небу, как вдруг что-то черное, не касаясь земли, не паря по воздуху,— как падающий мяч, одной прямой чертой сорвалось с



крыши дворца прямо в пылающую карету. И за обгоревшей дымящейся решеткой прижалось к откинутым плечам девушки и испустило резкий, как треск разрываемого шелка, протяжный, невыразимо жалобный крик... еще раз... и еще раз... Мы все, не помня себя, вскрикнули: на фоне пламени, поднявшегося стеной, прильнув к девушке, скорчилась привязанная было во дворце у реки Хорикава обезьянка с кличкой Ёсихидэ.

19

Но животное видно было одно лишь мгновение. Золотые искры снопом взметнулись к небу, и сразу же не только обезьянка, но и девушка скрылась в клубах черного дыма. Теперь в саду с оглушительным треском полыхала только горящая карета. Нет, может быть, верней будет сказать, не горящая карета, а огненный столб, взмывающий прямо в звездное небо.

Ёсихидэ как будто окаменел перед этим огненным столбом... Но странная вещь: он, который до тех пор как будто переносил адскую пытку, стоял теперь, скрепив на груди руки, словно забыв о присутствии его светлости, с каким-то непередаваемым сиянием — я бы сказала, сиянием самозабвенного восторга — на морщинистом лице. Можно было подумать, что его глаза не видели, как в мучениях умирает его дочь. Красота алого пламени и мятущаяся в огне женская фигура беспрдельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка.

И взор его, когда он смотрел на смертные муки единственной своей дочери, был не просто светел. В эту минуту в Ёсихидэ было таинственное, почти нечеловеческое величие, подобное величию разгневанного льва, каким он может присниться во сне. И даже бесчисленные ночные птицы, испуганные неожиданным пламенем и с криками носившиеся по воздуху, даже они, — а может быть, это только казалось, — не приближались к его помятой шапке. Пожалуй, даже глаза бездушных птиц видели это странное величие, окружавшее голову Ёсихидэ золотым сиянием.

Даже птицы. И тем более мы — все мы, вплоть до слуг, затаив дыхание, дрожа всем телом, полные непо-

нятной радости, смотрели не отрываясь на Ёсихидэ, как на новоявленного будду. Пламя пылающей кареты, гремящее по всему поднебесью, и очарованный им окаменевший Ёсихидэ... О, какое величие, какой восторг! И только один — его светлость наверху, на галерее, с неузнаваемо искаженным лицом, бледный, с пеной на губах, обеими руками вцепился в свои колени, покрытые лиловым шелком, и, как зверь с пересохшим горлом, задыхаясь, ловил ртом воздух...

## 20

О том, что в эту ночь его светлость во «Дворце Юкигэ» сжег карету, как-то само собой стало известно повсюду, и пошли всякие слухи: прежде всего, почему его светлость сжег дочь Ёсихидэ? Больше всего толковали, что это месть за отвергнутую любовь. Однако помышления его светлости клонились совсем к другому: он хотел проучить злобного художника, который ради своей картины готов был сжечь карету и убить человека.

В самом деле, я это слышала из собственных уст его светлости.

А Ёсихидэ, у которого прямо на глазах стореда родная дочь, все же не оставил своего твердого, как камень, желания написать картину, напротив, это желание как-то даже окрепло в нем. Многие поносили его, называли злодеем с лицом человека и сердцем зверя, позабывшим ради картины отцовскую любовь. Отец настоятель из Ёкогава тоже держался таких мыслей и, бывало, изволил говорить: «Сколь бы превосходен ни был он в искусстве и в умении своем, но если не понимает он законов пяти извечных отношений, быть ему в аду».

Через месяц ширма с картиной мук ада была наконец окончена. Ёсихидэ сейчас же принес ее во дворец и почтительно поверг на суд его светлости. Как раз в это время и отец настоятель был тут же, и, кинув взгляд на картину, он, конечно, был поражен страшной огненной бурей, бушевавшей в преисподней, изображенной на ширме. Раньше он все хмуро косился на Ёсихидэ, но тут произнес: «Превосходно!» Я и теперь еще не могу забыть, как его светлость усмехнулся, услышав эти слова.

С тех пор никто, по крайней мере, во дворце, уже не говорил о Ёсихидэ ничего дурного. Может быть, потому, что, несмотря на прежнюю ненависть, теперь всякий при взгляде на ширмы, подавленный странной мощью картины, как будто воочию видел перед собой великие муки огненного ада.

Но в это время Ёсихидэ уже присоединился к тем, кого нет. Закончив картину на ширмах, он в следующую же ночь повесился на балке у себя в комнате. Вероятно, потеряв единственную дочь, он уже не в силах был больше жить. Тело его до сих пор лежит погребенным в земле там, где раньше был его дом. Впрочем, простой надгробный камень, на все эти долгие годы отданный во власть дождей и ветра, так оброс мхом, что никто и не знает, чья это могила.

*Июль 1918 г.*

---

## УБИЙСТВО В ВЕК «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

То, что вы читаете ниже, — это предсмертное письмо покойного доктора, назовем его Китабатакэ Гиитиро, которое недавно дал мне прочесть человек, фигурирующий в данном повествовании под вымышленным именем виконта Хонда. На мой взгляд, нет смысла называть настоящего имени доктора Китабатакэ, поскольку ныне его вряд ли уж кто-либо помнит. Я и сам впервые узнал о нем лишь после того, как сблизился с виконтом Хонда, который рассказал мне немало прелюбопытных историй, случившихся в первые годы Мэйдзи. Что это был за человек, каковы были его характер и поступки — обо всем этом можно составить некоторое представление, прочитав предсмертное письмо доктора. Я лишь добавлю несколько фактов, о которых мне случайно довелось услышать. Доктор Китабатакэ был в свое время известным специалистом по внутренним болезням и в то же время слыл знатоком театрального искусства, придерживавшимся радикальных взглядов в области реформы театра. Говорят даже, что он сам написал комедию в двух действиях, положив в основу ее события Токугавской эпохи, переработав для этого некоторые главы из вольтеровского «Кандида». С фотографии Китабатакэ, снятой в ателье Китанива Цукуба, на вас глядит человек атлетического телосложе-

ния, с лицом, обрамленным бакенбардами на английский манер. Доктор Китабатакэ, как говорил виконт Хонда, по своим физическим данным превосходил европейцев и еще с юношеских лет проявлял недюжинные способности в любом деле, за которое брался. Некоторые особенности его характера можно уловить даже по почерку: письмо Китабатакэ написано размашистыми, крупными иероглифами в стиле Чжэн Бань-цяо.

Должен признаться, что при опубликовании этой исповеди я позволил себе некоторые вольности. Так, хотя в то время еще не существовало титулов, я называю Хонда виконтом. В то же время могу смело утверждать, что весь дух письма почти полностью сохранен в том, что вы читаете ниже.

\* \* \*

«Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса!

Уходя из жизни, я решил признаться вам в постыдной тайне, которую вот уже три года храню в глубине своей души, и раскрыть перед вами свой мерзкий, не поддающийся какому-либо оправданию поступок. Для меня было бы неслыханным счастьем, если бы у вас, по прочтении этой исповеди, шевельнулось чувство сострадания ко мне, уже чувствующему хлад могилы. Но я не скажу ни слова и в том случае, если вы сочтете меня ненормальным, заслуживающим осуждения даже после смерти. Однако факты, в которых я хочу вам признаться, выходят за рамки обычного, и это может действительно навести вас на мысль о том, что я сумасшедший. Прошу вас, не думайте так обо мне. Правда, последние несколько месяцев я сильно страдал от бессонницы, но мое сознание остается ясным, и я очень чутко реагирую на все происходящее. Заклинаю вас нашим двадцатилетним знакомством (не смею сказать — дружбой), не сомневайтесь в том, что психически я вполне здоровый человек! В противном случае эта исповедь, в которой я хочу раскрыть перед вами весь позор своей жизни, превратится всего лишь в никому не нужный жалкий клочок бумаги.

Господин виконт, виконтесса! Я презренный человек, совершивший убийство в прошлом и замышлявший совершить такое же преступление в будущем. Причем, на

этот раз (вы будете воистину крайне удивлены) я не только намеревался, но уже готов был совершить убийство человека, самого близкого для одного из вас. Позвольте при этом вновь вас предупредить, что я пишу в полном сознании и все, мною написанное, является правдой, одной только правдой. Верьте мне и не считайте эти несколько листков предсмертного письма — единственной памяти о моей жизни — бессмысленным бредом сошедшего с ума человека.

Мне остается жить совсем немного, и именно это заставляет поспешить с рассказом о мотивах, побудивших меня совершить убийство, о том, как оно было совершено, и о том странном состоянии, которое охватило меня после того, как все было кончено. Однако, о, однако и сейчас я явственно ощущаю, как согрел собственным дыханием застывшую тушу, со страхом положил перед собой лист бумаги и безуспешно пытаюсь успокоиться. Снова проследить свое прошлое и изложить его на бумаге — значит для меня пережить все заново. Снова я замышляю убийство, снова совершаю его, снова должен пережить все страдания этого последнего года. Хватит ли у меня сил, выдержу ли я? Я вновь обращаюсь к моему Иисусу Христу, от которого отвернулся много лет тому назад. О боже, молю тебя! Ниспошли мне силы...

С юношеских лет я был влюблен в мою кузину, носившую в девичестве фамилию Канродзи Акико, ныне супругу виконта Хонда (простите меня великодушно за то, что говорю о Вас, виконтесса, в третьем лице). Нужно ли мне перечислять все те счастливые часы, которые я провел вместе с Акико? Думаю, что не стоит докучать вам этим, ибо трудно будет вам в таком случае прочитать мое письмо до конца. Не могу умолчать лишь об одном светлом воспоминании, которое навсегда запечатлелось в глубине моей души. Мне тогда исполнилось шестнадцать, а Акико не было и десяти. В один чудесный майский день мы с Акико играли на газоне под шпалерами глициний во дворе ее дома. Акико спросила, как долго смогу я простоять на одной ноге. Я ответил, что вообще не сумею этого сделать. Тогда Акико подняла ногу, ухватила ее за носок одной рукой, удерживая равновесие, грациозно подняла вверх другую руку и долго так стояла. Наверху покачивались лиловые гли-

цинии, перебирая падавшие на них лучи весеннего солнца, а под ними, словно прекрасное изваяние, замерла Акико. Эта картина, словно живая, до сих пор стоит у меня перед глазами. Мысленно оглядываясь назад, я с удивлением убеждаюсь, что уже тогда, в тот день, когда я увидел Акико под лиловыми глициниями, я любил ее всем сердцем. Эта любовь все сильнее охватывала меня, все мои мысли были только о ней, и я почти совершенно забросил занятия. Но я так и не собрался с духом, чтобы раскрыть перед ней свою душу. Так прошло несколько лет, во время которых я то погружался во мрак, то чувствовал, что на меня нисходит свет, то плакал от безысходного горя, то смеялся от великой радости. И вот, когда мне исполнился двадцать один год, отец неожиданно сообщил мне, что отправляет меня в далекий Лондон изучать медицину — традиционную специальность нашей семьи. Я хотел при расставании сказать Акико о своей любви, но в нашей семье, придерживавшейся строгих традиций, не принято открыто выражать свои чувства, да и сам я, будучи воспитан в конфуцианском духе, боялся наказания за нарушающий приличия поступок и отправился в далекую английскую столицу, унося в сердце беспредельную печаль разлуки.

Сколько раз за те три года, гуляя по Гайд-парку, вспоминал я Акико, замершую под лиловыми глициниями. Нужно ли говорить, как, бродя где-нибудь по улице Пэл-Мэл, я просто умирал от одиночества в этой чужой стране. Лишь розовые мечты о будущем, о нашей грядущей совместной жизни в какой-то степени облегчали мои страдания. И вот, возвратившись на родину, я узнаю, что Акико вышла замуж за директора банка Мицумура Кёхэя. Я тут же решил покончить жизнь самоубийством, но из-за малодушия и христианской веры, которую я принял в Англии, к несчастью, у меня и рука не поднялась. Если бы вы знали, каким это было для меня горем! Тогда я решил снова уехать в Лондон, чем навлек на себя гнев отца. Мое душевное состояние было таково, что Япония без Акико стала для меня совершенно чужой. Чем влачить жизнь душевно разбитого человека на ставшей для меня чужой родине, лучше, взяв с собой томик «Чайльд-Гарольда», уехать в дальние края, бродить в одиночестве по свету

и сложить свои кости где-нибудь на чужбине, думал я. Однако домашние обстоятельства вынудили меня отказаться от намерения уехать в Англию. Я стал принимать в больнице моего отца бесчисленных пациентов, которые предпочитали меня другим врачам, поскольку я только что вернулся из-за границы, и так изо дня в день я с утра до вечера был прикован к своему кабинету.

Тогда-то я и обратился к богу, умоляя его исцелить мое сердце от разбитой любви. В ту пору в Цукидзи я близко подружился с английским миссионером Генри Таунсендом. Именно ему, прочитавшему и объяснившему мне смысл нескольких глав из Библии, я обязан тем, что моя любовь к Акико после долгих переживаний постепенно переросла в горячее и в то же время спокойное братское чувство. Вспоминаю, как мы говорили с Таунсендом о боге, о божественной и человеческой любви. Споры эти затягивались далеко за полночь, и мне не раз приходилось в одиночестве возвращаться домой по безлюдным кварталам Цукидзи. Может быть, моя сентиментальность вызовет у вас снисходительную улыбку, но, не скрою, нередко, проходя по ночным улицам, я взирал на серп луны и втайне молил бога о счастья для моей кузины Акико... А сколько раз, не будучи в силах сдерживать нахлынувшие чувства, я безутешно рыдал!

Мне не хватало ни мужества, ни сил для того, чтобы разобраться, вызван ли новый поворот в моей любви тем, что я, так сказать, «примирился с судьбой», либо иной какой-нибудь причиной. В одном лишь я был убежден твердо: возникшее во мне чувство братской любви излечило мою сердечную рану. Первое время по возвращении на родину я всячески избегал Акико и ее супруга, страшился даже услышать разговор о них; теперь же, напротив, стал желать сближения с ними. Ах, сколь легкомысленно было надеяться, что все мои страдания кончатся и на меня снизойдет успокоение, когда я своими глазами увижу их счастливую супружескую жизнь.

Именно эта надежда свела меня наконец с супругом Акико Мицумура Кёхэем. Встреча произошла третьего августа в одиннадцатый год Мэйдзи во время большого фейерверка близ моста Рёгоку; нас познакомил один



мой друг, и мы впервые провели вечер вместе в ресторане Манбати в обществе нескольких гейш, развлекались, пили, веселились... Веселился ли я? Нет, печаль была значительно глубже, чем радость. В дневнике я записал: «Когда я вспоминаю, что Акико — жена этого низкого развратника Мицумура, мое сердце готово разорваться от гнева и печали. Господь научил меня видеть в Акико сестру, но как посмел он отдать мою сестру в руки такому чудовищу? О нет, я не в силах больше терпеть козни этого жестокого и лживого бога. Разве можно обращать глаза к небу и поминать имя господне, когда жена и сестра отдана в руки грязному насильнику! Отныне я не уповаю на бога, я сам вырву мою сестру Акико из рук сластолюбивого дьявола».

Я пишу свою исповедь, а перед глазами неумолимо всплывает картина этого празднества,— будь оно проклято! Вновь я вижу прозрачный туман над водой, тысячи красных фонариков и бесконечные караваны разукрашенных прогулочных лодок. Разве могу я забыть вспыхивавшие и гаснувшие огни фейерверка, зажигавшие всполохами полнеба, забыть эту пьяную жирную свинью Мицумура, громким голосом распевавшего скабрезные песенки, от которых хотелось заткнуть уши и бежать куда глаза глядят, этого низкого развратника Мицумура, который, развалясь на циновках, обнимал одной рукой старую, выдавшую виды гейшу, а другой — молоденькую девочку, едва распутившийся бутон... Боже мой! Я помню даже три герба с изображением переплетающихся ростков мёга на его тонком черном хаори. Именно тогда, в тот вечер, когда мы любовались фейерверком из ресторана Манбати, я почувствовал, что должен его убить. Я знаю, меня побудила убить Мицумура не просто ревность,— нет, моими мыслями, моей рукой руководило негодование, ибо я хотел покарать разврат, восстановить справедливость.

С той поры я стал тайно наблюдать за Мицумура. Мне надо было убедиться, действительно ли он такой сластолюб и развратник, каким мне показался в тот вечер. К счастью, мне помогли в этом знакомые репортеры. Они мне сообщили о таких страшных случаях, свидетельствовавших о преступной развращенности Мицумура, что трудно было даже в них поверить. Именно в эти дни мой друг и старший товарищ Нару-

сима Рёхоку рассказал мне о том, как Мицумура соблазнил в киотском публичном доме «Гион» несовершеннолетнюю гейшу, из-за чего она в конце концов умерла. И это чудовище еще смело обращается как с прислугой со своей женой, олицетворением кротости и преданности. Чума, ниспосланная на человечество, — вот подходящее для него имя! Я понял, что его существование разрушает мораль, угрожает нашим нравственным принципам, а его уничтожение окажет помощь старцам и принесет успокоение юным. Тогда-то возникшая во мне решимость убить Мицумура стала постепенно воплощаться в конкретный план убийства.

Тем не менее я все еще колебался, приводить ли мне этот план в исполнение. К счастью или к несчастью, в эти тяжкие дни судьба свела меня с моим юным другом виконтом Хонда. Однажды вечером, в чайном домике Касивая, что в квартале Хокудзё, я из уст Хонда услышал печальную историю его любви. Я впервые узнал, что виконт Хонда и Акико были уже обручены, когда вмешался Мицумура и с помощью денег добился расторжения помолвки. Этот рассказ возмутил меня еще больше. Я и теперь дрожу от негодования, когда вспоминаю все подлости Мицумура, о которых рассказывал мне виконт Хонда в тот вечер в комнате ресторана с опущенными цветными камышовыми шторами, при тусклом свете единственного светильника. И в то же время помню, как сейчас, что меня охватила неопишуемая печаль, когда, возвращаясь на рикше домой, я вдруг вспомнил о том, что Хонда и Акико были обручены. Прошу вас позволить мне вновь обратиться к своему дневнику. «После встречи нынешним вечером с виконтом Хонда я принял окончательное решение в ближайшие же дни убить Мицумура. Из рассказа виконта я понял, что он и Акико не только были обручены, но, по-видимому, действительно любят друг друга. (Так вот почему виконт не желает менять свою холостяцкую жизнь!) Итак, если я убью Мицумура, виконту и Акико не составит особого труда соединиться. Похоже, само небо помогает мне в осуществлении моих планов — ведь Акико на протяжении своей супружеской жизни с Мицумура не родила ему ребенка. Не могу сдержать улыбку при мысли о том, что, убив это чудовище Мицумура, помогу моим дорогим виконту и

Акико начать счастливую жизнь». Так записал я в своем дневнике.

И вот я приступил к осуществлению своего плана. После длительных раздумий и тщательного взвешивания всех «за» и «против», я наконец выбрал подходящее для убийства место. Нашел также и средство, с помощью которого решил лишить его жизни. Думаю, в этом письме нет необходимости подробно описывать, как все это было осуществлено. Помните ли вы вечер двенадцатого июня двенадцатого года Мэйдзи, когда театр Синтомидза посетил его высочество внук германского императора? Помните ли вы, что в тот вечер возвращавшийся из театра в свой особняк Мицумура внезапно скончался в карете? Так вот, думаю, для вас будет достаточно, если я скажу, что некий пожилой доктор обратил внимание Мицумура на нездоровый цвет его лица и предложил ему принять пилюлю... О, если бы вы могли представить, что творилось в душе этого доктора! Освещаемый светом кроваво-красных фонариков, он стоял у выхода из театра Синтомидза и провожал взглядом удалявшуюся под проливным дождем карету Мицумура. В его душе в дикой пляске переплелись вчерашняя ненависть и сегодняшняя радость. Из его горла вырывался то хриплый смех, то горькие стоны, и он совершенно забыл, где находится и сколько времени прошло. Знайте же, когда, смеясь и рыдая, словно сумасшедший, он возвращался, ступая по грязи, домой, его губы непрерывно шептали одно и то же имя: Акико...

В ту ночь я не уснул ни на минуту. То вставал, меряя шагами свой кабинет, то снова садился. Радовался ли я? Или печалился? Я и сам не мог в этом разобраться. Какое-то невыразимо острое и сильное чувство охватило все мое существо и ни на миг не позволяло мне успокоиться. На столе стояла бутылка шампанского. Рядом в вазе букет роз. Тут же лежала... коробочка с теми самыми пилюлями. Казалось, что дьявол и ангелы решили разделить со мной мою необычную трапезу...

Никогда не был я так счастлив, как в последующие несколько месяцев. Как я и предполагал, врач из полиции установил, что смерть произошла от кровоизлияния в мозг, останки Мицумура были преданы земле,

и теперь в крошечной тьме их пожирали черви. Отныне навряд ли кто-либо мог заподозрить меня в убийстве. К тому же, как я узнал, впервые после смерти мужа Акико ожила и почувствовала себя человеком. Все это наполняло меня радостью. Я продолжал лечить своих больных, а в свободное время вместе с виконтом Хонда с удовольствием посещал театр Синтомидза, только потому, что меня обуревало странное желание снова и снова видеть огни рампы и красную обивку лож, видеть то славное поле боя, на котором я одержал окончательную победу.

Всего несколько месяцев испытывал я радость и удовлетворение. И по мере того, как они проходили, мною начало постепенно овладевать страшное искушение, ставшее позором всей моей жизни. Нет, мне не хватает ни смелости, ни сил, чтобы рассказать вам о том, какую ожесточенную борьбу мне пришлось выдержать, как постепенно эта борьба вынудила меня наложить на себя руки. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я поминутно должен вступать в смертельный бой с этой гидрой искушения. Если вы хотите хоть в какой-то степени представить себе мои страдания, прочтите, прошу вас, несколько выдержек из моего дневника.

«...октября. У Акико нет ребенка от Мицумура, она покидает его дом. В последний раз мы видели друг друга шесть лет тому назад. И я решил вместе с виконтом Хонда навестить ее. С тех пор как я приехал из Англии, я ни разу не виделся с Акико, вначале потому, что боялся за себя, потом из опасения, что ей тяжела будет эта встреча, и так это тянется по сей день. Такие ли лучистые у Акико глаза, как и шесть лет тому назад?

...октября. Сегодня зашел за виконтом Хонда, чтобы вместе с ним посетить Акико. Был поражен, узнав от Хонда, что они без меня уже несколько раз встречались. Почему виконт стал так чуждаться меня? Мне стало не по себе, и, сославшись на неотложный визит к больному, я поспешно покинул дом Хонда. После моего ухода виконт, наверно, отправился к Акико один.

...ноября. Вместе с виконтом нанес визит Акико. Красота ее несколько поблекла, но, глядя на нее, все

еще нетрудно представить девочку, стоявшую под лиловыми глициниями. Ах, наконец я повидался с Акико. Но почему же грудь мою стеснила невыразимая тоска? Почему? Не знаю причины и потому еще сильнее страдаю.

...декабря. Виконт, по-видимому, намеревается жениться на Акико. Итак, цель, которую я себе поставил, убив супруга Акико, вскоре будет достигнута. И все же... И все же меня не покидает странное, мучительное чувство, будто я вновь теряю Акико.

...марта. Говорят, что свадьба между виконтом и Акико намечена на конец нынешнего года. Молюсь, чтобы это произошло как можно скорее. Иначе я никогда не смогу освободиться от мучительного ощущения потери Акико.

Июнь, 12-го дня. Был в театре Синтомидза. Глядя на сцену, не переставал удовлетворенно улыбаться, вспоминая жертву, которую в прошлом году в этот самый день постигло мое возмездие. Но на пути домой был настолько поражен внезапно вспыхнувшей в моем мозгу мыслью о мотивах убийства, что забыл, куда направляюсь. Ради кого же я убил Мицумура?! Ради виконта Хонда? Ради Акико? А может быть, ради себя самого? Что я могу ответить на это?

...июля. Сегодня вечером виконт, Акико и я отправились смотреть, как пускают по реке Сумида фонарики. В бликах света, проникавших сквозь окно кареты, лучистые глаза Акико казались еще прекраснее, и я был настолько очарован, что даже забыл о сидевшем рядом виконте. Но сейчас не время писать об этом. Когда виконт внезапно стал жаловаться на боли в желудке, я опустил руку в карман и нащупал коробочку с пилюлями. Я замер, как громом пораженный. Ведь это была коробочка с теми самыми пилюлями. Почему они оказались при мне в этот вечер? Случайно ли? О, как горячо я надеюсь, что это было случайностью. Но так ли это на самом деле?

...августа. Я пригласил виконта и Акико на ужин. Весь вечер я не мог забыть о пилюлях, которые лежали у меня в кармане. Похоже, на дне моей души скрывается непостижимое для меня самого чудовище.

...ноября. Виконт и Акико наконец сыграли свадьбу. Чувствую, как во мне кипит гнев на самого себя. Так

сбежавший с поля боя солдат испытывает гнев за однажды проявленную трусость.

...декабря. По просьбе виконта я осмотрел его. Рядом была Акико. Сказала, что по ночам у него резко подскакивает температура. После осмотра я успокоил Акико, сообщив, что это всего лишь простуда, и сразу же отправился домой, чтобы приготовить для виконта лекарство. В течение двух часов, пока я его готовил, меня с неодолимой силой влекли к себе «те пилюли».

...декабря. Прошлой ночью видел кошмарный сон, будто убил виконта. Весь день неодолимая тоска сжимает мне грудь.

...февраля. О, теперь наконец я понял: чтобы не убить виконта, я должен убить самого себя. А как же Акико?»

Господин виконт и виконтесса! Это был лишь небольшой отрывок из моего дневника, но даже из него, я уверен, вы поймете, какие муки я испытывал в течение многих дней и ночей. Чтобы не убить виконта Хонда, я должен умереть сам. Я бы мог убить его ради того, чтобы спасти себя. Но чем бы, в таком случае, я смог объяснить мотивы, по которым убил Мицумура? Может быть, я отравил Мицумура, бессознательно стремясь к достижению своих эгоистических целей? В таком случае рушится мое «я», моя мораль, мои устои, моя честность. Этого я не смог бы перенести. На мой взгляд, лучше наложить на себя руки, чем потерпеть духовное банкротство. Поэтому ради утверждения собственной личности я решил нынешней ночью разделить участь некогда павшей от моей руки жертвы, воспользовавшись той же коробочкой с пилюлями.

Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса! Теперь вы знаете, что побудило меня покончить жизнь самоубийством. Когда вы получите мою исповедь, я превращусь уже в хладный труп. Глядя в глаза смерти, я решил так подробно раскрыть перед вами тайну своей проклятой жизни лишь для того, чтобы хоть в какой-то степени оправдать себя в ваших глазах. Но если, по-вашему, я заслуживаю ненависть, возненавидьте меня, если сострадание — пожалейте! Я, который сам себя ненавидит и жалеет, с радостью приму и вашу ненависть, и ваше сострадание. Итак, я кончаю. Через

несколько минут прикажу подать карету и отправлюсь в театр Синтомидза. И когда окончится половина программы, я проглочу несколько «тех пилюль» и снова сяду в карету. Сейчас, конечно, другое время года, но мелкий морозящий дождик напомнит мне дождь, который шел тогда, когда наливались плоды сливы. И я так же, как эта жирная свинья Мицумура, буду глядеть на огоньки проезжающих мимо карет и прислушиваться к стуку капель вечернего дождя, разбивающихся о верх кареты. Не успею я отъехать от театра, как наступит последняя минута моей жизни.

Мое письмо вы, наверно, получите уже после того, как утром читаете в газетах: доктор Китабатакэ Гиитиро скончался в карете на пути домой из театра, смерть наступила мгновенно от кровоизлияния в мозг.

Прощайте. От души желаю вам счастья и здоровья.

Всегда преданный вам слуга

*Китабатакэ Гиитиро».*

*Июль 1918 г.*

## СМЕРТЬ ХРИСТИАНИНА

Даже триста лет, прожитых в блаженстве, которого вовсе не достоин, — лишь призрачное видение в сравнении с вечным и беспредельным блаженством в будущем.

*Гия де Пекадор*, «Записки о добродетельной жизни, угодной богу», японский перевод, 1599 г.

Человек, решивший вступить на стезю добра, познает сладость тайны, скрытой в божественном учении.

*Imitatione Christi*, японский перевод, 1599 г.

1

В незапамятные времена в японском городе Нагасаки при эклезии, под названием Санта-Лючия, жил юноша-японец по имени Лоренцо. Рассказывают, будто однажды в рождественскую ночь пришедшие молиться христиане нашли его, полуживого от голода, у входа в храм, привели в чувство, а потом патэрэн из жалости взял его к себе на воспитание. Но когда юношу спрашивали о его происхождении, он с простодушным смехом обычно отвечал, что родина его — парайсо, а отец — дэусу, и почему-то ни разу не открыл правды. Говорят, однако, что родители его, судя по всему, были не какие-нибудь язычники. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на сапфировые четки вокруг его запястья. Вот почему и святой отец, и братья, отбросив



всякие сомнения, окружили его сердечной заботой. Твердостью веры не уступал он взрослым, и церковные старейшины не находили слов от удивления. Все считали маленького Лоренцо истинным ангелом во плоти, любили его и ласкали, хотя никто не знал, чье он дитя и где родился.

Вдобавок ко всему черты лица у Лоренцо были чистые, словно драгоценная яшма, а голос нежный, как у девушки, что, пожалуй, вызывало еще большее восхищение. С особой любовью, как к младшему брату, относился к Лоренцо монах по имени Симеон, тоже японец, который неизменно сопровождал его повсюду, дружески держа за руку. Этот Симеон был выходцем из самураев, состоявших на службе у даймё, поэтому и ростом он выделялся, и природной физической силой, благодаря чему не раз и не два защищал патэрэна от язычников, бросавших в того камни и черепицу. Был он столь же нежно привязан к Лоренцо, как горный орел к голубке, или, может быть, как цветущая виноградная лоза к кипарисовику с Ливанских гор, вокруг которого крепко обвилась.

Так протекло три с лишним года, и вот уже наступила для Лоренцо пора совершить обряд совершеннолетия. Но тут поползли странные слухи, будто Лоренцо вступил в тайную связь с дочерью торговца зонтами и плетеными шляпами, который жил неподалеку от Санта-Лючии. Этот старик тоже исповедовал святое учение бога и имел обыкновение приходить вместе с дочерью в эклезию. Даже во время молитвы девушка не сводила глаз с Лоренцо, стоявшего с кадиллом в руке. Более того, в церковь она всегда приходила нарядно причесанная и бросала на него страстные взгляды. Это, конечно, не укрылось от прихожан. Кто-то заметил, как девушка, проходя мимо Лоренцо, наступила ему на ногу. А некоторые даже утверждали, будто собственными глазами видели, как молодые люди обменялись любовными записками.

Патэрэн, как видно, решил, что нельзя оставить все это без внимания. Однажды он позвал к себе Лоренцо и, покусывая свою белую бороду, мягко сказал:

— Послушай-ка, дошли до меня разные слухи о тебе и дочери торговца зонтиками. Все это, наверно, выдумка. Что скажешь?

В ответ Лоренцо горестно покачал головой, повторяя сквозь слезы:

— Ничего подобного и в помине не могло быть.

Говорят, патэрэн поверил его словам, рассудив, что в столь юном возрасте и при таком ревностном почитании бога вряд ли стал бы юноша лгать.

Итак, на сей раз сомнения патэрэна рассеялись. Но самые разные толки продолжали ходить среди прихожан Санта-Люции. Поэтому Симеон, любивший Лоренцо как брата, тревожился сверх всякой меры, однако стеснялся учинить ему строгий допрос. Не то что прямо расспрашивать Лоренцо, он не мог даже посмотреть на него с недоверием. Но как-то раз на внутреннем дворе Санта-Люции он нашел любовную записку девушки к Лоренцо. Воспользовавшись тем, что Лоренцо был один в комнате, он ткнул ему в лицо записку и, то угрожая, то уговаривая, учинил подробный допрос. Но Лоренцо с краской смущения на прекрасном лице повторял лишь: «Да, мне известно, что девушка влюблена в меня, я получал от нее письма, но ни разу с нею и словом не обмолвился». Симеон же, поскольку дело было связано с людской хулой, приступал к нему с упреками и расспросами еще настойчивее. Но Лоренцо остановил на Симеоне пристальный, полный печали взгляд и произнес с укором:

— Неужели ты думаешь, что я способен солгать даже тебе?

И, не прибавив больше ни слова, он вдруг вылетел из комнаты с быстротой ласточки. Слова Лоренцо заставили Симеона устыдиться столь сильных своих подозрений. В унынии он уже собрался было уйти, как неожиданно навстречу ему в комнату вбежал не кто иной, как сам Лоренцо. Он стремительно обвил руками шею Симеона и прерывистым шепотом произнес:

— Я виноват. Прости меня.

Не успел Симеон ответить, как Лоренцо оттолкнул его и, видимо, чтобы скрыть слезы, снова опрометью умчался. «Я виноват!» Что означали эти слова? Тайную связь с девушкой или же то, что он дерзко отвечал Симеону? Этого Симеон никак не мог понять.

Но неделю спустя стали настойчиво поговаривать, что дочь торговца зонтиками беременна. Причем рассказывали, будто она сама призналась отцу, что носит

под сердцем ребенка Лоренцо из эклезии Санта-Лючия. Старик расвирипел и немедля отправился к патэрэну с жалобой. При таком обороте дела для Лоренцо уже не было оправдания, и в тот же день собрание святых братьев во главе с патэрэном отлучило его от церкви. Засим должно было последовать изгнание из Санта-Лючии. Лоренцо оказывался без средств к существованию. Однако оставить такого преступника в Санта-Лючии было никак нельзя, это могло бы повредить славе господу. И люди, любившие Лоренцо, проглотив слезы, решили прогнать его.

Больше всех страдал Симеон, к которому Лоренцо относился как к старшему брату. Но он скорее гневался на Лоренцо за обман, нежели печалился по поводу его изгнания. И когда этот милый юноша, такой несчастный, брел к выходу, навстречу холодному ветру, Симеон подошел к нему, размахнулся и наотмашь ударил кулаком по его прекрасному лицу. Удар, говорят, был таким сильным, что сшиб Лоренцо с ног, но он быстро встал и, подняв к небу полные слез глаза, дрожащим голосом произнес:

— Прости его, боже, ибо он не ведает, что творит!

Эти слова охладили пыл Симеона. Какое-то время он еще стоял в дверях, потрясая кулаками, а святые братья его успокаивали. Наконец он скрестил руки на груди и, нахмурившись, как предгрозовое небо, неотрывно, словно поживая его глазами, смотрел вслед Лоренцо, понуро уходившему за ворота Санта-Лючии. По словам христиан-очевидцев, как раз в этот момент над Нагасаки в западной части неба, казалось, над самой головой уныло бредшего Лоренцо садился шар солнца, будто колеблемый сильным холодным ветром, и хрупкая фигура юноши резко выделялась на фоне залившего небо пламени.

С тех пор Лоренцо поселился на окраине города в бедной лачуге и вел жалкое существование нищего, не то что в прежние времена, когда он держал кадило в главном храме Санта-Лючии. А его служение в прошлом христианскому богу вызывало у толпы язычников презрение не меньшее, чем принадлежность к касте отверженных. Когда он выходил на улицу, его дразнили злые дети, мало того, в него швыряли камнями и обломками черепицы, а то, бывало, грозили и палкой, и

даже мечом. А еще говорят, однажды его схватила страшная лихорадка, свирепствовавшая некогда в Нагасаки, и он семь дней и семь ночей валялся у обочины дороги, корчась в мучениях. И только безграничная любовь и сострадание дэусу всякий раз сохраняли Лоренцо жизнь. Более того, в те дни, когда никто не подавал ему милостыни рисом или деньгами, всевышний обычно ниспосылал ему дикие плоды, рыбу или моллюсков, тем Лоренцо и утолял голод. Потому, рассказывают, Лоренцо в утренних и вечерних своих молитвах не забывал времени, когда жил в Санта-Лючии, и четки у него на запястье не утратили своего сапфирового блеска. Да только ли это? Каждую ночь, когда наступала полная тьма и затихали шаги прохожих, юноша незаметно выскальзывал из своей лачуги и по озаренной лунной тропинке шел в знакомую обитель смиренно просить у господина Дзэсусу Кирисито покровительства.

К тому времени, однако, прихожане Санта-Лючии уже забыли о Лоренцо, и ни у кого, даже у патэрна, он не вызывал сострадания. Отлучая его от церкви, все твердо верили, что он совершил бесстыдный поступок, и им в голову не могло прийти, что он, как истый христианин, будет приходить каждую ночь в храм божий и творить там молитвы. Таков, видно, был непостижимый промысел дэусу, и тут уж ничего не поделаешь, но для самого Лоренцо это было весьма прискорбно.

Ну, а что же дочь торговца зонтиками? Не прошло и месяца после отлучения Лоренцо, как она родила девочку. Суровый старик, видно, полюбил свою первую внучку. Он заботливо ухаживал за дочерью и ребенком, брал малышку на руки, ласкал, а иногда, говорят, даже давал ей куклу поиграть. В этом не было, разумеется, ничего удивительного, а вот кто вел себя очень странно, так это святой брат Симеон. С того самого дня, как у дочери торговца зонтиками родился ребенок, этот огромный человек, способный, наверно, сокрушить самого дьявола, каждую свободную минуту проводил в доме старика, неуклюжими руками держал малютку и со слезами и грустью на угрюмом лице вспоминал о хрупком и нежном Лоренцо, которого любил, как младшего брата. А дочь старика торговца явно горевала и досадовала, что Лоренцо не появлялся с тех пор,

как покинул Санта-Лючию, и оттого, видимо, даже посещения Симеона были ей неприятны.

«Никто не властен остановить время», — гласит поговорка. Незаметно прошло более года. И тут случилось непредвиденное несчастье — страшный пожар, от которого за одну ночь половина Нагасаки выгорела дотла. Волосы поднимались дыбом у тех, кто видел страшные картины той ночи. Казалось, сквозь бушующее пламя несутся звуки трубы, призывающей на Страшный суд. К несчастью, дом зонтичного мастера стоял с подветренной стороны, и пламя охватило его в мгновение ока. Отец с дочерью, все домашние в страхе и растерянности выскочили на улицу и только тут вспомнили о ребенке. Очевидно, девочка осталась в той комнате, где ее уложили спать. Старик в отчаянии топал ногами и всех проклинал. Его дочь все порывалась броситься в огонь спасать ребенка, ее с трудом удерживали. Ветер крепчал, и языки пламени готовы были в ярости опалить даже звезды в небе. А жители, сбжавшиеся, чтобы спасти город от пожара, только ахали да успокаивали молодую женщину, которая металась как безумная. Что еще оставалось им делать? Растолкав толпу, прибежал известный нам брат Симеон. Этот сильный, богатырского вида мужчина, вероятно, не раз побывавший в битвах, не задумываясь, смело устремился в огонь. Но даже Симеону пришлось отступить перед его мощью. Еще два или три раза нырял он в дым, но тут же выскакивал обратно. Наконец он подошел к старику с дочерью, неподвижно стоявшим в стороне, и сказал:

— Сие есть промысел дэусу, ибо все в его власти. Смиритесь же, все усилия тщетны.

В этот момент кто-то рядом со стариком вскричал:

— Господи, помоги!

Голос показался Симеону знакомым, и он оглянулся. Боже правый! Это был не кто иной, как Лоренцо. Отблески огня озаряли его прекрасное, но сильно осунувшееся лицо, растрепанные ветром волосы черными прядями ниспадали на плечи. Симеон узнал его с первого взгляда, хотя вид у Лоренцо был самый жалкий. В нищенском рубище, Лоренцо стоял впереди толпы и, не отрываясь, смотрел на пылающий дом. Все последующее произошло буквально в мгновение ока. Разметав пламя, налетел ураганный ветер, и Лоренцо,

устремившись вперед, скрылся за огненной стеной. Все тело Симеона покрылось холодным потом.

— Боже, помоги ему! — воскликнул он, осенив себя крестным знамением.

В этот миг в памяти его вдруг всплыл образ Лоренцо, когда тот, прекрасный и печальный, уходил из ворот Санта-Лючии, озаренный солнечным светом, трепетавшим в порывах холодного ветра.

В толпе христиан, хоть и подивились храбрости Лоренцо, все же не могли забыть его греховного прошлого. И ветер разнес над шумевшей толпой всякие толки, суды и пересуды.

— Недаром говорят, что любовь родителя к своему дитяти рано или поздно, а все равно проявится, — злобно проговорил кто-то. — Лоренцо появился здесь, устыдившись своего греха, а теперь бросился в огонь, чтобы спасти единственного ребенка.

Даже старик глядел на Лоренцо с таким же чувством, а потом, видно, для того, чтобы скрыть непонятное смятение души, заламывая руки, стал выкрикивать какие-то бессмысленные слова. Дочь же его, как безумная, бросилась на колени и, закрыв лицо руками, словно замерла в страстной молитве. С неба дождем сыпались на нее огненные хлопья, дым, стелясь по земле, заволакивал лицо, она же, склонив голову, молча, самозабвенно молилась. Вдруг толпа зашумела, задвигалась: среди пляшущих языков пламени, словно сойдя с неба, показался Лоренцо с младенцем на руках. В это время рухнула одна из балок, в воздух с угрожающим гулом взметнулся вихрь огня и дыма. Лоренцо сразу же исчез из виду, а там, где он стоял, поднялся к небу коралловый столб огня.

Несчастье было столь велико, что у всех, начиная от Симеона и кончая стариком, потемнело в глазах, и они стояли молча, словно онемев. Дочь старика заголосила, потом подскочила так, что обнажились ляжки, после чего, точно сраженная молнией, распростерлась на земле. Оно и понятно: на руках у нее чудесным образом оказалась ее маленькая дочка — живая или мертвая, неизвестно, — которую она крепко прижимала к себе. О, всемогущество и безграничная мудрость всевышнего — нет слов, чтобы восславить их! Придавленный рухнувшей балкой, Лоренцо, собрав последние

силы, бросил ребенка к ногам матери, и, к счастью, тот упал невредимым.

Будто вторя голосу молодой женщины, которая, распростершись на земле, захлебывалась слезами радости, с губ старика отца, воздевшего руки к небу, сорвались слова, прославлявшие милосердие божие. Говоря точнее, он просто не мог не произнести этих исполненных благоговения слов. Симеон еще раньше бросился в бурю огня — движимый одним лишь желанием спасти Лоренцо. И снова из уст старика понеслись в вечернее небо слова молитвы, исполненные тревоги и скорби. Да и не только из его уст. Дочь его и окружающие христиане, плача, в один голос молились:

— Господи, помоги нам!

И дитя непорочной девы Марии, господь бог наш Дзэсусу Кирисито, принимающий к сердцу горести и печали всех людей на земле, как свои собственные, услышал наконец их молитвы. Смотрите! Это жестоко обожженный Лоренцо на руках Симеона, он спасен — извлечен из самой гущи огня и дыма.

Но на том не закончились трагические события этой ночи. Почти бездыханного Лоренцо христиане на руках принесли к воротам эклезии у наветренной стороны и положили там. В это время дочь торговца зонтами, все еще плача и прижимая к груди ребенка, упала на колени перед патэрэном, который в этот момент как раз вышел к воротам, и при всем народе стала вдруг исповедоваться:

— Эта девочка не дочь господина Лоренцо. Я зачала ее, тайно сойдясь с сыном соседа-язычника.

По ее полному решимости тону, по блеску ее заплаканных глаз видно было, что в этой исповеди нет и розинки лжи. Мудрено ли, что стоявшие вокруг тесным кружком христиане слушали, затаив дыхание, позабыв даже о пламени пожара, лизавшем небо.

Утерев слезы, девушка продолжала:

— Я всегда любила господина Лоренцо, тосковала, но, твердый в вере, он был холоден со мной. Тогда со злости я сказала, что ребенок, который у меня под сердцем, зачат от господина Лоренцо, и так отомстила ему за мучившую меня досаду. Но благородный душой господин Лоренцо не возненавидел меня за великий мой грех, а сегодня, презрев опасность, изволил вынести

мою дочь из огня инфэруно. Я благоговею перед его добротой и его деянием, как перед вторым пришествием господа Дзэсусу Кирисито. И как вспомню о сотворенном мною черном зле, то готова хоть сейчас без сожаления отдать свое тело на растерзание дьяволу.

Едва закончив свою исповедь, молодая женщина залилась слезами и упала на землю. По толпе верующих, в несколько рядов стоявших вокруг, волной прокатился крик: «Мученик! Мученик!» Поистине похвалы достойно, что Лоренцо пошел по стопам господа Дзэсусу Кирисито и из сострадания к грешнице не погнушался даже стать нищим. Ни патэрэн, которого он почитал как отца родного, ни Симеон, на которого он уповал как на старшего брата, никто не понял его души. Что же это, если не мученик?

Однако, слушая исповедь дочери торговца, наш Лоренцо лишь несколько раз слабо кивнул. Волосы у него обгорели, кожа была сильно обожжена, руки и ноги не двигались, не было ни малейшей надежды на то, что он заговорит. Старик, сердце которого разбила исповедь дочери, и Симеон сидели на корточках возле него, стараясь хоть как-нибудь облегчить его муки, но дыхание Лоренцо с каждой минутой становилось все слабее, видно было, что конец уже близок. Не изменилось только выражение его сияющих, как звезды, глаз, обращенных к далекому небу.

Патэрэн с развевающейся на свирепом ночном ветру белой бородой внимательно выслушал исповедь молодой женщины и торжественно изрек:

— Блажен тот, кто раскаялся. Да не коснется сего счастливца наказующая рука человека. Будем же еще усерднее следовать учению господа и смиренно ждать Страшного суда. Стремление Лоренцо уподобиться в своих деяниях господу Дзэсусу Кирисито — редкая среди христиан этой страны добродетель. А ведь он еще так молод...

Но что это? Патэрэн вдруг замолчал, вперив взгляд в Лоренцо, который лежал у его ног, так, словно юношу озарял свет парайсо. С каким благоговением смотрел на него патэрэн! Никогда еще у старика не дрожали руки так сильно. По щекам его непрерывно текли слезы.

Смотри, Симеон! И ты, старик торговец зонтами! Смотрите! Весь озаренный отблесками огня, более



алыми, чем кровь господина Дзэсусу Кирисито, безгласный, лежит у ворот Санта-Лючии прекрасный отрок, а из-под обгоревшей одежды его, как две драгоценные яшмы, выглядывают две девственно-чистые груди. Только сейчас все заметили природную нежность его лица, хотя оно было сильно обожжено. О, значит Лоренцо — девушка? Лоренцо — девушка! Смотрите, христиане, стоящие неподвижно, словно стена, спиной к бушующему пожару! Лоренцо, изгнанный из Санта-Лючии за нарушение заповеди о целомудрии, — это девушка с пленительным взглядом, такая же, как дочь торговца зонтиками.

Рассказывают, что благоговейный трепет охватил верующих, будто голос всевышнего донесся до них с высокого неба, на котором сейчас не было видно ни звездочки. И все склонили голову, как колосья под ветром, и упали на колени вокруг Лоренцо. Слышно было только, как ревет пламя, эхом отдаваясь в небе, да еще чьи-то сдавленные рыдания. Быть может, это плакала дочь торговца зонтиками? Или Симеон, считавший себя старшим братом Лоренцо? И тут мертвую тишину потряс торжественный скорбный голос патэрэна, который простер над Лоренцо руки и стал читать молитву. Когда он умолк, юная девушка, которую называли Лоренцо, узревшая сияние рая там, вдали, за темными небесами, со спокойной улыбкой отошла в мир иной.

О жизни этой девушки больше ничего не известно. Но какое это имеет значение? Самое драгоценное в жизни человека — это неповторимое мгновенное движение души. Оно подобно лучу еще не взошедшей луны, выхватывающему из мрака пенистую волну, всколыхнувшую океан страстей, которые живут в душе. Именно такая жизнь прожита не зря. Поэтому знать последние минуты Лоренцо разве не то же, что узнать всю его жизнь?

## 2

Среди принадлежащих мне книг есть книга под названием «*Legenda Aurea*», изданная Орденом иезуитов Нагасаки. Содержание ее не сводится, однако, к западно-европейской так называемой «Золотой легенде».

Наряду с записью слов и деяний заморских апостолов и святых в ней запечатлено мужество и самоочищение японских христиан, что, видимо, должно было способствовать распространению Евангелия.

Книга состоит из двух томов, напечатанных на миноской бумаге хираганой попеременно со скорописью. Печать очень нечеткая, и порой нельзя разобрать, печатный ли это знак или рукописный. На обложке первого тома латинскими буквами в горизонтальную строчку написано название книги, а под ним двумя вертикальными строчками иероглифов выгравировано: «В 1596 году от Р. Х., во 2-м году Кэйтё, первой декаде третьего месяца». Слева и справа от даты изображен трубящий ангел. При всей примитивности техники исполнения в рисунке есть что-то привлекательное. Второй том ничем не отличается от первого, если не считать надписи на обложке: «Выгравировано в середине мая».

Оба тома содержат около шестидесяти страниц. Первый состоит из восьми глав, второй — из десяти. Каждый том начинается предисловием неизвестного автора и заканчивается оглавлением, написанным латинскими буквами. Предисловие не отличается изяществом и ровностью стиля, нередко выражения и обороты, в которых чувствуется буквальный перевод с европейского. Это наводит на мысль, что написано оно рукой европейца — того же патэрэна.

Изложенная выше «Смерть христианина» основана на второй главе второго тома упомянутой «Золотой легенды» и, возможно, представляет собой точную запись события, случившегося в одном христианском храме в Нагасаки. Однако что касается упомянутого в записях большого пожара, то ни один источник, начиная с «Рассказов о гавани Нагасаки», даже не дает указания на то, был ли вообще такой пожар, что не позволяет установить точную дату события.

В рассказ «Смерть христианина» я позволил себе, по условиям издания, внести некоторые изменения. Я буду счастлив, если мне удалось не слишком повредить легкости и изяществу подлинника.

*Август 1918 г.*

## УЧИТЕЛЬ МОРИ

Как-то в конце года я и мой приятель — критик шли под вечер в сторону Кандабаси по аллее, обсаженной уже голыми ивами, по так называемой «дороге чиновной мелюзги». Справа и слева от нас в еще не угасшем полусвете сумерек какие-то люди, видимо, такие же мелкие чиновники, к которым когда-то негодуяще обратился Симадзáки Тóсон: «Держите голову выше!», понуро сели по дороге. Понуро, вероятно, потому, что знали всю безнадежность стараний разогнать общее уныние. Мы шли тесно, плечо к плечу, слегка ускорив шаг и не произнося почти ни слова, пока не миновали трамвайной остановки на Отэматси. И тогда мой приятель, окинув взглядом фигуры съжившихся от холода людей, ожидавших у красного столба очередного трамвая, неожиданно вздрогнул и как будто про себя про-бормотал:

— Вспомнился Мóри-сэнсэй.

— Мори-сэнсэй? Это кто такой?

— Учитель в школе, где я учился. Я тебе еще о нем не рассказывал?

Вместо того чтобы ответить «нет», я только нагнул край шляпы. Ниже следуют воспоминания об учителе Мори, которые по дороге рассказал мне приятель.

Это произошло лет десять назад, когда я был учеником третьего класса одной префектуральной средней школы. Во время зимних каникул от крупозного воспаления легких — осложнения после инфлюэнцы — скончался молодой учитель Адати-сэнсэй, преподававший в нашем классе английский язык. Это случилось совершенно внезапно, не было времени подыскать подходящего преемника, и поэтому-то, вероятно, и прибегли к крайней мере. Уроки покойного Адати-сэнсэй поручили старику Мори, который в то время служил преподавателем английского языка в какой-то частной школе.

Я впервые увидел учителя Мори в тот день, когда он приступил к занятиям. Мы были вне себя от любопытства, ожидая встречи с новым учителем, и, едва в коридоре послышались его шаги, в классе стало необычайно тихо. Вот эти шаги остановились перед дверью нашего уже бессолнечного, холодного класса, дверь раскрылась и — ах, эта картина и сейчас, как живая, встает перед моими глазами. Когда, открыв дверь, учитель Мори вошел, он своим маленьким ростом прежде всего напомнил нам человека-паука из праздничного балагана. Единственное, что скрашивало это впечатление, была голова учителя, почти красивая по форме, блестящая и совершенно лысая; хотя на затылке еще сохранилось несколько полуседых волосков, она почти не отличалась от яйца страуса, как его изображают на картинках в учебнике естествознания. Наконец, незаурядную внешность учителя дополняла удивительная визитка, заношенная буквально до синевы, так что трудно было поверить, что в прошлом она была черной. Вдобавок у грязноватого воротника, похожий на бабочку, красовался щегольски завязанный бант. Все это я помню с поразительной отчетливостью. Итак, едва учитель вошел в класс, как в разных углах неожиданно послышался сдержанный смех, в чем не было ничего удивительного.

Однако учитель Мори, с хрестоматией и классным журналом в руках, совершенно невозмутимо, точно никого из учеников не замечая, поднялся на кафедру, ответил на наше приветствие и с ласковой улыбкой на

своем добром, изжелта-бледном лице пронзительным голосом воскликнул:

— Господа!

За прошедшие три года никогда еще ни один школьный учитель не обращался к нам со словом «господа». И, услышав «господа» от учителя Мори, мы, естественно, широко раскрыли глаза от изумления. Вместе с тем мы, затаив дыхание, ждали, что за обращением «господа» последует большая речь о порученных ему занятиях или что-нибудь в таком роде.

Однако, сказав «господа», учитель Мори только вводил класс глазами и некоторое время больше не раскрывал рта. На его одутловатом лице блуждала спокойная улыбка, но углы рта нервно подергивались, а ясные глаза, в которых было что-то коровье, беспокойно поблескивали. И была, казалось, в этом молчании обращенная к нам немая мольба, только какая, учитель и сам не мог бы определить.

— Господа! — немного спустя повторил учитель Мори тем же тоном. На этот раз он сразу же, точно желая не дать отзвучать слову «господа», с величайшей поспешностью добавил: — Начиная с сегодняшнего дня я буду учить вас по хрестоматии.

Любопытство наше разгорелось, и, боясь произвести малейший шум, мы жадно уставились ему в лицо. Но учитель Мори окинул класс тем же умоляющим взглядом и вдруг, словно внутри у него лопнула какая-то пружина, сел. Положив рядом с уже развернутой хрестоматией классный журнал, он раскрыл его и стал просмагивать. Незачем и говорить, как разочаровало нас такое внезапное окончание вступительной речи, вернее, разочаровало и рассмешило.

К счастью, учитель, предупреждая наш смех, оторвал свои коровьи глаза от журнала и сразу же вызвал одного из нас, прибавив к фамилии «сан». Разумеется, это был знак встать и начать переводить. Ученик поднялся и бойким тоном, свойственным токийским школьникам, стал переводить отрывок из какой-то английской книги, кажется, из «Робинзона Крузо».

Учитель Мори, время от времени поднося руку к своему лиловому банту, стал вежливо поправлять ученика — не только ошибки в переводе, но даже малейшие неточности в произношении. Произношение учи-

теля Мори было несколько искусственное, но в общем правильное, ясное, и похоже было, что он сам в глубине души особенно им гордится.

Однако, когда ученик сел на место и переводить начал учитель, в классе стали раздаваться смешки. Дело в том, что учитель, у которого и без того было неестественное произношение, обнаружил при переводе еще и непостижимое для японца незнание японских слов. Вероятно, знать он их знал, но не мог вспомнить в нужную минуту. Например, одну строку он переводил так: «Тогда Робинзон Крузо решил разводить. Кого же он решил разводить? Этих странных животных... их много в зоопарке... как их зовут... они любят кривляться... да вы их хорошо знаете! Такие с красной мордой... что, обезьяны? Да-да, обезьяны! Он решил разводить обезьян». Само собой разумеется, что раз так обстояло даже с обезьяной, то если дело касалось хоть сколько-нибудь затруднительного слова, он натывался на нужный перевод с трудом, только после долгих блужданий вокруг да около. Причем каждый раз учитель Мори ужасно терялся и, беспрестанно поднося руку к горлу и чуть не обрывая свой лиловый бант, подымал смущенное лицо и кидал на нас смятенные взгляды. И тут же, обхватив руками свою лысую голову, опять опускал лицо над столом и подавленно замолкал. Тогда и без того маленькое тело учителя беспомощно съеживалось, совсем как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и нам даже представлялось, что его свешивающиеся со стула ноги болтаются в пространстве. Учеников это забавляло, и они посмеивались. Пока учитель повторял перевод, смех постепенно становился более дерзким, и наконец на передней парте раздался открытый хохот. Как, вероятно, горек был наш смех для доброго учителя Мори,— право, при одном воспоминании об этих жестоких звуках мне и теперь хочется заткнуть себе уши.

И все же учитель Мори храбро продолжал переводить, пока не прозвучал сигнал на перемену. Тогда, дочитав последний отрывок, он с тем же невозмутимым видом ответил на наше прощальное приветствие и, словно позабыв только что выдержанную жестокую битву, спокойно вышел из класса. Мы разразились неудержимым хохотом, зашумели, нарочно стуча крыш-

ками парт; некоторые ученики, вскочив на кафедру, сразу же принялись передразнивать повадки и голос нового учителя... Ах, да и я сам, со значком старосты класса, окруженный другими учениками, задрал нос и стал указывать им ошибки в переводе учителя... надо ли все это вспоминать? В самом деле, тогда я даже похвалялся тем, чего не знал наверно: действительно ли это ошибки или нет?

\* \* \*

Это было в час отдыха, через три-четыре дня. Мы, несколько учеников, собрались у песчаной горки на гимнастической площадке и, греясь на теплом зимнем солнце, без конца болтали о предстоящих в недалеком будущем годовых экзаменах. Громко скомандовав «раз-два!», на песок спрыгнул учитель Тамба, весивший целых восемнадцать кан, который упражнялся со школьниками на железном столбе, и рядом с нами появилась его фигура в жилете и спортивной кепке.

— Ну, как он, ваш новый учитель Мори? — осведомился он. Тамба-сэнсэй тоже преподавал в нашем классе английский язык, но он был известный любитель спорта, и так как он с давних пор хорошо распевал стихи, то пользовался большой популярностью в компании героев — мастеров дзюдо и фехтования, не терпевших никакого английского языка. Поэтому в ответ на слова учителя один из героев, поигрывая боксерской перчаткой, с несвойственной ему робостью, ответил:

— Да, уж очень... как бы это сказать, уж очень, как будто... не так уж хорошо знает.

Страхивая платком песок с брюк, учитель Тамба самодовольно рассмеялся.

— Хуже тебя, что ли?

— Нет, по сравнению со мной-то лучше.

— Ну так чего ж тут рассуждать!

Герой почесал рукой в перчатке голову и бесславно ступевался. Но первый по английскому языку ученик нашего класса, поправляя свои очки с толстыми стеклами, возразил не по возрасту благоразумным тоном:

— Ведь большинство из нас, сэнсэй, намерены держаться вступительные экзамены в специальные институты, поэтому мы хотели бы учиться у преподавателя, который может выходить за рамки программы.

Но Тамба-сэнсэй, по-прежнему богатырски смеясь, сказал:

— Чего там, ведь дело идет об одном семестре, так у кого ни учись, все едино.

— Значит, Мори-сэнсэй будет преподавать у нас только один семестр?

Этот вопрос, видимо, и учителя Тамба слегка задел за живое. Житейски опытный учитель намеренно не ответил и, сняв спортивную кепку, стал энергично стряхивать пыль со своей коротко стриженной головы, а затем, обедев нас взглядом, искусно переменял тему:

— Видите ли, Мори-сэнсэй — очень старый человек и поэтому немного другой, чем мы... Вот сегодня утром вхожу я в трамвай, а Мори-сэнсэй сидит в самой середине, и когда трамвай подходил к остановке, где ему надо было пересаживаться, он вдруг завопил: «Кондуктор, кондуктор!» Мне стало смешно, сил нет. Во всяком случае, он немного странный человек.

Но если уж речь зашла об этой стороне личности учителя Мори, то и без Тамба-сэнсэя мы знали многое, что приводило нас в изумление...

— И еще Мори-сэнсэй в дождь ходит в гэта, хотя на нем европейский костюм.

— А у пояса у него всегда висит что-то завернутое в белый носовой платок, и подумайте — это его завтрак!

— Я видел, как Мори-сэнсэй в трамвае держался за ремень, и перчатки у него были совсем дырявые.

Окружив учителя Тамба, мы наперебой болтали невероятную чушь. Видимо, поддавшись этому, учитель Тамба, когда наши голоса стали громче, произнес веселым тоном, вертя в руке свою кепку:

— Да это что! Шляпа-то у него старая...

И в этот самый момент — кто бы мог подумать? — на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от нас у входа в двухэтажное здание училища, напротив спортивной площадки, появилась невозмутимая тщедушная фигурка учителя Мори в старом котелке; рука его, как обычно, прикасалась к лиловому банту. У входа



несколько первоклассников играли в лошадки; увидев учителя, они наперебой стали вежливо кланяться. И Мори-сэнсэй, стоя на солнце, лучи которого падали на каменные ступени входа, с улыбкой ответил на поклоны, приподняв котелок. При виде этой картины мы почувствовали какой-то стыд, и оживленный смех на некоторое время затих. Только Тамба-сэнсэй, видимо, был слишком смущен и растерян, чтобы просто замолчать. Произнеся: «Шляпа-то у него старая», — он слегка высунул язык, быстро надел свою кепку и вдруг, круто обернувшись и громко крикнув «раз!», забросил свое полное тело, облаченное в жилетку, на железный столб. Затем, подтягиваясь по-рачьи и вытягивая ноги далеко вверх, он крикнул «два!» и, отчетливым силуэтом пронзая синее зимнее небо, легко взобрался на самый верх. Вполне естественно, что эта комичная попытка учителя Тамба скрыть свое смущение всех нас рассмешила. Глядя вверх на учителя Тамба, ученики на спортивной площадке, на минуту было притихшие, громко загалдели и захлопали учителю Тамба, совсем как болельщики на футболе.

Разумеется, я аплодировал вместе со всеми. Но уже тогда начинал, правда, пока еще инстинктивно, ненавидеть учителя Тамба. Это не значит, что я так уж проныкал сочувствием к учителю Мори. Доказательством служили аплодисменты, которыми я награждал учителя Тамба, заключавшие в себе косвенное недоброжелательство к учителю Мори. Анализируя себя теперь, я, пожалуй, могу объяснить свое тогдашнее состояние духа таким образом: презирая Тамба-сэнсэя, я вместе с тем презирал заодно и Мори-сэнсэя. А может быть и так, что мое презрение к учителю Мори стало более наглым, словно получив подтверждение в словах учителя Тамба — «а шляпа-то у него старая». Поэтому, продолжая аплодировать, я через плечо торжествующе оглянулся на вход в школу. А там наш невозмутимый учитель Мори, как зимняя муха, жадно греющаяся на солнце, одиноко стоял на каменных ступенях и с интересом наблюдал за невинными играми первоклассников. Его котелок и лиловый галстук... Почему эта картина, которую я тогда охватил одним взглядом и которая показалась мне достойной осмеяния, до сих пор не выходит у меня из головы?

Чувство презрения, которое в первый же день занятий возбудил в нас учитель Мори своим костюмом и своими знаниями, особенно с тех пор как учитель Тамба допустил оплошность (?), понемногу крепло во всем классе. Дело было как-то утром менее чем через неделю. С прошлого вечера шел снег, и на торчавшей перед окнами крыше здания, заменявшего в дождь спортивную площадку, больше не просвечивали черепицы. Но в классе стояла печка, где пылал раскаленный уголь, и даже снег, оседавший на оконных стеклах, таял, не успевая блеснуть своей голубизной. Поставив стул перед печкой, учитель Мори своим пронзительным голосом с увлечением объяснял помещенную в хрестоматии «A Psalm of life», но никто, конечно, его серьезно не слушал. Мало того что не слушал: мой сосед по парте, мастер дзюдо, подложил под хрестоматию развернутый журнал «Букё-сэкай» и с самого начала читал приключенческий роман Осикава Сюнро.

Так продолжалось минут двадцать — тридцать. Затем учитель Мори вдруг поднялся со стула и, пересказывая стихотворение Лонгфелло, которое он только что объяснял, принялся толковать о вопросах человеческой жизни. В чем состояла суть его разговоров, я не помню, но думаю, что это были не столько рассуждения, сколько какие-то впечатления его собственной жизни, потому что из того, что он говорил взволнованным голосом, все время взмахивая обеими руками, как птица с ободранными крыльями, мне смутно припоминаются такие фразы:

— Вы еще не знаете человеческой жизни. Хотите узнать, но не знаете. И в этом ваше счастье. Когда станете такими, как мы, то прекрасно узнаете жизнь. Узнаете и то, что есть в ней много тяжелого... Понимаете? Много тяжелого. Вот и у меня — двое детей. Надо отдать их в школу. А чтоб отдать, э... чтоб отдать... плата за учение? Да. Нужна плата за учение. Понимаете? Поэтому есть очень много тяжелого.

Но настроение, с которым учитель жаловался на жизненные трудности школьникам, ничего не знающим о жизни, жаловался, может быть, и сам того не желая, разумеется, не могло нам быть понятным. Более того,

видя только смешную сторону самого факта его жалоб, мы во время его речи стали потихоньку посмеиваться. Этот смешок не превратился в обычный громкий смех, вероятно, лишь потому, что жалкая одежда учителя и выражение его лица, когда он разглагольствовал своим пронзительным голосом, словно воплощая в себе сами тяготы жизни, пробудили в нас некоторое сочувствие. Но хотя наш смех не стал громче, зато немного спустя сидевший рядом со мной мастер дзюдо вдруг отложил журнал и подчеркнуто резко встал.

— Сэнсэй, мы пришли в класс, чтобы нас учили английскому языку. А раз нас не учат, то и незачем приходиться в класс. И если вы будете продолжать разговаривать, я уйду в гимнастический зал.

С этими словами он скорчил ужасную гримасу и с шумом опустился на место. Никогда не видел я такого странного лица, как у учителя Мори в эту минуту. Как пораженный громом, он с полураскрытым ртом остолбенел у печки и в течение двух-трех минут только молча смотрел в лицо дерзкому ученику. Потом в его коровьих глазах мелькнуло то самое умоляющее выражение, и вдруг, поднеся руку к лиловому галстуку и улыбаясь так, словно он плакал, он стал повторять, несколько раз склоняя свою лысую голову:

— Я виноват. Я виноват и глубоко извиняюсь. В самом деле, вы приходите в класс учиться английскому языку. Я виноват, что не учил вас английскому языку. Я виноват и глубоко извиняюсь. Понимаете? Глубоко извиняюсь.

При свете красного пламени, косо падавшем из раскрытой двери печки, еще более четко выступали потерянные места на плечах и боках его визитки. И лысая голова учителя, каждый раз, когда он ее наклонял, отливавшая красивым медным блеском, еще больше напоминала яйцо страуса.

Но и эта жалкая картина мне, каким я был тогда, только раскрывала низость Мори-сэнсэя как учителя. Он до того боится потерять место, что подлаживается к ученикам. Значит, он учителем вовсе не потому, что интересуется преподаванием, а потому, что вынужден к этому жизнью. Предаваясь таким туманным рассуждениям и чувствуя презрение не только к его одежде и знаниям, но и к самой его личности, я, обло-

котившись на хрестоматию, снова и снова нагло смеялся над учителем, который перед пылающей печкой и духовно и физически сгорал на огне. Разумеется, так делал не я один. Когда учитель, изменившись в лице, стал извиняться, донявший его мастер дзюдо мельком взглянул в мою сторону и с лукавой улыбкой вернулся к изучению спрятанного под хрестоматией приключенческого романа. После этого до самого сигнала к перерыву учитель Мори, еще более растерянный, чем обычно, с отчаянием переводил несчастного Лонгфелло. «Life is real, life is earnest»<sup>1</sup>, — повторял он, бледный, обливаясь потом, словно умоляя о чем-то, и его пронзительный голос, как будто застревающий у него в горле, до сих пор звучит у меня в ушах. Но тогда такие же, как этот голос, трагические голоса миллионов других людей были слишком далеко, чтобы достичь нашего слуха. Поэтому весь этот час скука наслаивалась на скуку, и не я один без стеснения зевал во весь рот. А учитель Мори, вытянувшись перед печкой своим маленьким телом и не обращая никакого внимания на снег, бьющий в оконные стекла, размахивал хрестоматией и упорно, словно в голове у него развернулась какая-то пружина, с отчаянием восклицал: «Life is real, life is earnest!»

\* \* \*

Так как дело шло таким порядком, то, когда окончился семестр, составлявший срок договора и фигура учителя Мори опять исчезла у нас из вида, мы радовались, а отнюдь не сожалели. Вернее, мы настолько равнодушно отнеслись к его уходу, что даже не обрадовались понастоящему. В особенности, когда я и другие в последующие семь-восемь лет переходили из средней школы в высшую нормальную, а из высшей нормальной школы в университет, никто из нас не чувствовал к нему никакой привязанности, так что мы совершенно позабыли о самом его существовании.

И вот осенью, в год окончания университета... Это случилось в первой декаде декабря, когда к концу дня

---

<sup>1</sup> Жизнь реальна, жизнь сурова (англ.). — Перевод М. Зенкевича.

часто бывает густой туман и с ив и платанов в аллеях летят желтые листья, в вечер после дождя. Порыскав по букинистическим лавкам в Канда, я раздобыл несколько немецких книг, которые со времени европейской войны стали редкостью. Подняв воротник для защиты от промозглого воздуха поздней осени, я проходил мимо магазина Наканисия. Почему-то мысль об оживленных голосах и горячих напитках вдруг показалась мне привлекательной, и без всякой определенной цели я зашел в тамошнее кафе.

Оказалось, однако, что это кафе, хотя и маленькое, совершенно пусто, ни одного посетителя в нем не было. На стоящих рядами мраморных столиках в позолоте сахарниц холодно отражался электрический свет. С чувством грусти, как будто меня кто-то обманул, я сел за столик, стоявший перед вделанным в стену зеркалом. Подошедшему официанту я заказал кофе, вынул сигару и, перепортив кучу спичек, наконец зажег ее. Вскоре на моем столике появилась чашечка дымящегося кофе, но все же охватившее меня уныние, как и туман за окном, никак не рассеивалось. Книга по философии, которую я купил у букиниста, была с мелкой печатью, и в знаменитой статье, ради которой я ее купил, нельзя было прочесть ни страницы. Тогда я волей-неволей откинулся на спинку стула и, берясь то за бразильский кофе, то за гаванскую сигару, лениво устремил блуждающий взор на зеркало, висевшее прямо передо мной.

В зеркале ярко и холодно, словно часть сцены, отражалась лестница на второй этаж, видимая сбоку за ней противоположная стена, белая окрашенная дверь, висящая на стене афиша концерта. Кроме того, виден был мраморный столик. Виден был большой вазон с хвойным деревом. Видна была висячая электрическая лампа. Видна была большая фаянсовая газовая печь. Видны были фигуры трех-четырёх официантов, которые разговаривали о чем-то, сидя перед печкой. И, наконец... так, по порядку разглядывая все, что было видно в зеркале, я добрался до официантов, сидевших перед печкой, и тут изумился, увидев среди них за столиком фигуру посетителя. Вероятно, я сначала не обратил на него внимания, потому что, видя его среди официантов, бессознательно принял его за повара этого

кафе или кого-то в том же роде. Но изумился я не только тому, что, вопреки моему первому впечатлению, здесь оказался еще один посетитель. Дело в том, что хотя фигура посетителя в зеркале была мне едва видна в профиль, однако по лысой голове, похожей на яйцо страуса, по визитке, вытертой до синевы, по цвету вечно лилового банта — я узнал с одного взгляда нашего учителя Мори.

Едва я увидел его, в моем уме отчетливо всплыли те семь-восемь лет, которые нас разделяли. Староста класса в средней школе, учившийся по английской хрестоматии, и я, который, сидя за столиком, спокойно выпускал через нос дым сигары... мне эти годы не могли показаться короткими. Но не оттого ли, что уносящий все «поток времени» с одним только учителем Мори, уже перешагнувшим за свой век, не смог поделаться ничего... Учитель, который сейчас, в этот вечер, сидел в кафе за столиком с официантами, был тот самый человек, который давным-давно в классе, куда не заглядывало заходящее солнце, учил нас по английской хрестоматии. Его лысая голова не изменилась. Лило-вый галстук был все тот же. И пронзительный голос... Да ведь, кажется, он своим пронзительным голосом озабоченно объясняет что-то официантам... Невольно улыбаясь и позабыв о своем унынии, я внимательно прислушался к голосу учителя.

— Этим существительным управляет вот это прилагательное. «Наполеон» — имя человека, поэтому оно называется существительным. Поняли? А за этим существительным, прямо за ним, — знаете вы, что стоит за ним? Ну, скажи ты.

— Относительно... относительное существительное, — заикаясь, ответил один из официантов.

— Что, относительное существительное? Относительных существительных не бывает. Относительные... относительные... местоимения? Ну да, относительное местоимение. Местоимение — оно замещает существительное «Наполеон». Поняли? Местоимение — это слово, употребляющееся вместо имени.

Судя по разговору, учитель Мори преподавал в этом кафе официантам английский язык. Я передвинулся вместе со стулом и посмотрел в зеркало с другой точки. Действительно, на столике лежала какая-то разверну-

тая книга, похожая на хрестоматию. Учитель Мори тыкал пальцем в ее страницы и, по-видимому, никак не мог закончить свои объяснения. В этом он тоже был все такой же, как раньше. Только обступившие его официанты, в отличие от тогдашних школьников, тесно сбившись в кучу, с горящими глазами послушно внимали его сбивчивым объяснениям.

Пока я наблюдал в зеркало эту сцену, на поверхность моего сознания понемногу всплыло теплое чувство к учителю Мори. Что, если я подойду к нему и выражу сожаление, что так долго с ним не встречался? Но вряд ли учитель помнит меня, поскольку видел меня только в классе в течение всего одного семестра. А если даже и помнит... Вспомнив недоброжелательный смех, которым мы тогда награждали учителя Мори, я вдруг сообразил, что выкажу гораздо больше уважения к нему, если не назову себя. Поэтому, поскольку кофе как раз был выпит, я тихонько поднялся, оставив недокуренную сигару. Но как я ни старался не производить ни малейшего шума, все же я, по-видимому, привлек внимание учителя. В тот миг, как я встал, изжелта-бледное круглое лицо, грязноватый воротник и лиловый галстук оказались обращенными в мою сторону. И на мгновение коровьи глаза учителя встретились в зеркале с моими глазами. Но, как я и ожидал, в его глазах не показалось такого выражения, какое говорило бы о том, что он увидел старого знакомого. Единственное, что в них мелькнуло, это, как бывало и раньше, жалкое выражение какой-то вечной мольбы.

Опустив глаза, я принял у официанта счет и, чтобы рассчитаться, молча подошел к конторке у входа в кафе. У конторки со скучающим видом сидел знакомый мне старший официант с ровным пробором в приглаженных волосах.

— Там у вас учатся английскому языку. Это их обучают по просьбе кафе? — спросил я, уплачивая.

И старший официант, не сводя глаз с прохожих за дверью, пренебрежительно ответил:

— Какое там, никто его не просит! Просто приходит каждый вечер и вот так учит. Что ж, говорят, он бывший учитель английского языка, теперь одряхлел, нигде его на работу не берут, вот он и таскается, чтобы убить время. За одной чашкой кофе про-

сживает целый вечер, так что и нам не такой уж интерес.


Слушая этот ответ, я так и видел перед собой глаза учителя Мори, молящие о чем-то неизвестном ему самому. Ах, учитель Мори! Мне показалось, что теперь я начинаю смутно представлять его себе — его благородную личность. Если существуют педагоги от рождения, то таким был он. Перестать учить английскому языку хоть на минуту было для него так же невозможно, как перестать дышать. Случись это, его жизненная сила, как лишенное влаги растение, сразу же увяла бы. Вот почему он каждый вечер приходит в это кафе выпить чашку кофе. Разумеется, он делает это не от скуки, не для того, чтобы убить время, как думает старший официант. Я вспоминал, как мы, сомневаясь в искренности учителя, издевались над ним, считая, что он преподает только ради заработка, и теперь это представилось мне заблуждением, из-за чего я мог лишь краснеть. Подумать только, как должен был страдать наш учитель Мори от этих злостных кривотолков — «чтобы убить время», «ради заработка». И при таких страданиях он всегда сохраняет невозмутимость и в неизменном котелке, с лиловым бантом неустрашимо делает свои переводы, делает их храбрее, чем шел на подвиги Дон-Кихот. Только иногда все же в глазах его проскальзывает мольба, обращенная к ученикам, которых он учил, а может быть, и ко всем людям, с которыми он имел дело, — мучительная мольба о сочувствии.

Охваченный этими мгновенно промелькнувшими мыслями, подавленный каким-то непонятным волнением, я не знал, плакать мне или смеяться, и, спрятав лицо в поднятый воротник, поспешно вышел из кафе. А позади, под слишком ярким холодным электрическим светом, учитель Мори, пользуясь отсутствием посетителей, по-прежнему своим пронзительным голосом учил английскому языку жадно внимавших ему официантов:

— Так как это слово замещает имя, то его называют местоимением. Поняли? Местоимением... Ясно?

*Январь 1919 г.*





## О СЕБЕ В ТЕ ГОДЫ

Все, что вы прочитаете ниже, может быть, и нельзя отнести к жанру рассказа. Да я вообще затрудняюсь ответить на вопрос, к какому жанру это можно было бы отнести. Я просто попытался правдиво и, по возможности, без предубеждения рассказать о некоторых событиях, случившихся несколько лет тому назад. Боюсь, это может показаться скучным тем читателям, которые не питают интереса к моей жизни, жизни моих друзей и веяниям того времени.

Тем не менее я решил опубликовать эти воспоминания, успокаивая себя тем, что подобное опасение неизбежно возникает при издании любого художественного произведения. Наконец, я хотел бы добавить, что сказанное мною о правдивом изложении не обязательно распространяется и на последовательность в изложении фактов. Только сами факты, в общем, описаны правдиво.

### 1

Было ясное ноябрьское утро. Спустя долгое время я снова надел неудобную студенческую форму и отправился в университет. У входа я встретился с Нарусэ, на котором была такая же точно форма. Я сказал: «Давненько!» Он ответил: «Давненько!» Мы положили рядом наши квадратные студенческие фуражки и вошли

в старое кирпичное здание юридического и литературного факультетов. У входа перед доской объявлений стоял одетый по-японски Мацуока. Мы еще раз обменялись нашими «давненько».

Сначала мы поговорили о нашем журнале «Синситё», который собирались выпустить в ближайшие дни. Затем Мацуока рассказал о том, как он после долгого перерыва появился в университете, зашел не то в аудиторию по истории западной философии, не то в какую-то другую, сел и стал ждать. Сколько он ни ждал, ни преподаватель, ни студенты не появлялись. Мацуока это показалось странным. Он вышел наружу и спросил у посыльного, в чем дело. Оказалось, он пришел в выходной день. Для такого рассеянного человека, как Мацуока, в этом не было ничего необычного. Ведь это он однажды, намереваясь сесть на трамвай, вышел из дома с десятью сэнами в кармане, зашел в табачную лавку и преспокойно сказал: «Один билет туда и обратно».

Тем временем мимо нас промчался похожий на горбуна посыльный, который изо всех сил тряс звонок, извещающий о начале утренних лекций.

Первой была лекция ныне покойного Лоуренса. Мы распрощались с Мацуока и вместе с Нарусэ поднялись на второй этаж. В аудитории уже было полно студентов. Одни читали свои конспекты, другие болтали о разных разностях. Мы заняли стол в углу и начали обсуждать темы рассказов, которые собирались написать для журнала «Синситё». Над нашими головами висела на стене табличка «Курить воспрещается», но мы, беседуя, вытащили из карманов «Сикисима»<sup>1</sup> и закурили. Курили не только мы. Другие студенты тоже преспокойно дымили папиросами. В этот момент, держа портфель под мышкой, в аудиторию поспешно вошел Лоуренс. Поскольку я уже успел докурить свою «Сикисима» и даже выбросил окуроч, опасаться мне было нечего, и я спокойно раскрыл конспекты. У Нарусэ папироса еще дымилась во рту. Он быстро бросил окуроч под стол и наступил на него, пытаясь погасить. К счастью, Лоуренс не обратил внимания на струйку дыма, поднимавшуюся из-под нашего стола. Поэтому,

---

<sup>1</sup> «С и к и с и м а» — марка папирос.

проверив по списку присутствующих, он сразу же приступил к лекции.

Все сходились в то время на том, что лекции Лоуренса крайне скучны. Но в то утро лекция была особенно неинтересна. Вначале Лоуренс конспективно изложил ее содержание. Причем это происходило по следующей схеме: акт первый, сцена вторая — краткое изложение. И так акт за актом, сцена за сценой. Не было никаких человеческих сил выносить подобную скуку. Прежде во время лекции меня всегда охватывала мысль: какой злой рок заставил меня поступить в университет?! Теперь я даже об этом не думал. Настолько я покорился судьбе, вынуждавшей меня молча выслушивать эти великолепные лекции. В то утро я, как обычно, механически двигал пером, прилежно записывая нечто напоминавшее английский перевод содержания пьесы императорского театра. Но вскоре меня стало клонить ко сну. И я, конечно, уснул.

У меня была законспектирована всего одна страничка, когда я сквозь сон услышал какие-то странные интонации в голосе Лоуренса, заставившие меня проснуться. Вначале мне показалось, что Лоуренс заметил, будто я сплю, и ругает меня за это. Но в следующий момент я понял, что Лоуренс размахивает «Макбетом» и с увлечением говорит голосом шута. Я подумал, что и сам-то я отношусь к разряду шутов. Мне показалось это комичным, и сонливость мгновенно исчезла. Рядом Нарусэ конспектировал лекцию. Иногда он поглядывал в мою сторону и потихоньку смеялся. Я успел испортить еще несколько страниц, когда наконец прозвенел звонок, извещавший об окончании лекции. Вслед за Лоуренсом мы дружной толпой выплеснулись в коридор.

Стоя в коридоре, мы любовались пожелтевшей листовой росших во дворе деревьев. Подошел Тоёда Минору. «Покажи на минутку твой конспект», — попросил он. Я дал ему конспект, но оказалось, что того места, которое его интересовало, в конспекте не было: я его как раз проспал. Я, естественно, почувствовал себя неловко. «Ну, ладно», — сказал Тоёда и неторопливо двинулся дальше. Слово «неторопливо» употреблено здесь мною не случайно. Ведь ты и правда всегда ходил неторопливо... Где ты теперь? Чем занимаешься? Точно не

знаю. Хотел бы только сказать, что среди поклонников Лоуренса или, если сказать по-другому, среди студентов, которым симпатизировал Лоуренс, Тоёда был единственным, к которому, если не все мы, то, по крайней мере я, питал в некоторой степени дружеские чувства. И даже теперь, когда я пишу эти строки, я вспоминаю твою неторопливую походку, и мне хочется снова встретиться с тобой в коридоре университета и обменяться обычными приветствиями.

Тем временем снова прозвенел звонок, и мы с Нарусэ спустились на первый этаж, в аудиторию. Следующей была лекция по филологии профессора Фудзиока Кацудзи. Остальные студенты пришли заранее и заняли места поближе к кафедре. А такие лентяи, как мы, всегда приходили последними и садились за стол в самом углу. В то утро мы, как всегда, до самого звонка проболтались в коридоре второго этажа, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Лекции профессора Фудзиока по филологии имели право на существование уже хотя бы потому, что профессор обладал прекрасно поставленным звучным голосом и пересыпал свои лекции оригинальными шутками. Правда, я, как человек, от рождения лишенный филологического мышления, сказал бы несколько по-иному: только поэтому они и имели право на существование. Вот почему и сегодня то делая записи, то прекращая их, я с интересом слушал изобиловавшую интересными подробностями лекцию о Максе Мюллере.

Передо мной сидел студент с длинными волосами. Иногда он откидывал голову назад, и его волосы шуршали по моим записям, словно подметая их. Я даже не знал имени этого человека, и вплоть до сегодняшнего дня у меня все не было случая спросить, с какой целью он отрастил себе такую шевелюру. Во всяком случае именно на этой лекции по филологии я сделал открытие, что его прическа, может быть, и совпадала с его личными эстетическими потребностями, но вступала в противоречие с практическими потребностями других. Но поскольку, к счастью, моя практическая потребность в слушании этой лекции была не столь настоятельна, я не записывал те места лекции, во время которых мне мешали его волосы. В промежутках, когда мне они не мешали, я вместо записей рисовал картинки.

К несчастью, прозвенел звонок, а я не успел и наловину зарисовать профиль сидевшего напротив потрясающего франта. Этот звонок, извещавший об окончании лекции, одновременно означал, что наступил полдень.

Вместе с Нарусэ мы отправились в харчевню «Иппакуся», что напротив университета. Там, на втором этаже мы купили содовой воды и заказали обед за двадцать сэнов. За едой обсуждали различные проблемы. Мы с Нарусэ были друзьями. Причем наша дружба не омрачалась особыми расхождениями. В то время у нас было много общего и в идейном плане. Случайно мы оба почти одновременно прочитали «Жана Кристофа» и оба были покорены этим романом. За обедом мы всегда без усталости беседовали, перескакивая с одной темы на другую. В тот день к нам подсел официант Тани и завел разговор о бирже. «На худой конец, надо всегда быть готовым к этому»,— решительно заключил Тани, выворачивая руки назад, будто его ведут полицейские. «Дурак»,— заключил Нарусэ и перестал его слушать. Меня же все, что рассказывал Тани, очень интересовало, так как я в то время писал рассказ «Кошелек». Я проговорил с Тани до конца обеда и в один присест узнал больше десятка слов из биржевого жаргона.

После обеда лекций в университете не было, и мы, выйдя из харчевни, отправились в гости к Кумэ, который поблизости снимал комнату в Мияура. Будучи еще большим лодырем, чем мы, Кумэ вообще не посещал лекций. Он писал рассказы и пьесы. Когда мы пришли, он читал не то «Братьев Карамазовых», не то что-то еще, придвинув к столу жаровню для обогрева ног.

— Садитесь сюда,— пригласил Кумэ.

Мы сели, протянув ноги к жаровне. В нос ударил исходивший от пятен на подушках запах растительного масла, а также запах раскаленных углей. Кумэ сообщил нам, что он пишет рассказ об отце, покончившем жизнь самоубийством, когда Кумэ еще был ребенком. Это был вроде бы его дебют, и поэтому, по словам Кумэ, он измучился вконец, не зная, как к этому подступиться. Тем не менее Кумэ, как всегда, прекрасно выглядел, и на его лице нельзя было обнаружить какие-либо следы испытываемых им мук творчества. Потом он у меня спросил:

— Как дела?

— Написал наконец половину «Носа», — ответил я. Нарусэ сказал, что он приступил к очерку о своей поездке в Японские Альпы летом этого года. Попивая приготовленный Кумэ кофе, мы долго разговаривали о различных проблемах творчества.

Кумэ начал подвизаться на литературном поприще значительно раньше нас. По сравнению с нами он, несомненно, обладал и бóльшим писательским мастерством. Меня в особенности поражало его умение легко и в короткий срок создавать трехактные и одноактные пьесы. Среди нас только один Кумэ с достаточной уверенностью занимал или собирался занять в литературных кругах соответствующее положение. Надо сказать, что он способствовал пробуждению уверенности и у нас, непрестанно страдавших оттого, что высота идеала не соответствовала нашим способностям. В самом деле, что касается лично меня, то если бы не дружба с Кумэ, если бы он искусственно меня не подбадривал и не воодушевлял, я бы, возможно, ничего не написал и на всю жизнь удовольствовался лишь ролью рядового читателя. Вот почему, когда у нас возникал творческий разговор о литературе, им, как правило, дирижировал Кумэ. В тот день он тоже вел за собой наш оркестр. Наша беседа то оживлялась, то замирала. Помню, по какой-то причине мы часто упоминали имя Таяма Катая.

Справедливости ради следует сказать, что личность Таяма и его энергия сыграли не последнюю роль в серьезном влиянии, которое оказало на литературную жизнь Японии натуралистическое течение. И в этом смысле Таяма, — сколь бы скучными мы ни считали его «Жену» и «Школьного учителя» и сколь бы примитивной ни была его теория плоского отображения, — если не заслуживал уважения со стороны нашего, более молодого поколения, то, по крайней мере, привлекал к себе наш интерес. К сожалению, в то время мы были еще неспособны в должной мере оценить его бьющую через край творческую индивидуальность. Именно поэтому мы ничего не могли открыть в его произведениях, кроме лунного света и сексуальных картинок. В то же время его заметки и критические статьи, в которых Таяма рассказывал в стиле Гюисманса о любопытных подробностях из жизни новообра-

щенного, только вызывали у нас холодную усмешку, ибо нам приходило в голову комичное сопоставление Таяма с Дюрталем. Но это не означало, что мы видели в нем ловкача. Правда, мы не считали его и солидным романистом или мыслителем. Прежде всего мы признавали в нем талантливую автора путевых заметок. В то время я дал ему псевдоним *Sentimental landscape-painter*<sup>1</sup>. В самом деле, в перерывах между романами и критическими заметками Таяма усердно писал путевые заметки. Мало того, выражаясь несколько гиперболически, можно сказать, что и большинство его романов представляли собой путевые заметки, в которые там и сям вкрапливались образы мужчин и женщин — поклонников *Venus Libentina*<sup>2</sup>. Когда Таяма писал свои путевые заметки, он просто преобразался. Он чувствовал себя свободно, становился веселым, откровенным, был прост и наивен. Ну прямо как осел, который дорвался до свежей зеленой травки. Думаю, с полным правом можно сказать, что в этой уж области Таяма был уникален. В то же время тогда еще в большей степени, чем теперь, мы не считали Таяма авторитетным идеологом и столпом натурализма в литературных кругах. Если же говорить без обиняков, мы пренебрежительно относились к его заслугам в области натуралистического течения и считали, что «все это благодаря тому, что такое уж тогда было время».

Покончив с обсуждением Таяма Катая, я и Нарусэ простились с Кумэ. Когда мы вышли на улицу, короткий зимний день уже клонился к вечеру, и солнце отбрасывало на тротуар длинные тени. Ощущая хорошо нам знакомое и всегда желанное творческое возбуждение, мы дошли пешком до Хонго, 3, простились и поехали по домам.

## 2

Спустя некоторое время в погожий солнечный день я и Нарусэ после утренних лекций отправились к Кумэ. Мы вместе пообедали, и Кумэ показал нам рукопись

<sup>1</sup> Сентиментальный пейзажист (*англ.*).

<sup>2</sup> Богиня чувственной любви (*лат.*).

пьесы, которую ему прислал утром Кйкути из Киото. Это была одноактная пьеса «Любовь Саката Тодзиро», главным героем которой являлся известный актер Токугавской эпохи. Кумэ предложил мне просмотреть ее. Я начал читать. Тема была интересная. Однако непомерно многословные диалоги, своей пестротой напоминавшие ткани в стиле юдзэн, портили все дело. Создавалось впечатление будто подъедаешь остатки со стола Нагаи Кафу и Танидзаки Дзюнъитирó. «Весь грех в многословии»,— вынес я свой приговор. Нарусэ тоже прочитал пьесу и выразил отрицательное к ней отношение. «И меня она не восхищает. Чувствуется какой-то школярский подход»,— согласился с нами Кумэ. От нашего имени Кумэ написал Кйкути письмо, изложив в нем критические замечания по поводу пьесы. Тем временем к Кумэ зашел Мацуока. В отличие от нас троих, обосновавшихся на литературном факультете, Мацуока занимался на философском. Но он, как и все мы, посвятил себя писательской деятельности. Среди нас троих он был особенно близок с Кумэ. Одно время они вместе снимали комнату в доме, расположенном позади военного арсенала. В этом доме изготовляли рабочую спецодежду. Будучи романтиком в практической жизни, Кумэ часто погружался в беспочвенные мечты о том, как он наденет на себя один из этих голубых рабочих комбинезонов, поставит европейский стол в своем личном кабинете, который напоминал бы студию художника, и назовет этот кабинет творческой мастерской Кумэ Масао. Всякий раз, когда я посещал снимаемый ими угол, я вспоминал эту мечту Кумэ. Однако Мацуока владела мысли и настроения, не имевшие ничего общего с рабочей спецодеждой. Еще не освободившись от плена сентиментализма, он уже в то время все глубже и глубже погружался в волны религии. Он помышлял создать новый Иерусалим, не связанный ни с Западом, ни с Востоком, увлекался Киркегором, пытался писать довольно странные акварели. Я и сейчас хорошо помню, что среди его акварелей была одна, которая более напоминала картину, где ее ставили вверх ногами. После того как Кумэ переехал из их общей комнаты в Мияура, Мацуока снял угол в доме на Хонго, 5. Он и сейчас живет там и пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакья Муни.



Попивая приготовленный Кумэ кофе и немилосердно курая, мы вчетвером оживленно обсуждали разнообразные проблемы. Это было время, когда на вершину Парнаса вот-вот должен был вступить Мусякóдзи Санаэцу. И естественно, его произведения и высказывания нередко становились темой наших бесед. Мы с радостью ощущали, что Мусякодзи открыл настежь окна на нашем литературном Парнасе и впустил струю свежего воздуха. Очевидно, эту радость с особой силой почувствовало наше поколение, пришедшее в литературу вслед за Мусякодзи, а также молодежь, которая появилась после нас. Поэтому неизбежны были расхождения (в большей или меньшей степени) в оценке творчества Мусякодзи писателями и читателями предшествовавшего нам периода и периода, последовавшего после нас. Такое же расхождение имело место и в оценке творчества Таяма Катая (вопрос в том, для кого из них, для Мусякодзи или для Таяма, эта степень расхождения более соответствовала истине. Хотел бы лишь отметить, что, когда я выше говорил «такое же расхождение», я не имел в виду одинаковую «степень расхождения»). В то время мы тоже не считали Мусякодзи литературным мессией. Существовало также расхождение в оценке его как писателя и как мыслителя. Говоря о нем как о писателе, следует, к сожалению, отметить, что он всегда слишком спешил с завершением своих произведений. Несмотря на то что Мусякодзи часто в своей «Смеси» подчеркивал тесную связь между формой и содержанием, он, опирающийся не столько на терпеливую, тщательную обработку, сколько на вдохновение, в своей практической творческой деятельности забывал о тонких и своеобразных взаимоотношениях между формой и содержанием. Поэтому форма, к которой прежде Мусякодзи относился с пренебрежением, в «Его сестре» и последующих произведениях стала восставать против него. В пьесах Мусякодзи постепенно исчезал неповторимый элемент драматизма (правда, нельзя сказать, что он исчез полностью. Даже в «Мечте одного юноши», которую некоторые критики вообще не причисляли к пьесам, если читать фразу за фразой, можно обнаружить целый ряд отрывков, написанных с мощной драматической выразительностью), и вместо того, чтобы обрисовывать

характер героя, он постепенно все в большей степени стал использовать пьесу для изложения своих собственных мыслей. А поскольку для изложения этих мыслей и чувств не требовалось особой драматической выразительности, постольку они получались значительно слабее, чем то, о чем он писал в «Смеси». Будучи знакомыми с произведениями Мусякодзи еще с тех времен, когда была опубликована «Одна семья», мы испытывали серьезное неудовлетворение этой его новой тенденцией, которая стала проявляться начиная с «Его сестры». Но фактом было также и то, что во многих его заметках, публиковавшихся под рубрикой «Смесь», таились могучие силы, которые, подобно тайфуну, раздували стремление к идеалу, извергая иногда мощные протуберанцы пламени. Часто некоторые критики указывали на отсутствие логики в идеях, излагавшихся Мусякодзи в «Смеси». Однако в нас слишком много было человеческого для того, чтобы признавать за истину только то, что уже удостоверено логикой. Нет, одна из великих и светлых истин Мусякодзи состояла прежде всего в том, чтобы серьезно относиться именно к человеческому. Когда втоптаный в грязь и давным-давно потерявший свое истинное лицо гуманизм вновь появился на литературной арене, где, как сказано в главе о Христе из Эммауса, «день уже склонился к вечеру», все мы вместе с Мусякодзи почувствовали, как «горело в нас сердце наше». В наше время я часто слышал от подобных мне людей, в том числе даже от писателей, которые придерживаются противоположных Мусякодзи взглядов, что когда они снова перечитывают его «Смесь», к ним всегда возвращается былое и столь дорогое сердцу волнение. Мусякодзи показал нам — по крайней мере, мне — пример, как для того, чтобы встретить гуманность, которую «посадили на осленка», он «постилал одежды свои по дороге», рубил ветви деревьев и устилал ими дорогу...

Поговорив у Кумэ о том, о сем, мы все вместе вышли на улицу. У Хонго, 3, расставшись с Нарусэ и Мацуока, я и Кумэ сели в трамвай, направлявшийся к Гиндза. Мы поужинали несколько раньше обычного в кафе «Лайон» и двинулись в театр Кабуки, где купили билеты на стоячие места. Мы попали на вторую пьесу репертуара того дня. Пьеса была новая. Не только сю-

жет, но и само название ее было нам незнакомо. На сцене стояли декорации, плохо имитировавшие чайный домик. Там и сям были наклеены искусственные цветы сливы, напоминавшие изделия из ракушек. На наружной галерее чайного домика Тюся, игравший самурая, объяснялся с девушкой, роль которой исполнял Утаэмон. Я вырос в торговых кварталах Токио и не питал особого интереса к вещам, созданным в эдоском вкусе, в том числе и к пьесам. Я был к ним настолько равнодушен, что любая драматическая ситуация почти никогда не оказывала на меня впечатления. (А может быть, меня сделали равнодушным. Ведь родители брали меня с собой в театр начиная с двухлетнего возраста.) Поэтому в театре я в большей степени, чем содержанием пьесы, интересовался игрой актеров, и в большей степени, чем игрой актеров, интересовался публикой, сидевшей в дома и садзюки. И на этот раз меня гораздо больше, чем великие актеры, привлекал похожий на приказчика человек в спортивной шапке с козырьком, который грыз сладкие каштаны и не отрываясь смотрел на сцену. Я сказал, что он не отрываясь смотрел на сцену, но должен добавить, что мой приказчик в то же время ни на минуту не прекращал есть каштаны. Он запускал руку за пазуху, доставал горсть каштанов, лущил их и тут же отправлял в рот. Отправив в рот очередную партию, он снова залезал рукой за пазуху, вытаскивал новую горсть каштанов, лущил и снова отправлял в рот. Причем во время всего этого процесса он ни на секунду не отрывал глаз от сцены. Заинтересовавшись столь тонким разделением зрительных и вкусовых ощущений, я в течение некоторого времени внимательно наблюдал за его лицом. Наконец у меня появилось желание спросить у него, каким из этих двух дел он занимался серьезно. Как раз в этот момент сидевший рядом со мной Кумэ истошным голосом завопил: «Татибаная!» Я вздрогнул и невольно бросил взгляд на сцену. Вдоль двора спокойно шествовал игравший молодого самурая Удаэмон, который не был способен на что-либо другое, кроме исполнения роли оболъстителя женщин. Однако сидевший рядом приказчик словно и не слышал выкрика Кумэ. Он по-прежнему уписывал сладкие каштаны и не отрываясь смотрел на сцену, словно хотел вцепиться в нее.

Я подумал, что комичность приказчика слишком серьезна, чтобы смеяться над ней. В то же время я почувствовал, что ситуация заслуживает того, чтобы отобразить ее в каком-нибудь рассказе. Несмотря на появление на сцене Татибаная, сам спектакль был еще более ужасен, чем картины Икэда Тэрука. Не дожидаясь окончания первого действия, я воспользовался моментом, когда поворачивалась сцена и менялись декорации, и бросился вон из театра, увлекая за собой упиравшегося Кумэ.

Когда мы вышли на освещенную луной улицу, я сказал Кумэ:

— Что за идиотизм так орать в театре!

— Почему? Я просто замечательно кричал,— ответил Кумэ, не желая признать глупость своего поведения. Вспоминая теперь об этом эпизоде, я предполагаю, что на поведении Кумэ сказалась изрядная доза виски, выпитая им в кафе «Лайон».

### 3

«Все же существование чисто литературного факультета в университете явление очень странное. Известно, что он включает в себя отделения японской, китайской, английской, французской и немецкой литературы. Но чем же на этих отделениях практически занимаются? По правде говоря, это для меня остается неясным. Несомненно, предметом изучения там является литература каждой страны. И эту, так сказать, литературу там, несомненно, рассматривают как один из разделов искусства. Говорят об изучении литературы как о науке. Но действительно ли это наука? (Точнее сказать, действительно ли это самостоятельная наука?) Если видеть в ней науку, если (употребляя более трудное выражение) имеются все условия для того, чтобы видеть в ней *Wissenschaft*<sup>1</sup>, то тогда она будет, безусловно, идентична эстетике. И не только эстетике. Я полагаю, что, например, история литературы полностью идентична исторической науке. Правда, среди лекций, которые читаются теперь на чисто литературном факультете, многие не имеют ничего общего ни с эстети-

---

<sup>1</sup> Наука (нем.).

кой, ни с историей. Эти лекции даже из приличия нельзя считать наукой. Мягко говоря, они представляют собой изложение точки зрения преподавателей. Грубо говоря, это просто вздор. Поэтому я считаю, что правильной было бы ликвидировать этот чисто литературный факультет. Лекции обзорного порядка можно объединить с эстетикой. Историю литературы присоединить к лекциям по исторической науке. Остальные же лекции, поскольку они представляют собой чистейший вздор, следует вообще изъять из программы. Если слово «вздор» звучит слишком грубо, можно выразиться более высокопарно: эти лекции не гармонируют с таким заведением, как университет, где ставят целью изучение научных дисциплин. Осуществление этих мероприятий является неотложной задачей. В противном случае публика будет значительно легче поддаваться вздору, которым напичканы читаемые в университете лекции, поскольку он подается в более качественной упаковке, чем тот же вздор, который публикуется в газетных или журнальных критических статьях. А так как статьи, публикуемые в газетах и журналах, рассчитаны на широкие слои населения, а университетские лекции только на студентов, то вздорный характер последних легче скрыть от широкой публики. При любых обстоятельствах было бы несправедливым еще более приукрашивать этот совершенно спокойно распространяемый на лекциях вздор. Для меня лично еще куда ни шло. Ведь я поступил в университет лишь с тем, чтобы получить возможность пользоваться библиотекой. Ну, а если бы я вдруг загорелся серьезным желанием исследователя?! Каким путем я смог бы заняться изучением литературы? В конце концов я оказался бы в крайне затруднительном положении. В таких условиях можно, конечно, создать солидную работу, если, например, подобно Итикава Сэнки, исследовать английскую литературу с точки зрения филологии. Но в таком случае драмы Шекспира и поэмы Мильтона превратятся лишь в набор английских слов. Заниматься подобными исследованиями у меня нет никакого желания, да если бы оно и появилось, я не смог бы создать что-либо стоящее. Можно, конечно, удовлетвориться и вздором, но зачем для этого утруждать себя поступлением в университет? Если же у кого-либо

появилось желание изучать литературу в эстетическом либо историческом плане, то в тысячу раз было бы полезней поступить не на литературный, а на другие факультеты. Исходя из этой точки зрения, смысл существования чисто литературного факультета оправдывается всего лишь мотивами практического удобства. Но сколь бы это ни было удобно, вред, приносимый его существованием, перевешивает. Поэтому лучше бы такого факультета не существовало вообще. А раз так, то было бы более справедливым его ликвидировать. Что? Вы говорите, что он необходим для подготовки преподавателей средних школ? Послушайте, ведь я не шучу, а говорю более чем серьезно. Для подготовки преподавателей средних школ существует специальный педагогический институт. Вы требуете, чтобы в таком случае этот институт ликвидировали? Но ведь говорить так — это все равно что ставить вопрос с ног на голову. Уж если следовать такой логике, то в первую очередь следует ликвидировать в университете чисто литературный факультет и как можно быстрее слить его с педагогическим институтом».

Все эти мысли я заставил выслушать Нарусэ во время прогулки по улице Канда, известной множеством букинистических лавок.

#### 4

Однажды вечером в конце ноября мы с Нарусэ отправились в императорский театр на концерт. В театре встретились с Кумэ, который, так же как и мы, был одет в студенческую форму. В то время среди нас троих я считался наиболее сведущим в музыке. Можно представить себе, насколько все мы были далеки от музыки, если даже я считался ее знатоком. Надо сказать, что на концерты я ходил без разбора. К тому же у меня было очень странное понимание музыки, да и воспринимал я ее на особый лад. Лучше всего я понимал Листа. Однажды в отеле Тэйкоку я слушал в исполнении в то время уже очень пожилой госпожи Петцольд «Святого Антония, шествующего по волнам» (кажется так называлось это произведение Листа. Прошу прощения, если я ошибся). Ни на миг не замирая, лились звуки

фортепиано, и перед моими глазами вставала удивительно яркая картина. Во все стороны этой картины бесконечно двигались волны. По верхушкам волн двигались ноги человека. Причем каждый их шаг вызывал мелкую рябь. Наконец, над волнами и ногами возникло ослепительное сияние, которое начало двигаться по небу, словно гонимое ветром солнце. Затаив дыхание, я смотрел на это яркое видение, и, когда окончилась музыка и раздались аплодисменты, я с грустью ощутил одиночество и пустоту окружающего меня мира, из которого исчезли волнующие звуки музыки.

Но такое со мной случалось лишь тогда, когда я слушал Листа. Что же касается Бетховена и других композиторов, то понимание их произведений ограничивалось для меня тем, что одни мне нравились, а другие нет. Поэтому концерты симфонической музыки я слушал отнюдь не как музыкант. Я только недоверчиво прислушивался к вихрю звуков, которые доносились до меня из леса инструментов.

В вечер, о котором идет речь, на концерте присутствовал его высочество принц Кантъйн-но-мия, и поэтому ложи и первые ряды партера были заполнены нарядными мамашами и девицами. Рядом со мной чинно восседала старуха. Лицо — кожа да кости, на нем — толстый слой пудры, на пальцах — золотые кольца, на груди — золотая цепочка от часов, на широком поясе оби — золотая пряжка. И ко всему прочему ее рот был полон золотых зубов (я заметил это, когда она зевала). На этот раз (в отличие от последнего посещения театра Кабуки) меня в большей степени интересовали Шопен и Шуберт, чем пришедшие на концерт щеголи и щеголихи. Поэтому я перестал обращать внимание на эту старуху, погребенную под горами пудры и золота. Видно, она считала себя очень значительной персоной. На ее лице было написано такое безразличие к музыке, такое разочарование... Она беспрестанно крутила головой, не достаивая взглядом лишь Ямада Косаку, взмахи-вавшего на сцене дирижерской палочкой.

Кажется, после соло супруги Ямада наступил перерыв, и мы втроем поднялись на второй этаж в курительную комнату. У входа в нее стоял низенький человек, у которого из-под черного сюртука выглядывал красный жилет. Вместе со своим спутником, одетым в

хакама и хаори, он курил сигареты с золотым мундштуком. Увидав его, Кумэ наклонился к нам и шепнул: «Это Танидзаки Дзюнъитиро». Я и Нарусэ, проходя мимо, исподтишка внимательно разглядывали этого известного писателя-эстета. Характерная особенность его лица состояла в том, что глаза мыслителя и губы животного все время как бы соревновались между собой, пытаясь утвердить свою волю. Мы сели в удобные кресла, открыли коробку «Сикисима» — одну на всех — и, покуривая, стали обсуждать творчество Танидзаки. В то время Танидзаки на издавна возделываемой им, подернутой таинственной вуалью ниве эстетизма выращивал такие зловещие «цветы зла», как «Убийство Оцуя», «Вундеркинд», «Осай и Миноскэ» и другие. Эти великолепные, словно сверкающая цветами радуги шпанская мушка, цветы зла, хотя и испускали тот же величественный аромат разложения, что и произведения По и Бодлера, к которым тяготел Танидзаки, но по своему направлению коренным образом отличались от них. За болезненным эстетизмом По и Бодлера стояла до ужаса холодная, безразличная душа. И эта окаменевшая душа, хотели они того или нет, вынуждала их отбросить мораль, покинуть бога, отказаться от любви. Однако, погружаясь в старое болото декаданса, они в то же время не хотели согласиться с таким концом. И это нежелание должно было в них враждовать с ощущением, выраженным в строфе «Une Vieille gabade sans mots sur une mer monstrueuse et sans bord»<sup>1</sup>. Поэтому их эстетизм порождал вереницу ночных бабочек, которые неизбежно поднимались и взлетали со дна их истерзанных этим ощущением душ. Поэтому в произведениях По и Бодлера безысходная скорбь («Ah! Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans degout»<sup>2</sup>) всегда перемешивалась с ядовитыми испарениями гнилого болота. Нас глубоко потряс их эстетизм именно благодаря тому, что мы увидели, например, в «Дон-Жуане в аду», страдания холодной души. Эстетизм же

---

<sup>1</sup> «И носился мой дух, обветшалое судно, среди неба и волн, без руля, без ветрил» (Бодлер, перевод В. Левика).

<sup>2</sup> «О боже! Дай мне сил глядеть без омерзенья на сердца моего и плоти наготу!» (Бодлер, перевод И. Лихачева).



Танидзаки вместо атмосферы неподвижного удушья был слишком уж переполнен эпикурейством. Танидзаки вел свой корабль по морю, где там и сям вспыхивали и гасли светляки преступления и зла, с таким упорством и воодушевлением, словно искал Эльдорадо. Этим Танидзаки напоминал нам Готье, на которого он сам смотрел свысока. Болезненные тенденции в творчестве Готье несли на себе тот же самый отпечаток конца столетия, что и у Бодлера, но, в отличие от последнего, они были, так сказать, полны жизненных сил. Это были, выражаясь высокопарно, болезненные тенденции пресыщенного султана, страдающего от тяжести висящих на нем бриллиантов. Поэтому в произведениях Готье и Танидзаки не хватало той напряженности, которая была характерна для По и Бодлера. Однако, взамен этого, в описаниях чувственной красоты они проявляли поистине потрясающее красноречие, напоминавшее реку, несущую вдаль бесконечные волны. (Думаю, когда недавно Хироцу Кадзубо, критикуя Танидзаки, высказал свое сожаление по поводу чересчур здорового характера его творчества, он, очевидно, имел в виду эту самую полную жизненных сил болезненную тенденцию. Но сколь бы творчество Танидзаки ни было переполнено жизненными силами, для него остается несомненным присутствие болезненной тенденции, подобно тому как она сохраняется на всю жизнь у страдающего ожирением больного.) И мы, ненавидевшие такой эстетизм, не могли не признавать недюжинный талант Танидзаки именно благодаря его блестящему красноречию. Танидзаки умел выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блески чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения (начиная с «Татуировки»). Его рассказы, словно «Эмали и Камен», от начала до конца пронизаны ясным ритмом. И даже теперь, когда мне случается читать произведения Танидзаки, я часто не обращаю внимания на смысл каждого слова или отрывка, а ощущаю наполнину физиологическое наслаждение от плавного, неиссякаемого ритма его фраз. В этом отношении Танидзаки был и остается непревзойденным мастером. Пусть он не зажжет «звезду страха» на мрачных литературных небесах. Но среди взра-

ценных им радужных цветов в Японии неожиданно начался шабаш ведьм...

Прозвенел звонок. Мы прервали разговор о Танидзаки, спустились в зал и заняли свои места. По дороге Кумэ спросил у меня:

— А ты вообще-то понимаешь музыку?

На что я ему ответил:

— Уж побольше, чем сидящая рядом кожа да кости, золото и пудра.

Я снова занял свое место рядом с этой старухой. Пианист Шольц исполнял, если не ошибаюсь, ноктюрн Шопена. Симонс писал, что однажды в детстве он слушал похоронный марш Шопена и все понял. Глядя на быстрые пальцы Шольца, я думал, что в этом смысле мне далеко до Симонса, даже если не принимать во внимание разницы лет. Не помню сейчас, что исполнялось дальше на этом концерте. Когда он окончился и мы вышли на улицу, стоянка перед театром была настолько забита каретами и автомобилями, что трудно было даже пройти. И тут мы увидели, как к одному из автомобилей подошла, пряча в меха лицо, та самая в пудре и золоте старуха, которая сидела рядом с нами на концерте. Мы подняли воротники пальто и, пробравшись наконец между машинами, вышли на улицу, где гулял пронизывающий ветер. И в этот момент перед нами внезапно выросло уродливое здание полицейского управления, которое высилось в небе черной громадой. Я почувствовал какое-то беспокойство из-за того, что там находилось полицейское управление.

— Странно, — невольно сказал я.

— Что странно? — стал допытываться Нарусэ.

Я сказал ему первое, что мне пришло в голову, не желая углубляться в обсуждение охватившего меня настроения. Тем временем мимо нас стали одна за другой проноситься автомашины и кареты.

## 5

На следующий день после лекции, которую читал профессор Оцука (эта лекция на тему о философии Риккерта была наиболее поучительной из всех, которые мне довелось слушать), мы с Нарусэ, подгоняемые про-

низывающим ветром, отправились в харчевню Иппакуся, чтобы съесть свой обед за двадцать сэнсв.

— Ты не знаком с женщиной, которая на концерте сидела позади нас? — неожиданно спросил меня Нарусэ.

— Нет. Единственная, с кем я знаком, это сидевшая рядом золото, кожа да кости и пудра.

— Золото, кожа... О чем это ты?

— Не имеет значения. Во всяком случае, ясно, что это не женщина, которая сидела сзади. А ты что, влюбился?

— Какое там влюбился! Я даже не знал...

— Что за чепуху ты говоришь! Если ты ее не знал, то какая разница, сидела она позади нас на концерте или нет?

— Дело в том, что, когда я вернулся домой, мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, ее прочат мне в жены.

— Значит, тебе устроили смотрины?

— До смотрин еще не дошло.

— Но раз ты захотел ее увидеть, это и есть смотрины. Не так ли? Твоя мамаша тоже хороша. Уж раз она хотела показать тебе эту девушку, надо было ее посадить впереди нас. Поверь, если бы мы имели глаза на затылке, мы бы не пробавлялись, как теперь, обедом за двадцать сэнсв.

Услышав от меня такую тираду, воспитанный в почтении к родителям Нарусэ удивленно взглянул на меня, затем заговорил снова:

— Если предположить, что эти смотрины устраивались в первую очередь для нее, то получается, что нас правильно посадили впереди.

— В самом деле, если в таком месте хотят устроить смотрины, кому-либо одному ничего не остается, как подняться на сцену... Ну, а что ты ответил матери?

— Сказал, что не видел. Я ведь на самом деле не видел ее.

— Ну и что же. Теперь ты собираешься излить мне свои горести. Не выйдет... Эх, жаль. Сглупили мы. Не надо было устраивать эти смотрины на концерте. Другое дело, если бы шла какая-нибудь пьеса. Во время пьесы меня и просить не надо. Я глазею на всех, кто пришел в театр. Ни одного не пропускаю.

Тут мы с Нарусэ не выдержали и расхохотались.

В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их, так сказать, по ямбической системе: когда Нарусэ шел на лекцию, я отдыхал, когда я присутствовал на занятиях, отдыхал Нарусэ. Мы по очереди пользовались одним учебником, проставляя каной транскрипцию немецких слов, и по нему потом вместе готовились к экзаменам. На этот раз была очередь Нарусэ, и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из харчевни на улицу.

Пронизывающий ветер поднимал в небо тучи пыли. Он подхватывал на аллее желтые листья гинко и загонял их даже в букинистическую лавку, что напротив университета. Внезапно мне пришла в голову мысль навестить Мацуока. В отличие от меня (да и, должно быть, от большинства людей), Мацуока считал, что в ветреные дни на него находит душевное успокоение. Вот я и подумал, что в такую погоду, как сегодня, он обязательно находится в приятном расположении духа, и, придерживая то и дело норовившую слететь с головы шапку, отправился на Хонго, 5. У входа меня встретила старушка, которая сдавала Мацуока комнату.

— Господин Мацуока изволит еще отдыхать,— сказала она с выражением сожаления на лице.

— Неужели еще спит? Ну и соня!

— Нет, он изволил работать всю ночь и совсем недавно еще был на ногах. Он сказал мне, что ложится спать и теперь, наверно, изволит отдыхать.

— А может быть, он еще не уснул. Пойду-ка я взгляну. Если спит, сразу же спущусь обратно.

Ступая на носки, я поднялся на второй этаж, где находилась комната Мацуока. Раздвинув фусума, я вошел в полутемную из-за закрытых ставен комнату, середину которой занимала постель Мацуока. У изголовья стоял своеобразный столик из папье-маше, на котором в беспорядке громоздились страницы рукописи. Под столом на разостланной старой газете лежала довольно большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, как Мацуока однажды сказал, что работает над трехактной пьесой. «Пишет»,— подумал я. При обычных обстоятельствах я бы сел за стол и попросил Мацуока прочитать только что вышедшую испод пера рукопись. К сожалению, Мацуока, который

должен был откликнуться на мою просьбу, спал как убитый, прижавшись к подушке давно не бритой щекой. У меня, конечно, и в мыслях не было разбудить отдохавшего после ночных трудов Мацуока. Но в то же время мне почему-то не хотелось просто так встать и уйти. Я присел у его изголовья и стал наудачу читать отдельные страницы рукописи. В этот момент резкий порыв ветра потряс весь второй этаж. Но Мацуока по-прежнему спал, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и стал потихоньку отходить от изголовья. В это время я случайно взглянул на Мацуока и увидел у него между ресницами слезы. Мало того. На его щеках были тоже видны следы слез. Он спал и плакал во сне. В тот самый момент, когда я обратил внимание на столь необычное его лицо, бодрое настроение, которое охватило меня вначале (мол, человек пишет, работает) куда-то улетучилось. В душе внезапно поднялось чувство невыносимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролет страдал, одну за другой исписывая страницы рукописи. «Глупый человек! Занимается таким тяжелым трудом, от которого плачет даже во сне. А если здоровье потеряешь? Что ж ты будешь делать тогда?» — такими словами хотел я обругать Мацуока. Но за этим желанием скрывалось и другое — похвалить: «Вот ведь как он страдает!» Когда я так подумал, у меня самого незаметно выступили на глазах слезы.

Я потихоньку спустился по лестнице вниз. Старуха с беспокойством спросила:

— Он изволит почивать?

— Спит, как сурок, — резко ответил я и, не желая, чтобы старуха заметила мое заплаканное лицо, быстро вышел на улицу.

На улице по-прежнему ветер поднимал тучи пыли. В небе что-то ужасно ревел. Я раздраженно взглянул вверх. Высоко в небе плыл в зените маленький белый диск солнца. Я остановился посреди улицы и стал думать, куда бы теперь пойти.

*Январь 1919 г.*

---

## ПРОСВЕЩЕННЫЙ СУПРУГ

Некоторое время тому назад в музее Уэно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. Однажды, когда пасмурный день уже клонился к вечеру, я пришел на выставку и стал обходить зал за залом, внимательно рассматривая выставленные экспонаты. Войдя в последний зал, я обратил внимание на человека, разглядывавшего несколько тронутых временем эстампов. Это был пожилой господин, стройный и даже несколько франтоватый, в безукоризненном черном костюме и дорогом котелке. С первого взгляда я узнал в нем виконта Хонда, с которым меня познакомили на одном рауте несколько дней тому назад. Мне и раньше было известно о нелюдом характере виконта, поэтому я сразу же отошел в сторону, раздумывая, приветствовать его или нет. Тем временем виконт Хонда, очевидно, услышал звук шагов и медленно повернулся в мою сторону. В следующий момент на его губах, наполовину прикрытых седеющими усами, мелькнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягким голосом приветствовал меня. Я сразу почувствовал себя несколько свободнее, вежливо поклонился и не спеша направился к нему.

Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых старческая красота озаряет лицо, словно

отблеск вечерней зари. В то же время глубокие душевные страдания оставили на нем необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что во время первого знакомства, так же как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая меланхолически блестела на однотонном черном фоне его костюма. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я заглядываю в самое сердце виконта...

— Как вы находите эти эстампы? Здесь, кажется, изображен сэттьлмент Цукидзи. Гравюра выполнена мастерски, не правда ли? Интересно использовано сочетание света и тени.

Виконт говорил тихим голосом, одновременно указывая серебряным набалдашником, украшавшим его тонкую трость, на один из эстампов, висевших за стеклом стенда. Я утвердительно кивнул.

— Токийский залив со слюдяными волнами, парходы, украшенные флагами разных стран, европейские мужчины и женщины, прогуливающиеся по улице, одинокая сосна в стиле Хиросигэ, простирающая ветви над европейским домом,— чувствуется смешение японского и европейского как в выборе темы, так и в методе исполнения — то самое смешение, которое создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего Мэйдзи. С тех пор эта гармония была навсегда утрачена нашим искусством. Она исчезла и в нашем родном Токио.

Выслушав виконта, я снова кивнул в знак согласия и сказал, что гравюра, изображающая сэттьлмент Цукидзи, интересна не только сама по себе. Она напоминает о невозвратно ушедшей в прошлое эпохе просветительства с ее двухместными колясками рикш, украшенными стилизованными изображениями львов, с ее дагерротипами, с которых взирают на нас нарядные гейши... Виконт с улыбкой выслушал меня и не спеша направился к витрине напротив, где висели гравюры укиёэ, созданные Тайсо Ёситоси.

— Взгляните на этого Ёситоси,— сказал он.— Одетый в европейский костюм Кикугоро и Хансиро в парике стили итёгаэси разыгрывают под театральной луной трагедию. Смотришь на это, и перед глазами встает та далекая эпоха, когда древняя столица Эдо уже потеряла какие-то свои черты, но еще не превратилась

в Токио, когда, если можно так выразиться, день и ночь еще не были отделены друг от друга.

Мне приходилось слышать, что Хонда лишь недавно стал таким нелюдимым, а в былые времена, когда виконт только возвратился из путешествия в Европу, он слыл человеком светским и пользовался известностью не только в официальных кругах, но и среди обыкновенной публики. И здесь, в безлюдном выставочном зале, среди старинных гравюр слова Хонда прозвучали как бесспорная истина. Однако именно эта бесспорность вызвала во мне какой-то внутренний протест, и я, выслушав его, попытался перевести разговор на тему о развитии жанра укиё вообще. Но виконт, указывая на гравюры Ёситоси, продолжал тихим, проникновенным голосом:

— Представьте, когда такие люди, как я, смотрят на эти гравюры, им начинает казаться, будто события тридцати-, сорокалетней давности произошли только вчера и стоит открыть свежий номер газеты, как сразу наткнешься на что-нибудь вроде заметки о бал-маскараде в клубе Рокумэйкан. Сказать по правде, с тех пор как я сюда вошел, я никак не могу отделаться от странного ощущения, будто люди тех времен ожили и, невидимые для наших глаз, бродят по этому залу. И будто иногда эти призраки останавливаются рядом и начинают нашептывать мне на ухо истории прошлых лет. Взгляните на тот портрет Кикугоро в европейском костюме. Он удивительно похож на одного моего друга. Когда я стоял перед ним, меня настолько захватило ощущение его присутствия, что мне захотелось с ним поздороваться и выразить сожаление, что мы так давно не встречались. Если вы не против, я мог бы рассказать вам о нем.

В голосе Хонда слышалось беспокойство, и он отвел глаза в сторону, словно не был уверен, что я соглашусь его выслушать. Я вспомнил, что несколько дней тому назад, когда я впервые познакомился с Хонда, мой друг, взявший на себя труд представить меня, сказал виконту: «Он писатель, и если вы вспомните что-нибудь интересное, обязательно расскажите ему». Но я и без того готов был хоть сейчас нанять карету и вместе с Хонда отправиться на окутанную туманом прошлого нарядную улицу «кирпичных домов». Настолько увлек-



ли меня воспоминания виконта о давно минувших днях. Поэтому я с радостью согласился выслушать его рассказ.

— Пройдемте туда, — предложил Хонда.

Мы прошли к стоявшей в центре зала скамье. В зале никого не было. Нас окружали лишь стенды, за стеклом которых одиноко висели освещенные холодным светом пасмурного дня тронутые временем эстампы и гравюры укиёэ. Опустив подбородок на серебряный набалдашник трости, виконт Хонда некоторое время внимательно оглядывал зал, словно сверялся с собственной памятью, затем обратил взгляд в мою сторону и тихим голосом начал:

— Моего друга звали Миура Наоки. Я случайно сблизился с ним на пароходе, возвращаясь на родину из Франции. Ему было двадцать пять лет. Столько же, сколько и мне тогда. Такое же, как на изображенном Ёситоси портрете Кикугоро, узкое белое лицо, обрамленное длинными, расчесанными на прямой пробор волосами. На всем его облике лежал отпечаток цивилизации, характерный для раннего Мэйдзи. Во время долгого путешествия у нас незаметно возникла взаимная симпатия, которая переросла в столь близкую дружбу, что по возвращении в Японию мы стали встречаться чуть ли не каждую неделю. По словам Миура, его родители были крупными помещиками из Ситая и один за другим отошли в мир иной, когда он уехал во Францию. Миура был единственным сыном и после смерти родителей стал обладателем солидного состояния. В ту пору, когда я познакомился с Миура, он жил в полном достатке, что давало ему возможность беззаботно развлекаться и лишь для проформы ходить на службу в один из банков. Вскоре по возвращении на родину Миура заново обставил в западном стиле кабинет в бывшем особняке родителей близ Рёгоку и зажил жизнью вполне обеспеченного человека.

Я рассказываю вам об этом, а перед моими глазами возникает обстановка кабинета Миура столь же четко, как рисунок, изображенный на том эстампе. Выходящие на реку Сумида французские окна, белый потолок с золотым бордюром, кресла и диван, обтянутые красной марокканской кожей, портрет Наполеона Первого на стене, резной книжный шкаф черного дерева, мра-

морный камин с зеркалом, карликовая сосна на камине, которую так любил покойный отец Миура, — такова была характерная для той эпохи обстановка кабинета, вызывавшая странное ощущение какой-то старой новизны, угрюмой крикливости, обстановка, чем-то напоминавшая, если позволительно использовать еще одно сравнение, звучание расстроенного инструмента. Окруженный этими вещами, Миура обычно надевал дорогое шелковое кимоно, усаживался под портретом Наполеона Первого и читал что-нибудь вроде «Les Orientales»<sup>1</sup> Гюго. Эта обстановка вполне могла послужить сюжетом для любого из выставленных здесь эстампов. Помнится, я со странным чувством наблюдал, как плыли по реке лодки, то и дело закрывая от света большими белыми парусами французские окна его кабинета.

Хотя Миура жил в роскоши, он не посещал, подобно другим молодым людям его возраста, увеселительные заведения в Синбаси или Янагибаси. Каждый день он уединялся в своем заново обставленном кабинете и с увлечением читал. Короче говоря, он вел жизнь не столько банкира, сколько удалившегося от дел молодого отшельника. Виной тому, разумеется, было и хрупкое телосложение, не позволявшее Миуре совершать поступки, которые могли повредить его здоровью. Но была и другая причина. По своей натуре Миура, в противоположность тогдашним материалистическим веяниям, был чистейшим идеалистом. И поэтому предпочитал одиночество. Он являл собой образец джентльмена эпохи проникновения в Японию западной цивилизации, хотя своей идеалистически настроенной натурой скорее напоминал политических мечтателей, живших в еще более раннюю эпоху.

Доказательством тому может служить разговор, который произошел однажды между нами, когда мы смотрели пьесу о мятеже Симпурэн. Помню, после сцены, в которой Оно Тэппэй кончает жизнь самоубийством, Миура внезапно обернулся ко мне и с серьезным видом спросил:

— Ты мог бы им посочувствовать?

Поскольку в то время я только что вернулся из поездки в Европу и просто не переваривал все, что пахло

---

<sup>1</sup> «Восточные мотивы» (франц.).

стариной, я очень холодно ответил: «Нет, я нисколько им не сочувствую. Думаю, что для тех, кто поднимает бунт из-за указа о запрещении носить мечи, подобная смерть является вполне заслуженной». Миура отрицательно покачал головой.

— Возможно, их требования были ошибочными. Но думаю, что их стремление пожертвовать собой ради исполнения своих требований, заслуживает более, чем сочувствия.

— В таком случае ты, подобно этим бунтовщикам, без сомнения, готов расстаться с единственной и неповторимой жизнью ради детской мечты вернуть нашу современную жизнь в эпоху Мэйдзи, и даже в древнюю эру богов,— возразил я со смехом.

На что он все так же серьезно, словно на что-то решившись, ответил:

— Для меня достаточно, если человек готов отдать жизнь ради того, во что верит. Пусть это будут даже детские мечты.

Тогда мне показалось, что все это просто красивые слова, и я не придавал им особого значения. Теперь же, сопоставив все известное мне, я понял, что на эти слова наложила смутный, едва уловимый отпечаток постигшая его в последующие годы печальная судьба. Вы убедитесь в этом, выслушав всю историю до конца.

Миура во всем придерживался своих принципов. Поэтому, когда вопрос заходил о женитьбе, он без сожаления отвергал многочисленные блестящие партии, заявляя:

— Я женюсь только по любви.

К тому же его понимание любви отличалось от обычного, и если даже девушка очень ему нравилась, Миура всячески старался не доводить дело до женитьбы, говоря:

— В моих чувствах еще много несовершенного.

Смотреть со стороны на это становилось невыносимо, и я иногда вмешивался, предлагая свои услуги.

— Если по любому поводу столь досконально анализировать свои чувства, как делаешь это ты, то жизнь превратится в кошмар. Поэтому надо смириться с тем, что мир развивается не в соответствии с твоими идеалами, и довольствоваться более или менее приемлемой кандидатурой.

Однако Миура никак не поддавался на уговоры и, с жалостью глядя на меня, отвечал:

— Если бы я мог удовлетвориться тем, что ты предлагаешь, я давным-давно покончил бы с холостяцкой жизнью.

И если я, друг Миура, молча выслушивал его сентенции, то родственники, помня о его слабом здоровье и опасаясь, как бы не прекратился род Миура, предлагали ему обзавестись, на худой конец, наложницей. Однако не такой был Миура человек, чтобы внимать подобным советам. Мало того, ему крайне претило само слово «наложница». Обычно он, горько улыбаясь, говорил мне:

— Мы как будто считаемся сейчас просвещенной страной, а наложницы у нас, в Японии, по-прежнему существуют совершенно открыто.

Вот почему, возвратившись в Японию, Миура в течение двух или трех лет упорно занимался чтением, сидя у себя в кабинете наедине с портретом Наполеона Первого, и мы — его друзья — вовсе потеряли надежду на то, что он когда-нибудь женится по любви.

Однажды по делам своего ведомства я предпринял поездку в Корею в город Кэйдзэ. И представьте себе, не прошло и месяца, как вдруг я получаю от Миура письмо, в котором он извещает меня о помолвке. Вообразите, как я был удивлен. Вместе с тем это известие не могло не вызвать у меня улыбку: наконец-то и у него появилась подруга жизни. Письмо было исключительно кратким. Он лишь сообщал, что помолвлен с Фудзии Кацуми — дочерью правительственного поставщика. Из последующих писем я узнал некоторые подробности. Однажды Миура забрел в храм Хагидэра на острове Янагисима и случайно встретился там с владельцем антикварной лавки, частым гостем в его особняке. Вместе с господином Фудзии и его дочерью он пришел в храм помолиться. И вот во время прогулки по окружающему храм парку Миура и Кацуми влюбились друг в друга. Что и говорить, храм Хагидэра с его крытой соломой крышей и воротами со статуями бога Нио, с его обелиском среди кустов хаги, на котором выбита известная строфа Басё, отличался утонченной красотой и, несомненно, представлял собой идеальное место для «удивительной встречи талантливого юноши с пре-

красной девушкой». Однако для такого стопроцентного джентльмена эпохи Просвещения, как Миура, который выходил на улицу не иначе, как в костюме парижского покроя, любовь с первого взгляда возникла по чересчур стереотипной схеме, и если первое его сообщение о браке вызвало у меня улыбку, то теперь я просто не мог удержаться от смеха. Не требовалось также большой догадливости, чтобы понять ту роль, которую сыграл в сватовстве владелец антикварной лавки. Все устроилось как нельзя лучше. Без задержки были посланы официальные сваты и той же осенью сыграли свадьбу. Все говорило о том, что между новобрачными сложились безупречные отношения. Должен, правда, заметить, что одно обстоятельство вызывало у меня удивление и в то же время зависть: даже по письмам, в которых Миура сообщал мне о подробностях своей супружеской жизни, можно было понять, что этот рассудительный и холодный, ученого склада, человек совершенно преобразился, стал веселым и общительным.

До сих пор у меня хранятся все его письма, и когда я перечитываю их теперь, перед глазами у меня неизменно появляется его веселое, смеющееся лицо. С детской непосредственностью рассказывал Миура о подробностях своей повседневной жизни: о том, что в этом году никак не растет посаженный им вьюнок, что он пожертвовал деньги детскому дому в Уэно, что из-за большой влажности его книги отсырели и покрылись плесенью, что нанятый им рикша заболел столбняком, что он смотрел фокусы какого-то европейского факира в театре Миякодза, что в Курамаэ был пожар, — можно было бы без конца перечислять все новости, о которых он мне сообщал. Но с особой радостью Миура сообщил мне вот о чем: он заказал художнику Годзэта Хобаю портрет жены. Наполеон Первый со стены был снят, и его место занял портрет жены. Там я его потом и увидел. Госпожа Кацуми была изображена в профиль, стоящей перед трюмо. Волосы причесаны на западный манер, черное платье вышито шерстью и золотом, в руках букет роз. Портрет этот я имел счастье лицезреть, но вот Миура я с тех пор никогда больше не видал живым и веселым.

Виконт Хонда вздохнул и некоторое время молчал. Захваченный его рассказом, я слушал не шелохнув-

шись и, когда он остановился, с испугом взглянул на него, не будучи в силах сдержать беспокойство. Я почему-то решил, что Миура уже не было в живых, когда виконт возвратился из Кэйдзё. Но виконт, видимо, догадался о причине моего беспокойства и, покачав головой, спокойно продолжал:

— Нет, Миура в мое отсутствие не скончался. Но когда спустя год я вернулся на родину, он снова был холодно-спокоен и, кажется, чем-то опечален. Я это почувствовал, когда мы, после долгого перерыва, снова пожали друг другу руки на станции Синбаси, куда Миура пришел меня встретить. Вернее, я не столько почувствовал это, сколько был встревожен его холодным равнодушием. Взглянув на его лицо, я ощутил такое беспокойство, что воскликнул:

— Что с тобой? Ты не болен?

Он подозрительно посмотрел на меня и ответил, что не только он, но и его супруга находится в полном здравии. «Да,— подумал я,— так и должно быть. Характер у него все тот же. Он и не мог резко измениться за год «супружества по любви». Я решил не говорить больше на эту тему и лишь со смехом заметил:

— Пожалуй, освещение виновато. Мне показалось, что у тебя нездоровый цвет лица.

Чтобы понять те муки, которые он скрывал за маской равнодушия, и почувствовать, сколь неуместен был мой смех, потребовалось еще несколько месяцев. Однако буду последователен в своем повествовании и скажу несколько слов о том, что из себя представляла его жена.

Впервые я встретился с ней вскоре по возвращении из Кэйдзё в особняке на Окавабата, куда Миура пригласил меня пообедать. Она была примерно одних лет с Миура, но, может быть, благодаря маленькому росту казалась на два-три года моложе. На круглом лице со свежей кожей выделялись густые брови. В тот вечер она была в перехваченном чудесным шелковым поясом кимоно из старинной материи с узором из мотыльков и птиц. Употребляя модное в те годы выражение, она, можно сказать, производила впечатление дамы «высокого класса». Ее внешность в чем-то противоречила тому облику спутницы жизни Миура, который я рисовал в своем воображении. Но только «в чем-то», а в

чем — мне и самому было неясно. Некоторое подобие разочарования я не раз испытывал и потом. Но тогда эта мысль мелькнула у меня и исчезла. В общем, решил я, нет никаких оснований не радоваться женитьбе Миура.

Наоборот, пока мы сидели за столом, освещенным керосинокалильной лампой, я был просто покорен живой и одаренной натурой супруги Миура. Ее тонкость в обращении, умение понимать с полуслова можно было, пожалуй, определить несколько вульгарным выражением: тронешь — и зазвучит. В конце концов я не выдержал и совершенно серьезно сказал:

— Госпожа, такой женщине, как вы, надо было родиться не в Японии, а хотя бы во Франции.

— Вот, вот! Я все время твержу то же самое, — перebil Миура, поддразнивая жену. Возможно, мне только показалось, что в этих его словах в какой-то момент прозвучали неприятные нотки. Одной ли только подозрительности можно было приписать то, что мне почудилось, будто выражение глаз госпожи Кацуми, метнувшей полный ненависти взгляд в сторону Миура, слишком уж не вязался со всем ее откровенно кокетливым обликом. Во всяком случае, эта коротенькая сцена словно молнией осветила для меня всю их жизнь. Теперь, размышляя над этим, я прихожу к выводу, что присутствовал при начале трагедии всей жизни Миура. Тогда же беспокойство у меня скользнуло как тень, и только. Затем как ни в чем не бывало мы продолжали беседовать с Миура, время от времени наполняя чашечки сакэ. Мы весело провели остаток вечера, и когда я, покинув их особняк, ехал на рикше, подставляя захмелевшую голову ветру, дувшему с реки, я не раз мысленно поздравлял Миура с удачной «женитьбой по любви».

С тех пор прошел месяц, в течение которого я не раз посещал супругов Миура и принимал их у себя. Однажды мой друг доктор пригласил меня в театр Синтомидза на пьесу «Одэн-но Кавабуми». Разглядывая зрителей в лужах на противоположной стороне, я заметил среди них супругу Миура. В те годы я всегда брал с собой бинокль. И вот впервые в его окулярах я увидел госпожу Кацуми за барьером ложи, покрытым огненно-красной материей. В ее волосах красова-

лась, кажется, роза, белый подбородок покоился на накладном воротнике платья из материи спокойной расцветки. Словно почувствовав, что ее разглядывают, госпожа Кацуми одарила меня своим кокетливым взглядом и едва заметно мне подмигнула. Я опустил бинокль и, в свою очередь, приветствовал ее. Но тут вдруг заметил, что она опять взволнованно отвечает на приветствие. Причем куда почтительнее, чем в первый раз. Наконец-то я понял, что ее кокетливый взгляд и подмигивание предназначались не мне, а кому-то другому. Я стал обводить взглядом ложи, надеясь отыскать этого другого. И обратил внимание на молодого человека в модном полосатом костюме, который, кажется, тоже искал того, кому предназначалось одно из приветствий. Посасывая дорогую сигару, он пристально смотрел в мою сторону. На миг наши взгляды скрестились. В его смуглом лице было что-то отталкивающее, и я быстро отвел глаза, поднял бинокль и снова направил его в сторону ложи госпожи Кацуми. Рядом с ней я увидел известную сторонницу эмансипации женщин Нараяма, о которой вы, возможно, слышали. Жена довольно популярного в те времена адвоката Нараяма, она активно выступала за равноправие женщин, однако пользовалась весьма сомнительной репутацией. Госпожа Нараяма сидела, расправив плечи, в черном кимоно с гербами, всем своим видом напоминая ассистента на сцене. И то, что она сидела рядом с супругой Миура, почему-то вызвало во мне недоброе предчувствие. Эта воительница за эмансипацию женщин все время поворачивала в нашу сторону — точнее, в сторону того самого полосатого пиджака — свое костлявое, слегка напудренное лицо и бросала ему многозначительные взгляды, с раздражением оттягивая воротник платья, словно он ей мешал. Без преувеличения скажу, что во время представления я смотрел не столько на сцену, где играли знаменитые Кикугоро и Садандзи, сколько следил за супругой Миура, полосатым пиджаком и госпожой Нараяма. Находясь в мире веселой музыки и свисающих со сцены веток цветущей вишни, я безгранично страдал от зловещих предположений, не имеющих ничего общего с тем, что происходило на сцене. И когда вскоре после интермедии обе женщины покинули ложу, я вздохнул с облегчением, но в то же



время ощутил такую слабость, словно все силы окончательно меня покинули. Женщины ушли, но полосатый пиджак из соседней ложи оставался на месте, нещадно дымил своей сигарой и время от времени поглядывал в мою сторону. Когда два главных действующих лица из трех исчезли, я почему-то почувствовал к этому человеку со смуглым лицом еще большую неприязнь. Может быть, причиной тому была моя излишняя подозрительность. Но, так или иначе, с самого начала между нами возникла вражда. Поэтому я, как мне показалось, ощутил чувство, близкое к замешательству, словно столкнулся с неразрешимой загадкой, когда сам Миура в том самом своем кабинете, выходящем окнами на реку, познакомил меня с этим человеком. По словам Миура, он был кузеном его супруги. Несмотря на молодость, он занимал солидное положение в одной из текстильных компаний. Должен сказать, что даже за тот короткий промежуток, пока мы вели легкую светскую беседу за чаем, я сразу понял, что этот ни на минуту не выпускавший изо рта сигару человек наделен недюжинными способностями. Но его одаренность не уменьшила антипатии, которую я к нему испытывал. Все же я неоднократно взывал к чувству здравого смысла, стараясь убедить себя в том, что ничего странного в обмене приветствиями в театре между братом и сестрой нет и быть не может. Я даже попытался, насколько это было возможно, сблизиться с этим человеком. Но всякий раз, когда мне казалось, что мои старания вот-вот принесут плоды, он начинал со свистом прихлебывать чай, либо бесцеремонно стряхивал на стол пепел сигары, либо громко смеялся над своими же шутками — короче, совершал очередную бестактность, и моя антипатия вспыхивала с новой силой. Поэтому, когда спустя полчаса он откланялся, объявив, что по делам службы ему надо присутствовать на банкете, я встал и, движимый безотчетным желанием очистить атмосферу от миазмов вульгарности и невоспитанности, широко распахнул французские окна, впустив в кабинет струю свежего речного воздуха.

— До чего же ты ненавидишь его! — с упреком сказал Миура, усевшись на обычное свое место под портретом госпожи Кацуми с букетом роз.

— Ничего не могу с собой поделаться, — ответил я. — Уж очень он неприятен. Никак не свыкнусь с мыслью, что он кузен твоей супруги.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Слишком они не похожи друг на друга.

Миура некоторое время молча глядел на реку, осветившуюся на миг лучами заходящего солнца, и вдруг без всякой связи с предыдущим сказал:

— А не съездить ли нам как-нибудь половить рыбу?

Меня несказанно обрадовало, что тема разговора переменилась. Поэтому я сразу же с готовностью согласился.

— Прекрасно. В рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в дипломатии.

— Чем в дипломатии, говоришь? А я, н-да, пожалуй, в рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в амурных делах.

— Считаешь, значит, что можешь выудить добычу более драгоценную, чем твоя супруга?

— А почему бы и нет. Вот только ты станешь мне еще больше завидовать.

В словах Миура мне послышалось нечто, больно кольнувшее мой слух. Но лицо его в вечернем сумраке по-прежнему хранило выражение равнодушия, и он продолжал упорно глядеть сквозь французские окна на освещенную лучами заходящего солнца реку.

— Итак, когда мы отправляемся на рыбную ловлю? — спросил я.

— В любое удобное для тебя время.

— В таком случае сообщу письмом, — заключил я, нехотя поднялся из обтянутого марокканской кожей кресла, молча пожал Миура руку и вышел из таинственного сумрака кабинета в еще более темный коридор. За дверью я едва не столкнулся с кем-то, явно подслушивавшим наш разговор. Фигура метнулась мне навстречу.

— Как, вы уже уходите? — услышал я кокетливый голос. Опешил на мгновение, но быстро оправился и, холодно глядя на госпожу Кацуми, у которой и сегодня прическа была украшена розами, молча поклонился и поспешил к выходу, где меня ждал рикша. В голове у меня все смешалось, смешалось настолько, что я перестал даже сознавать, что происходит. Помню только,

что рикша уже проезжал мост Рёгоку, а я все продолжал шептать одно и то же имя: Далила.

Тогда-то мне и открылся секрет, который скрывал за своим сумрачным обликом Миура. Нужно ли объяснять, что этот секрет тотчас выжег в моей душе свое гнусное имя: прелюбодеяние. Но если совершенно явным было нарушение супружеской верности, почему такой идеалист, как Миура, решительно не потребовал развод. Или, может быть, не было доказательств, подтверждающих его подозрения в неверности жены? А если такие доказательства и были, Миура так любил госпожу Кацуми, что не решался расстаться с ней? Я настолько дал волю воображению, перебирая одну версию за другой, что начисто забыл о нашей договоренности поехать на рыбную ловлю. Так прошло примерно с полмесяца. Иногда я писал Миура, но заходить в особняк на Окавабата, столь часто посещаемый мною прежде, перестал. Вскоре произошло еще одно событие, свидетелем которого мне случайно довелось быть. Оно вынудило меня решиться на откровенный разговор с Миура. Тогда-то я и вспомнил о рыбной ловле и поспешил воспользоваться ею с тем, чтобы, оставшись с Миура один на один, откровенно поделиться своими опасениями.

Однажды, возвращаясь все с тем же своим другом доктором из театра Накамурадза, мы встретились с одним из старейших репортеров газеты «Акэбоно». Точно помню, он подписывал свои статьи псевдонимом «Коротышка». Начавшийся после захода солнца дождь лил не переставая, и мы решили зайти в харчевню Икуинэ близ Янагибаси, чтобы опрокинуть по стаканчику рисовой водки. Мы поднялись на второй этаж и, потягивая водку, прислушивались к доносившимся издали звукам сямисэна, который воскрешал, казалось, былую жизнь древнего Эдо. Тем временем наш Коротышка вошел в раж и, словно фельетонист эпохи западного просветительства, стал забавлять нас веселыми шутками и занимательными историями. Не обошел он вниманием и скандальную историю госпожи Нараяма, которая прежде была наложницей иностранца, а затем перешла на содержание к Синъютэю Энгё. В то время она была в зените своего расцвета, о чем свидетельствовали без малого шесть золотых колец, украшавших ее пальцы.

Однажды Нараяма не смогла вовремя возвратить деньги, которые заняла для того, чтобы тут же пустить на ветер, и оказалась в безвыходном положении. Немало рассказал наш репортер и других пикантных подробностей из жизни госпожи Нараяма. Но мне особенно было неприятно узнать от него, что в последнее время госпожу Нараяма повсюду сопровождает некая молодая матрона. Причем, по его словам, ходили слухи, будто иногда они, в сопровождении мужчины, останавливались в гостинице близ Суйдзинского леса. Когда я услышал об этом, мое веселое настроение — а оно не могло быть иным, поскольку мы выпивали в хорошей компании, — мгновенно улетучилось. Надо было смеяться, а у меня словно комок застрял в горле, и перед глазами все время стояло задумчивое лицо Миура. К счастью, доктор, видно, почувствовал мое угнетенное состояние и умело перевел болтовню репортера на тему, не имеющую ничего общего с похождениями госпожи Нараяма. Это дало мне возможность прийти в себя и принять участие в беседе хотя бы в той мере, в какой это необходимо было, чтобы окончательно не испортить нашу приятную встречу. Но в этот вечер моим испытаниям, видно, еще не суждено было кончиться. Когда я с начисто испорченным настроением вышел из харчевни Икуинэ и подозвал рикшу, ко входу лихо подкатила двухместная тележка с блестящим от дождя поднятым верхом. Пропитанный тунговым маслом верх откинулся, и на порог прыгнул один из седоков. Я узнал его в тот короткий миг, когда вскочил в тележку и рикша подхватил оглобли. Меня охватило необыкновенное возбуждение.

— Ведь это он, — прошептал я.

Да, это был тот самый смуглолицый мужчина в полосатом пиджаке, выдававший себя за кузена супруги Миура. Я ехал по сверкающей огнями Широкодзи. Мое сердце, словно тисками, сжимало страшное беспокойство, когда я пытался представить себе, кто находился с этим человеком в коляске. Была это госпожа Нараяма или, может быть, госпожа Кацуми с алыми розами в волосах? Охваченный этими неразрешимыми сомнениями, я был в то же время очень зол на себя за свою трусость. Ах, зачем я тогда так поспешно нырнул под спасительный верх тележки! Должно быть, боялся, как

бы мои сомнения не рассеялись. До сих пор для меня остается загадкой, была ли в тележке супруга Миура или воительница за эмансипацию женщин.

Виконт Хонда вытащил откуда-то большой шелковый носовой платок, вежливо высморкался, оглядел начавший погружаться в сумерки выставочный зал и продолжал тихим голосом:

— Оставляя в стороне это происшествие, я решил, что, как бы то ни было, рассказ репортера должен заинтересовать Миура. Поэтому на следующий же день отправил ему письмо, в котором предложил встретиться, порыбачить, а заодно и отдохнуть. Миура незамедлительно ответил согласием. Время встречи падало как раз на шестнадцатую ночь, поэтому он предлагал отправиться, как только заведет, с тем чтобы не столько порыбачить, сколько полюбоваться полной луной. Я не был таким уж заядлым рыбаком и сразу же согласился. Мы встретились на лодочной станции близ Янагибаси, сели в длинную остроносую лодку и выгребли на середину реки. Уже стемнело, но луна еще не взошла.

В те времена вечерний пейзаж на реке Сумида еще сохранял следы красоты, присущей гравюрам укиёэ. Когда, проплыв под рестораном Манбати, мы вышли на середину реки, нашим глазам открылась удивительная картина: в осеннем небе над волнами реки, в которых отражались блики бледного вечернего света, отчетливо виднелись перила моста Рёгоку, казавшиеся черной, словно одним взмахом проведенной тушью, изогнутой линией. Тени карет, пронесившихся по мосту, расплывались в поднимавшемся над рекой тумане, и чудилось, будто над водой мчатся взад и вперед лишь крохотные точки их фонарей, алые, словно вишенки.

М и у р а. Каков пейзаж, а?

Я. Да-а. В Европе, сколько ни ищи, такого, пожалуй, не увидишь.

М и у р а. И так, когда дело касается пейзажа, ты не такой уж противник старины.

Я. Да, только, когда дело касается пейзажа.

М и у р а. А вот я в последнее время просто возненавидел все, что связано с западным просветительством.

Я. Знаешь, однажды, обратив внимание на проходивших по бульвару японцев из Миссии доброй воли, некогда направленной феодальным правительством во

Францию, известный остро слов Мериме сказал стоявшему рядом с ним не то Дюма, не то кому-то еще: «Взгляни, кто это привязал японцев к таким непомерно длинным мечам?» Берегись, не то попадешь со своими взглядами на злой язык Мериме.

Миура. А я могу рассказать тебе о другом случае. Когда-то китайский посол по имени Хэ Шу-чжан, прибыв в Японию, остановился в гостинице в Иокогама. Увидав японский спальный халат, он умилился и сказал: «Это древнее спальное одеяние — свидетельство того, что в вашей стране свято соблюдают древние обычаи Ся и Чжоу». Вот тебе пример того, что нельзя без разбора охаивать все старое.

Увлечшись разговором, мы не заметили, как воды реки от начавшегося прилива внезапно потемнели. Мы огляделись и обнаружили, что мост Рёгоку остался далеко позади и наша лодка, подгоняемая частыми ударами весел, уже приблизилась к знаменитой «сосне свиданий», черным силуэтом выделявшейся на темном небе. Решив, что наступил подходящий момент для того, чтобы перевести разговор на госпожу Кацуми, я подхватил последнюю фразу Миура и пустил пробный камень:

— Как в таком случае совместить твоё преклонение перед стариной с твоим отношением к столь просвещенной супруге?

Словно не услышав моего вопроса, Миура некоторое время молча глядел на безлунное небо над Отакэгура, потом обратил свой взгляд на меня и тихим, но полным внутренней силы голосом сказал:

— Да никак. Неделю тому назад я развелся.

Я был так поражен столь неожиданным ответом, что растерялся и невольно ухватился за борт лодки.

— Значит, ты тоже знал? — тихо спросил я.

— А ты сам, все ли ты знал? — подчеркивая каждое слово, возразил Миура.

Я. Все или не все — не знаю. Слышал лишь о том, что твоя супруга подружилась с госпожой Нараяма.

Миура. А о связи между моей женой и ее кузеном?

Я. Догадывался.

Миура. В таком случае мне больше нечего тебе сообщить.

Я. А ты... когда ты узнал об этом?

Миура. О связи между женой и ее кузеном? Спусти три месяца после свадьбы. Как раз накануне того, как попросил Годзэта Хобая написать известный тебе портрет жены.

Можете себе представить, сколь неожиданным мне показался и этот ответ Миура.

Я. Как же ты мог до сих пор терпеть это?

Миура. Почему «терпеть»? Я это одобрял.

И снова я был настолько поражен ответом Миура, что некоторое время лишь ошеломленно глядел на него.

— Конечно,— спокойно продолжал Миура,— это не означает, что я одобряю их нынешнюю связь. Нет. Я относился с одобрением к тем сложившимся между ними отношениям, которые в то время рисовал у себя в воображении. Ты, должно быть, помнишь, что я был сторонником «женитьбы по любви». Но при этом, должен тебе сказать, я не преследовал какие-то эгоистические цели. Просто я ставил любовь превыше всего. И когда после женитьбы понял, что любовь между нами не настоящая, то пожалел о поспешности, с которой связал свою судьбу с этой женщиной. Вместе с тем меня не покидало чувство жалости к жене, которая была вынуждена делить со мной ложе и кров. Тебе ведь известно, что я с давних пор не мог похвалиться здоровьем. Кроме того, пусть я считал, что люблю ее, но она ведь могла и не любить меня. А может быть, моя любовь с самого начала была настолько слаба и несовершенна, что оказалась неспособной вызвать серьезное ответное чувство... И я решил пожертвовать собой ради друживших с детских лет жены и ее кузена, раз возникшее между ними чувство чище и искреннее, чем то, которое существовало между нами. Ибо если бы я поступил иначе, мой принцип ставить любовь превыше всего оказался бы на деле лишь красивой фразой. Поэтому-то я и решил на всякий случай заказать известный тебе портрет жены, с тем чтобы он заменил мне ее, как только станет ясно, что жена любит другого.

Миура умолк и снова вперил взгляд в небо, которое черным пологом висело над особняком Кимацуура. Пока не было и признака, что вот-вот засветятся облака и взойдет луна. Я закурил сигару и спросил:

— Что же было потом?

— Вскоре я убедился, что любовь между моей женой и ее кузеном не настоящая. Говоря откровенно, я узнал, что он находится в интимной связи не только с моей женой, но и с госпожой Нараяма. Как мне это удалось — думаю, что и тебе не будет особенно интересно услышать об этом, да и мне не хотелось бы сейчас распространяться на эту тему. Скажу только, что случайно мне лично довелось быть свидетелем их тайного свидания.

Сбрасывая пепел сигары за борт, я живо представил себе ту дождливую ночь и неожиданную встречу у входа в харчевню Икуинэ.

— Для меня это было первым ударом, — спокойно продолжал Миура. — Половина основания, на котором зиждилось мое одобрение их связи, рухнула. Больше я не мог, как прежде, благосклонно смотреть на интимные отношения моей жены и ее кузена. Ты в это время как раз возвратился из своей поездки в Корею. И вот я стал думать над средством, с помощью которого можно было бы их разлучить. Тогда я верил, что, несмотря на обман кузена, любовь к нему со стороны моей жены была истинной. Поэтому, а так же и ради счастья жены, я счел необходимым вмешаться. Жена и ее кузен не могли предположить, что я давно знал об их связи. Поэтому они, — по крайней мере, жена, — по-видимому, решили, что мною движет ревность. С тех пор жена стала враждебно ко мне относиться и даже следить за мной. Да и на тебя она смотрела с опаской.

— Действительно, однажды она, стоя за дверью кабинета, подслушивала наш с тобой разговор.

— Вполне возможно. Такая женщина могла пойти и на это.

Некоторое время мы молча глядели на черную гладь реки. Наша лодка миновала мост Оумаябаси и, оставляя едва заметный след на воде, приблизилась к Комаката.

— Но я продолжал верить в честность жены, — продолжал Миура свой рассказ, — и еще сильнее страдал из-за того, что она не хотела понять моего настроения. Не только не хотела, но даже возненавидела меня. И вот, с тех пор как я встретил тебя на вокзале в Синбаси, я всячески пытался подавить в себе мучившие меня мысли...



Неделю тому назад прислуга по ошибке принесла в мой кабинет письмо, предназначавшееся жене. Я сразу решил, что письмо от ее кузена и... вскрыл его. К своему удивлению, я понял, что в моих руках оказалось любовное послание от неизвестного мужчины. Так я убедился, что те чувства, которые жена питала к кузену, тоже никак нельзя назвать чистой любовью. Я получил второй и значительно более жестокий удар, который начисто разбил мои идеалы. И в то же время на меня снизошло печальное успокоение, словно тяжесть ответственности, давившая мне все время на плечи, внезапно исчезла.

Миура умолк. В этот миг из-за складов Намигура выплыла кроваво-красная полная луна. Я и вспомнил эту историю с Миура, глядя на одетого в европейский костюм Кикугоро с гравюры Ёситоси, именно потому, что театральная луна на гравюре была похожа на ту, которую мы увидели с лодки. В лунном свете четко выделялся продолговатый овал лица Миура, обрамленного расчесанными на пробор длинными волосами. Глядя на луну, Миура вдруг тяжело вздохнул и с горьким смехом произнес:

— Помнишь, однажды ты осудил жертвовавших жизнью ради своего идеала повстанцев Симпурэн, назвав это детской мечтой. Значит, в твоих глазах моя супружеская жизнь...

— Да. Тоже, возможно, напоминала детскую мечту. Но ведь и просвещение, к которому мы теперь так стремимся, спустя столетие превратится всего лишь в детскую мечту. Не так ли?

В этот момент подошедший к нам сторож напомнил, что час уже поздний и выставку пора закрывать. Мы с виконтом медленно поднялись со скамьи, в последний раз окинули взглядом висевшие вокруг гравюры и эстампы и молча покинули начавший погружаться в сумерки зал. Казалось, мы сами были призраками прошлого, сошедшими с картин, висевших за стеклом стендов.

*Январь 1919 г.*



## МАНДАРИНЫ

Стояли пасмурные зимние сумерки. Я сидел в углу вагона второго класса поезда Ёкосука — Токио и рассеянно ждал свистка к отправлению. В вагоне давно уже зажгли электричество, но почему-то, кроме меня, не было ни одного пассажира. И снаружи, на полутемном перроне, тоже почему-то сегодня не было никого, даже провожающих, и только время от времени жалобно тьякала запертая в клетку собачонка. Все это удивительно гармонировало с моим тогдашним настроением. На моем сознании от невыразимой усталости и тоски лежала тусклая тень, совсем как от пасмурного снежного неба. Я сидел неподвижно, засунув руки в карманы пальто и не имея охоты даже достать из кармана и просмотреть вечернюю газету.

Наконец раздался свисток. С чувством слабого душевного облегчения я прислонился головой к оконной раме и стал ждать, когда станция перед моими глазами начнет медленно отодвигаться назад. Но тут со стороны турникета на перроне послышался громкий стук гэта, тотчас же за ним — негодующий возглас кондуктора; дверь моего вагона со стуком растворилась, и, запыхавшись, вошла девочка лет тринадцати — четырнадцати. В ту же секунду поезд, качнувшись, медленно тронулся. Столбы на перроне, один за другим отмечавшие отрезок

поля зрения, тележка с баком для воды, как будто кем-то брошенная и забытая, носильщик, кланявшийся кому-то в поезде,— все это в клубах застилавшего окно пепельного дыма как-то неохотно покатилося назад. Наконец-то, вздохнув с облегчением, я закурил папиросу и только тогда поднял вялые веки и бросил взгляд на лицо девочки, усевшейся напротив меня.

Это была настоящая деревенская девочка: сухие волосы без признака масла были уложены в прическу итэга́си, рябоватые потрескавшиеся щеки были так багрово обожжены, что даже производили неприятное впечатление. На ее коленях, куда небрежно свисал замызганный зеленый шерстяной шарф, лежал большой узел. В придерживавшей его отмороженной руке она бережно сжимала красный билет третьего класса. Мне не понравилось мужицкое лицо этой девочки. Кроме того, мне было неприятно, что она грязно одета. Наконец, меня раздражала ее тупость, с которой она не могла понять даже разницу между вторым и третьим классами. Поэтому, закуривая папироску, я решил забыть о самом существовании этой девочки и от нечего делать развернул газету. Вдруг свет из окна, падавший на страницы, превратился в электрический свет, и неотчетливая печать газеты с неожиданной яркостью выступила перед моими глазами. Очевидно, поезд вошел в первый из многочисленных на линии Ёкосука туннелей.

Однако, хотя я пробегал взглядом освещенные электричеством страницы, все, что случилось на свете, было слишком банально, чтобы рассеять мою тоску. Вопросы заключения мира, молодожены, опять молодожены, случаи взяточничества чиновников, объявления о смерти... Испытывая странную иллюзию, будто поезд, войдя в туннель, вдруг помчался в обратном направлении, я почти машинально переводил глаза с одной унылой заметки на другую. Но все это время я, разумеется, ни на минуту не мог отделаться от сознания, что передо мной сидит эта девочка, живое воплощение серой действительности в человеческом образе. Этот поезд в туннеле, эта деревенская девочка, да и эта газета, набитая банальными статьями,— что же это все, если не символ непонятной, низменной, скучной человеческой жизни? Все мне показалось бессмысленным, и, отшвырнув недо-

читанную газету, я опять прислонился головой к оконной раме, закрыл глаза, как мертвый, и начал дремать.

Прошло несколько минут. Внезапно, словно испуганный чем-то, я невольно оглянулся — оказалось, что девочка незаметно встала со своего места на противоположной скамейке и, остановившись рядом со мной, упорно старалась открыть окно. Но тяжелая рама никак не поддавалась. Потрескавшиеся щеки девочки еще больше покраснели, и я слышал, как, хлопоча у окна, она иногда шмыгала носом и прерывисто дышала. Конечно, ее усилия не могли не вызвать у меня известного сочувствия. Однако уже по одному тому, что склоны холмов, на которых светлела в сумерках засохшая трава, с обеих сторон надвигались на окна, легко можно было сообразить, что поезд опять подходит к туннелю. И все же девочка хотела спустить нарочно закрытое окно — зачем, мне было непонятно. Я мог считать это только капризом. Поэтому, с прежней суровостью в глубине души, я холодно смотрел, как обмороженные ручки бьются, пытаюсь спустить стекло. Я желал, чтобы эти усилия так и не увенчались успехом. Но вдруг поезд с ужасным грохотом ворвался в туннель, и в тот же миг рама, которую девочка старалась спустить, наконец со стуком упала. И в прямоугольное отверстие разом густо хлынул внутрь и разлился по вагону черный, точно пропитанный сажой, воздух, превратившийся в удушливый дым. Я не успел даже закрыть платком лицо, как меня обдала целая волна дыма, и, давно уже страдая горлом, я закашлялся так, что чуть не задохнулся. А девочка, не обращая на меня ни малейшего внимания, высунулась в окно и, подставив волосы трепавшему их ветру, смотрела вперед по ходу поезда. Я глядел на нее, окутанную дымом и электрическим светом, и если бы только за окном вдруг не стало светлеть и оттуда освежающе не влился запах земли, сена, воды, то я, наконец-то перестав кашлять, несомненно, жестоко выругал бы эту незнакомую девочку и опять закрыл бы окно.

Но поезд уже плавно выскользнул из туннеля и проходил через переезд в бедном предместье, сдавленном с обеих сторон горами, покрытыми на склонах сухой травой. Вокруг повсюду грязно и тесно жались убогие соломенные и черепичные крыши, и — должно быть,

это махал стрелочник — уныло развевался еще белешший в сумерках флажок. Как только поезд вышел из туннеля, я увидел, что за шлагбаумом пустынного переезда стоят рядышком три краснощеких мальчугана. Все трое, как на подбор, были коротышки, словно придавленные этим пасмурным небом. И одежда на них была такого же цвета, как все это угрюмое предместье. Не спуская глаз с проносившегося мимо поезда, они разом подняли руки и вдруг, не щадя своих детских глоток, изо всех сил грянули какое-то неразборчивое приветствие. И в тот же миг произошло вот что: девочка, по пояс высунувшаяся из окна, вытянула свои обмороженные ручки, взмахнула ими направо и налево, и вдруг на детей, провожавших взглядом поезд, посыпалось сверху несколько золотых мандаринов, окрашенных так тепло и солнечно, что у меня затрепетало сердце. Я невольно затаил дыхание. И мгновенно все понял. Она, эта девочка, уезжавшая, вероятно, на заработки, бросила из окна припрятанные за пазухой мандарины, чтобы отблагодарить братьев, которые вышли на переезд проводить ее.

Утонувший в сумерках переезд, трое мальчуганов, заверещающих, как птицы, свежая яркость посыпавшихся на них мандаринов — все это промелькнуло за окном почти мгновенно. Но в моей душе эта картина запечатлелась почти с мучительной яркостью. И я почувствовал, как меня заливают какое-то еще непонятное светлое чувство. Взволнованно подняв голову, я совсем другими глазами посмотрел на девочку. Вернувшись на свое место напротив меня, она по-прежнему прятала потрескавшиеся щеки в зеленый шерстяной шарф и, придерживая большой узел, крепко сжимала в руке билет третьего класса...

И только тогда мне удалось хоть на время забыть о своей невыразимой усталости и тоске и о непонятной, низменной, скучной человеческой жизни.

*Апрель 1919 г.*

## ТРЯСИНА

Случилось это в дождливый день после полудня. В одном из залов картинной галереи я обнаружил картину, написанную маслом. «Обнаружил» — сказано, пожалуй, слишком сильно, впрочем, что мне мешает так именно и сказать: ведь только эта картина висела в полутемном углу, только она была в ужасающе бедной раме; картину повесили и словно тут же о ней забыли. Картина называлась «Трясина», автор не принадлежал к числу известных. И сама картина изображала всего-навсего ржавую воду, сырую землю да еще траву и деревья, густо растущие на этой земле; в ней не было ровным счетом ничего, на чем мог бы остановить взгляд обычный посетитель.

Странно, но художник писал столь густую растительность, совершенно не пользуясь зелеными красками. Тростник, тополя, фиги — все это было грязно-желтого цвета. Какого-то гнетущего желтого цвета, цвета сырой глины. Действительно ли художник так видел зелень? Или ему почему-либо нравился этот цвет и он нарочно усиливал его? Я стоял перед картиной потрясенный, и этот вопрос все время мучил меня.

И постепенно, чем больше я в нее вглядывался, тем яснее понимал, какую она страшную таит в себе силу. Особенно земля на переднем плане, — земля была

написана до того убедительно, что вы явственно ощущали, как ступает по ней ваша нога, как с тоненьким вскрипом увязает по самую лодыжку в гладкой дрожащей жиже.

За небольшой картиной маслом я разглядел несчастного ее художника, который стремился возможно острее показать самую суть природы. Эта желтая болотная растительность внушала мне такое же трагическое, такое же глубокое, рождающее восторг чувство, какое внушает всякое выдающееся творение искусства. Среди множества больших и небольших картин, заполнивших галерею, не нашлось бы ни одной, равной этой по силе.

— Вы, кажется, в восторге? — Чья-то рука хлопнула меня по плечу, и я, с таким чувством, словно меня бесцеремонно разбудили, обернулся. — Ну, как вам эта штука?

Говоривший пренебрежительно мотнул свежесвыбритым подбородком в направлении картины. Модный коричневый пиджак, крепкое сложение, самоуверенный вид знатока — это был художественный критик одной из газет. Я припомнил, что уже не впервые именно этот критик вызывает во мне чувство неприязни, и очень неохотно ему ответил:

— Это шедевр.

— Шедевр?! Забавно! — Критик расхохотался, подрагивая животом.

Привлеченные его смехом, несколько посетителей, стоявших поблизости, словно сговорившись, разом посмотрели в нашу сторону. Мне сделалось еще неприятнее.

— Забавно! Кстати, вы знаете, художник был отнюдь не из числа устроителей выставки, однако он так все время стремился ее выставить, что семья покойного упростила жюри, и ее в конце концов сунули в этот угол.

— Семья покойного? Значит, автор картины умер?

— Да, он умер. Впрочем, он был мертв и при жизни.

— То есть как это?

— Уже довольно давно он был не в себе.

— И когда вот это писал?

— Разумеется! Какой же нормальный станет писать в таком цвете. А вы вот даже изволите восхищаться — ну не забавно ли!

И критик снова разразился самодовольным смехом. Он наверняка полагал, что я устыжусь своего невежества. Больше того, он, как видно, хотел, чтобы я почувствовал его превосходство.

Увы, я разочаровал его. Я слушал его, и чувство почти торжественное наполняло меня невыразимым волнением. Я с трепетом снова и снова погружался в созерцание картины. И снова видел за небольшим холстом несчастного художника, терзаемого страшным нетерпением и тревогой.

— Да, у него, как видно, никак не выходило то, что он хотел, и это свело его с ума. Вот в чем все дело!

И критик с проясненным лицом, почти радостно, улыбнулся. Вот она, единственная награда, полученная от людей, от общества безвестным художником, принесшим в жертву свою жизнь, одним из нас.

Сильный трепет прошел по всему моему телу; я опять, в третий уже раз, бросил взгляд на печальный холст. Там между угрюмым небом и угрюмой водою с чудовищной силой — природа это есть мы! — жили тростник, тополь, фиговое дерево цвета сырой глины.

— Шедевр!

Я повторил это слово гордо, глядя прямо в лицо художественному критику.

*Апрель 1919 г.*





## СОМНЕНИЕ

Лет десять с лишним назад, как-то раз весной, мне было поручено прочесть лекции по практической этике, и я около недели прожил в городе Огаки, в префектуре Гифу. Искони опасаясь обременительной любезности в виде теплого приема местных деятелей, я заранее послал пригласившей меня учительской организации письмо с предупреждением о том, что намерен отказаться от встреч, банкетов, а также от осмотра местных достопримечательностей и вообще от всяких прочих видов напрасной траты времени, связанной с чтением лекций по приглашению. К счастью, слухи о том, что я оригинал, видимо, давно уже дошли сюда, и когда я приехал, то благодаря стараниям мэра города Огаки, являвшегося председателем этой организации, все оказалось устроено согласно моим желаниям, и даже больше того: меня избавили от обычной гостиницы и предоставили в мое распоряжение тихое помещение на даче местного богача господина Н. Я собираюсь рассказать обстоятельства одного трагического происшествия, о котором случайно услышал во время пребывания на этой даче.

Дача помещалась в районе, близком к замку Корюку и весьма далеко от житейской суеты веселых кварталов. Небольшое, в восемь циновок, помещение в стиле павильона для занятий, где я поселился, было,

к сожалению, почти лишено солнца, но со своими довольно выцветшими фусума и сёдзи представляло собой комнату, полную удивительного спокойствия. Прислуживавшие мне сторож дачи и его жена, когда их услуги не требовались, всегда уходили к себе на кухню, так что в этой полутемной комнате большей частью было тихо и совершенно безлюдно. Тишина стояла такая, что можно было отчетливо услышать, как с магнолии, простирающей свои ветви над гранитным ручейником, иногда осыпается белый цветок. Я ходил на лекции ежедневно, но только по утрам, и мог проводить в этой комнате послеобеденные часы и вечер в полном покое. В то же время, не имея при себе ничего, кроме чемоданчика с учебниками и сменой одежды, я нередко чувствовал весенний холодок.

Впрочем, в послеобеденное время меня иногда развлекали посетители, так что я был не так уж одинок. Но когда зажигалась старинная лампа на подставке из ствола бамбука, то мир, согретый человеческим дыханием, сразу суживался до моего непосредственного окружения, озаряемого этим слабым светом. Однако во мне даже это окружение отнюдь не вызывало чувства надежности. В токонома за моей спиной угрюмо выселились тяжелые медные вазы без цветов. Над ними, на таинственном какэмоно с изображением «Ивовый Каннон», на золотом фоне закопченного парчового обрамления тускло чернела тушь. Время от времени я отводил глаза от книги и оглядывался на эту старинную буддийскую картину, и мне всегда казалось, что я чувствую запах нигде не курившихся ароматических свечек. Настолько моя комната полна была атмосферой монастырской тишины. Поэтому я ложился довольно рано. Однако, и улегшись, я долго не засыпал. За ставнями раздавались пугавшие меня крики ночных птиц, носившихся не то рядом, не то где-то вдали,— не поймешь. Эти крики описывали круги, центром которых была высящаяся над моим жилищем башня. Даже днем взглянув на нее, я видел, как эта башня, вздымавшая среди мрачной зелени сосен белые стены своих трех ярусов, непрестанно сыпала со своей выгнутой крыши в небо бесчисленные стаи ворон... И, погружаясь в крепкий сон, я продолжал чувствовать, как глубоко в моем теле разливается, словно вода, весенний холодок.

И вот как-то вечером... Это случилось, когда курс моих лекций уже подходил к концу. Я, как всегда, сидел перед лампой, скрестив ноги, погруженный в бесцельное чтение, как вдруг фусума, отделявшая мою комнату от соседней, до жути тихо приоткрылась. Заметив, что она открылась, и бессознательно предполагая, что явился сторож дачи, я равнодушно обернулся, намереваясь, кстати, попросить его опустить в ящик недавно написанную открытку. Но на татами возле фусумы в полутьме сидел, выпрямившись, незнакомый мне мужчина лет сорока. По правде говоря, на миг меня охватило изумление, — вернее, своеобразное чувство, близкое к суеверному страху. Действительно, вид у этого человека при тусклом свете лампы был странно прозрачный, вполне оправдывающий такой шок. Однако он, оказавшись со мной лицом к лицу, почтительно наклонил голову, высоко, по-старинному, подняв при этом локти, и более молодым голосом, чем я ожидал, почти механически произнес такое приветствие:

— Не нахожу слов, чтобы просить извинения за то, что вторгся к вам вечером и помешал вашим занятиям, но, имея к сэнсэю почтительную просьбу, я решился на нарушение приличий и позволил себе прийти.

Оправившись от первоначального шока, я во время этой речи впервые рассмотрел своего посетителя. Это был полуседой, благородного вида человек, с широким лбом, впалыми щеками и не по возрасту живыми глазами. На нем было приличное, хотя и без гербов, хаори и хакама, а у колен он, как полагается, держал в руке веер. Но что меня моментально ударило по нервам, это то, что на левой руке у него не хватало одного пальца. Едва заметив это, я невольно отвел глаза от его руки.

— Что вам угодно?

Закрывая книгу, которую я начал было читать, я нелюбезно задал ему этот вопрос. Нечего и говорить, что его внезапное появление оказалось для меня неожиданностью и вместе с тем рассердило меня. Странно было и то, что сторож дачи ни одним словом не предупредил меня о приходе гостя. Однако, нисколько не смутившись моими холодными словами, этот человек еще раз коснулся лбом циновки и тем же тоном, точно читая вслух:

— Извините, что не сказал сразу, но позвольте пред-

ставиться: меня зовут Накамура Гэндо. Я каждый день хожу слушать лекции сэнсэя, но, разумеется, я только один из многих, так что сэнсэй вряд ли меня помнит. Однако, как слушатель ваших лекций, я осмеливаюсь теперь просить у сэнсэя указаний.

Мне показалось, что я наконец понял цель его посещения. Но то, что мое тихое удовольствие от вечернего чтения оказалось испорченным, было мне по-прежнему решительно неприятно.

— В таком случае, не скажете ли, что именно в моих лекциях вызвало вопрос?

Спросив его так, я в глубине души уже приготовил приличные слова для отступления: «Раз это вопрос, то задайте его завтра в аудитории». Однако гость, не шевельнув ни одним мускулом лица и устремив глаза на свои прикрытые хакама колени:

— Не вопрос. Но я, собственно говоря, хотел бы услышать мнение, суждение сэнсэя относительно всего моего поведения. То есть дело в том, что еще двадцать лет тому назад довелось мне пережить неожиданное происшествие, и после него я сам себе стал непонятен. И вот, узнав о глубоких теориях такого авторитета в науке этики, как сэнсэй, я подумал, что теперь все разъяснится само собой, и потому сегодня вечером и позволил себе прийти. Как прикажете? Не соблаговолите ли, хоть это и скучно, выслушать историю моей жизни?

Я заколебался. Я хоть и в самом деле был специалистом по этике, но, к сожалению, не мог обольщаться, будто обладаю достаточно быстрой сообразительностью, чтобы, пользуясь своими специальными знаниями, тут же на месте дать жизненное разрешение стоящему передо мной практическому вопросу. Он, видимо, сразу заметил мои колебания и, подняв взор, до того устремленный на колени, и полупросительно и робко следя за выражением моего лица, более естественным голосом, чем раньше, почтительно продолжал так:

— Нет, это, разумеется, не значит, что я позволю себе во что бы то ни стало настаивать на том, чтобы сэнсэй высказал свое суждение. Но только этот вопрос до нынешних моих лет неотвязно удручает мою душу, и если бы такой человек, как сэнсэй, хотя бы послушал о моих мучениях, уже это одно послужило бы мне некоторым утешением.

После этих его слов я ради одного приличия не мог отказаться выслушать рассказ незнакомца. Но в то же время я ощутил на сердце тяжесть какого-то дурного предчувствия и своего рода смутное чувство ответственности. Желая рассеять эти тревожные чувства, я заставил себя принять беззаботный вид и, приглашая гостя сесть ближе, по другую сторону тускло светившей лампы:

— Ну, так прошу приступить к рассказу. Правда, как вы сами об этом сказали, не знаю, удастся ли мне высказать мнение, могущее послужить вам на пользу.

— Нет, если только вы соблаговолите меня выслушать, это будет больше того, на что я смел надеяться.

Человек, назвавший себя Накамура Гэндо, рукой, лишенной одного пальца, взял с циновки веер и, время от времени медленно поднимая глаза и украдкой взглядывая не столько на меня, сколько на «Ивовую Каннон» в токонома, довольно невыразительным мрачным тоном, то и дело прерывая, повел свой рассказ.

\* \* \*

Дело было как раз в двадцать четвертом году Мэйдзи. Как вы знаете, двадцать четвертый год — это год великого землетрясения на равнине Ноби, и с тех пор наш Огаки принял совсем другой вид; а в то время в городке имелись две начальные школы, из которых одна была построена князем, другая — городом. Я служил в начальной школе К., учрежденной князем; за несколько лет до того я окончил первым учеником префектуральную учительскую семинарию и с тех пор, пользуясь известным доверием директора, получал высокое для своих лет жалованье в пятьдесят иен. В нынешнее время те, кто получают пятьдесят иен, еле сводят концы с концами, но дело было двадцать лет назад; сказать, что это много, — нельзя, но на жизнь вполне хватало, так что среди товарищей такие, как я, являлись предметом зависти.

Из близких у меня на всем свете была только жена: да и на ней я был женат всего два года. Жена была дальней родственницей школьного директора; она с детства лишилась родителей и до замужества жила на попечении директора и его жены, заботившихся о ней,

как о родной дочери. Звали ее Саё; может быть, из моих уст это прозвучит странно, но была она женщиной от природы очень прямой, застенчивой и уж чересчур молчаливой и грустной, словно тень. Но, как говорится, муж и жена на одну статью, так что хоть особого счастья у нас и не было, но мы мирно жили день за днем.

И вот произошло великое землетрясение — никогда мне не забыть — двадцать восьмого октября в семь часов утра. Я чистил зубы у колодца, а жена в кухне засыпала в котел рис... На нее рухнул дом. Это случилось в какие-нибудь одну-две минуты: ураганом налетел страшный подземный гул, дом сразу же стал крениться набок все больше и больше, и потом только и видно было, как во все стороны летят кирпичи. Я и ахнуть не успел, как упал, сбитый с ног рухнувшим навесом крыши, и некоторое время лежал без памяти, встряхиваемый волнами подступавших толчков; а когда в конце концов в тучах взметенной земли я выбрался из-под навеса, то увидел перед собой крышу своего дома, между черепицами которой росла трава, разбитой вдребезги и поверженной на землю.

Что я тогда почувствовал — ужас ли, растерянность, не знаю. Я прямо обезумел и тут же повалился без сил, словно под ногами моими было бурное море; справа и слева я видел дома с обрушенными крышами, слышал подземный гул, стук балок, треск ломающихся деревьев, грохот обваливающихся стен, бурлящий шум и крики мечущихся тысяч людей. Но это длилось только мгновение; едва я увидел то, что шевелилось поодаль под навесом, как сразу же вскочил и с бессмысленным криком, точно очнувшись от кошмара, бросился туда. Под навесом, наполовину придавленная балкой, корчилась моя жена Саё.

Я тянул жену за руки. Я старался пошевелить ее, толкая за плечо. Но придавившая ее балка не сдвинулась ни на волос. Теряя голову, я стал отдиравать с навеса доски одну за другой. Отдирая, я кричал жене: «Держись!» Кого я подбодрял? Жену? Или самого себя? Не знаю. Жена сказала: «Тяжко!» Еще она сказала: «Как-нибудь, пожалуйста!» Но меня нечего было просить, я и без того с искаженным лицом из последних сил старался приподнять балку, и в моей памяти до сих пор живо мучительное воспоминание о том, как

руки жены, настолько окровавленные, что не видно было ногтей, дрожая, силились нащупать бревно.

Это продолжалось долго-долго... И вдруг я заметил, что откуда-то в лицо мне пахнул удушливый черный дым, густыми клубами стлавшийся над крышей. И в тот же миг где-то за пеленой дыма раздался грохот, как будто что-то взорвалось, и в небо взметнулись и золотой пылью рассыпались огненные искры.

Как безумный вцепился я в жену. И еще раз отчаянными усилиями попытался вытащить из-под балки ее тело. Но нижняя половина ее тела по-прежнему не сдвинулась ни на дюйм. Клубы дыма налетали снова и снова, и тогда я, упершись коленом в навес, не то сказал, не то прорычал жене. Может быть, вы спросите что? Да нет, непременно спросите. Но что именно я сказал, я совершенно забыл. Только помню, как жена, вцепившись своими окровавленными руками в мой рукав, произнесла одно слово: «Вы...» Я взглянул в ее лицо. Это было страшное лицо, лишненное всякого выражения, и только одни глаза были широко раскрыты. В этот миг на меня, ослепляя, налетел уже не только дым, а язык пламени, рассеявший тучи искр. Я решил, что все пропало. Жена сгорит заживо. Заживо? Сжимаемая окровавленные руки жены, я опять что-то крикнул. И жена снова произнесла одно слово: «Вы...» Сколько разных значений, сколько разных чувств услышал я в этом «вы»! Заживо? Заживо? Я в третий раз что-то крикнул. Помню, что я как будто сказал: «Умру». Помню, что сказал: «Я тоже умру». Но, не понимая, что я говорю, я как попало хватал рухнувшие кирпичи и один за другим швырял их на голову жене.

Что было дальше, сэнсэй сам может себе представить. Я один остался в живых. Преследуемый пламенем, опустошившим почти весь город, сквозь клубы дыма я пробрался между обрушившимися крышами, которые, как холмы, преграждали дорогу, и кое-как спасся. К счастью или к несчастью, не знаю. Только я до сих пор не могу забыть, как в тот вечер, когда я глядел на алевшее в темном небе зарево еще пылающего пожара и вместе с школьными товарищами — учителями получал рисовые колобки, сваренные в бараке во дворе разрушенной школы, у меня беспрестанно лились из глаз слезы.

\* \* \*

Накамура Гэндо замолк и боязливо опустил глаза на циновку. Неожиданно услышав такой рассказ, я почувствовал, будто весенний холодок просторной комнаты забирается мне за воротник, и не имел духу даже сказать: «Да...»

В комнате слышалось только потрескивание керосина в лампе. Да еще дробно отмеривали время мои карманные часы, лежавшие на столе. И в этой тишине послышался вздох, такой слабый, словно шевельнулась «Ивовая Каннон» в токонома.

Подняв встревоженные глаза, я пристально посмотрел на поникшую фигуру гостя. Он ли вздохнул, или я сам? Но раньше, чем я разрешил этот вопрос, Накамура Гэндо тем же тихим голосом, не спеша, возобновил свой рассказ.

\* \* \*

Излишне говорить, что я горевал о кончине жены. Больше того, иногда, слыша в школе от всех кругом, начиная с директора, теплые слова сочувствия, я плакал, не стыдясь людей. Но что во время землетрясения я убил свою жену, в этом, как ни странно, я не мог признаться. «Я думал, что это лучше, чем заживо сгореть, и убил ее собственной рукой», — за такое признание меня, наверно, не отправили бы в тюрьму. Нет, скорее, за это все кругом, несомненно, стали бы мне сочувствовать еще больше. Но каждый раз, когда я собирался заговорить, признание застревало у меня в горле и язык не поворачивался произнести хоть одно слово.

В то время я полагал, что причина коренится всецело в моей робости. Однако на самом деле существовала другая причина, которая крылась не в робости, а гораздо глубже. И все же до тех пор, пока со мной не заговорили о втором браке и не настала пора вступить в новую жизнь, об этой другой причине я и сам не знал. А когда я о ней узнал, то неизбежно превратился в жалкого, душевно разбитого человека, не способного больше жить, как все.



Разговор о втором браке завел со мной школьный директор, приемный отец Саё; что он делает все это всецело ради искренних забот обо мне, я и сам хорошо понимал. Да и в самом деле, со времени землетрясения прошло уже больше года, и еще до того, как директор затронул со мной эту тему, не раз случалось, что тот или другой, заводя со мной такой разговор, потихоньку выведывал мое отношение к этому делу. Однако когда со мной заговорил директор, то, к моему удивлению, оказалось, что за меня прочат вторую дочь господина Н., в доме которого сэнсэй сейчас живет; с ее старшим братом, учеником четвертого класса начальной школы, я в то время иногда занимался у них на дому. Разумеется, я сразу же отказался: во-первых, между мной, учителем, и семьей богача Н. существовала явная разница в общественном положении; кроме того, мне казалось малоприятным, если в силу моего положения домашнего учителя на меня до свадьбы по каким-нибудь поводам падут необоснованные подозрения. В то же время за моим нежеланием стояло другое: прозрачная, как хвост кометы, меня обволакивала тень Саё, которую я сам убил и о которой, по поговорке «с глаз долой — из сердца вон», думал уже не с такой печалью, как раньше.

Однако директор, достаточно уяснив себе мое настроение, стал меня настойчиво уговаривать, приводя всевозможные доводы, — что человеку в моем возрасте трудно продолжать жить холостяком, что предполагаемый брак составляет предмет горячих желаний самой невесты, что, поскольку директор сам охотно возьмет на себя обязанности свата, никаких дурных толков не подымется, а кроме того, что давно лелеемое мною желание поехать учиться в Токио после заключения брака осуществить будет гораздо легче. Слыша такие разговоры, я уже не считал возможным отказываться наотрез. К тому же девушка слыла красавицей, да и, как ни стыдно признаться, меня прельщало богатство семьи Н.; и когда, поощряемый директором, я стал ходить туда чаще, то начал понемногу сдаваться и говорил то: «Я серьезно обдумываю», то: «После Нового года». И в начале лета следующего, двадцать шестого года Мэйдзи наконец положено было осенью сыграть свадьбу.

И вот с тех пор, как дело было решено, у меня почему-то стало тяжело на душе, настолько тяжело, что я, к моему собственному удивлению, потерял всякий интерес к работе. Придя в школу, я садился в учительской за стол и нередко, рассеянно погрузившись в мысли, пропускал мимо ушей даже стук колотушек, возвещавших начало занятий. И все же, что именно лежало у меня на душе, я и сам не мог ясно определить. У меня только было неприятное ощущение, будто зубчатые колесики в моем мозгу перестали цепляться друг за друга, и вот за этими не цепляющимися друг за друга колесиками притаилась какая-то непостижимая для моего сознания тайна.

Так тянулось, должно быть, месяца два. И вот во время летних каникул, как-то раз под вечер прогуливаясь по городу, я остановился рассмотреть новинки на прилавке у входа в книжный магазин позади местного храма Хонгандзи; там лежали лакированные обложки нескольких номеров популярного в ту пору журнала «Иллюстрированное обозрение» рядышком с рассказами о привидениях и альбомами рисунков. Стоя у прилавка, я просто так взял в руки номер «Иллюстрированного обозрения» и увидел на обложке картину с изображением того, как рушатся дома и занимаются пожары, а под ней в две строки было крупно напечатано: «Издано тридцатого октября двадцать четвертого года Мэйдзи; описание землетрясения двадцать восьмого октября». Когда я это увидел, у меня вдруг сжалось сердце. Мне даже почудилось, будто у самого моего уха кто-то злорадно шепчет: «Вот оно! Вот оно!» Свет в магазине еще не зажигали, и я в полутьме торопливо раскрыл обложку. На первой странице была помещена картина трагической гибели целой семьи, раздавленной рухнувшими балками. На следующей — земля, расколовшись, поглощала женщину с детьми. На следующей... Незачем перечислять все подряд. В эту минуту журнал снова развернул перед моими глазами картины происшедшего два года назад землетрясения. Рисунки обвалившегося моста через Нагарагава, разрушенного здания текстильной компании Овари, раскопок трупов солдат третьей дивизии, спасения раненых в больнице Анти — такие трагические картины одна за другой снова втягивали меня в проклятые воспомина-

ния о том времени. Глаза у меня увлажнились, я задрожал. Непонятное чувство не то боли, не то радости беспощадно скручивало мои нервы. И когда передо мной открылась картина на последней странице... до сих пор ужас этой минуты жив в моей душе. Это была картина того, как в муках корчится женщина, до пояса придавленная свалившейся балкой. Балка лежала поперек ее тела, а позади вздымались клубы черного дыма, и, казалось, отсвечивая красным, разлетались огненные искры! Кто же это мог быть, как не моя жена, что же это могло быть, как не кончина моей жены! Я чуть не выронил из рук журнал. Чуть не закричал во весь голос. И в тот миг я испугался еще больше: все кругом вдруг засветилось алым светом, и в нос мне ударил запах дыма, наводящий на мысль о пожаре. С трудом подавляя волнение, я положил журнал на место и тревожно осмотрелся кругом. У входа в магазин приказчик только что зажег висячую лампу и выбросил на улицу, где уже разливалась темнота, еще дымящуюся обгорелую спичку.

С тех пор я стал еще более мрачным, чем раньше. До этого меня преследовало только чувство непонятной тревоги, а теперь в уме у меня затаилось одно сомнение, мучившее меня днем и ночью. То, что я тогда во время землетрясения убил жену, — было ли это неотвратимо?.. Говоря более откровенно, не оттого ли я убил жену, что с самого начала имел намерение ее убить, а землетрясение предоставило мне удобный случай? Вот какое сомнение меня мучило. Разумеется, не помню, сколько раз я на это сомнение отвечал: «Нет!» Но тот, кто у прилавка книжного магазина шептал мне на ухо: «Вот оно! Вот оно!» — и теперь донимал меня насмешливым вопросом: «Так почему же ты не мог признать, что убил жену?» Когда моя мысль натыкалась на этот факт, сердце у меня замирало. Ах, почему, раз я убил жену, я не мог сказать о том, что ее убил? Почему до сегодняшнего дня крепко-накрепко скрываю такую ужасную тайну? И вот тогда в моей памяти ярко ожил постыдный факт — что в то время я в глубине души ненавидел свою жену. Стыдно об этом говорить, и, может быть, вы меня не поймете, но Саё, к несчастью, была физически неполноценной женщиной. (Далее восемьдесят две строки опущено.— *Прим. автора.*) Так

что до тех пор я, хотя и смутно, был уверен, что мое нравственное чувство одержало победу. Но вот случилось это великое бедствие, и все пути, накладываемые обществом, смело с лица земли,— так разве могу я сказать, что вместе с этим не надломилось и мое нравственное чувство? Разве могу я сказать, что мое себялюбие не подняло свою огненную руку? И когда я убил жену, не сделал ли я это просто ради того, чтоб убить? Я не мог отмахнуться от этого сомнения. И то, что я мрачнел все больше и больше, можно назвать только естественным.

Но у меня еще оставалась лазейка: «Даже если бы я тогда не убил жену, она все равно погибла бы, сгорев во время пожара. А раз так, значит, то, что я ее убил, вовсе не следует называть злодейством». Но однажды,— лето тогда уже подходило к концу, и начались занятия в школе,— когда мы, учителя, сидели за столом в учительской и пили чай, болтая о том, о сем, по какому-то поводу разговор опять коснулся землетрясения, происшедшего два года назад. Я тогда замолчал и старался не прислушиваться к тому, что говорили товарищи. Рассказывали, как обвалилась крыша храма Хонгандзи, как обрушилась у Фунамати дамба, как на улице Таварамати расселась земля,— разговор переходил с одного на другое, и один из учителей рассказал, что хозяйка винной лавки «Бингоя» на улице Накамати попала под рухнувшую балку и почти не могла пошевелиться; но тем временем начался пожар, балка загорелась и, к счастью, обломилась, и женщина спаслась. Когда я это услышал, в глазах у меня потемнело, и мне показалось, что даже дыхание у меня прервалось. Действительно, в ту минуту я как бы потерял сознание. Когда я наконец пришел в себя, оказалось, что товарищи, видя, как я изменился в лице, и опасаясь, что я упаду вместе со стулом, столпились вокруг меня и суетились, кто поднося мне воду, кто предлагая лекарство. Но голова у меня была так забита новым сомнением, что я не в силах был даже поблагодарить их. Не убил ли я жену ради того, чтобы убить? Не убил ли я ее, опасаясь, что, и придавленная балкой, вдруг она все же спасется? Если бы я оставил ее, не убивая, может быть, она, как та хозяйка «Бингоя», благодаря какой-нибудь случайности могла бы чудом спастись? И ее я

безжалостно убил кирпичами... Как я страдал от этой мысли, прошу сэнсэя представить себе самому. И в этих страданиях я принял решение хоть немного очиститься, по крайней мере отказавшись от разговоров с семьей Н. о браке.

Однако, когда пришло время покончить с делом, решимость, доставшаяся мне с таким трудом, к сожалению, опять поколебалась. Ведь речь шла о том, чтобы в такую пору, когда приближается срок свадьбы, вдруг заявить об отказе, а для этого следовало прежде всего раскрыть обстоятельства совершенного мною во время землетрясения убийства жены, а также мое мучительное душевное состояние перед отказом. И когда наступила решительная минута, у меня, малодушного, как я себя ни подстегивал, не хватило мужества выполнить задуманное. Сколько раз корил я себя самого за трусость. Но корил тщетно и ни одного должного шага не делал, а тем временем последнее летнее тепло сменилось утренним холодком, и вот уже совсем немного оставалось до дня свадьбы.

В это время я даже редко с кем-нибудь разговаривал. Не один из моих товарищей говорил мне: «Не отложить ли день свадьбы?» И директор целых три раза советовал мне: «Не пойти ли показаться врачу?» Но у меня тогда, в ответ на такие сердечные речи, уже не хватало энергии, чтобы хоть внешне позаботиться о своем здоровье. И в то же время мне казалось, что воспользоваться беспокойством товарищей и под предлогом болезни отложить свадьбу теперь только трусливая полумера. Вдобавок, с другой стороны, глава семьи господин Н. ошибочно полагал, будто моя мрачность объясняется влиянием холостой жизни. Он все время настаивал: как можно скорей женись,— и в конце концов я дал согласие на бракосочетание, правда, в другой день, но в том же месяце — в октябре, в котором два года назад произошло землетрясение; местом был выбран особняк семьи Н. Когда, изнуренного непрерывными душевными терзаниями, облаченного в жениховскую одежду с гербами, меня привели в зал, где вдоль стен были расставлены импозантные золотые ширмы, как стыдился я самого себя! Мне казалось, будто я негодяй, который украдкой от людей готов совершить злодейство. Нет, не «будто». Я на самом деле был извер-

гом, который, скрыв совершенное им преступление — убийство, теперь замышляет украсть у семьи Н. дочь и состояние. Лицо мое залила краска, сердце мучительно сжалось. И мне захотелось, если будет возможность, тут же честно признаться в том, как я убил жену. Этот порыв бурей забушевал у меня в душе. В это время на татами прямо перед тем местом, где я сидел, словно во сне появились белые атласные таби. За ними показалось кимоно, на подоле которого, на фоне волнистого неба, как в тумане, вырисовывались сосны и цапли. Потом глазам моим представился пояс из золотой парчи, серебряная цепочка, белый воротничок и далее высокая прическа, в которой тускло блестели черепаховые гребни и шпильки. Когда я все это увидел, горло мне сжал смертельный страх, и, с трудом переводя дыхание, я, не помня себя, низко склонился, положил руки на татами и отчаянным голосом крикнул: «Я убийца! Я ужасный преступник!..»

\* \* \*

Закончив этими словами рассказ, Накамура Гэндо некоторое время пристально смотрел на меня и потом с вымученной улыбкой на губах:

— Что было дальше, незачем рассказывать. Единственное, что я хочу вам сказать, это что я до нынешнего дня принужден доживать свою жалкую жизнь, слывя сумасшедшим. Действительно ли я сумасшедший, это я всецело оставляю на суд сэнсэя. Но если я и сумасшедший, то не сделало ли меня им чудовище, которое у нас, людей, таится в самой глубине души? Пока живо это чудовище и среди тех, кто сегодня насмешливо зовет меня сумасшедшим, завтра может появиться такой же сумасшедший, как я... Так я думаю, но не знаю...

Между мной и моим жутким гостем по-прежнему в весеннем холодке колебалось тусклое пламя лампы. Не забывая о том, что позади «Ивовая Каннон», я даже не смел спросить, отчего у него нет одного пальца, и мог лишь сидеть и молчать.

*Август 1919 г.*

## ДЗЮРИАНО КИТИСКЭ

### 1

Дзюриано Китискэ был родом из деревни Урака́ми уезда Синóки провинции Хидзэ́н. Рано лишившись отца и матери, он с малых лет поступил в услужение к местному жителю Отонá Сабурóдзи. Но, отроду придурковатый, он постоянно служил посмешищем для товарищей, которые помыкали им, как скотом, и принуждали выполнять самую тяжелую работу.

Этот Китискэ в возрасте восемнадцати — девятнадцати лет влюбился в единственную дочь Сабуродзи — Канэ. Канэ, разумеется, не обращала внимания на чувства слуги. Вдобавок злые товарищи, быстро все подметившие, стали еще больше над ним издеваться. При всей своей глупости, Китискэ, видимо, стало не в состоянии терпеть эти мучения, и однажды ночью он потихоньку бежал из ставшего родным дома.

С тех пор в течение трех лет о Китискэ не было ни слуху ни духу.

Однако потом он нищим оборванцем снова вернулся в деревню Урака́ми. И опять стал служить в доме у Сабуродзи. Теперь он не принимал к сердцу презрение товарищей и только старательно работал. Дочери хозяина Канэ он был предан, как собака. Канэ уже была замужем и жила с мужем на редкость счастливо.

Так без всяких происшествий миновали год-два. Но тем временем товарищи почуяли в поведении Китискэ что-то подозрительное. Одержимые любопытством, они принялись внимательно следить за ним. И действительно, обнаружили, что по утрам и вечерам он крестит себе лоб и шепчет молитву. Они сейчас же донесли об этом хозяину. Видимо, опасаясь плохих для себя последствий, Сабуродзи тотчас препроводил Китискэ в управление деревни Ураками.

Когда стражники вели его в нагасакскую тюрьму, он не выказывал никаких признаков страха. Нет, как говорит легенда, глуповатое лицо Китискэ в это время исполнено было такого удивительного величия, что можно было подумать, будто его озаряет небесный свет.

## 2

Приведенный к судье, Китискэ открыто признался в том, что принадлежит к секте христиан. Тогда между ним и судьей состоялся такой диалог:

Судья. Как называются боги твоей секты?

Китискэ. Принц страны Бэрэн, Эсу Киристо-сама, а также принцесса соседнего царства Санта-Мария-сама.

Судья. Какого же они вида?

Китискэ. Эсу Киристо, являющийся нам во сне, красивый юноша, облаченный в лиловое офурикодэ. Принцесса Санта-Мария в каидори, расшитом золотом и серебром.

Судья. Какие же основания к тому, что они стали богами этой секты?

Китискэ. Эсу Киристо-сама влюбился в принцессу Санта-Мария, умер от любви и потому стал богом, пытаясь спасти тех, кто страдает так же, как он.

Судья. Откуда и от кого ты принял такое учение?

Китискэ. В течение трех лет я скитался по разным местам. И тогда на берегу моря меня просветил незнакомый мне рыжеволосый человек.

Судья. Какой обряд был совершен при твоём посвящении?

Китискэ. Я принял святую воду и был наречен Дзюриано.



Судья. А куда направился потом тот рыжеволосый человек?

Китискэ. Это дивная вещь. Он ступил на бурные волны и куда-то скрылся.

Судья. Твой конец близок, а ты рассказываешь небылицы! Смотри, тебе плохо придется.

Китискэ. Я не лгу. Все чистая правда.

Судье речи Китискэ показались странными. Они совершенно расходились с речами христиан, которых он допрашивал раньше. Однако сколько он ни допрашивал Китискэ со всей строгостью, тот упорно не отступал от того, что сказал раньше.

### 3

Согласно законам страны, Дзюриано Китискэ в конце концов был приговорен к распятию.


В назначенный день его провели по всему городу, а затем на лобном месте безжалостно пригвоздили к кресту. Крест вырисовывался силуэтом на фоне неба высоко над окружающей бамбуковой оградой. Подняв взор к небу и громким голосом возглашая молитву, Китискэ бесстрашно перенес удары копий палачей. Когда он начал молиться, в небе над его головой сгустились клубы туч и на лобное место потоками хлынул ужасающий дождь. Когда небо опять прояснилось, распятый Дзюриано Китискэ уже испустил дух. Но тем, кто стоял за оградой, казалось, что в воздухе еще разносится его голос, творящий молитву.

Это была простая, бесхитростная молитва: «О принц страны Бэрэн, где ты теперь? Слава тебе!»

Когда его тело сняли с креста, палачи изумились: оно источало дивный аромат. А изо рта у него, сияя свежей белизной, расцвела лилия.

Такова жизнь Дзюриано Китискэ, как она рассказана в «Нагасаки-тёмонсю», «Кокё-идзи», «Кэйко-хайсёкудан» и так далее. И из всех японских мучеников веры это жизнь моего самого любимого святого глупца.

*Сентябрь 1919 г.*



---

## КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ

Бисэй стоял внизу под мостом и ждал ее.

Наверху, над ним, за высокими каменными перилами, наполовину обвитыми плющом, по временам мелькали полы белых одежд проходивших по мосту прохожих, освещенные ярким заходящим солнцем и чуть-чуть колыхающиеся на ветру... А она все не шла.

Бисэй с легким нетерпением подошел к самой воде и стал смотреть на спокойную реку, по которой не двигалась ни одна лодка.

Вдоль реки сплошной стеной рос зеленый тростник, а над тростником кое-где круглились густые купы ив. И хотя река была широкая, поверхность воды, стиснутая тростниками, казалась узкой. Лента чистой воды, золотя отражение единственного перламутрового облачка, тихо виляла среди тростников... А она все не шла.

Бисэй отошел от воды и, шагая взад и вперед по неширокой отмели, стал прислушиваться к медленно наполнявшейся сумраком тишине.

На мосту движение уже затихло. Ни звука шагов, ни стука копыт, ни дребезжанья тележек — оттуда не слышалось ничего. Шелест ветра, шорох тростника,

плеск воды... потом где-то пронзительно закричала цапля. Бисэй остановился: видимо, начался прилив, вода, набегающая на илистую отмель, сверкала ближе, чем раньше... А она все не шла.

Сердито нахмурившись, Бисэй стал быстрыми шагами ходить по полутемной отмели под мостом. Тем временем вода потихоньку, шаг за шагом затопляла отмель. И его кожи коснулась прохлада тины и свежесть воды. Он поднял глаза — на мосту яркий блеск заходящего солнца уже потух, и на бледно-зеленоватом закатном небе чернел четко вырезанный силуэт каменных перил... А она все не шла.

Бисэй наконец остановился.

Вода, уже лизнув его ноги, сверкая блеском холодной, чем блеск стали, медленно разливалась под мостом. Несомненно, не пройдет и часа, как безжалостный прилив зальет ему и колени, и живот, и грудь. Нет, вода уже выше и выше, и вот уже его колени скрылись под волнами реки... А она все не шла.

Бисэй с последней искрой надежды снова и снова устремлял взор к небу, на мост.

Над водой, заливавшей его по грудь, давно уже сгустилась вечерняя синева, и сквозь призрачный туман доносился печальный шелест листвы ив и густого тростника. И вдруг, задев Бисэя за нос, сверкнула белым брюшком выскочившая из воды рыбка и промелькнула над его головой. Высоко в небе зажглись пока еще редкие звезды. И даже силуэт обвитых плющом перил растаял в быстро надвигавшейся темноте... А она все не шла.

\* \* \*

В полночь, когда лунный свет заливал тростник и ивы вдоль реки, вода и ветерок, тихонько перешептываясь, бережно понесли тело Бисэя из-под моста в море. Но дух Бисэя устремился к сердцу неба, к печальному лунному свету, может быть, потому что он был влюблен. Тайно покинув тело, он плавно поднялся в бледно светлеющее небо, совсем так же, как бесшумно поднимается от реки запах тины, свежесть воды...

А потом, через много тысяч лет, этому духу, пре-терпевшему бесчисленные превращения, вновь была

доверена человеческая жизнь. Это и есть дух, который живет во мне, вот в таком, какой я есть. Поэтому, пусть я родился в наше время, все же я не способен ни к чему путному: и днем и ночью я живу в мечтах и только жду, что придет что-то удивительное. Совсем так, как Бисэй в сумерках под мостом ждал возлюбленную, которая никогда не придет.

*Сентябрь 1919 г.*



---

## ЧУДЕСА МАГИИ

Был дождливый осенний вечер. Рикша, который вез меня, бежал то вверх, то вниз по крутым холмам предместья Омори. Наконец он остановился и опустил оглобли перед маленьким домиком европейского типа, спрятавшимся посреди бамбуковой рощи.

В тесном подъезде, где серая краска давно облупилась и висела, как лохмотья, я прочел надпись, сделанную японскими знаками на новой фарфоровой дощечке: «Индиец Матирам Мисра».

Теперь, должно быть, многие из вас знают о Матираме Мисре. Мисра-кун, патриот, родом из Калькутты, был горячим поборником независимости Индии. В то же время он был великим мастером искусства магии, изучив ее тайны под руководством знаменитого брахмана Хассан-хана.

За месяц до этого один мой приятель познакомил меня с Мисрой-куном. Мы с ним много спорили по разным политическим вопросам, но мне еще не довелось видеть, как он совершает свои удивительные магические опыты. И потому, послав ему заранее письмо с просьбой показать мне нынче вечером чудеса магии, я взял рикшу и поехал в унылое предместье Омори, где проживал тогда Мисра-кун.

Стоя под проливным дождем, я при тусклом свете фонаря отыскал под фамильной дощечкой звонок и нажал кнопку. Мне сразу отперли. Из дверей высунулась низкорослая старушка-японка, бывшая в услужении у Мисры-куна.

— Господин Мисра дома?

— Как же, как же, пожалуйста! Он давно вас ждет.

С этими радушными словами старушка прямо из прихожей провела меня в комнату Мисры-куна.

— Добрый вечер! Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали в такой дождь!

Смуглолицый и большеглазый, с мягкими усами, Мисра-кун оживленно приветствовал меня, припуская фитиль в стоявшей на столе керосиновой лампе.

— Нет, право, ради того чтобы посмотреть чудеса вашего искусства, я готов приехать в любую погоду. Стоит ли говорить о дожде!

Я опустил на стул и оглядел слабо освещенную керосиновой лампой мрачную комнату.

Бедная обстановка в европейском стиле. Посередине большой стол, возле стены удобный книжный шкаф, столик перед окном... Да еще два стула для нас, вот и все. И стулья и столы — старые, обшарпанные. Даже нарядная скатерть с вытканными по краю красными цветами истрепалась до того, что кое-где плешинами обнаружилась основа.

Но вот обмен приветствиями закончился. Некоторое время я безотчетно слушал, как шумит дождь в бамбуковой роще. Вскоре опять появилась старая служанка и подала нам по чашке зеленого чая.

Мисра-кун открыл коробку с сигарами:

— Прошу вас, возьмите сигару!

— Благодарю!

Я без дальнейших церемоний выбрал сигару и, зажигая ее, сказал:

— Наверно, подвластный вам дух называется джинном. А скажите, это при его помощи будут совершены чудеса магии, которые я сейчас увижу?

Мисра-кун тоже закурил сигару и, лукаво посмеиваясь, выпустил струйку ароматного дыма.

— В джиннов верили много столетий назад. Ну, скажем, в эпоху «Тысячи и одной ночи». Магия, которой

я обучался у Хассан-хана, — не волшебство. И вы могли бы делать то же, если б захотели. Это всего лишь гипноз, согласно последнему слову науки. Взгляните! Достаточно сделать рукою вот так...

Мисра-кун поднял руку и два-три раза начертил в воздухе перед моими глазами какое-то подобие треугольника, потом поднес руку к столу и сорвал красный цветок, вытканый на краю скатерти. Изумившись, я невольно придвинул свой стул поближе и начал внимательно разглядывать цветок. Сомнения не было: только сейчас он составлял часть узора. Но когда Мисра-кун поднес этот цветок к моему носу, на меня повеяло густым ароматом, напоминавшим запах мускуса.

Я так был поражен, что не мог сдержать возгласа удивления. Мисра-кун, продолжая улыбаться, будто случайно уронил цветок на стол. И не успел цветок коснуться скатерти, как снова слился с узором. Сорвать этот цветок? Да разве можно было теперь хотя бы пошевелить один из его лепестков!

— Ну, что скажете? Невероятно, правда? А теперь взгляните-ка на эту лампу.

С этими словами Мисра-кун слегка передвинул стоящую на столе лампу. И в тот же миг, неизвестно почему, лампа вдруг завертелась волчком, причем осью вращения служило ламповое стекло. Сперва я даже перепугался, сердце у меня так и замирало при мысли, что вот-вот вспыхнет пожар. А тем временем Мисра-кун с самым беззаботным видом попивал чай. Испуг мой понемногу прошел, и я стал, не отрывая глаз, смотреть, как лампа вертится все скорее и скорее.

Это в самом деле было красивое, поразительное зрелище! Абажур в своем стремительном круженье поднял ветер, а желтый огонек хотя бы раз мигнул!

Лампа, наконец, начала вертеться с такой быстротой, что мне показалось, будто она стоит на месте. Мгновение — и я понял: она, как прежде, неподвижно стоит посреди стола. Ламповое стекло даже не накренилось.

— Вы изумлены? А ведь это фокусы для детей! Но если хотите, я покажу вам еще кое-что.

Мисра-кун обернулся и поглядел на книжный шкаф. Потом протянул к нему руку и словно кого-то помянул пальцем. Вдруг книги, тесным строем стоявшие в шкафу, зашевелились и одна за другой стали перелетать на

стол. На лету они широко распахивали створки переплета и легко реяли в воздухе, как летучие мыши летним вечером. Я, как был с сигарой в зубах, так и оцепенел от неожиданности. Книги свободно кружились в кругу тусклого света над лампой, а затем друг за дружкой, в строгом порядке, стали ложиться на стол, пока перед нами не выросла целая пирамида. И в том же строгом порядке стали по очереди, от первой до последней, перелетать в шкаф.

И вот что было любопытней всего! Одна из книг в тонкой бумажной обложке вдруг раскрылась так, словно у нее распустились крылья, и взмыла к самому потолку. Некоторое время она описывала круги над столом — и вдруг, шурша страницами, стремительно упала мне на колени. «В чем тут дело?» — подумал я и бросил взгляд на обложку. Это был новый французский роман, который неделю назад я дал почитать Мисре-куну.

— Позвольте вернуть вам с благодарностью,— все еще улыбаясь, любезно сказал мне Мисра-кун.

Все книги уже успели перелететь обратно в шкаф. Я будто от сна очнулся и с минуту не мог вымолвить ни слова. Вдруг мне припомнилось, что сказал Мисра-кун: «И вы могли бы делать то же, если б захотели».

— Да, я слышал о вас много удивительного. И все же, должен сознаться, ваше искусство превзошло мои ожидания. Но вы сказали, что и я могу научиться этому искусству. Вы, вероятно, пошутили?

— Уверяю вас, нет! Каждый может обучиться магии без особого труда. Но только...

Пристально глядя мне в лицо, Мисра-кун вдруг перешел на серьезный тон.

— Только не человек, одержимый корыстью! Если вы правда хотите научиться искусству Хассан-хана, вам нужно сначала победить в себе корыстолюбие. В вашей ли это власти?

— Надеюсь, что так,— ответил я. Но, почувствовав в душе некоторую неуверенность, поспешил добавить: — Лишь бы вы согласились стать моим наставником!

Лицо Мисры-куна продолжало выражать сомнение. Но, видно, он подумал, что упорствовать дальше было бы неучтиво, и наконец великодушно согласился.



— Ну что ж, буду вас учить. Наука простая, но так сразу она не дается, нужно время. Оставайтесь сегодня ночевать у меня.

— О, я бесконечно вам признателен!

Вне себя от радости, что буду учиться искусству магии, я рассыпался в благодарности. Но Мисра-кун, словно ничего не слыша, спокойно поднялся со стула и позвал:

— Бабушка! Бабушка! Гость сегодня ночует у нас. Приготовьте ему постель.

Сердце у меня сильно забилось. Позабыв стряхнуть пепел с сигары, я невольно поднял глаза и поглядел в упор на Мисру-куна, на его приветливое лицо, озаренное светом лампы.

\* \* \*

Прошел месяц с тех пор, как я начал учиться магии у Мисры-куна. В точно такой же дождливый вечер я вел легкий разговор с несколькими друзьями, сидя возле пылающего камина в комнате одного из клубов на улице Гиндза.

Как-никак, это было в центре Токио, и потому шум дождя, лившегося потоком на крыши бесчисленных автомобилей и экипажей, не казался столь печальным, как тогда в бамбуковой чаще Омори.

Да и клубная комната выглядела такой веселой: яркий электрический свет, большие кресла, обтянутые кожей, гладкий сверкающий паркет — все это было так непохоже на мрачную комнату Мисры-куна, где, казалось, вот-вот появятся привидения...

Мы беседовали в облаках сигарного дыма о скачках и охсте. Один из приятелей небрежно бросил окурок сигары в камин и повернулся ко мне.

— Говорят, последнее время вы занимаетесь магическими опытами. Не покажете ли нам что-нибудь?

— Что ж, пожалуй, — ответил я, запрокинув голову на спинку кресла, таким самоуверенным тоном, словно был уже великим магом.

— Тогда покажите что угодно — по вашему выбору. Но пусть это будет чудо, недоступное обыкновенному фокуснику.

Все поддержали его и придвинули стулья поближе, словно приглашая меня приступить к делу.

Я медленно поднялся с места.

— Смотрите внимательно. Искусство магии не требует никаких уловок и ухищрений!

Говоря это, я завернул манжеты рубашки и спокойно сгреб в ладони несколько раскаленных угольков из камина. Но даже и эта безделица насмерть перепугала зрителей. Они невольно подались назад из страха, что обожгутся.

Я же, сохраняя полное спокойствие, некоторое время показывал, как пылают на моих ладонях угли, а потом разбросал их по паркету. И вдруг, заглушая шум дождя за окнами, по всему полу словно забарабанили тяжелые капли... Огненные угольки, вылетая из моих рук, превращались в бесчисленные сверкающие червонцы и золотым дождем сыпались на пол. Приятелям моим казалось, будто они видят сон. Они забыли даже аплодировать.

— Ну вот вам — сущий пустячок!

И я, улыбаясь с видом победителя, спокойно сел в свое кресло.

— Послушайте, неужели это настоящие червонцы? — спросил минут через пять один из моих пораженных изумлением друзей.

— Самые настоящие червонцы. Если не верите, попробуйте возьмите их в руки.

— Ну уж нет! Кому охота обжечься?

И все же один из зрителей боязливо поднял с пола червонец и воскликнул:

— В самом деле — чистое золото, без обмана! Эй, официант, принеси метелку и совок и подбери все монеты с пола.

Официант, как ему было приказано, собрал в совок золотые и высыпал их горкой на стол. Мои приятели сгрудились тесной толпой.

— Ого, здесь, пожалуй, наберется тысяч на двести иен!

— Нет, нет, больше. Хорошо, что попался крепкий стол, а то не выдержал бы, подломился.

— Нечего и говорить, вы научились замечательному волшебству. Подумать только, в один миг превращать угли в золотые монеты!

— Да этак и недели не пройдет, как вы станете архимиллионером, под стать самому Ивасаки или Мицуи.

Зрители наперебой восхищались моим искусством, а я, откинувшись на спинку кресла, дымил сигарой.

— О нет, используй я хоть однажды искусство магии ради низкой корысти, во второй раз ничего бы не получилось. Вот и эти червонцы... если вы уж довольно нагляделись на них, я сейчас же брошу обратно, в камин.

Услышав эти слова, приятели дружно запротестовали, словно сговорились.

— Такое огромное богатство снова превратить в уголья, да ведь это неслыханная глупость! — повторяли они.

Но я упрямо стоял на своем: непременно брошу червонцы обратно в камин, как обещал Мисре-куну. Но вдруг один из приятелей, как говорили, самый хитрый из всех, сказал, ехидно посмеиваясь себе под нос:

— Вы хотите превратить эти червонцы снова в угли. А мы не хотим. Этак мы никогда не кончим спорить. Вот что я придумал: сыграйте-ка с нами в карты! Пусть эти червонцы будут вашей ставкой. Останетесь в выигрыше — что ж, распорядитесь ими, как вам будет угодно, превращайте их снова в угли. Ну, а если выиграем мы, отдайте нам все золотые в полной сохранности. И спор наш, в любом случае, закончится к обоюдному согласию!

Но я отрицательно потряс головой. Нелегко было меня уговорить. Тут приятель мой стал смеяться еще более ядовито, хитро поглядывая то на меня, то на грудку червонцев.

— Вы отказываетесь сыграть в карты, чтобы не отдать нам эти червонцы. А еще говорите: победили корысть, чтобы совершать чудеса! Ваша благородная решимость что-то теперь кажется сомнительной, не так ли?

— Поверьте, я превращу эти золотые в угли совсем не потому, что пожалел отдать их вам...

Мы без конца повторяли свои аргументы, и наконец меня, что называется, к стенке приперли. Пришлось согласиться поставить червонцы на карту, как требовал приятель. Само собой, все страшно обрадовались. Где-то раздобыли колоду карт и, тесным кольцом обступив

картежный столик, стоявший в углу, стали наседать на меня:

— Ну же! Ну, скорее!

Вначале я вел игру нехотя, без увлечения. Обычно мне не везет в карты. Но в этот вечер мне почему-то фантастически везло. Играя, я постепенно увлекся. Не прошло и десяти минут, как, позабыв обо всем на свете, я по-настоящему вошел в азарт.

Партнеры мои, конечно, затеяли этот карточный поединок с целью завладеть моим золотом. Но по мере того, как рос их проигрыш, они словно обезумели и с побелевшими лицами повели против меня самую отчаянную игру. Все их усилия были напрасны! Я ни разу не проиграл. Напротив! Я выиграл почти столько же золотых, сколько у меня было сперва. Тогда тот же самый недобрый приятель, подбивший меня на игру, крикнул, безумным жестом разметав передо мной карты:

— Вот. Вытащите карту! Я ставлю все свое состояние — земли, дом, лошадей, автомобиль, все, все без остатка! А вы поставьте все ваши червонцы и весь ваш выигрыш. Тяните же!

В этот миг во мне загорелась жадность. Если я сейчас, на свою беду, проиграю, то, значит, должен буду отдать ему мою гору червонцев, да еще весь мой выигрыш в придачу? Но зато уж если выиграю, все богатство моего приятеля сразу перейдет ко мне в руки! Стоило, в самом деле, учиться магии, если не прибегнуть к ней в такую минуту!

При этой мысли я уже не в силах был владеть собой и, тайно пустив в ход магические чары, сделал вид, что наконец решился:

— Ну, хорошо! Тяните карту вы первый.

— Девятка.

— Король! — торжественно воскликнул я и показал свою карту смертельно побледневшему противнику.

Но в то же мгновение — о чудо! — карточный король словно ожил, поднял свою увенчанную короной голову и высунулся по поясу из карты. Церемонно держа меч в руках, он злощезе усмехнулся.

— Бабушка! Бабушка! Гость собирается вернуться домой. Не надо готовить ему постели, — прозвучал хорошо знакомый голос.

И тотчас же, неизвестно отчего, дождь за окном так уныло зашумел, словно он падал тяжелыми, дробными каплями там, в бамбуковых зарослях Омори.

Я вдруг опомнился. Поглядел вокруг. По-прежнему я сидел против Мисры-куна, а он, в неярком свете керосиновой лампы, улыбался, как тот карточный король.

Еще и пепел не упал с сигары, зажатой у меня между пальцами. Мне казалось, что прошел целый месяц, а на самом деле я видел сон и этот сон длился всего две-три минуты. Но за этот короткий срок мы оба ясно поняли, что я не тот человек, кому можно открыть тайны магии Хассан-хана.

Низко опустив голову от смущения, я не проронил ни слова.

— Прежде чем учиться у меня искусству магии, надо победить в себе корыстолюбие. Но даже этот единственный искус оказался вам не под силу, — мягко, с видом сожаления, упрекнул меня Мисра-кун, положив локти на стол, покрытый скатертью с каймой из красных цветов.

*Ноябрь 1919 г.*

## ЛУК

Сегодня вечером я собираюсь в один присест написать рассказ: завтра истекает срок представления рукописи. Я не просто собираюсь, я должен написать его обязательно. Если же вам интересно, о чем я буду писать, придется прочитать то, что следует ниже.

\* \* \*

В одном из кафе вблизи Дзимботё на Канда служит официантка по имени Окими. Говорят, что лет ей пятнадцать — шестнадцать, но выглядит она взрослее. Лицо белое, глаза ясные, и, хотя нос у нее чуть вздернут, она первостатейная красавица. Волосы у Окими расчесаны на прямой пробор, и к ним приколоты незабудка. Так и стоит Окими в своем белом фартуке перед пианолой, словно только что сошла с картины Такэхиса Юмэджи-куна. Завсегдатаи кафе прозвали ее «популярный роман», — видимо, они имели на то свои причины. Были у нее и другие прозвища. За цветок в волосах ее называли «незабудка», за сходство с американской киноактрисой — «мисс Мери Пикфорд», за то, что она неотъемлемая часть кафе, — «пиленным сахаром», и все в таком духе.

Кроме Окими, в кафе есть еще одна официантка, по-старше. Зовут ее Омацу. В красоте она не соперница

Окими. Разница между ними, как между белым и черным хлебом. Соответственно и чаевые у них разные, хотя служат они в одном кафе. Это не давало покоя Омацу. Ее недовольство росло, а вместе с ним и подозрительность.

Как-то летом в послеобеденное время один из посетителей, с виду студент института иностранных языков, сидел за одним из столиков Омацу и, держа во рту папиросу, пытался закурить. Как назло, на соседнем столе стоял вентилятор, и не успевал молодой человек поднести спичку к папиросе, как ее гасило сильной струей воздуха. Проходившая мимо его столика Окими остановилась, чтобы загорелой собой вентилятор. Студент прикурил, его загорелое лицо расплылось в улыбке, и он сказал: «Спасибо». Такая любезность Окими была, конечно, замечена ее соперницей. Тогда Омацу, стоявшая у кассы, подняла поднос с мороженым, который надо было отнести в ту сторону, где сидел молодой человек, и, зло глядя в лицо Окими, с очаровательным женским ехидством произнесла:

— Эй, отнеси-ка ты!

Такие ссоры случались несколько раз в неделю, поэтому Окими почти не разговаривала с Омацу. Она обычно стояла перед пианолой и молча расточала улыбки студентам, которых тут собиралось немало, или посылала молчаливые проклятия раздражавшей ее Омацу.

Ревность Омацу, однако, не была единственной причиной взаимной неприязни девушек. Окими в глубине души презирала Омацу еще и за то, что у нее не было вкуса. Да и не могло быть, ибо по окончании начальной школы Омацу ничем не интересовалась, кроме песенок нанивабуси, бобов мицумамэ и мужчин. В этом Окими была уверена.

Ну, а чтобы узнать, каковы интересы самой Окими, надо на время покинуть шумное кафе и подняться на второй этаж дома, который стоит неподалеку от кафе, в глубине аллеи. Владелица его — дамская парикмахерша. Дело в том, что Окими снимает у нее жилье и все свободное от работы время проводит там.

У нее комната в шесть татами, с низким потолком. Из выходящего на запад окна видна только черепичная крыша. У окна — придвинутый к стене стол, по-

крытый ситцевой материей. Его, собственно, лишь ради удобства, условно можно назвать столом, в сущности же это старомодный чайный столик. На этом старинном чайном столике-столе лежат книги в европейских переплетах, их тоже не назовешь новыми. Ну, к примеру, «Кукушка», «Сборник стихов Тосона», «Жизнь Мацүи Сүмако», «Новое Асагао-никки», «Кармен», «Если посмотреть с высоты гор на долину» и еще несколько женских журналов — вот и все. Хоть бы найти там один-единственный экземпляр моих рассказов. Увы! Рядом со столом — буфетик с облупившимся лаком. На нем стеклянная ваза с узким горлышком для цветов. В вазу с особым изяществом вставлена искусственная лилия с оторванным лепестком. Легко догадаться, что эта лилия, будь у нее целы лепестки, по сей день красовалась бы на столике в кафе. Над буфетом к стене было приколото кнопками несколько картинок, похожих на журнальные фронтисписы. В центре — рисунок художника Кабурáги Киёкáта-куна «Женщина Гэнроку», а чуть пониже — небольшая по размеру «Мадонна» Рафаэля или что-то в этом роде. Немного выше «Женщины Гэнроку» открытка со скульптурой женщины работы Китáмура Сикай-куна. Женщина бросает лукавые взгляды на Бетховена. Впрочем, только Окими думает, что это Бетховен. На самом деле это американский президент Вудро Вильсон, и остается лишь посочувствовать бедному Китамура Сикай.

Теперь, я думаю, вполне понятно, насколько насыщена духовная жизнь Окими литературой и искусством. И действительно, изо дня в день, возвратясь поздно вечером из кафе, Окими садится под портретом Бетховена-Вильсона, непременно читает «Кукушку» и любуется искусственной лилией. Все это действует на ее сентиментальность гораздо сильнее, чем, например, сцены лунной ночи в трагедийных кинофильмах стиля «симпа».

Однажды вечером в пору цветения вишни Окими в одиночестве сидела за столом и почти до первых петухов усердно писала письмо на почтовой бумаге розового цвета. Закончив, она не заметила, что один листок упал под стол. Не хватилась она его и утром, уходя на работу в кафе. Весенний ветер, влетевший в окно, подхватил листок и бросил под лестницу, на которой



стояли два зеркала в хлопчатобумажных чехлах шафранового цвета. Хозяйка, жившая на первом этаже, знала о любовных письмах, нередко попадавших в руки Окими. Потому приняла розовый листок за одно из таких писем и из любопытства пробежала его глазами. Неожиданно для себя она обнаружила, что это написано рукой Окими. Быть может, это ответ Окими на любовное послание? Она стала внимательно читать. А написано было вот что: «Когда я думаю о Вашем расставании с Тээко-саном, грудь моя разрывается от рыданий». Как и следовало ожидать, Окими почти всю ночь сочиняла письмо — соболезнование госпоже Намико.

Должен признаться, что, описывая этот эпизод, я не мог сдержать улыбки в адрес сентиментальной Окими. Но в моей улыбке не было и капли ехидства.

В комнате Окими, кроме искусственной лилии, «Сборника стихов Тосона» и рафаэлевской «Мадонны», была еще всякая утварь, необходимая для приготовления пищи. Кто знает, сколько ударов в прошлом нанесла Окими суровая действительность токийской жизни, символом которой и была сейчас эта утварь! Но даже при одинокой тяжелой жизни, когда смотришь на все сквозь пелену слез, изредка перед глазами открывается прекрасный мир. Окими пыталась уйти от действительности, проливая слезы восторга, который она испытывала перед литературой и искусством. Тогда она забывала, что надо платить шесть иен в месяц за комнату и семьдесят сэнов за одно сё риса. Кармен не тревожит плата за электричество, она беспечно танцует, щелкая кастаньетами. Госпожа Намико, конечно, страдает, но положение у нее не таково, чтобы нечем было заплатить даже за лекарства. Короче говоря, слезы Окими тихо и скромно зажигали свет человеческой любви, когда опускались сумерки страданий. Представишь себе фигуру Окими глубокой ночью, когда на улицах Токио замирают все звуки, а она в одиночестве, при тусклом свете десятисвечевой лампы, подняв мокрые от слез глаза, грезит то о буре в Дзуси, то об олеандровых рощах Кордовы, и, черт возьми, не только пропадает предубеждение против нее, но даже сам становишься сентиментальным, чуть только позволишь себе распусться. И это я, сугубо

рассудочный человек, которого критики издавна считают существом, лишенным лиричности!

Как-то зимним вечером эта самая Окими, поздно вернувшись домой с работы, сначала, как всегда, села за стол и стала читать не то «Жизнь Мацуи Сумако», не то еще что-то, но, не прочитав и страницы, вдруг безжалостно бросила книгу на циновку, видимо, утратив к ней интерес по какой-то причине. Затем, повернувшись вполоборота, облокотилась о стол и, подперев щеки руками, стала холодно и рассеянно глядеть на портрет Бетховена-Вильсона, что висел на стене. Ничего подобного с ней до сих пор не случалось. Может быть, Окими уволили с работы? Или издевательства Омацу стали еще отвратительнее? Нет, не то. Тогда, возможно, у нее разболелись зубы? Нет, нет и нет. То, что тревожило сердце Окими, было не таким заурядным событием. Подобно госпоже Намико или Мацуи Сумико, Окими страдала от любви. Кому же отдала она свое сердце? Пользуясь тем, что Окими какое-то время будет сидеть неподвижно, рассматривая Бетховена на стене, я бегло представляю вам предмет ее любви.

Другом Окими был Танака-кун — неизвестный... ну, скажем, художник. Дело в том, что у него была масса талантов, он мог сочинять стихи, играть на скрипке и на сацумской бива, писал маслом, выступал на сцене и искусно играл в карты со стихами. А коль скоро он одарен был всеми этими талантами, никто не мог точно определить, что его главное занятие, а что баловство. К тому же человеком он был весьма своеобразным. Лицо у него было бесстрастное, как у артиста, волосы блестяли, словно кисть, которую обмакнули в масляную краску, голос нежный, как скрипка, речь трогательна, словно стихи. Он очаровывал женщин так же ловко и проворно, как играл в карты со стихами, занимал деньги, не намереваясь их отдать, так же смело и свободно, как пел, перебирая струны сацумского бива. Если добавить, что он носил черную широкополую шляпу, дешевенький охотничий костюм и зеленый галстук в стиле богемы, то этого, пожалуй, вполне достаточно, чтобы составить о нем представление. Кажется мне, что люди, подобные Танака, — это определенный тип, их непременно увидишь в баре или кафе в районах

Канда и Хонго, на концерте в молодежном клубе или музыкальной школе, причем на самых дешевых местах; на выставке в картинных галереях Кабутоя и Санкайдо они надменно, свысока рассматривают публику. Поэтому, если вам захочется получить более четкое представление о Танака, отправляйтесь в указанные места, а меня увольте от дальнейшего описания. Прежде всего хотя бы потому, что, пока я знакомил вас с Танака, Окими уже успела встать и сейчас смотрит на холодную лунную ночь, раскинувшуюся за окном.

Луна, повисшая над черепичной крышей, освещает искусственную лилию в стеклянной вазе с узким горлышком; маленькую «Мадонну» Рафаэля, приклеенную к стене, вздернутый носик Окими. Но в ясных глазах Окими не отражается лунный свет. Для нее словно и не существует черепичная крыша, покрытая инеем. Сегодня вечером Танака проводил ее от кафе до дома. И даже пообещал, что завтра вечером они весело проведут время вдвоем. Завтра как раз выходной день Окими, который бывает раз в месяц, и Танака сказал, что они встретятся вечером в шесть часов у остановки трамвая на Огавамати, а оттуда пойдут в Сйбаура смотреть итальянский цирк. Окими не помнит, чтобы когда-либо раньше она гуляла с мужчиной. Как подумает, что завтра вечером у всех на глазах они вместе с Танака, словно влюбленные, отправятся смотреть вечернее цирковое представление, сердце у нее начинает часто-часто биться. Танака для Окими все равно что Али-Баба, знающий магическое слово, с помощью которого можно проникнуть в пещеру с сокровищами. Какой неизведанный мир наслаждений откроется перед Окими, после того как прозвучит это заветное слово.

В своем сердце, волнуясь, как море, вздыбленное ветром, стучавшем, как мотор готового помчаться автомобиля, Окими, давно уже смотревшая на луну и не видевшая ее, рисовала этот непостижимый мир, который должен был раскрыться перед ней. Там, на дороге, усеянной розами, без числа разбросаны кольца из искусственного жемчуга, застежки для пояса из поддельного нефрита. Откуда-то сверху, с Мицукóси, словно струйка меда, льется сладостная трель соловья. Вот-вот, кажется, наступит кульминационный момент танца мистера Дугласа Фербенкса и мадемуазель Мори

Рицуко в большом мраморном дворце, благоухающем оливами...

Я кое-что, однако, добавлю, и это сделает честь Окими. Среди видений, которые она себе рисовала, изредка зловещей тенью проплывало черное облако, как бы угрожая ее счастью. Да, Окими, несомненно, любила Танака. Но того Танака, которого окружил сияющим ореолом ее восторг перед литературой и искусством. Это был сэр Ланселот, который мог сочинять стихи, играл на скрипке и на сацумском бива, писал маслом, выступал на сцене, искусно играл в карты со стихами. Нельзя поэтому сказать, что своей безыскусной девичьей интуицией она не угадывала в этом Ланселоте крайне подозрительную сущность. Тревожная тень черного облака временами омрачала грезы Окими. Но, не успев появиться, она, к сожалению, тут же исчезала. Какой бы взрослой ни казалась Окими, ей было всего шестнадцать — семнадцать лет. Совсем еще девочка, притом поклонявшаяся литературе и искусству. Не удивительно также, что она почти не замечала черных облаков, если не считать открытку «Заход солнца над Рейном», которой Окими постоянно восхищалась. Если и замочит дождем, не велика важность. Тем более сейчас, когда на дороге, усеянной розами, рассыпаны кольца из искусственного жемчуга, застежки для пояса из поддельного нефрита и многое другое, о чем написано выше; прошу вас перечитать то место.

Подобно святой Женевиеве Шаванна, Окими долго стояла, глядя на белую от лунного света черепичную крышу. Затем вдруг чихнула, с шумом закрыла окно и снова бочком села к столу. Что делала Окими потом, до шести часов вечера следующего дня, я, к сожалению, точно не знаю. «Почему же ты, автор, не знаешь?» — спросите вы, можете даже потребовать: «Скажи об этом честно!» Но дело в том, что всю ночь я должен был писать этот рассказ. Потому и не знаю.

В шесть часов вечера на следующий день, накинув кремовую шаль поверх своего выдавшего виды сомнительно коричневого цвета пальто, Окими суетливей, чем обычно, отправилась к трамвайной остановке на Огавамати, окутанной сумерками. Танака уже ждал ее, неподвижно стоя под красным светом фонаря, как всегда в черной широкополой шляпе, надвинутой на лба,

держа под мышкой тросточку с никелированной головкой и подняв воротник полупальто в крупную полоску. Его и без того гладкое лицо было тщательно выскоблено, в воздухе носился легкий аромат духов. Весь вид Танака говорил о том, что свой туалет он готовил сегодня с особым тщанием.

— Я опоздала? — спросила Окими, взглянув на Танака и учащенно дыша.

— Ну, что ты! — снисходительно ответил он, пристально глядя в лицо Окими глазами, в которых словно бы застыла улыбка. Затем вдруг поежился и добавил: — Пройдемся немного.

Не просто добавил. А сразу же зашагал в направлении к Судатё по людной улице, освещенной дугowymi фонарями. Цирк же находился на Сибаура. Чтобы попасть туда, надо было идти в сторону Кандабаси. Окими так и не двинулась с места и, придерживая рукой кремовую шаль, развевавшуюся на пыльном ветру, с удивлением спросила:

— Туда?

Танака через плечо неопределенно ответил: «Да», — продолжая двигаться в сторону Судатё. Окими не оставалось ничего другого, как поспешить за Танака. Они быстро пошли под шуршащим листвою сводом ивовой аллеи. Танака снова загадочно улыбнулся одними глазами и, заглянув сбоку в лицо Окими, сказал:

— Тебе это будет огорчительно узнать, но что поделаешь. Говорят, цирк на Сибаура еще вчера закончил свои представления. Потому я и предлагаю пойти в один хорошо известный мне дом и там вместе поужинать.

— Ладно. Мне все равно, — произнесла тихо Окими, чувствуя, как рука Танака слегка коснулась ее руки, и дрожа от радостной надежды и страха. И тут в глазах Окими снова появились слезы восторга и умиления, как это бывало с ней, когда она читала «Кукушку». Не приходится говорить, сколь прекрасны казались ей улицы Огаваматэ, Авадзитё, Судатё сквозь пелену этих слез восторга и умиления. Звуки оркестра на предновогодней распродаже товаров, назойливая световая реклама пилюль «Дзинтан», рождественские украшения из веток криптомерии, паутиная сеть бумажных флажков всех стран, Санта-Клаус в витринах

магазинов, открытки и календари на уличных лотках — все это, казалось Окими, пело о радости величественной любви и простиралось во всем великолепии до самого края земли. Даже звезды на небесах светили сегодня не холодным светом, а пыльный ветер, налетающий временами, как только загибал полы пальто, тотчас же превращался в теплое дуновение, будто вернулась весна. Счастье! Счастье! Счастье!..

Вдруг Окими заметила, что они свернули в узкий переулок. На правой стороне была маленькая зеленая лавка. Там в ярком газовом освещении грудой лежали редька, морковь, шпинат, лук, белая редиска, картофель разных сортов, ямс, салат, спаржа, корень лотоса, таро, яблоки, мандарины. Когда они проходили мимо лавки, на какой-то миг взгляд Окими задержался на приколотом лучинкой к бамбуку ценнике в горе лука. На ценнике черной тушью неумелой рукой было написано «1 пучок 4 сэна». Теперь, когда так резко подскочили цены на все товары, лук по цене четыре сэна за пучок был просто редкостью. Смотрит Окими на этот сверхдешевый ценник, и в ее счастливой душе, которая до этого была пьяна любовью, литературой и искусством, совершается переворот, — реальная жизнь, доселе скрытая, внезапно освобождается от искусственного покрывала, от летаргического сна. Вот уж поистине резкий и неожиданный поворот! Розы и кольца, соловьи и флаги на Мицукоси — все молниеносно исчезло без следа, как дым. А на смену этому, вместе с тяжелым опытом прошлого, в маленькую грудь Окими со всех сторон стали слетаться, подобно мотылькам, летящим на огонь, заботы о плате за квартиру, за электричество, за рис, за уголь, за рыбу, за сою, за газеты, за косметику, за трамвай и о других расходах на жизнь; Окими невольно остановилась, а затем, оставив в одиночестве ошеломленного Танака, вошла в лавку, где была эта зелень, залитая ярким газовым светом. Своим нежным пальчиком она показала на гору лука, где стоял ценник с надписью «1 пучок 4 сэна», и голосом, каким поют песню Сасураи, сказала:

— Дайте два пучка.

На улице, где дул пыльный ветер, удрученный, одиноко стоял Танака в черной широкополой шляпе, подняв воротник полупальто в крупную полоску, держа под

мышкой тонкую трость с никелированной головкой. В воображении Танака давно был дом с решетчатой дверью, расположенный в конце улицы. Простенький двухэтажный домик со светящимися иероглифами «Мацуноя» на коньке крыши, с мокрыми каменными ступками для снятия обуви при входе. Но пока он вот так стоял здесь на улице, видение этого уютного двухэтажного дома удивительным образом бледнело и растворялось в сознании. Вместо него немедленно всплыла и поднялась гора лука с воткнутым в нее ценником: «1 пучок 4 сэна». И тут образ дома исчез окончательно. Вместе с порывом пыльного ветра в нос Танака ударил запах лука, острый, как сама жизнь, и резкий до боли в глазах.

— Извините, что заставила ждать.

Несчастный Танака печально уставился на Окими, будто видел ее впервые. Окими с красиво расчесанными на прямой пробор волосами, с прищипленной к волосам незабудкой, с чуть вздернутым носом стояла, слегка придерживая подбородком кремовую шаль, в руке у нее было два пучка лука, купленного за восемь сэнов. В ясных глазах прыгала радостная улыбка.

\* \* \*

Наконец-то кое-как дописал. Пожалуй, уже не далеко до рассвета. Со двора доносится простуженный крик пегуха. Настроение у меня почему-то скверное, хотя написал я все это сознательно, с большим старанием. Окими в тот вечер как ни в чем не бывало вернулась к себе, в комнату на втором этаже того дома, где владелицей была парикмахерша. И пока она не бросит работу официантки в кафе, она вряд ли перестанет встречаться и гулять с Танака. Как подумаешь... Но это уже другое дело. Сколько бы я сейчас ни волновался, все напрасно. Итак, на том кончаю. До свидания, Окими. И сегодня, как в тот вечер, выйди отсюда радостной и смелой, спокойно иди на расправу к критикам.

*Январь 1920 г.*

## ДУ ЦЗЫ-ЧУНЬ

### 1

Это случилось весенним вечером.

Возле Западных ворот в столице Танского государства Лояне стоял юноша и безучастным взглядом смотрел на небо.

Звали этого юношу Ду Цзы-чунь. Он был сыном богача, но промотал отцовское достояние и дошел до такой нищеты, что хоть с голоду помирай.

В те времена Лоян был цветущим городом, он не знал себе равных во всей Поднебесной. По улицам его пестрой чередой двигались люди и повозки. В лучах закатного солнца, жидким маслом заливавшего городские ворота, проносились мимо шапочки из тончайшего шелкового газа на головах стариков, золотые турецкие серьги в ушах женщин, многоцветные поводья на белых конях... Словно смотришь на прекрасную картину.

Но Ду Цзы-чунь, прислонившись спиной к воротам, по-прежнему смотрел безучастным взглядом на небо. Весенняя дымка расстилалась ровной пеленой, но сквозь нее уже был виден узкий полумесяц, похожий на белый шрам от звериного когтя.

«Смеркается, а у меня в животе пусто, и негде мне приклонить голову... Проклятая жизнь! Лучше броситься в реку и умереть», — вот какие мысли нестройным роем проносились в голове Ду Цзы-чуна.



И вдруг перед ним появился, словно из-под земли вырос, какой-то старик, на один глаз кривой, на другой глаз косой! Облитый лучами заходящего солнца, он отбрасывал огромную тень на ворота. Пристально поглядев в лицо Ду Цзы-чуню, старик властным голосом спросил:

— О чем ты сейчас думаешь?

— Я-то? Я думаю о том, как мне быть. Ведь у меня даже нет угла, где бы переночевать.

Старик спросил его так неожиданно, что Ду Цзы-чунь, потупив глаза в землю, неожиданно для себя дал правдивый ответ.

— Вот как! Жаль мне тебя.

Старик немного задумался и указал пальцем на лучи вечернего солнца, озарявшие улицу.

— Послушай, я дам тебе добрый совет. Стань сейчас так, чтобы солнце было позади тебя, а тень твоя упала на землю. Заприметь место, где у этой тени голова, и копай там ночью. Выкопаешь целую телегу чистого золота.

— Неужели правда?

Ду Цзы-чунь в изумлении поднял глаза. Что за чудо! Старик куда-то бесследно исчез, словно сквозь землю провалился.

А месяц в небе еще больше побелел, и над бесконечным людским потоком уже реяли в вышине две-три нетерпеливые летучие мыши.

## 2

Ду Цзы-чунь сразу в один день разбогател так, что даже в столичном городе Лояне не находилось ему равных.

Следуя совету старика, он начал копать в том самом месте, где пришлась голова его тени, и вырыл гору золота — на самой большой повозке не увезешь.

Ду Цзы-чунь стал неслыханным богачом. Он купил великолепный дом и мог бы соперничать в роскоши с самим императором Сюань-цзуном. Он пил ланьлинское вино, приказывал доставить к своему столу мякоть плодов «драконий глаз» из Гуйчжоу, посадил в саду пионы, которые четыре раза в день меняют цвет, завел

у себя белых павлинов, собирал драгоценные камни, наряжался в парчовые одежды, разъезжал в экипажах из ароматного дерева, заказывал мастерам кресла из слоновой кости... Словом, если перечислять все его прихоти, то рассказу и конца не будет.

Бывало, старые приятели Ду Цзы-чуня, встретив его по дороге, и здороваться-то с ним не хотели. Но когда толки о его новом богатстве пошли по городу, все прежние дружки наведались к нему и стали с утра до вечера веселиться в его доме. Число их с каждым днем прибывало. Прошло всего полгода, а уж в столичном городе Лояне не осталось ни одного прославленного своими талантами человека, ни одной известной красавицы, которые не побывали бы в доме Ду Цзы-чуня.

Юноша, что ни день, задавал роскошные пиры. Словами не описать все великолепии этих праздников! Скажу лишь, что на них подавались привезенные с Запада виноградные вина, а индийские факиры забавляли гостей, глотая ножи. Хозяина окружало двадцать красавиц. У десяти девушек волосы были украшены лотосами из светлой яшмы, а у других десяти — пионами из драгоценного агата, и все они чудесно играли на флейтах и цитрах. О, это было прекрасное зрелище!

Но и у самого большого богача деньгам приходит конец, если сорить ими направо и налево.

Чему же удивляться, что при такой любви к роскоши Ду Цзы-чунь через год-два начал беднеть. Воистину у людей бесчувственные сердца! Давно ли от приятелей отбою не было, а теперь самые закадычные друзья проходили мимо его ворот, как чужие. Хоть бы из вежливости кто заглянул!

Наступила третья весна — и Ду Цзы-чунь опять распростился с последним своим грошом, и во всем огромном городе Лояне не нашлось ни одного дома, где бы дали ему приют. Да что там! Ни один человек не подал ему и чашки воды.

И вот однажды вечером Ду Цзы-чунь снова пошел к Западным воротам Лояна. Безучастно глядя на небо, стоял он возле дороги, погруженный в печальные думы.

Вдруг откуда ни возьмись опять появился перед ним старик, кривой на один глаз и косою на другой глаз, и вновь задал ему тот же самый вопрос:

— О чем ты думаешь?

Увидев старика, Ду Цзы-чунь от стыда потупил глаза в землю и не сразу ответил. Но старик заговорил с ним так же ласково, как и прежде, и потому юноша смиренно сказал:

— Мне сегодня опять негде приклонить голову. Я думаю, что мне делать.

— Вот как! Жаль мне тебя. Я дам тебе добрый совет. Стань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай там, где обозначится грудь,— выроешь целую телегу чистого золота.

Не успел старик это сказать, как уже скрылся в толпе, словно бесследно растаял.

На другой день Ду Цзы-чунь вдруг снова сделался первым в Поднебесной богачом. И опять он дал волю своим прихотям. Многоцветные пионы в саду, лениво дремлющие среди них белые павлины, индийские факиры, глотающие ножи,— словом, все как прежде!

Не мудрено, что огромная гора золота, которая и в телеге-то еле поместилась, вся бесследно растаяла за каких-то три года.

### 3

— О чем ты думаешь?

В третий раз появился перед Ду Цзы-чунем старик, кривой на один глаз и косой на другой глаз, и задал ему все тот же знакомый вопрос. Юноша, как можно догадаться, опять стоял под Западными воротами Лояна, печально глядя на трехдневный месяц, тускло светивший сквозь весеннюю дымку.

— Я-то? Негде мне сегодня голову приклонить. Я думаю, что мне делать.

— Вот как! Жаль мне тебя. Но я подам тебе добрый совет. Стань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай ночью там, где обозначится у нее поясища. Выкопаешь целую телегу...

Не успел старик договорить, как Ду Цзы-чунь вдруг поднял руку и прервал его:

— Нет, не нужно мне золота.

— Тебе не нужно золота? Ха-ха-ха, выходит, надоело тебе купаться в роскоши.

Старик с видом сомнения пристально поглядел на Ду Цзы-чуня.

— Нет, не роскошь мне опротивела. Хуже того! Я потерял любовь к людям,— резко сказал Ду Цзы-чунь с помрачневшим лицом.

— Вот это любопытно! Отчего ж ты потерял любовь к людям?

— Все люди на свете, сколько их есть, не знают сострадания. Когда я был богачом, мне льстили, заискивали передо мной, а когда я обеднел, взгляните-ка! Даже доброго взгляда не кинут в мою сторону. Как подумаю об этом, не хочу больше быть богачом.

Услышав эти слова Ду Цзы-чуня, старик вдруг лукаво улыбнулся:

— Вот оно как! Ты не похож на других молодых людей, все прекрасно понимаешь. Так, значит, ты теперь хочешь жить бедняком, да зато спокойно?

Ду Цзы-чунь немного поколебался. Но потом, видно, решившись, с мольбой взглянул на старика и сказал:

— Нет, такая доля не по мне! Я хотел бы стать вашим учеником и постигнуть тайну бессмертия! Не таитесь от меня! Ведь вы маг-отшельник, наделенный высшей мудростью. Разве иначе могли бы вы за одну только ночь сделать меня первым богачом в Поднебесной? Прошу вас, будьте моим наставником и научите меня искусству магии.

Старик немного помолчал, сдвинул брови, словно размышлял о чем-то, а потом с улыбкой охотно согласился.

— Да, верно, я даос-отшельник по имени Те Гуан-цзы, живу в горах Эмэй-шань. Когда я тебя впервые увидел, то мне показалось, что ты способен понять истинную суть вещей. Вот почему я дважды сделал тебя богачом, а теперь, если уж ты так сильно хочешь стать магом-отшельником, я приму тебя в ученики.

Нечего и говорить о том, как обрадовался Ду Цзы-чунь. Не успел старик Те Гуан-цзы закончить своих слов, как он уже начал отбивать перед ним земные поклоны.

— Нет, не благодари меня так усердно. Станешь ли ты великим магом-отшельником или нет, зависит только от тебя самого. Если ты не создан для этого, вся моя наука не поможет. Ну, будь что будет, а мы сейчас

вдвоем с тобой отправимся в самую глубь гор Эмэй-шань. В единый миг перелетим туда по небу.

Те Гуан-цзы поднял с земли свежесрезанную бамбуковую палочку и, тихо бормоча какое-то заклинание, сел вместе с Ду Цзы-чунем верхом на нее, как на коня. И вдруг — разве это не чудо? — бамбуковая палочка со страшной быстротой взмыла в самое небо, подобно дракону, и понеслась по ясному вечернему небу.

Ду Цзы-чунь, замирая от страха, робко поглядел вниз. Но там, в самой глубине закатного зарева, виднелись только зеленые горы.

Напрасно искал он взглядом Западные ворота столицы (верно, они утонули в тумане). Седые пряди волос старика Те Гуан-цзы разметались по ветру. Он громко запел песню:

Утром тешусь в Северном море,  
А вечером — на юге в Цаньу.  
В глубине рукава — дракон зеленый.  
Как отважен я и велик!

Трижды, никем из людей не замечен,  
Всходил я на башню Юсян.  
Распевая стихи во весь мой голос,  
Лечу я над озером Дунтон.

4

Бамбуковая палочка с двумя сидевшими на ней всадниками плавно опустилась на гору Эмэй-шань, там, где широкая скала нависла над глубокой расщелиной. Видно, было это на большой высоте, потому что светила Семизвездия, сиявшие посреди неба, стали величиной с чайную чашку. Само собой, людей там от века не бывало, и тишина, нарушенная лишь на миг, сейчас же воцарилась снова.

Только и слышно было, как на горной вершине, где-то над самой головой, глухо шумит от ночного ветра одинокая, согнутая непогодой сосна.

Когда оба они опустились на скалу, старик посадил Ду Цзы-чуна спиной к отвесной стене.

— Сейчас я подымусь на небо, навещу там Сиванму, — молвил Те Гуан-цзы, — а ты тем временем сиди здесь и дожидайся меня. Быть может, в мое отсутствие появятся перед тобой злые духи и начнут морочить

тебя, но ты смотри не подавай голоса. Что бы ни случилось с тобой, не подавай голоса. Если ты скажешь хоть слово, не быть тебе никогда магом-отшельником. Будь готов ко всему! Слышал? Храни молчание, хотя бы небо и земля раскололись на мелкие части.

— Верьте мне, я не издам ни звука. Буду молчать, хотя бы мне это жизни стоило.

— Право? Ну, тогда я за тебя спокоен. Отлучусь ненадолго.

Старик простился с Ду Цзы-чунем, снова сел верхом на палочку, взлетел прямо в небо между горными вершинами и исчез в ночной мгле, словно растаял.

Ду Цзы-чунь, сидя в одиночестве на скале, спокойно любовался звездами. Так прошло, верно, около часа. Ночной ветер из глубины гор стал ледяной стружкой пробиваться сквозь его тонкую одежду.

Вдруг в небе прозвучал грозный голос:

— Эй, кто здесь, отвечай!

Но Ду Цзы-чунь, соблюдая приказ старика, ничего не ответил.

Прошло немного времени и тот же громовой голос пригрозил ему:

— Если ты сейчас же не дашь ответ, то готовься к смерти!

Ду Цзы-чунь продолжал упорно молчать.

И тут откуда ни возьмись на скалу одним прыжком вскочил тигр и, вперив в Ду Цзы-чуня свои страшно сверкающие глаза, оглушительно заревел. Мало того, в тот же самый миг ветки сосны над головой юноши громко зашумели, и с крутой вершины пополз к нему, высунув огненный язык, белый змей толщиной в большую бочку. Все ближе и ближе...

Но Ду Цзы-чунь и бровью не пошевелил. Он продолжал сидеть все так же спокойно.

Тигр и змей злобно уставились друг на друга, словно караулили, кому из них достанется добыча, а потом оба сразу бросились на Ду Цзы-чуня. Вот-вот вонзятся в него клыки тигра, вот-вот вопьется жало змея... Ду Цзы-чунь уже думал, что тут ему и конец, но тигр и змей, подобно туману, улетели с ночным ветром. Только ветки сосны на вершине все еще протяжно шумели. Ду Цзы-чунь с облегчением перевел дыхание и стал поджидать, что же случится дальше.

И вот набежал сильный порыв ветра, туча цвета густой черной туши закрыла все кругом, бледно-лиловая молния расколола мглу, загрохотал гром. И сразу же водопадом обрушился бушующий ливень. Ду Цзы-чунь бестрепетно сидел, не двигаясь с места, под натиском этой ужасной бури. Рев вихря, струи ливня, непрерывные вспышки молний, — казалось, еще немного, и рухнет гора Эмэй-шань. Послышался такой удар грома, от которого впору оглохнуть, и из черной тучи, клубившейся в небе, прямо на голову Ду Цзы-чуня упал красный огненный столб.

Ду Цзы-чунь невольно зажал уши и упал ничком на скалу. Но вот он открыл глаза и видит: небо над ним по-прежнему безмятежно ясно. Над вершинами гор опять, как и раньше, ярко сверкают светила Семизвездия величиной с чайную чашку. Так, значит, и страшная буря, и тигр, и белый змей — все это лишь морок, напущенный бесами в отсутствие Те Гуан-цзы. Ду Цзы-чунь понемногу успокоился, отер холодный пот со лба и снова спокойно уселся на скале.

Но не успел он еще отдышаться, как прямо перед ним появился одетый в золотые доспехи величественный небесный полководец, ростом, верно, в целых три дзэ. Небесный полководец держал в руке трезубец. Гневно сверкая глазами, он направил трезубец прямо в грудь Ду Цзы-чуню и начал грозить ему:

— Эй, ты кто такой, говори! Гора Эмэй-шань — мое обиталище с самых тех пор, как возникли небо и земля. Но ты, не убоясь этого, один посмел вторгнуться сюда! Уж наверно, ты — не простой человек. Отвечай, если жизнь тебе дорога!

Но Ду Цзы-чунь, как повелел ему старик, упорно не раскрывал рта.

— Не отвечаешь? Молчишь! Хорошо же! Молчи сколько хочешь. За это мои родичи искрошат тебя на куски.

Небесный полководец высоко поднял трезубец и поманил кого-то с небосклона над соседними горами. И в тот же миг мгла разорвалась, и бесчисленные воины тучами понеслись по небу. В руках у них сверкали мечи и копья, вот-вот всей громадой пойдут на приступ.

При этом зрелище Ду Цзы-чунь едва не вскрикнул, но вовремя припомнил слова старика Те Гуан-цзы и,

подавив в себе крик, промолчал. Небесный полководец увидел, что юношу испугать не удалось, и разгневался страшным гневом.

— Ах ты, упрямец! Ну, раз не хочешь отвечать, я исполню свою угрозу. Прощайся с жизнью! — завопил небесный полководец и, взмахнув сверкающим трезубцем, вонзил все его острия в грудь Ду Цзы-чуня. А потом, потрясая гору Эмэй-шань громовыми раскатами смеха, бесследно исчез во мраке. Но еще раньше, чем это случилось, исчезли, как сновидение, вместе с шумным порывом ночного ветра все бесчисленные воины.

Светила Семизвездия снова проливали на скалу свое холодное сиянье. Ветки сосны по-прежнему глухо шумели на вершине горы. Но Ду Цзы-чунь лежал на спине бездыханный.

## 5

Мертвое тело Ду Цзы-чуня осталось лежать на скале, но душа его, тихо вылетев из смертной оболочки, устремилась в недра преисподней.

Из нашего мира в преисподнюю ведет дорога, которую именуют «Путь мрака». Там круглый год в черном небе уныло свищет ледяной ветер. Ду Цзы-чунь, подхваченный вихрем, кружился в небе, подобно опавшему листку. Вдруг он очутился перед великолепным дворцом, на котором висела надпись: «Дворец бесчисленных душ».

Едва лишь черти, толпой стоявшие перед дворцом, завидели Ду Цзы-чуня, как они со всех сторон окружили его и потащили к лестнице. На вершине лестницы стоял их повелитель в черной одежде и золотой короне и метал вокруг гневные взгляды. Уж наверно, это был сам владыка преисподней царь Яньло. Ду Цзы-чунь много слышал о нем и теперь в страхе преклонил колена, ожидая решения своей участи.

— Эй ты, почему сидел на вершине Эмэй-шань? — донесся громовым раскатом с вершины лестницы голос царя Яньло. Ду Цзы-чунь хотел было сразу же ответить, но вдруг вспомнил строгий наказ старика Те Гуанцзы: «Молчи, не говори ни слова!» И он молчал, как немой, низко опустив голову. Тогда царь Яньло взмах-



нул железной булавой, которую он держал в руке, и яростно завопил в таком гневе, что усы и борода у него встали дыбом:

— Да знаешь ли ты, где находишься, несчастный? Сейчас же отвечай, не то я, ни минуты не медля, поставлю испытать тебя все муки ада.

Но Ду Цзы-чунь и губ не разжал. Увидев это, царь Яньло повернулся к чертям и что-то сурово им приказал. Черти немедленно повиновались и, ухватив Ду Цзы-чуна, подняли его высоко в черное небо над дворцом.

А в преисподней, как всякий знает, помимо Игольной горы и Озера крови, таятся во мгле неподалеку друг от друга Огненная долина, которую зовут пылающим адом, и море льда, именуемое Преисподней лютого холода. Черти начали бросать Ду Цзы-чуна в каждую область ада поочередно. В его грудь безжалостно вонзались ножи, огонь опалял ему лицо, у него вырывали язык, сдирали с него кожу, толкли его железным пестом в ступе, поджаривали на сковороде в шипящем масле, ядовитые змеи высасывали у него мозг, орел-стервятник выклевывал ему глаза,— словом, его подвергли всем пыткам ада. Если начнешь их перечислять, конца не будет. Но Ду Цзы-чунь все выдержал. Крепко сжав зубы, он не проронил ни единого слова, ни единого звука.

Наконец, и чертям надоело терзать его. Они вновь понесли Ду Цзы-чуна по черному небу назад, к «Дворцу бесчисленных душ», и, бросив его у подножия лестницы, хором доложили царю Яньло:

— У этого грешника ничем слова не вырвешь.

Царь Яньло, нахмутив брови, погрузился в размышление и, как видно, надумав что-то, приказал одному из чертей:

— Отец и мать этого человека были ввергнуты в преисподнюю скотов. Живо, тащи их сюда!

Черт помчался верхом на ветре и в один миг исчез в небе преисподней. Но вдруг, подобно падучей звезде, опустился вновь перед «Дворцом бесчисленных душ», гоня перед собой двух скотов. Поглядел на них Ду Цзы-чунь — и кто может описать его испуг и изумление?

У этих двух жалких изможденных кляч были навеки незабвенные лица его покойных отца и матери.

— Ну, так зачем ты сидел на вершине горы Эмэйшань? Сознавайся сейчас же, не то плохо придется твоим родителям.

И все же, несмотря на эту страшную угрозу, Ду Цзы-чунь снова не дал ответа.

— Ах ты неблагодарный сын! Так, по-твоему, пускай мучают твоих родителей, лишь бы тебе самому было хорошо!

Царь Яньло завопил таким ужасным зыком, что «Дворец бесчисленных душ» поколебался до основания.

— Бейте их! Эй вы, черти! Бейте их, сдерите с этих клыч все мясо, перешибите им все кости.

Черти дружно ответили: «Мы повинуемся!» — схватили железные бичи и начали хлестать двух старых лошадей без всякой пощады и милосердия. Удары сыпались дождем со всех сторон. Бичи со свистом разрезали ветер, сдирая шкуры, ломая кости. А эти старые клычи, — его отец и мать, превращенные в скотов, — дергаясь всем телом от боли, с глазами, полными кровавых слез, выпускали ржание, похожее на стоны. Не было сил глядеть на это...

— Ну что! Все еще не сознаешься?

Царь Яньло велел чертям на минуту опустить железные бичи и вновь потребовал ответа от Ду Цзы-чуна. А в это время обе старые лошади, с перешибленными костями, с ободранными боками, свалились перед лестницей и лежали там при последнем издыхании.

Ду Цзы-чунь был вне себя от горя, но, вспомнив наказ старика, крепко зажмурил глаза. И вдруг до его ушей почти беззвучно донесся тихий голос:

— Не тревожься о нас. Что бы с нами ни случилось, лишь бы ты был счастлив. Это для нас высшая радость. Пусть грозитесь владыка преисподней, не отвечай ему, если так надо...

О, это был хорошо знакомый нежный голос его матери! Ду Цзы-чунь невольно открыл глаза. Одна из лошадей, бессильно лежавших на земле, грустно и пристально глядела ему в лицо. Его мать посреди нестерпимых мук была полна сочувствия к сыну и совсем не сердилась за то, что из-за него черти хлещут ее железными бичами. Низкие люди, бывало, льстили ему, когда он был богачом, и отворачивались от него, когда он становился нищим. А здесь — какая прекрасная доб-

рота! Какая чудесная стойкость! Ду Цзы-чунь забыл все предостережения старика. Бегом, чуть не падая с ног, бросился он к полумертвой лошади, обеими руками обнял ее за шею и, ручьем проливая слезы, громко закричал: «Магушка!»

6

При звуке собственного голоса Ду Цзы-чунь вдруг очнулся. Он по-прежнему стоял у Западных ворот Лояна, залитых сиянием вечернего солнца. Подернутое весенней дымкой небо, тонкий трехдневный месяц, непрерывный поток людей и повозок — все было таким же, как тогда, когда он не полетел еще на гору Эмэй-шань.

— Ну что? Разве ты годишься мне в ученики? Разве можешь быть даосом-отшельником, — сказал с усмешкой старик, на один глаз кривой, на другой глаз косою.

— Не могу. Не могу. И очень рад, что не могу.

Ду Цзы-чунь, с лицом, еще мокрым от слез, крепко сжал руку старику.

— Да пусть бы даже я стал магом-отшельником! Разве можно молчать, когда перед «Дворцом бесчисленных душ» хлещут бичами твоих отца и мать?

— Если б ты промолчал, знай, я бы убил тебя на месте! Даосом-отшельником тебе не бывать, это ты понял. Богачом быть тебе опротивело. Кем же теперь ты хочешь стать?

— Кем угодно, лишь бы жить честно, по-человечески.

Голос Ду Цзы-чуна звучал, как никогда раньше, светло и радостно.

— Не забывай же своих слов. Прощай, мы с тобой больше не встретимся.

Те Гуан-цзы пошел было прочь с этими словами, но вдруг остановился и повернулся к Ду Цзы-чуню.

— О-о, к счастью, вспомнил! Есть у меня маленький домик на южном склоне горы Тайшань. Дарю тебе этот домик вместе с полем. Ступай туда и поселись там. Как раз теперь персики в полном цвету, — весело добавил он.

*Январь 1920 г.*



---

## ОСЕНЬ

### 1

За Нобуко со времени ее пребывания в женском колледже укрепилась слава талантливой. Почти никто не сомневался в том, что рано или поздно она выступит на литературном поприще. И некоторые даже распространяли слухи, будто она еще в университете написала автобиографический роман в триста с лишним страниц. Однако по окончании университета оказалось, что при матери, вдовствовавшей с двумя дочерьми на руках — Нобуко и ее младшей сестрой Тэруко, еще не окончившей школы, — не очень-то поставишь на своем, да и вообще не обошлось без разных осложнений. И поэтому, прежде чем приняться за писанье, она принуждена была, как это обычно водится на свете, начать с замужества.

У нее был двоюродный брат Сюнкити. В то время он еще числился студентом филологического факультета, но в будущем, видимо, намеревался вступить в ряды писателей. Нобуко давно уже была со своим кузеностудентом в хороших отношениях. А с тех пор, как у них появились общие литературные интересы, их отношения стали еще более дружескими. Только, в отличие от Нобуко, Сюнкити не проявлял никаких признаков преклонения перед модным в то время толстовством. Он все время сыпал ироническими замечаниями и афоризмами в духе Франса. Такая насмешливость Сюн-

кити иногда сердила во всем серьезную Нобуко. Но, даже сердясь, она невольно чувствовала в иронии и афоризмах Сюнкити нечто такое, чего она не могла презирать.

Поэтому во время пребывания в колледже она нередко ходила с ним на выставки и концерты. Впрочем, большей частью их сопровождала и ее младшая сестра Тэруко. И по дороге из дому, и на пути домой они непринужденно смеялись и болтали. Только сестренка Тэруко иногда оказывалась в стороне от разговора. Но она с детским интересом разглядывала в витринах зонтики и шелковые шали, видимо, не чувствуя особого недовольства оттого, что с ней не считались. Впрочем, едва заметив это, Нобуко непременно меняла тему и сейчас же старалась опять вовлечь сестру в разговор. И тем не менее первой забывала о Тэруко всегда сама Нобуко. А Сюнкити, как будто нисколько всем этим не интересуясь, по-прежнему весело пошучивая, шел медленно, крупными шагами в головокружительном людском потоке.

Само собой разумеется, отношения между Нобуко и Сюнкити, в глазах всех, кто их знал, были достаточным основанием для предположений, что со временем они поженятся. Однокурсницы завидовали ее будущему, ревновали ее. И особенно сильно (как это ни смешно) ревновали те, кто не знал Сюнкити. Сама Нобуко, с одной стороны, отрицая справедливость их догадок, с другой — намеренно давала почувствовать, что они не лишены основания. Таким образом, в колледже ее однокурсницы всегда представляли себе ее и Сюнкити вместе, совсем как на фотографии жениха и невесты.

Однако по окончании колледжа Нобуко вопреки всем ожиданиям вдруг вышла замуж за одного молодого человека, выпускника Высшего коммерческого училища, который должен был в ближайшее время поступить на службу в торговую фирму. И через два-три дня после свадьбы она вместе с мужем уехала в Осака, на место его службы. По рассказам тех, кто провожал ее на Центральном вокзале, Нобуко, такая же, как всегда, с ясной улыбкой утешала и ободряла сестру Тэруко, ежеминутно готовую расплакаться.

Подруги Нобуко недоумевали. К этому недоумению примешивалось и чувство странной радости, и чувство

ревности, но совсем в другом смысле, чем раньше. Одни верили в Нобуко и приписывали все воле матери. Другие сомневались в ней и говорили, что ее чувства переменялись. Но они не могли сами не понимать, что все эти объяснения не более как догадки. Отчего она не вышла замуж за Сюнкити? Некоторое время после ее отъезда они при каждой встрече непременно серьезно обсуждали этот вопрос. А потом, по прошествии двух месяцев, Нобуко была совершенно забыта. Понятно, и толки о романе, который Нобуко должна была написать, — тоже.

Нобуко тем временем в одном из пригородов Осака строила домашний очаг, долженствовавший принести счастье. Их дом стоял в сосновой роще, в месте, исключительно тихом даже для этого района. Запах сосновой смолы и солнечный свет — все это в отсутствие мужа всегда заполняло живую тишину нового домика с мезонином. В такие тихие предвечерние часы Нобуко иногда отчего-то задумывалась и тогда, выдвинув ящик рабочего столика, разворачивала сложенную на дне его розовую почтовую бумагу. На этой бумаге мелко пером написано было следующее:

«...как подумаю о том, что сегодня я провожу последний день с моей сестрой, даже в эту минуту, когда пишу, у меня все время льются слезы. Сестрица! Пожалуйста, пожалуйста, простите меня. Тэруко не знает, чем ей ответить на благородную жертву сестры.

Сестрица решилась на этот брак ради меня. Пусть она говорит, что это не так, я все прекрасно понимаю. В тот вечер, когда мы вместе были в театре Тэйкóку, сестрица спросила меня, люблю ли я Сюн-сана. И еще сказала, что, если я люблю его, она сделает все, что может, и пусть я выйду за Сюн-сана. Сестрица тогда, наверно, прочитала письмо, которое я хотела отдать Сюн-сану. Когда это письмо пропало, я, право, очень досадовала на сестрицу. (Простите меня! Уже за это одно не знаю, как мне просить прощения.) Вот поэтому в тот вечер и сердечные слова сестрицы показались мне насмешкой. Я рассердилась и даже не ответила как следует — сестрица, наверно, это не забыла. Но когда через несколько дней вдруг сразу решилось замужество сестрицы, я готова была умереть, лишь бы только вы-

просить у нее прощение. Сестрица тоже любит Сюн-сана. (Не скрывайте, я хорошо знаю!) Если бы только не ее заботы обо мне, она непременно вышла бы за него сама. И все же сестрица столько раз меня уверяла, что не думает о Сюн-сане. И наконец решилась на замужество, к которому у ней совсем не лежала душа. Дорогая сестрица! Помните ли вы еще, как я сегодня пришла с курицей в руках и сказала ей: «Простись с сестрицей! Она уезжает в Осака!» Я хотела, чтобы и моя курица просила прощения у сестрицы! И даже мама, которая ни о чем не знает, тоже заплакала.

Сестрица! Завтра вы уедете в Осака. Но, пожалуйста, никогда не забывайте вашей Тэруко! Тэруко каждое утро, кормя курицу, вспоминает о сестрице и потихоньку плачет...»

Каждый раз, когда Нобуко читала это совсем детское письмо, у нее навертывались слезы на глаза. В особенности невыразимо щемило у нее сердце при воспоминании о Тэруко в ту минуту, когда они на вокзале садились в вагон и сестра потихоньку сунула ей в руку это письмо. Но действительно ли ее замужество было от начала до конца жертвой, как это казалось ее сестре? Такие сомнения после только что пролитых слез ложились на ее душу тяжестью. Чтобы избавиться от этой тяжести, Нобуко обычно тихо погружалась в приятную грусть. Тихо, глядя на то, как за окном солнечные лучи, озаряющие сосновый лес, понемногу окрашиваются закатной желтизной...

## 2

Три месяца после свадьбы они, как и всякие молодожены, провели счастливо.

Муж Нобуко был немного женственный, молчаливый человек. У него было обыкновение каждый день, придя со службы, проводить после ужина несколько часов с Нобуко. Шевеля крючком свое вязанье, Нобуко рассказывала ему о нашумевших в последнее время романах и драмах. Иногда в этих рассказах проскальзывало мировоззрение студентки женского колледжа, отдававшее христианством. Муж, раскрасневшись от выпитой за ужином водки, слушал ее с любопытством,

опустив на колени недочитанную вечернюю газету. Но чего-нибудь похожего на собственное мнение он никогда не высказывал.

Почти каждое воскресенье они на целый день отправлялись отдыхать куда-нибудь в места для прогулок, в Осака или в окрестности. Если им приходилось пользоваться поездом или трамваем, Нобуко всегда бросалась в глаза грубость жителей Кансай, не стеснявшихся есть и пить где попало. И она с особым удовольствием думала о том, как благородно держится ее тихий муж. Действительно, казалось, среди этих людей изящная фигура ее мужа, начиная от шляпы и пиджака и кончая желтыми ботинками на шнурках, распространяет какую-то особую, похожую на запах туалетного мыла атмосферу опрятности. А когда как-то раз во время летнего отпуска они выбрались посмотреть на девочек-танцовщиц и она сравнила мужа с сослуживцами, случайно оказавшимися в том же чайном домике, то невольно почувствовала что-то похожее на гордость. Но муж, к ее удивлению, относился к своим вульгарным сослуживцам, по-видимому, вполне дружелюбно.

Тем временем Нобуко вспомнила о давно уже заброшенной литературной работе. И вот в отсутствие мужа она стала на час-другой садиться за стол. Муж, услышав об этом, сказал: «Что ж, в конце концов станешь писательницей», — и его нежный рот сложился в улыбку. Однако хотя Нобуко и садилась за стол, вопреки ее ожиданиям перо не двигалось. И она то и дело ловила себя на том, что сидит, опершись на руку, и рассеянно прислушивается к хору цикад в сосновой роще, дремлющей под палящим небом.

Но вот, когда последний период жары уже готов был смениться ранней осенью, однажды, отправляясь на службу, муж захотел сменить пропотевший воротничок. К сожалению, ни одного воротничка дома не оказалось, все были сданы в прачечную. Муж, всегда приветливый, недовольно нахмурился. Пристегивая подтяжки, он — чего раньше никогда не случалось — колко сказал:

— Плохо, если ты только и знаешь, что писать романы.

Нобуко молчала и, опустив глаза, счищала пыль с пиджака.



Через два-три дня вечером муж, начав с помещенной в вечерней газете статьи по продовольственному вопросу, заговорил о том, нельзя ли еще немного уменьшить месячные расходы.

— Не вечно же тебе оставаться студенткой! — вырвалось у него.

Нобуко, равнодушно отвечая, вышивала мужу галстук. Муж с совершенно неожиданной настойчивостью продолжал свое.

— Вот хоть этот галстук — разве не дешевле купить готовый? — сказал он раздраженным тоном.

Она опять промолчала. В конце концов муж, надувшись, уткнулся в какой-то свой коммерческий журнал. Но когда свет в спальне был потушен, Нобуко, лежа спиной к мужу, почти шепотом произнесла:

— Я не буду больше писать романов.

Муж не ответил. Немного погодя она еще тише повторила то же самое. И сейчас же за тем заплакала. Муж слегка побранил ее. Все же и после этого слышались ее прерывистые всхлипывания. Но потом Нобуко вдруг тесно прижалась к мужу...

На другой день они опять стали дружными супругами, как было раньше.

Но вскоре случилось так, что и после полуночи муж еще не вернулся со службы. Когда же он наконец пришел, то от него несло водкой, и он не мог снять с себя макинтош.

Нобуко, насупив брови, быстро передела мужа. А он, с трудом ворочая языком, еще и съязвил:

— Сегодня вечером меня не было дома, верно, роман здорово подвинулся!

Несколько раз с его женственных губ слетали подобные слова. Когда в этот вечер Нобуко ложилась спать, из глаз у нее невольно покатались слезы. Если бы это видела Тэруко, как бы она плакала вместе с ней! «Тэруко! Тэруко! Единственное мое прибежище — это ты...» — не раз мысленно взывала Нобуко к сестре, мучаясь тем, что от спящего мужа разит винным перегаром, и ворочалась в постели всю ночь, не смыкая глаз.

Но и это на другой день кончилось тем, что они само собой незаметно помирились.

Так это повторилось не раз и не два, а тем временем наступила поздняя осень. Нобуко все реже садилась за

стол и все реже бралась за перо. В это время и муж уже не выслушивал ее разговоров о литературе с прежним любопытством. По вечерам, сидя друг против друга за хибати, они убивали время в мелочных разговорах о домашнем хозяйстве. Такие темы для мужа, по крайней мере, после вечерней водки, представляли наибольший интерес. Все же иногда Нобуко глядела на него с сожалением. Но он, ни о чем не подозревая, покусывая недавно отпущенную бородку, откровенней, чем обычно, говорил с задумчивым видом:

— Если бы хоть пошли дети...

Между тем вскоре в ежемесячных журналах стало появляться имя двоюродного брата. Выйдя замуж, Нобуко, точно забыв о Сюнкити, прекратила переписку с ним. Только из писем сестры она знала, что с ним, — что он окончил университет, что он организовал с товарищами журнал. Она и не обнаруживала желания знать о нем сколько-нибудь больше. Но когда видела в журналах его рассказы, на сердце у нее становилось тепло, как в прежние времена. Перелистывая страницы, Нобуко улыбалась про себя. Сюнкити и в своих рассказах применял, как Миямото Мусаси, два меча — иронию и юмор. Ей, однако, — может быть, беспричинно, — казалось, что за этой веселой иронией чувствуется какая-то разочарованность, раньше ему не свойственная. И думала она об этом не без самообвинения.

С этих пор Нобуко стала держаться по отношению к мужу еще нежней. За остывшим к ночи хибати муж видел ее всегда ясно улыбающееся лицо. Это лицо было напудрено и казалось моложе, чем раньше. Раскладывая свое рукоделье, она вслух перебирала воспоминания о времени их свадьбы в Токио. То, что она так подробно это помнила, было для мужа и неожиданно и приятно. «Ты даже это помнишь!» — подтрунивал он, и Нобуко отвечала ему только безмолвным ласковым взглядом. Но почему все это так врезалось в ее память — она и сама иногда удивлялась про себя.

Вскоре письмо матери известило Нобуко, что она приготовила свадебные подарки для младшей дочери. В письме говорилось также, что Сюнкити перед свадьбой с Тэруко перебрался в новый дом в пригороде, в районе Яманотэ. Нобуко сейчас же написала матери и сестре длинное поздравительное письмо. «Мы тут только

вдвоем, без прислуги, и потому, как ни жаль, на свадьбу я не смогу приехать...» И когда она так писала, ее кисть (отчего — она сама не знала) не раз останавливалась на бумаге. Тогда она поднимала глаза и смотрела на сосновую рощу за окном. Сосны темнели густой зеленью под бледным зимним небом.

Вечером Нобуко говорила с мужем о замужестве Тэруко. Муж, по обыкновению слегка улыбаясь, с интересом слушал, как Нобуко подражает манере сестры разговаривать. А Нобуко почему-то казалось, словно она рассказывает о Тэруко самой себе.

— Ну, пора спать! — заметил через несколько часов муж, поглаживая свою мягкую бородку, и лениво поднялся от хибати. Нобуко, раздумывая, что подарить сестре, что-то чертила щипцами на золе и вдруг, подняв голову, сказала:

— А странно, мне кажется, будто и у меня появился брат.

— Ну, конечно, раз у тебя есть сестра! — сказал муж, но и на эти слова она, по-прежнему задумчиво глядя перед собой, ничего не ответила.

Свадьба Тэруко и Сюнкити состоялась в середине декабря. В тот день перед полуднем посыпались белые хлопья. Нобуко, позавтракав в одиночестве, долго не могла отделаться от запаха рыбы, которую она ела за завтраком. «Может быть, в Токио тоже идет снег», — думала она, прислонившись к хибати в полутемной столовой. Снег пошел сильнее. А привкус рыбы во рту упорно не проходил.

### 3

Осенью следующего года Нобуко вместе с мужем, получившим служебную командировку, после двухлетнего отсутствия снова ступила на улицы Токио. Но у мужа в распоряжении было всего несколько дней; занятый делами, он почти не имел возможности пойти с ней куда-нибудь и только на несколько минут заглянул с ней к ее матери. Поэтому, отправившись навестить сестру и ее мужа в их новой квартире в пригороде, Нобуко, сойдя на конечной загородной остановке трамвая, покачивалась в коляске рикши в одиночестве.

Их дом стоял на самой окраине, где улицы уже подходили к полям. Но по сторонам теснились ряды новых домиков, видимо, сдававшихся внаем. Ворота с навесом, живые изгороди, белье, развешанное на шестах для просушки,— все это повсюду было одинаково. Этот обыденный вид жилищ немного разочаровал Нобуко.

Но когда она у входа окликнула хозяев, навстречу ей вдруг вышел сам кузен, Сюнкити. Увидев редкую гостью, он, как бывало прежде, весело закричал:

— Ты?

Нобуко заметила, что волосы у него не такие вихрастые и плохо остриженные, как раньше.

— Давно не видались.

— Входи! К сожалению, я один.

— А Тэруко? Нет дома?

— Пошла по делу. И прислуга тоже.

Нобуко, как-то странно смущаясь, тихо сняла в углу передней пальто с элегантною подкладкой.

Сюнкити провел ее в небольшую комнату — кабинет и одновременно гостиную. Повсюду горами лежали книги. Вокруг столика из темно-красного сандалового дерева, на который сквозь слегка раздвинутые сёдзи светило закатное солнце, газет, журналов, рукописей было разбросано столько, что не приступить к нему. Единственное, что среди всего этого свидетельствовало о присутствии молодой жены, это прислоненное к стене токонама новое кото. Нобуко некоторое время не сводила удивленных глаз с этой обстановки.

— Что ты приезжаешь, я знал из письма, но что приедешь сегодня — не думал.— Зажигая папиросу, Сюнкити кинул на гостью теплый взгляд.— Ну, как живется в Осака?

— А Сюн-сан как? Счастлив? — Нобуко тоже после первых же слов почувствовала, как в ней оживает совсем прежнее теплое чувство. Тягостные воспоминания этих двух лет, когда они даже почти не переписывались, вопреки ожиданию не создавали неловкости.

Грея руки у хибати, они говорили о том, о сем. Литературные произведения Сюнкити, новости про общих знакомых, сравнение Токио и Осака... Тем для разговора находилось столько, что всех было не затронуть. Но, точно сговорившись, они совершенно не касались

повседневной жизни. И это еще сильнее заставляло Нобуко чувствовать, что она разговаривает с двоюродным братом.

Иногда, однако, между ними водворялось молчание. Каждый раз в этих случаях Нобуко, все так же улыбаясь, опускала глаза на золу в хибати. Сама себе не сознаваясь, она смутно чего-то ждала. Тогда, намеренно или случайно, Сюнкити сейчас же находил новую тему для разговора и всегда разбивал это ее ожидание. Нобуко невольно взглядывала на Сюнкити. Но он спокойно курил папиросу, и лицо его сохраняло выражение полной непринужденности.

В это время вернулась домой Тэруко. Увидев сестру, она так обрадовалась, что не в силах была протянуть к ней руки. У Нобуко губы улыбались, а на глаза уже навертывались слезы. Обе они, позабыв о Сюнкити, стали расспрашивать друг друга и рассказывать друг другу о своей жизни за эти годы. Тэруко, оживленная, с проступившим на щеках румянцем, не упустила случая рассказать даже о курах, которых она и теперь разводила. Сюнкити с папиросой во рту, довольный, смотрел на них и по-прежнему только усмехался.

Тут пришла и служанка. Сюнкити взял пачку открыток, которую она принесла, и, усевшись за стол, забегал пером. Для Тэруко то, что и служанка тоже уходила, по-видимому, явилось неожиданностью.

— Значит, когда сестрица пришла, никого не было.

— Да, один Сюн-сан.

Нобуко казалось, что ответить так — значит заставить себя быть спокойной. Тогда Сюнкити, не оборачиваясь, сказал:

— Поблагодари мужа. И чай тоже я устроил.

Тэруко переглянулась с сестрой и шаловливо засмеялась. Но мужу она намеренно не ответила.

Потом Нобуко с сестрой и ее мужем сели за стол ужинать. Как пояснила Тэруко, яйца, поданные на стол, были от собственных кур. Сюнкити, угощая Нобуко вином, высказывал разные мысли в духе социалистов, вроде таких: «Человеческая жизнь основана на грабеже. Начиная хотя бы с этих яиц!» Несмотря на это, из них троих больше всех любил яйца, несомненно, сам Сюнкити. Тэруко нашла, что это забавно, и по-детски рассмеялась. За ужином и болтовней Нобуко

невольно вспоминала печальные сумерки в столовой домика в далекой сосновой роще.

Разговор не умолкал и после того, как съели фрукты. Сюнкити, слегка навеселе, сидел, скрестив ноги, под электрической лампой и до поздней ночи с жаром сыпал своими обычными парадоксами. Его красноречие еще больше молодило Нобуко. С загоревшимися глазами она сказала:

— Пожалуй, и я начну писать!

Тогда кузен вместо ответа процитировал изречение Реми де Гурмона. Оно гласило: «Музы — женщины, значит, полонить их могут только мужчины». Нобуко и Тэруко, объединившись, не пожелали признать авторитета Гурмона.

— Значит, никому, кроме женщин, нельзя стать музыкантом! Аполлон ведь мужчина! — серьезно сказала Тэруко.

В таких разговорах прошло время, становилось поздно. Нобуко осталась ночевать.

Перед тем как лечь, Сюнкити отодвинул ставни на наружной галерее, в ночном халате спустился в тесный садик и, ни к кому в отдельности не обращаясь, произнес:

— Выйдите-ка! Чудная луна!

Нобуко одна последовала его примеру и, уже сняв чулки, сунула ноги в гэта. Босые ноги ощущали холод росы.

Луна висела на ветвях тощего кипарисовика в углу сада. Кузен стоял под деревом и смотрел на светлое ночное небо.

Трава уже разрослась.

Пугливо оглядывая запущенный сад, Нобуко осторожно подошла к нему. Но он, не сводя глаз с неба, только пробормотал:

— Вот она, тринадцатая ночь!

Несколько минут длилось молчание, потом он тихо перевел взгляд и сказал:

— Пойдем посмотрим курятник!

Нобуко молча кивнула. Курятник был как раз в противоположном углу сада. Они медленно, плечо к плечу, пошли туда. Но внутри покрытой рогожами будочки пахло курами и виднелись только смутные тени. Заглянув в будочку, Сюнкити едва слышно шепнул:

— Спать!

«Куры, у которых люди отбирают яйца...» — невольно подумала Нобуко, стоя на траве.

Когда они вернулись из сада, Тэруко, сидя за столом мужа, задумчиво смотрела на лампу. На лампу, по абажуру которой ползла зеленая муха...

4

На другое утро Сюнкити надел свой лучший пиджак и сейчас же после завтрака торопливо направился в переднюю. Ему надо было идти на заупокойную службу по случаю годовщины смерти одного товарища.

— Подожди меня, хорошо? Я еще до полудня непременно вернусь,— убеждал он Нобуко, надевая пальто. Но она, держа его шляпу в своих тонких руках, только молча улыбалась.

Проводив мужа, Тэруко усадила сестру у хибати и стала хлопотливо угощать ее чаем. О соседях, о посещениях репортеров, о заграничном театре, куда они ходили с Сюнкити,— им как будто было еще о чем поговорить, и поговорить с удовольствием. Но Нобуко ушла в себя. Спыхватившись, она замечала, что сидит и отделяется ничего не значащими ответами. В конце концов это не укрылось и от Тэруко. Она тревожно всматривалась в лицо сестры и спрашивала:

— Что с вами?

Но что с ней, Нобуко и сама как следует не понимала.

Когда стенные часы пробили десять, Нобуко, подняв грустные глаза, сказала:

— А Сюн-сана все нет.

Тэруко при словах сестры тоже взглянула на часы, но с неожиданной сухостью коротко ответила:

— Еще нет.

Нобуко показалось, что в этих словах сказывается настроение молодой женщины, пресыщенной любовью мужа. От этой мысли на сердце у нее стало еще тоскливей.

— Тэру-сан счастлива...— полушутя сказала Нобуко, пряча подбородок в воротник кимоно. Но она не могла скрыть проскользнувший в этих словах тон серь-

езной зависти. Однако Тэруко с невинным видом весело засмеялась и сделала сердитые глаза:

— Я вам покажу! — И сейчас же, ласкаясь, добавила: — Ведь и сестрица счастлива. — Эти слова больно резанули Нобуко.

Слегка подняв веки, она возразила:

— Ты думаешь? — Возразив, она сейчас же раскаялась. Изумленный взгляд Тэруко на мгновение встретился со взглядом сестры. На ее лице тоже виднелось с трудом скрываемое раскаяние. Нобуко с усилием улыбнулась: — Я счастлива уже тем, что ты так думаешь.

Наступило молчание. Сидя под отстукивающими секунды стенными часами, они бессознательно прислушивались к бульканью котелка на хибати.

— Разве братец к вам неласков? — немного погодя спросила Тэруко боязливым шепотом. В ее голосе явно слышалось сочувствие. Но в эту минуту душе Нобуко ненавистней всего была жалость. Положив на колени газету, она опустила глаза и ничего не ответила. В газете, как и в тех, что в Осака, писали о ценах на рис.

В это время в затихшей столовой раздался еле слышный плач. Нобуко оторвалась от газеты и увидела за хибати сестру, закрывшую лицо руками.

— Не надо плакать.

Но Тэруко, несмотря на увещевания сестры, все не переставала плакать. Чувствуя жестокую радость, Нобуко молча смотрела на вздрагивающие плечи сестры. Потом, как будто боясь, чтобы не услышала прислуга, нагнулась к Тэруко и тихо проговорила:

— Если я виновата, прости. Если только Тэру-сан счастлива, это мне всего дороже. Право! Если только Сюн-сан любит Тэруко...

Пока она так говорила, голос ее под действием собственных слов постепенно смягчился. Тогда Тэруко вдруг опустила рукав и подняла залитое слезами лицо. В ее глазах сверх ожидания не было ни печали, ни гнева. Их высушила и зажгла непобедимая ревность.

— Почему же сестрица... почему сестрица вчера вечером... — Не договорив, Тэруко опять закрыла лицо руками и судорожно зарыдала...

Два-три часа спустя Нобуко, торопясь попасть к конечной остановке трамвая, снова покачивалась в коля-



ске рикши. Весь видимый ее глазам мир помещался в четырехугольном целлулоидном оконце, прорезанном в поднятом верхе коляски. В оконце медленно, безостановочно уходили назад домики предместья и пожелтевшие ветви деревьев. И неподвижным среди всего этого было только одно покрытое легкими облачками холодное, осеннее небо.

На душе у Нобуко был покой. Но над этим покоем господствовала печальная покорность судьбе. Когда припадок Тэруко прошел, то примирение, вызвав новые слезы, без труда сделало их прежними дружными сестрами. Но случившееся, поскольку оно случилось, все еще тяжело лежало у Нобуко на сердце. И когда, не дожидаясь кузена, она садилась в коляску, ее сердце леденила мысль, что теперь они с сестрой навеки чужие.

Вдруг Нобуко подняла глаза. В целлулоидном оконце показалась фигура кузена, с тросточкой в руках шагавшего по грязной улице. У нее дрогнуло сердце. Остановить коляску? Или проехать мимо? Сдерживая биение сердца, она в своей коляске с поднятым верхом некоторое время бесплодно колебалась. Но расстояние между ней и Сюнкити все сокращалось. Он медленно шел под тусклым солнечным светом по покрытой лужами улице.

«Сюн-сан!» — чуть не сорвалось с ее губ. В самом деле, в эту минуту фигура Сюнкити, такая знакомая ей, очутилась у самой коляски. Она все еще не решалась. И Сюнкити, ничего не подозревая, прошел мимо. Затуманенное небо, там и сям ряды крыш, пожелтевшие ветви деревьев — в оконце опять виднелись только пустынные улицы предместья.

И, ежась под поднятым верхом, всем существом своим ощущая печаль, Нобуко невольно с горечью подумала: «Осень...»

*Апрель 1920 г.*

## МАДОННА В ЧЕРНОМ

«...Из глубины юдоли слез, из  
глубины юдоли скорби, с мольбой  
к тебе зываем... О милосердная и  
всблагая, о несказанно кроткая  
владычица наша, святая Дева  
Мария!»

*(Молитва «Аве Мария»)*

— Ну-с, что вы об этом скажете? — с этими словами Тасиро-кун поставил на стол статуэтку Марии-Каннон.

«Мария-Каннон»... Так принято называть изображение (обычно — из белого фаянса) богини Каннон, которым нередко поклонялись христиане в те времена, когда католическая религия была под запретом. Но статуэтка, которую показывал сейчас Тасиро-кун, отличалась от тех, что хранятся в музеях или у многочисленных частных коллекционеров. Во-первых, фигурка эта, сантиметров тридцати вышиной, вся, за исключением лица, была вырезана из цельного куска дорогого черного дерева. Мало того, традиционное ожерелье на шее — орнамент из крестов, — сделанное тоже чрезвычайно искусно, было инкрустировано перламутром и золотом. И, наконец, лицо — великолепная резьба по слоновой кости, а на губах — алая точка, очевидно, коралл...

Скрестив руки на груди, я некоторое время молча вглядывался в прекрасный лик «Мадонны в черном». И пока смотрел, мне все явственнее чудилось какое-то странное выражение, будто смутно витавшее в чертах

этого вырезанного из кости лица. Впрочем, нет, сказать «странное», пожалуй, слишком слабо. Мне показалось, будто все ее лицо дышит иронической, даже какой-то злобной усмешкой.

— Ну-с, что скажете? — повторил Тасиро-кун, горделиво улыбаясь, как все коллекционеры-любители, и поглядывая то на «Марию-Каннон», то на меня.

— Редкостная вещица! Но не кажется ли вам, что лицо у нее какое-то злое?

— Да, уж кротким и нежным это лицо не назовешь. И в самом деле, с этой Марией-Каннон связана удивительная легенда.

— Удивительная легенда?..— Я невольно перевел взгляд с Марии-Каннон на Тасиро-куна. Неожиданно став серьезным, Тасиро-кун хотел было убрать статуэтку, но тут же поставил ее на прежнее место.

— Да, поговаривают, будто эта Мадонна приносит несчастье... Когда ее просят отвести беду, она насылет еще худшую...

— Не может быть!

— Тем не менее с хозяйкой этой фигурки действительно случилось, как мне рассказывали, нечто подобное.— Тасиро-кун сел и с серьезным, чуть ли не с удрученным видом, жестом пригласил меня занять место напротив.

— Неужели это правда? — опускаясь на стул, с невольным удивлением воскликнул я. Тасиро-кун — мой товарищ, окончивший университет двумя годами раньше меня, известный, талантливый адвокат. К тому же — человек образованный, современный, отнюдь не склонный к суевериям. И если уж такой человек, как он, решается затронуть подобную тему, значит, можно не опасаться, что «удивительная легенда» окажется на поверку пошловатым рассказом о «сверхъестественном».

— Судите сами... Но так или иначе — прошлое у этой Марии-Каннон зловещее. Если не соскучитесь, извольте, я расскажу...

До меня фигурка эта принадлежала богатой семье Ина́ми, уроженцам одного из городов префектуры Ни́ига́та. Фигурку берегли не как раритет, а как божество, охраняющее благополучие дома.

Сам Инами, глава семьи,— мы вместе учились на юридическом факультете,— занимается и коммерцией, и банковскими операциями, одним словом, человек он весьма деловой. А потому и мне пришлось несколько раз оказывать ему кое-какие услуги. Возможно, он хотел меня отблагодарить... Но как бы то ни было, в один из своих очередных приездов в Токио он преподнес мне эту Марию-Каннон, свою старинную фамильную драгоценность.

Тогда-то я и услышал от него удивительную легенду, о которой только что упомянул, хотя сам Инами, разумеется, не верил в какие-то чары или тому подобную мистику. Просто он рассказал мне вкратце предание, связанное с этой Мадонной, так, как слышал его от своей матери.

Случилось это осенью, матери Инами — ее звали о-Эй — исполнилось тогда не то десять, не то одиннадцать лет... По времени это, очевидно, последние годы Казэй, когда «черные корабли» наводили страх на гавань Урага. Той осенью брат о-Эй, восьмилетний Мосаку, захворал корью в очень тяжелой форме. После смерти родителей, погибших несколько лет назад, о-Эй вместе с братом осталась на попечении бабушки, которой было уже за семьдесят. Нетрудно понять, как встревожилась эта старая дама, прабабка нашего Инами. Несмотря на все старания врачей, состояние Мосаку ухудшалось и ухудшалось, и не прошло и недели, как над ребенком нависла угроза смерти.

И вот однажды ночью в комнату крепко спавшей о-Эй неожиданно вошла бабушка; силой разбудив и подняв с постели девочку, она поспешно, без помощи служанок, заставила ее тщательно одеться. О-Эй не успела еще хорошенько проснуться, как бабушка схватила ее за руку и, освещая путь тусклым бумажным фонарем, потащила сонную девочку по безлюдной галерее к каменному амбару, куда и днем-то почти никогда не заглядывала.

В глубине амбара с давних пор стояла белая деревянная божница в честь богини Инáри, охраняющей от пожаров. Бабушка вытащила из-за пояса ключ, открыла двери божницы — там, за парчовыми складками занавески, стояла тускло освещенная бумажным фонарем эта самая Мария-Каннон. Как только о-Эй увидела

статуэтку, ей вдруг почему-то стало страшно; прильнув к бабушке и спрятав голову ей в колени, она горько заплакалась. Однако бабушка, обычно такая ласковая, на сей раз не обратила никакого внимания на слезы девочки, уселась перед божницей и, благоговейно перекрестившись, начала бормотать какие-то молитвы, непонятные о-Эй.

Так прошло минут десять; потом бабушка обняла о-Эй, тихонько заставила ее приподняться и, всячески успокаивая перепуганную девочку, усадила ее рядом с собой. И снова стала молиться, обращаясь к вырезанной из черного дерева фигурке со словами, на этот раз понятными о-Эй:

— Святая Дева Мария, на всем белом свете только и есть у меня, что мой внук Мосаку, которому нынче исполнилось восемь, и вот эта его сестричка о-Эй, — я ее тоже привела к тебе. Ты видишь, она еще слишком мала, чтобы взять ей в дом мужа. И если какая-либо беда стряется теперь с Мосаку, дом Инами с той же минуты лишится продолжателя рода. Не допусти же свершиться такой напасти, охрани и защити жизнь Мосаку! Если же я прошу слишком многого, если я недостойна, чтобы ты внял моей просьбе, то сохрани жизнь Мосаку хотя бы до тех пор, пока я еще живу на этом свете... Я уже стара и навряд ли протяну долго; скоро я вручу свою анима нашему дэусу... Но до тех пор и внучка моя о-Эй, даст бог, подрастет... Пролей же на нас милость, отврати от Мосаку меч, занесенный ангелом смерти, хотя бы до тех пор, пока я не закрою глаза навеки... — Так с жаром молилась бабушка, склонившись стриженной головой.

И вот, по словам о-Эй, когда молитва окончилась и девочка робко приподняла голову, она вдруг увидела — возможно, ей померещилось, — что Мария-Каннон улыбнулась. О-Эй опять тихонько вскрикнула от испуга и снова уткнулась в колени бабушки. Но та, напротив, с довольным видом поглаживая по спине внучку, повторила несколько раз:

— Полно, полно, теперь мы уже можем уйти... Госпожа Мария снизошла к бабушкиной молитве!

Ну, а наутро и в самом деле, словно молитва бабушки и вправду была услышана, жар у Мосаку спал, и если еще вчера он был в полном беспамятстве, то

теперь к нему постепенно возвратилось сознание. Трудно описать радость бабушки. Мать Инами рассказывала, что до сих пор не может забыть, как от радости бабушка и плакала и смеялась одновременно... Убедившись, что больной внучек спокойно спит, бабушка между тем и сама решила немного передсхнуть после нескольких ночей бдения у постели больного. Она велела приготовить себе постель в соседней комнате и легла, хотя обычно спала у себя в спальне.

О-Эй сидела у изголовья бабушкиной постели, играя в блошки. По ее словам, старая женщина, очевидно, измученная усталостью, тотчас же уснула, словно убитая. Так прошло примерно около часа, как вдруг пожилая служанка, ходившая за Мосаку, осторожно приоткрыла раздвижную дверь, отделявшую соседнее помещение, и испуганно позвала:

— Барышня, разбудите-ка поскорей старую госпожу!

Малютка о-Эй тотчас же подошла к бабушке и дернула ее несколько раз за рукав спального кимоно:

— Бабушка, бабушка!

Но странное дело — бабушка, всегда спавшая очень чутко, на этот раз не отвечала, сколько ее ни звали. Тем временем служанка в недоумении приблизилась, но, едва бросив взгляд на спящую, точно безумная схватила ее за кимоно с плачем и отчаянным криком: «Госпожа! Госпожа!» Однако бабушка даже не шевельнулась, только под глазами у нее легли легкие лиловые тени. Вскоре и другая служанка поспешно распахнула дверь и, вся красная от волнения, дрожащим голосом позвала:

— Госпожа!.. Молодой барин... Госпожа!..

Само собой, в словах этой служанки звучал такой испуг, что даже маленькая о-Эй догадалась, — Мосаку неожиданно стало хуже... Но бабушка по-прежнему лежала, крепко закрыв глаза, словно не слыша служанок, с плачем припавших к изголовью ее постели...

Мосаку тоже скончался — минут десять спустя. Мария-Каннон выполнила просьбу бабушки — при ее жизни не убивать Мосаку.

Рассказав эту историю, Тасиро-кун остановил на мне долгий задумчивый взгляд.

— Ну что? Разве вам не верится, что все это правда?

— Мм... Да, но... Трудно сказать...

Некоторое время Тасиро-кун молчал. Затем, поднеся спичку к погасшей трубке, проговорил:

— А мне думается, все так и было. Вот только неизвестно, повинна ли в том Мадонна, хранившаяся в доме Инами, или нечто совсем иное... Впрочем, вы, кажется, еще не прочли надпись на подставке этой фигурки. Взгляните... Видите латинские буквы, вырезанные вот здесь? *Desine fata deum flecti sperare precando...*<sup>1</sup>

Я с невольным страхом взглянул на Марию-Каннон — само олицетворение судьбы. На прекрасном лице мадонны, облаченной в черное дерево, навечно запечатлелась таинственная усмешка, в которой сквозила нескрываемая враждебность.

*Май 1920 г.*

---

<sup>1</sup> Не надейся, что молитвой изменишь предначертание богов (лат.).

РАССКАЗ  
ОБ ОДНОЙ МЕСТИ

ЗАВЯЗКА

Среди вассалов князей Хосокава в Хиго был некий самурай по имени Табка Дзиндайю. Прежде он был ронином дома Ито в Хюга, но затем по рекомендации Найто Сандзаэна, возвысившегося до положения старейшины вассалов у князей Хосокава, был принят на службу к этим князьям в их новых владениях с жалованьем в сто пятьдесят коку.

Весною седьмого года Камбун во время состязания в воинских искусствах он в бою на копьях одолел шестерых самураев. На состязании вместе со своими старшими вассалами присутствовал сам князь Цунато-си; ему очень понравилось, как Дзиндайю владеет копьем, и он пожелал, чтобы было устроено состязание и на мечах. Дзиндайю, взяв бамбуковый фехтовальный меч, опять уложил троих самураев. Четвертым его противником был Сэнума Хёэй, обучавший молодых самураев клана искусству владения мечом. Щадя репутацию его как учителя фехтования, Дзиндайю решил уступить ему победу. Правда, ему хотелось при этом проиграть так искусно, чтобы его намерение уступить победу другому было ясно тем, кто понимает дело. Хёэй, схватившись с Дзиндайю, подметил это намерение и сразу же воспылал злобой к своему противнику. И когда Дзиндайю стал в оборонительную позицию,



Хёэй изо всей силы нанес ему прямой удар. Меч вонзился Дзиндайю в горло, и он тут же свалился навзничь. Вид у него был при этом самый жалкий. Цунатоси, только что похваливший его за искусное владение копьем, после этого состязания нахмурился и не произнес ни слова благодарности.

Поражение Дзиндайю скоро стало предметом разговоров за его спиной.

Что стал бы делать Дзиндайю на поле боя, если бы у него обломали древко копья? Жалкое положение! Он даже фехтовальным мечом не умеет владеть, как порядочный воин.

Такие разговоры сразу же пошли среди самураев клана. Разумеется, сюда примешивались чувства ревности и зависти со стороны равных ему по положению. Что же касается рекомендовавшего его Найто Сандзаэмона, то ему нельзя было просто промолчать перед князем. Поэтому он позвал Дзиндайю и сурово сказал ему:

— Ты так позорно дал себя победить, что дело не может окончиться простым признанием того, что я в тебе ошибся. Либо ты пойдешь на новое — тройное — состязание, либо во искупление своей вины перед князем я сделаю себе харакири.

Воинскую честь Дзиндайю и так уже задевали доходившие до него разговоры. Поэтому он сразу же внял словам Сандзаэмона и подал прошение о своем желании еще раз сразиться с учителем фехтования в тройном поединке.

В скором времени оба они в присутствии князя начали свой поединок. В первой схватке Дзиндайю нанес своему противнику удар в руку; во второй схватке Хёэй нанес удар Дзиндайю в лицо. Но в третьей схватке Дзиндайю опять нанес противнику удар в руку. Цунатоси похвалил Дзиндайю и приказал увеличить его жалованье на пятьдесят коку. Поглаживая вспухшую руку, Хёэй с мрачным видом отошел от князя.

Прошло три-четыре дня, и вот однажды в дождливую ночь один из самураев клана — Кóно Хэйтарó — оказался тайно убитым за оградой храма Сэйгандзи. Хэйтаро был одним из ближайших вассалов князя с жалованьем в двести коку; это был старик, сведущий в счете и письме; судя по его обычному поведению, никак нельзя было предположить, чтобы он мог стать

предметом чьей-либо ненависти. Однако уже на другой день узнали, кто был его враг: в этот день внезапно скрылся Санума Хээй. Дзиндайю и Хэйтаро были разного возраста, но фигуры их были очень схожи. Кроме того, и герб у обоих был один и тот же — цветок мёга в круге. Хээй был введен в заблуждение этим гербом на фонаре, который нес слуга Хэйтаро, освещая дорогу господину; его ввела в заблуждение и фигура Хэйтаро, вдобавок закутанная в плащ и полускрытая зонтом; вот он скоропалительно и убил старика, приняв его за Дзиндайю.

У Хэйтаро был семнадцатилетний наследник Мотомэ. Мотомэ сейчас же решил испросить разрешения отправиться вместе со своим молодым слугой по имени Эгóси Кисабуро, как это было принято у самураев в то время, в путешествие для отмщения. И Дзиндайю, — возможно потому, что он не мог не чувствовать себя ответственным за смерть Хэйтаро, — заявил, что и он хочет пуститься в путь, чтобы оберегать Мотомэ. Подал просьбу о разрешении быть сукэдати и самураем по имени Цудзаки Сакон, у которого с Мотомэ имелся договор быть во всем вместе. Поскольку дело было необычным, Цунатоси на просьбу Дзиндайю согласие дал, но Сакон он не отпустил.

Мотомэ вместе с Дзиндайю и Кисабуро отслужили в седьмой день после кончины Хэйтаро поминальную службу и покинули городок при замке Кумамото, где уже — в здешних теплых краях — осыпались цветущие вишни.

1

Цудзаки Сакон, которому было отказано в просьбе отправиться в качестве сукэдати, два-три дня не выходил из дому. Ему было горько, что договор во всем быть вместе, который они с Мотомэ заключили, оказался всего лишь клочком бумаги. Его весьма удручала также мысль, как бы товарищи не стали за его спиной показывать на него пальцем. Но больше всего его тревожило то, что своего друга Мотомэ он доверил одному лишь Дзиндайю. И вот ночью того дня, когда трое ушедших на отмщение покинули Кумамото, он, не сказавшись

даже родителям и только оставив письмо, ушел из дому, чтобы последовать за своим другом и его спутником Дзиндайю.

Он догнал их сейчас же за самой границей провинции. Путники в это время отдыхали от ходьбы в харчевне на почтовой станции в горах. Простирая руки к Дзиндайю, Сакон стал молить дозволить ему пойти с ними вместе. Дзиндайю сначала был очень суров:

— А я что же, по-твоему, ничего не смыслю в воинском искусстве? — И не похоже было, чтобы он легко согласился.

Однако в конце концов он сдался и, искоса поглядывая на Мотомэ, как будто уступил посредничество Кисабуро и разрешил Сакону присоединиться к ним. Слабый, как женщина, Мотомэ, у которого еще волосы на темени не были сбриты, не мог скрыть, как ему хочется, чтобы Сакон пошел с ними. У Сакона же от радости на глаза навернулись слезы, и он даже к Кисабуро все время обращался со словами благодарности.

Путникам было известно, что у Хёэя в клане Асано есть младшая замужняя сестра; поэтому они начали с того, что переправились через пролив Модзигасэки и пустились в далекий путь по тракту Тюгоку к замку Хиросима. Однако по приходе туда, разузнавая местонахождение своего врага, они из разговоров швеи, работавшей в домах самураев, узнали, что Хёэй побывал в Хиросима, а потом потихоньку ушел в провинцию Иё — в Мацуяма, где у его зятя был знакомый. Поэтому путники нашли корабль из Иё и в самый разгар лета седьмого года Камбун без всяких злоключений добрались до городка при замке Мацуяма.

В Мацуяма все четверо, надвинув низко на глаза амигаса, каждый день бродили повсюду кругом, стараясь напасть на след врага. Но Хёэй, видимо, был осторожен, и открыть его местопребывание оказалось нелегко. Как-то раз Сакон обратил внимание на человека, по одежде — бродячего закладника, который показался ему похожим на Хёэя, и стал за ним следить, но в конце концов выяснилось, что это кто-то совсем другой, не имеющий с Хёэем ничего общего. А тем временем уже подул осенний ветер, и под окнами самурайских домов в призамковом городке из-под густой травы, заполнявшей ров, все шире и шире разливалась вода. От этого

сердца четверых путников все сильнее обуревало нетерпение. Особенно горел желанием встретиться с врагом Сакон; он почти все время — и днями и ночами — бродил по Мацуяма, следя за всем. Ему хотелось, чтобы первый удар меча отмщения был нанесен им. Если бы его опередил Дзиндайю, его репутация воина, который присоединился к остальным, бросив своего господина и родителей, погибла бы. Так он твердо решил про себя.

Однажды, через два с лишним месяца по прибытии в Мацуяма, Сакон проходил по берегу моря у самого городка и заметил, что двое молодых самурайских слуг, сопровождавших какой-то со всех сторон закрытый паланкин, готовят лодку, торопя рыбаков. Когда приготовления были закончены, из паланкина вышел самурай. Он сразу же надвинул на глаза амигаса, но на миг мелькнувшее лицо было, несомненно, лицом Сэнума Хёэя. Сакон на мгновение заколебался: очень жаль, что тот не повстречается здесь с Мотомэ. Но если не убить Хёэя сейчас же, он опять куда-нибудь скроется. А поскольку он поедет морем, то уже совсем невозможно будет его задержать. Придется вызвать его на бой одному.

Сакон решил все это в один миг и, даже не подумав, что следует подготовиться к бою, сорвал с себя амигаса и воскликнул:

— Сэнума Хёэй! Я — Цудзаки Сакон, названный брат Кано Мотомэ, его сукэдати. Узнаешь? — С этими словами он выхватил меч и подскочил к Хёэю.

Но тот, не приподымая амигаса, даже не шевельнулся. Глядя на Сакона, он крикнул:

— погоди! Ты принял меня за другого!

Сакон невольно остановился. В тот же миг рука самурая схватилась за рукоятку меча, и на Сакона обрушился страшный удар. Падая, Сакон наконец ясно различил под низко надвинутой амигаса черты Сэнума Хёэя.

## 2

Оставшиеся трое, невольные виновники убийства Сакона, еще целых два года скитались в поисках врага и прошли почти всю область Токайдó, от самых пристоличных провинций. Однако о Хёэе не было ни слуху ни духу.

Настала осень девятого года Камбун. Вслед за перелетными дикими гусями путники наконец ступили на землю Эдо. Они надеялись, что в Эдо, где всегда бывает много народу — и старых и молодых, и знатных и незнатных, — им удастся что-нибудь узнать об их враге.

Первым делом они устроились в гостинице на одной из внутренних улочек Канда; затем Дзиндайю превратился в бродячего самурая, зарабатывающего на пропитание распеванием уличных песенок; Мотомэ принял облик торговца, который ходит по дворам с корзиной мелочных товаров за плечами; а Кисабуро нанялся на срок в дом хатамото Носэ Соэмона в качестве слуги, носящего за господином его дзори.

Мотомэ и Дзиндайю день за днем ходили по городу. Опытный Дзиндайю, принимая на свой рваный веер подавания, старательно заглядывал во все харчевни и трактиры и был неутомим. Но в душу молодого Мотомэ даже в ясные осенние дни, когда он, скрывая исхудавшее лицо под амигаса, проходил по Нихонбаси, все чаще и чаще закрадывалось уныние: ему начинало казаться, что в конце концов все их усилия отомстить врагу кончатся ничем.

Тем временем со стороны горы Цукуба задул осенний ветер, становилось все холоднее и холоднее, и Мотомэ простудился; у него то и дело начинался жар. Однако, преодолевая озноб, он по-прежнему изо дня в день с корзиной за спиной выходил на торговлю. Дзиндайю при встрече с Кисабуро всегда говорил ему, как стойко держится Мотомэ, чем всегда вызывал слезы у этого преданного молодого слуги. Но ни тот, ни другой не заметили уныния, которое охватило Мотомэ и не давало ему как следует заняться своей болезнью.

Наступила весна десятого года Камбун. С этого времени Мотомэ потихоньку от своих стал посещать публичный дом в Ёсивара. Его подругой там была некая Каэдэ из заведения Идзумия, так называемая «девица второго ранга». Эта женщина всячески угождала Мотомэ независимо от своих обязанностей. Только с Каэдэ он забывал на время гнетущую его душу тоску.

Однажды, когда кругом шли разговоры о цветущих вишнях в Сибуй, он, тронутый сердечностью Каэдэ, признался ей, что задумал месть. И неожиданно для себя услышал от нее, что один самурай, похожий на Хёэя,

вместе с другими самураями из клана Мацуя месяц тому назад приходил погулять в Идзумия. К счастью, в памяти Каэдэ, которой по жребию выпало быть по другой этого самурая, довольно хорошо сохранилось все — от наружности до того, что у него с собой имелось. Более того: из их разговоров она уловила, что в ближайшие два-три дня он собирался покинуть Эдо и направиться в Мацуя. Мотомэ, разумеется, очень обрадовался. Однако при мысли, что, если он снова отправится в путь, ему придется расстаться с Каэдэ на некоторое время, а может быть, и навсегда, мужество покинуло его душу. В этот день он с нею напился, как никогда раньше. А когда он вернулся в гостиницу, у него тут же хлынула горлом кровь.

Со следующего дня Мотомэ слег. Но почему-то он ни словом не обмолвился Дзиндайю о том, что он почти наверняка узнал, где находится его враг. Дзиндайю продолжал ходить за милостыней и в свободные от своих хождений часы всячески ухаживал за больным. Но вот однажды, когда он, обойдя все балаганы на улице Фукия, вернулся вечером в их гостиницу, оказалось, что Мотомэ умер горькой смертью, воткнув себе в живот меч. Он лежал у зажженного фонаря с зажатым в зубах письмом. Потрясенный Дзиндайю развернул письмо. В письме содержались сведения об их враге и излагалась причина самоубийства: «Я слаб и все время болею. Поэтому я и думаю, что не смогу выполнить свое намерение отомстить врагу...» В этом и состояла вся причина. Но в окрашенное кровью письмо было вложено еще другое. Пробежав глазами это второе письмо, Дзиндайю тихонько пододвинул фонарь и поднес огонь к письму. Пламя охватило бумагу, озарив мрачное лицо Дзиндайю.

Это был договор быть вместе и в этом и в будущем мире, который Мотомэ весной этого года заключил с Каэдэ.

### 3

Летом десятого года Камбун Дзиндайю и Кисабуро добрались до городка при замке Мацуя. Когда они ступили на мост Охаси и увидели облачные вершины, громоздившиеся высоко в небе над озером Синдзико, в

душе у них обоих вспыхнуло восхищение этим величием, и они подумали: с той поры, как они оставили свой родной город Кумамото, они встречают вот уже четвертое лето.

Первым делом они устроились на постоялом дворе неподалеку от моста Кёхаси и сразу же на другой день, как всюду, принялись за поиски врага. Уже наступала осень, когда они открыли, что в доме самурая Онти Кодзаэмона, обучавшего воинскому искусству вассалов князей Мацудайра, скрывается самурай, похожий на Хёя. Оба подумали: наконец-то их цель достигнута! Вернее, должна быть достигнута. Особенно Дзиндайю: с того дня, как они узнали об этом, у него в душе неудержимо горели чувства и гнева и радости. Хёэй теперь был враг уже не одного только Хэйтаро; он был врагом и Сакона; он был врагом и Мотомэ. Но еще в большей степени он был ненавистным врагом самого Дзиндайю, врагом, вынудившим его целых три года претерпевать всевозможные тяготы. При этой мысли Дзиндайю,— что было совершенно непохоже на него, всегда спокойного и хладнокровного,— готов был тут же, сейчас же ворваться в дом Онти и вступить в бой.

Но Онти Кодзаэмон был известным по всей области Санъиндо мастером в искусстве владения мечом. К тому же у него было много преданных ему учеников. Поэтому, как ни горячился Дзиндайю, он должен был выждать случая, когда Хёэй выйдет из дома один.

Но такой случай все не представлялся. Хёэй почти безвыходно дни и ночи сидел дома. А тем временем в саду постоялого двора уже отцвели мирты, и солнечные лучи, падающие на камни в саду, становились все бледней. В таком состоянии мучительного нетерпения они встретили годовщину смерти Сакона, убитого три года назад. Кисабуро в этот вечер пошел в находившийся поблизости храм Сёкоин и заказал там поминальную службу. К его большому удивлению, там оказались посмертные таблички с именами Сакона и Хэйтаро. Когда служба окончилась, Кисабуро с самым безразличным видом спросил у служившего монаха об этих табличках. И еще более удивил его ответ монаха: один из приближенных Онти Кодзаэмона, прихожанина их храма, два раза в месяц в дни кончины этих людей всегда приходит сюда для поминовения. «И сегодня он

уже побывал здесь», — добавил ничего не подозревавший монах.

Выходя из храма, Кисабуро чувствовал такую душевную силу, как будто ее дали ему души покойных отца и сына Коно и Сакона.

Слушая рассказ Кисабуро, Дзиндайю радовался тому, что судьба наконец повернулась к нему лицом, но вместе с тем досадовал, как это они до сих пор не заметили, что Хёэй ходит в этот храм. «Через восемь дней будет годовщина смерти моего старого господина. Совершить отмщение именно в день кончины — это, несомненно, сама судьба!» — такими словами Кисабуро закончил свой радостный рассказ.

Подобная же мысль возникла и у Дзиндайю. Но оба они совсем не думали о том, что творилось в душе Хёэя, совершавшего поминовение по их покойникам.

День кончины Хэйтаро все приближался. Оба они, натачивая свои клинки, спокойно ждали этого дня. Теперь вопрос, удастся ли отомстить, уже отпал. Все их мысли были обращены только к этому дню, только к этому часу. Дзиндайю даже обдумал то, как им скрыться после выполнения своего заветного желания.

Наконец наступило утро долгожданного дня. Еще до рассвета оба они снарядились при свете фонаря. Дзиндайю облачился в кожаные штаны с тисненым узором в виде ирисов и куртку из плотной черной чесучи; поверх куртки он накинул украшенное фамильными гербами хаори из такой же материи, под которым были тасуки из тонкого ремня. Из оружия у него были большой меч работы Хасэбэ Норинага и малый меч работы Рай Кумитоси. На Кисабуро хаори не было, он надел на себя простую легкую накидку. Обменявшись чарками холодного сакэ, они расплатились по сегодняшней день и в приподнятом духе вышли из постоянного двора.

Улицы еще были безлюдны. Все же они надвинули амигаса на глаза и направились к воротам храма Сёкоин, давно уже намеченными ими как место отмщения. Но не успели они отойти от своего жилища два-три квартала, как Дзиндайю вдруг остановился и сказал:

— Подожди! При расчете на постоялом дворе нам недодали четырех монов сдачи. Я пойду назад и возьму эти четыре мона.



Кисабуро недовольно заметил:

— Четыре мона! Ведь это же гроши. Стоит ли возвращаться? — Ему хотелось как можно скорее дойти до цели — до храма Сёкоин.

Однако Дзиндайю не слушал.

— Разумеется, не об этой мелочи я думаю. Но ведь до конца века на мне останется позор: самурай Дзиндайю так разволновался перед мстью, что, расплачиваясь на постоялом дворе, ошибся в счете. Ступай вперед! А я вернусь на постоялый двор. — С этими словами он повернул назад. Преклоняясь перед таким самообладанием, Кисабуро, как ему было сказано, в одну ночь поспешил к месту отщепеня.

Вскоре и Дзиндайю присоединился к Кисабуро, ожидавшему его у ворот храма. В тот день в небе плыли легкие облачка, сквозь них пробивались неяркие лучи солнца, время от времени накрапывал дождь. Оба они, каждый по свою сторону ворот, медленно шагали вдоль ограды, над которой уже желтела листва ююбы, и ждали прихода Хёэя.

Но вот уже близился полдень, а Хёэй все не появлялся. Кисабуро не выдержал и спросил у привратника, придет ли сегодня Хёэй в храм. Однако привратник и сам недоумевал, почему он все не идет.

Так, сдерживая биение своих сердец, стояли они за оградой храма. А тем временем час за часом безжалостно проходил. Стали ложиться вечерние тени; в воздухе уныло раздавалось карканье ворон, клевавших плоды ююбы. Потеряв терпение, Кисабуро подошел к Дзиндайю.

— Не сбежать ли мне к дому Онти? — прошептал он. Но Дзиндайю покачал головой и не позволил.

Скоро в небе над воротами храма между облаками там и сям заблистали редкие звезды. И все же Дзиндайю, прислонившись к оградке, упорно ждал Хёэя. В самом деле: Хёэй, возможно, узнал, что его подстерегают враги, и хочет прийти в храм незаметно, когда стемнеет.

Наконец прозвучал колокол первой ночной стражи. Затем прозвучал колокол второй стражи. Они, мокрые от росы, все не отходили от храма.

Хёэй так и не появился.

## РАЗВЯЗКА

Дзиндайю и Кисабуро, перейдя на другой постоянный двор, снова принялись выслеживать Хёэя. Но прошло всего несколько дней, и вдруг у Дзиндайю открылась жестокая рвота и понос. Сильно встревоженный Кисабуро хотел сразу же побежать за врачом, но больной, опасаясь, как бы все не открылось, решительно не позволил ему этого.

Весь день Дзиндайю пролежал в постели, возлагая надежды на купленное в аптеке лекарство. Однако рвота и понос не прекращались. Кисабуро не мог оставаться равнодушным и наконец уговорил больного дать осмотреть себя врачу. Тут же немедленно он обратился к хозяину постоянного двора с просьбой позвать местного врача. Хозяин сейчас же послал за врачом по имени Моруки Рантай, промышлявшим в этих местах своим искусством.

Рантай учился у самого Мукаи Рэйрана и славился как замечательный врач. Но он обладал при этом нравом мужа-самурая, дни и ночи проводил за чаркой и не думал о деньгах:

Взлетает на небо,  
Под облака, в долинах  
Поток глубокий  
Переплывает — вот цапля  
Что делает обычно.

И действительно: обращались к нему за лечением все — от знатнейших вассалов клана до жалких нищих и париев.

Даже не пощупав пульса Дзиндайю, Рантай сразу же определил дизентерию. Однако и лекарства такого знаменитого врача не помогли. Кисабуро, ухаживая за больным, молился о выздоровлении Дзиндайю всем богам. И сам больной долгими ночами, вдыхая дымок от снадобья, варившегося у его изголовья, молился про себя о том, чтобы как-нибудь дожить до исполнения своего заветного желания.

А между тем наступила поздняя осень. Кисабуро по дороге к Рантаю за лекарством часто наблюдал, как в небе летят вереницы перелетных птиц. И вот однажды

в прихожей Рантая он столкнулся с одним самурайским слугою, также пришедшим к Рантаю за лекарством. Из разговоров с ним Кисабуро стало ясно, что больной человек — из дома Онти Кодзаэмона. Когда слуга ушел, Кисабуро обратился к знакомому ученику и спросил:

— Видно, даже такой воин, как Онти-доно, и тот не справляется с болезнью?

— Нет, болен не Онти-доно, а гость, остановившийся у него, — ничего не подозревая, ответил добродушный ученик.

Теперь каждый раз, приходя за лекарством, Кисабуро старался что-нибудь разузнать о Хёэе. И тут, спрашивая все подробнее, он выяснил, что Хёэй с того самого дня — с годовщины смерти Хэйтаро — страдает той же болезнью, что и Дзиндайю. Понятно, что он в тот день не пришел в храм Сёкоин только из-за болезни. Когда Дзиндайю об этом услышал, его болезнь стала для него еще тягостней. Ведь если Хёэй умрет, то как бы он ни хотел убить его в отмщение, это уже никак не удастся. С другой стороны, пусть Хёэй и останется в живых, но если он, Дзиндайю, сам распространится с жизнью, тяготы всех этих лет пойдут прахом. Грызая изголодь, Дзиндайю молился о своем выздоровлении и вместе с тем не мог не молиться и о выздоровлении своего врага Сэнума Хёэя.

Однако судьба была жестока к Таока Дзиндайю до конца. Болезнь его все обострялась, и не прошло и десяти дней с тех пор, как он стал принимать лекарства Рантая, а его состояние стало таким, что не сегодня-завтра мог наступить конец. Но, даже тяжело страдая, он ни на мгновение не забывал о мести. Кисабуро слышал, как сквозь стоны больного прорываются слова: «Великий бодисатва Хатиман!» Однажды ночью, когда Кисабуро, как обычно, давал больному лекарство, Дзиндайю, пристально глядя на него, слабым голосом позвал:

— Кисабуро! — И, помолчав, произнес: — Жизнь моя кончена.

Кисабуро в отчаянии, упершись руками в циновку на полу, не в силах был даже поднять головы.

На следующий день Дзиндайю вдруг, под влиянием какой-то мысли, послал Кисабуро за Рантаем. Рантай,

от которого и в этот день несло запахом сакэ, тотчас же пришел к больному.

— Примите мою признательность за столь долгую заботу обо мне,— с трудом проговорил Дзиндайю при виде врача, приподнявшись на своем ложе.— Но мне бы хотелось, пока я еще жив, попросить вас об одном деле. Вы выслушаете меня?

Рантай с готовностью кивнул головой. И Дзиндайю, поминутно прерываясь, рассказал ему все о мести, ради которой они высматривали Санума Хёэя. Голос его был едва слышен, но каждое слово в его длинном рассказе звучало как должно. Рантай, сдвинув брови, внимательно слушал. Закончив рассказ, Дзиндайю, задыхаясь, спросил:

— Последнее в этой жизни: я хотел бы знать, каково состояние Хёэя? Он еще жив?

Кисабуро уже плакал. И Рантай, слыша эти слова, не мог удержать слез. Придвинувшись к больному, он нагнулся к самому его уху и проговорил:

— Будьте покойны. Хёэй-доно скончался. Сегодня утром в час Тигра я сам присутствовал при его смерти.

На лице Дзиндайю показалась улыбка. И вместе с ней на исхудавшей щеке холодно блеснула слеза.

— Хёэй! Хёэй! Счастлив твой бог,— с горечью пробормотал Дзиндайю и, словно желая поблагодарить Рантая, склонил на постель свою голову со спутанными волосами.

И — его не стало.

В конце десятого месяца по лунному календарю десятого года Камбун слуга Кисабуро, простившись с Рантаем, направился в обратный путь, на родину в Кумамото. В дорожной корзинке за плечами у него были пряди волос трех человек — Сакона, Мотомэ и Дзиндайю.


## ЭПИЛОГ

В первом месяце одиннадцатого года Камбун на кладбище храма Сёкоин в Мацуя были поставлены четыре плиты в память умерших. Тот, кто их поставил, видимо, тщательно скрывался, и ни один человек не знал, кто он. Но когда эти плиты были установлены, ранним утром в ворота храма вошли двое, по облику монахи, с

ветками цветущих слив в руках. Один из них был известный в городке при замке Маруки Рантай. Другой — изможденный болезнью человек очень жалкого вида, в осанке которого все же чувствовалось что-то самурайское. Пришедшие положили ветки сливы у плит. Затем окропили каждую из четырех плит жертвенной водой и ушли.

Прошли года. На праздник святого Эрина в храм Обаку явился странствующий монах, очень похожий на изможденного болезнью человека, тогда посетившего кладбище. Кроме того что в монашестве его нарекли Дзюнкаку, о нем не было известно ничего.

*Май 1920 г.*



---

## СУСАНОО-НО-МИКОТО НА СКЛОНЕ ЛЕТ

### 1

Победив змея из Коси, Сусаноо-но-микото взял себе в жены Кусина́да-химэ и стал главою поселения, которым правил Асинацути.

Асинацути построил для молодых громадный дворец в Сүга в области Идзумо. Дворец был так высок, что верхние концы скрепленных крест-накрест балок его крыши скрывались за облаками.

Сусаноо спокойно зажил с молодой женой. Опять волновали его и голоса ветра, и всплески моря, и сияние звезд на ночном небе. И он не мог больше скитаться по бескрайним просторам древней земли. Под сенью этого дворца, в комнате, где красно-белые стены были расписаны сценами из охотничьей жизни, Сусаноо, готовившийся уже стать отцом, впервые в жизни познал счастье семейного очага, счастье, которого он не изведал в стране Такáмагахара.

Он ел вместе с женой, с ней обсуждал планы на будущее. Иногда они выходили в дубовый лес, окружавший дворец, и, ступая по опавшим цветам дуба, слушали чарующее пение птиц. Сусаноо был нежен со своей женой. Ни в голосе, ни в движениях, ни во взгляде его никак не проявлялась его прежняя воинственность.

Впрочем, иногда во сне образ кишащих во мраке чудовищ, блеск меча, зажатого в невидимой руке, вновь оживляли ощущения кровавой схватки. Но стоило проснуться, как мысль сразу же обращалась к жене, к делам поселения, и кошмар начисто забывался.

Вскоре у них родился сын. Сусаноо назвал его Ясимадзинуми. Мальчик, красивый и с мягким характером, был больше похож на мать, чем на отца.

А время текло, как течет вода в реке.

Сусаноо женился еще много раз, и у него родилось еще много сыновей. Став взрослыми, сыновья шли по его приказу во главе войска покорять поселения в разных странах.

Слава о Сусаноо распространялась все дальше и дальше, по мере того как росло число его сыновей и внуков. Поселения разных стран одно за другим слали ему дань. На судах, доставлявших дары, вместе с шелком, мехами, яшмой приезжали и люди, чтобы посмотреть на дворец в Суга.

Однажды среди приезжих Сусаноо обнаружил трех молодых людей из страны Такамагахара. Все трое были атлетически сложены, как и он в свое время. Сусаноо пригласил их во дворец и сам угощал сакэ. Никому еще этот суровый повелитель не оказывал такого приема. Поначалу молодые люди испытывали некоторый страх, не понимая, зачем их пригласили во дворец. Но когда сакэ возымело свое действие, они, как и ожидал Сусаноо, затянули песни страны Такамагахара, аккомпанируя себе ударами по днищу перевернутых кувшинов из-под сакэ.

Когда они покидали дворец, Сусаноо достал меч и сказал им:

— Это меч, который я извлек из хвоста дракона в Коси, когда победил его. Вручаю этот меч вам. Передайте его вашей повелительнице.

Молодые люди приняли меч и, преклонив колена, поклялись, что скорее умрут, нежели нарушат приказ.

А потом Сусаноо, выйдя один на берег моря, смотрел, как постепенно исчезал за высокими волнами парус увозившего их судна. Выхваченный солнечным лучом из дымки тумана, парус, казалось, плыл по небу.

Но смерть не миновала дома Сусаноо.

Когда Ясимадзинуми вырос и превратился в благовоспитанного молодого человека, Кусинада-химэ внезапно заболела и спустя месяц ушла из жизни. У Сусаноо было несколько жен, но только Кусинада-химэ любил он, как самого себя. Поэтому, когда была готова усыпальница, он семь дней и семь ночей молча лил слезы, сидя у еще прекрасного тела своей жены.

Дворец огласили стенания. Особенно печалилась единственная сестра Ясимадзинуми — Сусэри-химэ, ее непрерывные причитания вызывали слезы даже на глазах посторонних, проходивших мимо дворца. Так же как брат был похож на мать, Сусэри-химэ характером своим походила на отца, безудержного в своих порывах.

Вскоре прах Кусинада-химэ вместе с драгоценностями, зеркалами и одеждой, которыми она пользовалась при жизни, захоронили под холмом недалеко от дворца Суга. Не забыл также Сусаноо положить в могилу одиннадцать ее служанок, которые должны были утешать Кусинада-химэ на пути в страну духов. Служанки умирали безропотно и быстро. А наблюдавшие это старики хмурили брови и втайне осуждали Сусаноо:

— Всего одиннадцать! Наш повелитель пренебрегает древними обычаями. Скончалась первая жена, а с ней идут в страну духов одиннадцать служанок! Как можно! Всего одиннадцать!

Когда все похоронные церемонии были кончены, Сусаноо неожиданно принял решение передать власть Ясимадзинуми. Сам же вместе с Сусэри-химэ переселился за море, в далекую страну Нэногатасу.

Он поселился на безлюдном острове, привлеченный его красотой еще во время скитаний. На холме в южной части острова он построил крытый тростником дворец и решил тихо прожить в нем остаток своих дней.

Волосы у Сусаноо поседели и приобрели цвет конопля. Но в его глазах время от времени вспыхивали живые огоньки, свидетельствовавшие о том, что старость еще не коснулась его души. Можно даже сказать, что выглядел он более воинственным, чем тогда, когда



жил в Суга. Он не замечал, что после переезда на остров дремавшие в нем до сих пор темные силы вновь пробудились.

Вместе с дочерью Сусэри-химэ Сусаноо разводил пчел и змей. Пчел — чтобы получать мед, а змей — чтобы добывать смертоносный яд, которым смазываются наконечники стрел. Во время охоты и рыбной ловли он обучал Сусэри-химэ приемам владения оружием и колдовству. Такая жизнь закалила Сусэри-химэ. Она ни в чем не уступала мужчине. И только ее внешность сохраняла благородную красоту, унаследованную от Кусинада-химэ.

Много раз зеленели и вновь опадали листья на деревьях мѹку в роще вокруг дворца. И всякий раз на заросшем бородой лице Сусаноо прибавлялись новые морщины, а постоянно улыбающиеся глаза Сусэри-химэ становились все более ясными.

### 3

Однажды, когда, сидя под деревом муку перед дворцом, Сусаноо свеживал большую оленью тушу, ходившая за морской водой Сусэри-химэ вернулась в сопровождении незнакомого молодого человека.

— Батюшка, я только что повстречала этого господина и проводила его сюда.

С этими словами она подвела молодого человека к Сусаноо, который только тогда поднялся со своего места.

Молодой человек был красив и широк в плечах. Шею его украшали красные и зеленые ожерелья из яшмы, у пояса висел широкий меч. Так выглядел сам Сусаноо в свои молодые годы.

В ответ на почтительный поклон Сусаноо грубо спросил:

— Как твое имя?

— Меня зовут Асихарасикоó.

— Зачем ты приплыл на этот остров?

— Я пристал, чтобы запастись продовольствием и водой.

Молодой человек отвечал на вопросы спокойно и ясно.

— Ну, что же. Можешь пройти туда и поесть. Сусэри-химэ, проводи его.

Они вошли во дворец, а Сусаноо в тени дерева опять принялся за оленью тушу, искусно орудуя ножом. Незаметно им овладело смутное беспокойство, как будто над морем в погожий день появилось облачко, предвещавшее бурю.

Когда, покончив с тушей, Сусаноо вернулся во дворец, уже смеркалось. Он поднялся по широкой лестнице, с которой сквозь белый занавес, закрывавший вход, видна была большая зала. Сусэри-химэ и Асихарасикоо поспешно поднялись с сугадатами, совсем как вспугнутые птички из гнезда. Сусаноо с недовольным выражением на лице медленно вошел в залу. Бросив на Асихарасикоо злой взгляд, он обратился к нему, и слова его прозвучали почти как приказ:

— Сегодня ты можешь заночевать у нас, чтобы немного отдохнуть.

Асихарасикоо ответил радостным поклоном, но его движения не могли скрыть чувства смутной тревоги.

— Тогда иди устраивайся на ночлег. Сусэри-химэ! — Сусаноо обернулся к дочери и с презрением в голосе сказал: — Проводи гостя в пчельник.

Сусэри-химэ побледнела.

— Может быть, ты поторопишься! — как разъяренный медведь взревел отец, видя, что она медлит.

— Иду. Пожалуйте сюда.

Асихарасикоо еще раз отвесил почтительный поклон и весело вышел из залы вслед за Сусэри-химэ.

#### 4

Когда они вышли из залы, Сусэри-химэ сняла с плеч платок и, давая его Асихарасикоо, прошептала:

— Когда войдете в пчельник, взмахните им три раза. Пчелы тогда не будут жалить.

Асихарасикоо не понял, что означали ее слова. Но спрашивать было некогда, так как Сусэри-химэ уже открыла маленькую дверь и ввела его в помещение.

Внутри было совсем темно. Асихарасикоо хотел было ощупью найти Сусэри-химэ. Он коснулся кончиками пальцев ее волос. В следующее мгновение хлопнула поспешно закрытая дверь.

Он так и остался стоять в растерянности с платком в руке. Немного погодя его глаза начали привыкать к темноте. Внутри было не так темно, как ему показалось сначала.

В тусклом свете он увидел множество свисавших с потолка пчелиных ульев, каждый величиной с большую бочку. А по этим ульям лениво ползали громадные пчелы, каждая больше, чем его меч, висевший у пояса.

Асихарасикоо непроизвольно отпрянул назад и бросился к двери. Но как он ни старался, дверь не поддавалась. Тем временем одна из пчел спустилась на пол и с глухим жужжанием стала приближаться к нему.

Асихарасикоо попытался раздавить ее, прежде чем она подползет. Но пчела с еще более громким жужжанием поднялась до уровня его головы. И другие пчелы, потревоженные присутствием человека, словно стрелы, летящие навстречу ветру, тучей устремились на него...

Сусэри-химэ вернулась в залу и зажгла прикрепленный к стене сосновый факел. Яркое красноватое пламя осветило Сусаноо, лежавшего на плетеной из осоки татами.

— Ты действительно отвела его в пчельник? — по-прежнему злобно спросил Сусаноо, пристально глядя в глаза дочери.

— Я еще не нарушала ваших приказаний, отец.

Сусэри-химэ, избегая отцовского взгляда, села в углу.

— Да? И, надеюсь, в будущем тоже не нарушишь? — спросил Сусаноо, и в его словах прозвучали иронические нотки. Но Сусэри-химэ, занятая своим ожерельем, ничего не ответила. — Ты молчишь? Значит, ты собираешься послушаться меня?

— Нет. Но почему вы, отец, так...

— А если не собираешься, то я хочу кое-что сказать тебе. Имей в виду, что я не позволю тебе выйти замуж за этого молодца. Дочь Сусаноо может быть женой только такого человека, который пользуется доверием Сусаноо. Понятно? Запомни это хорошенько!

А поздно ночью, когда Сусаноо уже спал, громко храпя, Сусэри-химэ, одинокая и печальная, все еще сидела у окна, наблюдая, как бесшумно погружается в море красноватый месяц.

На следующее утро Сусаноо, как всегда, отправился на скалистый берег моря искупаться. Неожиданно для себя он увидел Асихарасикоо, бодрым шагом спускавшегося вслед за ним со стороны дворца.

Весело улыбаясь, Асихарасикоо приветствовал его:

— Доброе утро.

— Ну как, хорошо ли спалось?

Стоя на выступе скалы, Сусаноо испытующе посмотрел в лицо Асихарасикоо. В самом деле, почему этого жизнерадостного молодого человека не тронули пчелы? Это не входило в расчеты Сусаноо.

— Спасибо. Благодаря вам я хорошо выпался.

Отвечая так, Асихарасикоо поднял лежавший у его ног обломок скалы и что есть силы бросил его в сторону моря. Камень описал большую дугу и скрылся в розовых облаках. Он упал в море так далеко от берега, что сам Сусаноо вряд ли мог бы его туда добросить.

Закусив губу, Сусаноо проводил взглядом летящий камень.

Они вернулись с моря и сели завтракать. И тогда Сусаноо, мрачно глодавший оленью ногу, сказал сидевшему напротив Асихарасикоо:

— Если тебе нравится здесь, можешь остаться еще на несколько дней.

Сусэри-химэ, находившаяся тут же, незаметно подала Асихарасикоо знак, чтобы он отказался от этого коварного приглашения. Но Асихарасикоо, внимание которого было поглощено блюдом с рыбой, не заметил ее знака и радостно ответил:

— Спасибо. Я бы провел у вас еще дня два или три.

К счастью, после обеда Сусаноо задремал. Воспользовавшись этим, влюбленные выскользнули из дворца и, найдя уединенное место на берегу моря, среди скал, там, где была привязана пирога Асихарасикоо, торопливо вкусили счастья. Лежа на ароматных водорослях, Сусэри-химэ некоторое время, как зачарованная, смотрела на Асихарасикоо, а потом, высвободившись из его объятий, с беспокойством сказала:

— Оставаться еще на ночь опасно. Не думайте обо мне, бегите отсюда как можно скорее.

Но Асихарасикоо улыбнулся и, как ребенок, упрямо покачал головой:

— Пока ты здесь, я не уеду, пусть даже мне грозит смерть.

— Но если с вами случится несчастье...

— А ты согласна немедленно бежать со мной?

Сусэри-химэ не могла решиться на это.

— Тогда я остаюсь.

Асихарасикоо попытался было еще раз привлечь ее к себе. Но Сусэри-химэ отстранила его и быстро встала.

— Отец зовет,— сказала она тревожно и с легкостью молодой косули побежала по направлению ко дворцу.

Асихарасикоо, все еще улыбаясь, проводил ее взглядом. И тут он заметил на месте, где лежала Сусэри-химэ, оброненный ею платок, такой же, как тот, что он получил вчера.

## 6

Вечером Сусаноо сам проводил Асихарасикоо в помещении, расположенное напротив пчельника.

Как и накануне в пчельнике, здесь было уже совсем темно. Только одним отличалось это помещение: в темноте сверкали многочисленные точки, будто драгоценные камни, скрытые в недрах земли.

Асихарасикоо, которому светящиеся точки показались подозрительными, подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Когда же вокруг немного посветлело, эти похожие на звезды точки оказались глазами чудовищных змей, таких громадных, что они могли бы заглотать и лошадь. Помещение кишело змеями. Они висели на поперечных балках, обвивали стропила, лежали, свернувшись спиралью, на полу.

Асихарасикоо непроизвольно схватился за меч. Но если, обнажив меч, он и сразит одну змею, другая без труда его задушит. Одна змея уже стала снизу подбираться к его лицу, а другая, еще больших размеров, висевшая на балке, извиваясь потянулась к его плечу.

Дверь, конечно, заперта. За ней, наверное, стоит этот зло улыбающийся седовласый Сусаноо и, приложив ухо, слушает, что происходит внутри. Асихарасикоо застыл на месте, изо всех сил сжимая рукоятку меча и лишь поводя глазами. Тем временем змея, свернувшаяся громадным клубком у его ног, подняла голову еще выше, с явным намерением схватить его за горло.

Тут Асихарасикоо осенило. Вчера, когда на него тучей набросились пчелы, он взмахнул платком Сусэрихимэ и спас себе жизнь. Может быть, платок, забытый Сусэрихимэ на прибрежной скале, тоже обладает чудесным свойством? Он моментально выхватил платок и трижды взмахнул им...

На следующее утро у скалистого берега моря Сусаноо опять повстречал Асихарасикоо, еще более довольного, чем накануне.

— Ну как, хорошо ли спалось?

— Да, благодаря вам я хорошо выспался.

Раздражение переполняло Сусаноо. Он бросил злобный взгляд на своего собеседника, но овладел собой. Слова его прозвучали искренне:

— Это хорошо. Давай теперь поплаваем вместе.

Они разделись и бросились в бурное на рассвете море. Сусаноо еще в стране Такамагахара был непревзойденным пловцом. Асихарасикоо тоже чувствовал себя в воде, как дельфин. Их головы, черная и белая, с одинаковыми прическами мидзура, как две утки, быстро удалялись от отвесных скал берега.

## 7

Вздыбленное волнами море сеяло похожую на снег пену. Сусаноо среди брызг и пены то и дело злобно поглядывал в сторону Асихарасикоо. Но тот все плыл и плыл вперед, и самые высокие волны не страшили его.

Вскоре Асихарасикоо стал понемногу обгонять Сусаноо. Стиснув зубы, Сусаноо старался не отстать. Но набежало несколько больших пенистых волн, и его противник легко вырвался вперед. А потом он и вовсе исчез из виду за гребнями волн.

«А я-то надеялся утопить его в море!» — подумал Сусаноо и почувствовал, что не обретет покоя, пока не

убьет Асихарасикоо.— Негодяй! Пусть этого проходимца сожрут крокодилы!

Но вскоре Асихарасикоо, легко держась на воде, будто он сам был крокодилом, вернулся назад.

— Поплаваем еще? — качаясь на волнах, крикнул он издали с неизменной улыбкой на лице. Однако Сусаноо, несмотря на все свое упрямство, не хотел больше плавать...

В тот же день после полудня Сусаноо отправился с Асихарасикоо в западную равнинную часть острова поохотиться на лисиц и зайцев.

Они поднялись на скалу на краю равнины. Насколько хватал глаз, равнина была покрыта сухими травами, колебавшимися, как волны от ветра. Сусаноо помолчал немного, любясь открывшейся их взорам картиной, а потом приложил стрелу к луку и обернулся к Асихарасикоо:

— Ветер, правда, немного мешает... Но все-таки чья стрела улетит дальше? Давай состязаться в стрельбе из лука.

— Что же, давайте.

По-видимому, в искусстве стрельбы из лука Асихарасикоо тоже чувствовал себя уверенно.

— Готов? Стрелять будем одновременно!

Стоя рядом, они изо всех сил натянули тетиву и одновременно отпустили ее. Стрелы полетели над волнующейся равниной по прямой линии. Не обгоняя друг друга, они сверкнули на солнце и, вдруг подхваченные ветром, одновременно скрылись вдали.

— Ну как, чья взяла?

— Трудно сказать. Давайте попробуем еще раз.

Сусаноо, нахмутив брови, с раздражением покачал головой.

— Сколько ни пробуй, результат будет тот же. Лучше, не считй за труд, сбегай принеси мою стрелу. Я очень дорожу этой лакированной стрелой, она из страны Такамагахара.

Асихарасикоо послушно бросился в заросли шумевшей на ветру высокой сухой травы. А Сусаноо, как только он скрылся из виду, быстро достал из висевшего на поясе мешочка кремь и огниво и зажег сухой терновник под скалой.

В мгновение ока над бесцветным пламенем поднялись густые клубы черного дыма. А под дымом громко трещал терновник и загоровшиеся побеги бамбука.

— На этот раз я покончу с ним!

Сусаноо стоял на высокой скале, опершись на лук, и губы его кривились в жестокой усмешке.

Огонь распространялся все дальше и дальше. Птицы с жалобными криками взлетали в красно-черное небо. Но тут же, охваченные пламенем, они падали обратно на землю. Издали казалось, будто это опадают с деревьев бесчисленные плоды, срывааемые набравшей бурей.

— На этот раз я покончу с ним! — еще раз удовлетворенно вздохнул Сусаноо, но при этом на него нахлынуло неизъяснимое смутное чувство грусти...

Вечером того же дня довольный своей победой Сусаноо стоял у ворот дворца со скрещенными на груди руками и смотрел на небо, по которому все еще плыли клубы дыма. Подошла Сусэри-химэ, чтобы сказать, что ужин готов. На ней было выделявшееся в сумерках белое траурное одеяние, как если бы она похоронила близкого родственника.

При виде опечаленной Сусэри-химэ Сусаноо вдруг захотелось поиздеваться над ее горем.

— Посмотри на небо. Асихарасикоо сейчас...

— Я знаю.

Сусэри-химэ стояла, потупив взор, и твердость, с которой она прервала отца, была неожиданной.

— Вот как? Тебе, наверное, грустно?

— Да, очень. Даже если бы вы, отец, скончались, мне не было бы так грустно.

Сусаноо изменился в лице и злобно взглянул на дочь. Но почему-то он не смог наказать ее за дерзость.

— Если тебе грустно, плачь. — Он резко повернулся и, широко шагая, направился во дворец. Поднимаясь по лестнице, он раздраженно шелкнул языком: — В другой раз я бы и говорить не стал, просто побил бы...

После его ухода Сусэри-химэ некоторое время смотрела полными слез глазами на охваченное заревом вечернее небо, а потом, понуря голову, побрела назад.



В эту ночь Сусаноо никак не мог уснуть. Гибель Асихарасикоо терзала его душу.

— Сколько раз замышлял я убить его! Однако не испытывал еще такого странного чувства, как сегодня...

Он без конца ворочался на зеленой благоухающей сугадатами. Но сон все не шел.

А тем временем над темным морем уже занималась печальная холодная заря.

9

Это случилось на следующий день, когда утреннее солнце полностью осветило море. Невыспавшийся Сусаноо, щурясь от яркого света, медленно вышел из дома и на ступеньках — вот чудо! — увидел Асихарасикоо, который, сидя рядом с Сусэри-химэ, о чем-то весело с ней болтал.

Увидев Сусаноо, молодые люди испугались. Но Асихарасикоо вскочил со своей обычной живостью и, протягивая лакированную стрелу, сказал:

— Вот. Я нашел вашу стрелу.

Сусаноо еще не оправился от изумления. Но он почему-то почувствовал радость, видя Асихарасикоо невредимым.

— К счастью, ты не пострадал?

— Да, я спасся совсем случайно. Пожар наступил меня, как раз когда я подобрал эту стрелу. Я бросился бежать сквозь дым в ту сторону, где еще не было огня. Но как ни спешил, так и не смог обогнать пламя, раздуваемое западным ветром... — Асихарасикоо на мгновение остановился и улыбнулся слушавшим его отцу и дочери. — Я уже решил, что пришел конец. Но в это время земля у меня под ногами неожиданно провалилась, и я очутился в большой пещере. Сначала вокруг было совсем темно, но когда сухая трава по краям загорелась, пещера осветилась до самого дна, и я увидел множество полевых мышей. Их было столько, что под ними скрылась земля...

— Хорошо, что мыши. А окажись это гадюки...

В глазах Сусэри-химэ сверкнули одновременно и слезы и улыбка.

— С мышами тоже шутки плохи. Видите, на стреле нет перьев. Это мыши отгрызли. Но, к счастью, пожар благополучно прошел над пещерой.

Слушая рассказ, Сусаноо снова почувствовал, как растет в нем ненависть к этому удачливому юноше. И еще почувствовал, что, пока он, однажды решивший убить этого юношу, не добьется своей цели, его гордость, гордость человека, ни разу в жизни не знавшего поражений, будет уязвлена.

— Что же, тебе повезло. Хотя, знаешь, удача как ветер: неизвестно, когда изменит направление... Впрочем, это не важно. Главное — ты спасся. А теперь пойдём во дворец, поищи мне, пожалуйста, в голове.

Асихарасикоо и Сусэри-химэ ничего не оставалось, как последовать за ним в залу, за освещенную солнцем белую занавеску.

Сусаноо, не в духе и злой, сел, скрестив ноги, посреди залы и распустил свою прическу мидзура. Волосы его, цветом напоминавшие сухой камыш, были длинными, как река.

— Насекомые у меня не простые.

Не обратив внимания на эти слова, Асихарасикоо принялся расчесывать волосы Сусаноо, намереваясь давить насекомых, как только найдет их. Но тут он увидел, что у корней волос копошатся большие, медного цвета ядовитые сколопендры.

## 10

Асихарасикоо растерялся. Тогда находившаяся рядом Сусэри-химэ незаметно положила ему в руку пригоршню плодов дерева муку и красной глины. Асихарасикоо принялся разгрызать плоды муку, смешивал их во рту с глиной и выплевывал на пол, будто и в самом деле уничтожал сколопендр.

Тем временем Сусаноо, плохо спавший ночью, незаметно задремал...

Ему снилось, что, изгнанный из страны Такамагара, он поднимается в гору по крутой каменистой дороге и ногти на его ногах содраны о камни. Папоротник между скалами, крики ворон, холодное, стального цвета небо — все вокруг мрачно.

— В чем я виноват? Я сильнее их. А разве это преступление быть сильнее? Это они виноваты, ревнивые двуличные люди, не достойные быть мужчинами.

Возмущаясь так, Сусаноо продолжает свой трудный путь. Но вот на дороге, на большой скале, похожей на панцирь черепахи, он видит белое металлическое зеркало с шестью колокольчиками. Он подходит и заглядывает в него. В зеркале отчетливо отражается молодое лицо. Но это не его лицо, это лицо Асихарасикоо, которого он столько раз пытался убить...

Здесь Сусаноо проснулся. Открыв глаза, он огляделся вокруг. Зала была залита ярким утренним солнцем, но ни Асихарасикоо, ни Сусэри-химэ не было. Он увидел, что волосы его, разделенные на три пряди, привязаны к потолочным балкам.

— Негодяй!

Сусаноо все сразу понял, издал воинственный крик и что есть силы тряхнул головой. На крыше дворца раздался оглушительный грохот — это треснули балки, к которым были привязаны его волосы. Но Сусаноо и ухом не повел. Он протянул правую руку и взял свой тяжелейший небесный лук для охоты на оленей. Протянул левую руку и взял колчан с небесными стрелами. Потом он напряг ноги, разом поднялся и, волоча за собой рухнувшие балки, с гордо поднятой головой вышел из дворца.

Роца деревьев муку вокруг дворца задрожала от его шагов. Даже белки попадали с деревьев на землю. Как ураган, пронесся он по роце.

Там, где кончалась роца,— обрыв, под обрывом — море. Сусаноо вышел на край обрыва и обвел взглядом морскую ширь, приложив ладонь к глазам. Синее море придавало легкий синеватый отсвет солнечному диску. А среди волн, удаляясь все дальше и дальше от берега, плыла знакомая пирога.

Сусаноо, стоявший опершись на лук, всмотрелся в нее. Лодка, как бы поддразнивая его, легко скользила по волнам под маленьким парусом из циновки. Он отчетливо видел, что на корме стоит Асихарасикоо, а на носу — Сусэри-химэ.


Сусаноо хладнокровно вложил небесную стрелу в свой небесный лук. Натянул лук и нацелил стрелу на лодку. Но стрела никак не срывалась с тетивы. В глазах

Сусаноо появилось что-то похожее на улыбку. На улыбку? И в то же время в них стояли слезы... Пожав плечами, он отбросил лук и, не в силах более сдерживаться, разразился громким, как гул водопада, смехом.

— Я благословляю вас! — С высокого обрыва Сусаноо махнул им рукой. — Будьте сильнее меня! Будьте умнее меня! Будьте... — Сусаноо остановился на мгновение и продолжал напутствовать их низким, сильным голосом: — Будьте счастливее меня!

Его слова разносились ветром по морю. И в этот момент Сусаноо был более спокоен и величав, более походил на небесного бога, чем тогда, когда воевал с Охирумэмути, когда был изгнан из страны Такамагара, когда победил змея из Коси.

*Май 1920 г.*



---

## НАНКИНСКИЙ ХРИСТОС

### 1

Была осенняя полночь. В Нанкине в доме на улице Циванцзе сидела бледная девушка-китаянка и, облокотившись на старенький стол, со скучающим видом грызла арбузные семечки, которые брала с лакированного подносика.

Лампа на столе светила слабо. Ее свет не столько рассеивал темноту, сколько усугублял унылый вид комнаты. В углу у стены с ободранными обоями свешивался пыльный полог над тростниковой кроватью, небрежно накрытой шерстяным одеялом. По другую сторону стола стоял, как будто позабытый, старенький стул. Кроме этих вещей, самый внимательный взгляд не обнаружил бы ничего, что могло бы служить украшением комнаты.

Но время от времени девушка переставала грызть семечки и, подняв ясные глаза, пристально смотрела на противоположную стену: в самом деле, там прямо перед ней на крючке скромно висело маленькое бронзовое распятие. А на нем смутной тенью вырисовывался полустертый незатейливый барельеф, изображавший распятого Христа с высоко раскинутыми руками. Каждый раз, когда девушка смотрела на этого Иисуса, выражение грусти за длинными ресницами на мгновенье исчезало, и вместо него в ее глазах загорался

луч наивной надежды. Но девушка сейчас же отводила взгляд, каждый раз вздыхала, устало поводила плечами, покрытыми кофтой из черного шелка, и снова принималась грызть арбузные семечки.

Девушку звали Сун Цзинь-хуа, это была пятнадцатилетняя проститутка, которая, чтобы свести концы с концами, по ночам принимала в этой комнате гостей. Среди многочисленных проституток Циньвая девушек с такой наружностью, как у нее, безусловно, было много. Но чтобы нашлась другая с нравом столь же нежным, как у Цзинь-хуа, во всяком случае, сомнительно. Она, — в отличие от своих товарок, других продажных женщин, — не лживая, не взбалмошная, с веселой улыбкой развлекала гостей, каждую ночь посещавших ее угрюмую комнату. И если их плата изредка оказывалась больше условленной, она радовалась, что может угостить отца — единственного близкого ей человека — лишней чашечкой его любимого сакэ.

Такое поведение Цзинь-хуа, конечно, объяснялось ее характером. Но имелась еще и другая причина, а именно: она с детства придерживалась католической веры, в которой ее воспитала покойная мать, о чем свидетельствовало висевшее на стене распятие.

Кстати сказать, как-то раз у Цзинь-хуа из любопытства провел ночь молодой японский турист, приехавший весной этого года посмотреть шанхайские скачки и заодно полюбоваться видами Южного Китая. С сигарой в зубах, в европейском костюме, он беспечно обнимал маленькую фигурку Цзинь-хуа, сидевшую у него на коленях, и, случайно заметив крест на стене, недоверчиво спросил на ломаном китайском языке:

— Ты что, христианка?

— Да, меня крестили пяти лет.

— А занимаешься таким ремеслом?

В его голосе слышалась насмешка. Но Цзинь-хуа, положив к нему на руку головку с иссиня-черными волосами, улыбнулась, как всегда, светлой улыбкой, обнажившей ее мелкие, ровные зубки.

— Ведь если б я не занималась этим ремеслом, и отец и я, мы оба умерли бы с голоду.

— А твой отец — старик?

— Да... он уже с трудом держится на ногах.

— Однако... Разве ты не думаешь о том, что если будешь заниматься таким ремеслом, то не попадешь на небо?

— Нет.— Мельком взглянув на распятие, Цзинь-хуа задумчиво произнесла: — Я думаю, что господин Христос на небе сам, наверное, понимает, что у меня на сердце. Иначе господин Христос был бы все равно что полицейский из участка в Яоцзякао.

Молодой японский турист улыбнулся. Он пошарил в карманах пиджака, вытащил пару нефритовых сережек и сам вдел их ей в уши.

— Эти сережки я купил, чтобы отвезти их в подарок в Японию, но дарю их тебе на память об этой ночи.

И действительно, с той ночи, как она впервые приняла гостя, Цзинь-хуа была спокойна в этой своей уверенности.

Однако месяц спустя эта набожная проститутка, к несчастью, заболела: у ней появились злокачественные сифилитические язвы. Услышав об этом, ее товарка Чэн Шань-ча посоветовала ей пить опийную водку, уверяя, что это унимает боль. Потом другая ее товарка — Мао Ин-чунь — с готовностью принесла ей остатки пилюль «гунланьвань» и «цзялуми», которые она сама употребляла. Но, несмотря на то что Цзинь-хуа сидела взаперти, не принимала гостей, здоровье ее почему-то несколько не улучшалось.

И вот однажды Чэн Шань-ча, зайдя навестить Цзинь-хуа, с полной убежденностью сообщила ей такой (явно основанный на суеверии) способ лечения:

— Раз твоя болезнь перешла на тебя от гостя, то поскорей отдай ее кому-нибудь обратно. И тогда ты через два-три дня будешь здорова.

Цзинь-хуа сидела, подперев щеку рукой, и подавленное выражение ее лица не изменилось. Но, по-видимому, слова Шань-ча пробудили в ней некоторое любопытство, и она коротко переспросила:

— Правда?

— Ну да, правда! Моя сестра тоже никак не могла поправиться, вот как ты сейчас. А как передала болезнь гостю, сразу же выздоровела.

— А гость?

— Гостя-то жаль! Говорят, он от этого даже ослеп.

Когда Шань-ча ушла, Цзинь-хуа, оставшись одна, опустилась на колени перед распятием и, подняв глаза на распятого Христа, стала горячо молиться:

— Господин Христос на небесах! Для того чтоб кормить моего отца, я занимаюсь презренным ремеслом. Но мое ремесло позорит только меня, а больше я никому не причиняю зла. Поэтому я думаю, что, даже если я умру такой как есть, все равно я непременно попаду на небо. Но теперь я могу продолжать заниматься своим ремеслом, только если передам болезнь гостю. Значит, пусть даже мне придется умереть с голода,— а тогда болезнь тоже пройдет,— я должна решить не спать больше ни с кем в одной постели. Ведь иначе я ради своего счастья погублю человека, который не сделал мне никакого зла! Но я все-таки женщина. Я могу в какую-то минуту поддаться соблазну. Господин Христос на небесах! Пожалуйста, оберегайте меня! Кроме вас, мне не от кого ждать помощи.

Приняв такое решение, Цзинь-хуа, как ни уговаривали ее Шань-ча и Ин-чунь, больше не пускала к себе гостей. А если иногда к ней заходили ее постоянные гости, она позволяла себе только посидеть, покурить с ними и больше не исполняла никаких их желаний.

— У меня страшная болезнь. Если вы ляжете со мной, она пристанет к вам,— говорила Цзинь-хуа всегда, когда пьяный гость все же пытался насильно ею овладеть, и даже не стыдилась показывать доказательств своей болезни. Поэтому гости постепенно перестали к ней ходить. И жить ей становилось день ото дня труднее.

В этот вечер она долго сидела, облокотившись на стол, ничего не делая и задумчиво глядя перед собой. Гости по-прежнему не заходили к ней. А тем временем надвигалась ночь, все затихло, и до ушей Цзинь-хуа откуда-то доносилось только стрекотанье сверчка. К тому же в нетопленной комнате от каменного пола поднимался холод, который, как вода, пропитал сначала ее серые шелковые туфельки, а потом и изящные ножки в этих туфельках.

Цзинь-хуа некоторое время задумчиво смотрела на тусклый свет лампы, потом вздрогнула и подавила легкую зевоту. Почти в ту же минуту крашеная дверь вдруг открылась от толчка, и в комнату ввалился



незнакомый иностранец. Вероятно, оттого, что дверь распахнулась настежь, лампа на столе вспыхнула, и темная комната озарилась странным красным коптящим светом. Гость, с ног до головы озаренный этим светом, отступил назад и тяжело прислонился к крашеной двери, которая тут же захлопнулась.

Цзинь-хуа невольно поднялась и изумленно уставилась на этого незнакомого иностранца. Гостю было лет тридцать пять, это был загорелый бородатый мужчина с большими глазами, в коричневом полосатом пиджаке и в такой же кепке. Одно только было непонятно: хотя он, несомненно, был иностранцем, но, как ни странно, по его виду нельзя было определить, азиат он или европеец. Когда он, с выбившимися из-под кепки черными волосами, с потухшей трубкой в зубах, встал у входа, заслоняя собой дверь, его можно было принять за мертвецки пьяного прохожего, который забрел сюда по ошибке.

— Что вам угодно? — почти с укором в голосе спросила несколько испуганная Цзинь-хуа, не выходя из-за стола. Гость покачал головой, показывая, что не понимает по-китайски. Потом вынул изо рта трубку и произнес какое-то непонятное иностранное слово. На этот раз Цзинь-хуа пришлось покачать головой, от чего нефритовые серьги сверкнули в свете лампы.

Увидев, как она в замешательстве нахмурила свои красивые брови, гость вдруг громко захохотал, непридуманно сбросил кепку и, пошатываясь, направился к ней. Обессиленно опустился на стул, стоявший по другую сторону стола. В эту минуту он показался Цзинь-хуа каким-то близким, как будто она раньше его уже видела, хотя и не могла вспомнить, где и когда. Гость бесцеремонно сгреб с подносика горсть арбузных семечек, но грызть их не стал, а только пристально посмотрел на Цзинь-хуа и опять, странно жестикулируя, заговорил на иностранном языке. Цзинь-хуа не поняла смысла его речи, но, хоть и смутно, все же догадалась, что гость имеет представление о том, чем она занимается.

Проводить долгие ночи с иностранцами, не понимающими по-китайски, не представляло для Цзинь-хуа ничего необычного. Поэтому она опять села и, улыбаясь приветливой улыбкой, что почти вошло у нее в привыч-

ку, принялась болтать, усыпая свою речь совершенно непонятными гостю шутками. Однако гость через два слова в третье так весело хохотал, словно понимал ее, и при этом жестикулировал еще быстрее, чем раньше.

От гостя пахло водкой, но на его пьяном красном лице была разлита такая мужественная жизненная сила, что казалось, в этой унылой комнате стало светлей. Во всяком случае, в глазах Цзинь-хуа он был прекраснее всех иностранцев, которых она до сих пор видела, не говоря уже о ее соотечественниках из Нанкина. Тем не менее она никак не могла отделаться от ощущения, что где-то раньше встречалась с ним. Глядя на его свешивающиеся на лоб черные кудрявые волосы и все время весело улыбаясь, она изо всех сил старалась вспомнить, где же она видела это лицо раньше.

«Не тот ли это, который ехал с толстой женой на шаланде? Нет, нет, тот гораздо рыжее. А может быть, это тот, который фотографировал мавзолей Кун-цзы в Циньвае? Но тот был как будто старше этого гостя. Да, да, однажды я видела, как перед рестораном у моста Лидацяо толпился народ и какой-то человек, точь-в-точь похожий на этого гостя, толстой палкой бил по спине рикшу. Пожалуй... однако у того глаза как будто были синее».

Пока Цзинь-хуа раздумывала об этом, иностранец все с тем же веселым видом набил трубку и, закурив, выпустил приятно пахнущий дым. Потом он вдруг опять что-то сказал, засмеялся, на этот раз тихонько, и, подняв два пальца, поднес их к глазам Цзинь-хуа, показывая жестом: «два». Что два пальца обозначают два доллара, это, разумеется, было известно всем. Однако Цзинь-хуа, больше не принимавшая гостей, по-прежнему ловко щелкала семечки и, тоже улыбаясь, в знак отказа два раза отрицательно покачала головой. Тогда гость, нахально облокотившись на стол, при слабом свете лампы придвинул свое осоловелое лицо к самому лицу Цзинь-хуа и пристально на нее уставился, а потом с выжидательным видом поднял три пальца.

Цзинь-хуа, все еще с семечками в зубах, немного отодвинулась, и лицо ее выразило смущение. Гость, по-видимому, подумал, что она не отдается за два доллара. А между тем было совершенно невозможно объяснить ему, в чем дело, раз он не понимает по-китайски. Горько

раскаиваясь в своем легкомыслии, Цзинь-хуа холодно отвела глаза в сторону и волей-неволей еще раз решительно покачала головой.

Однако иностранец, слегка улыбнувшись и как будто немного поколебавшись, поднял четыре пальца и снова сказал что-то на иностранном языке. Вконец растерявшись, Цзинь-хуа подперла щеку рукой и не в состоянии была даже улыбнуться, но в эту минуту она решила, что, раз уж дело так обернулось, ей остается только качать головой до тех пор, пока гостю не надоест. Но тем временем на руке гостя, как будто хватая что-то невидимое, раскрылись все пять пальцев.

Потом в течение долгого времени они вели разговор с помощью мимики и жестов. Настойчиво прибавляя по одному пальцу, гость в конце концов показал, что ему не жалко даже десяти долларов. Но даже десять долларов, большая сумма для проститутки, не поколебали решения Цзинь-хуа. Еще раньше встав со стула, она стояла боком к столу, и когда гость показал ей пальцы обеих рук, она сердито топнула ногой и несколько раз подряд покачала головой. В тот же миг распятие, висевшее на стене, почему-то сорвалось с крючка и с легким звоном упало на каменный пол к ее ногам.

Цзинь-хуа поспешно протянула руку и бережно подняла распятие. В эту минуту она случайно взглянула на лицо распятого Христа, и, странная вещь, это лицо оказалось живым отображением лица иностранца, сидевшего за столом.

«То-то мне показалось, что я где-то раньше его видела, — ведь это лицо господина Христа!»

Прижимая бронзовое распятие к груди, покрытой черной шелковой кофтой, Цзинь-хуа ошеломленно уставилась на сидевшего против нее гостя. Гость, у которого красное от вина лицо по-прежнему было освещено лампой, время от времени попыхивал трубкой и многозначительно улыбался. И его глаза не отрываясь скользили по ее фигурке, по белой шее и ушам, с которых свешивались нефритовые серьги. Но Цзинь-хуа казалось, что даже в таком виде он полон какого-то мягкого величия.

Немного погодя гость вынул трубку изо рта и, многозначительно наклонив голову, смеющимся голосом что-то сказал. Эти слова подействовали на Цзинь-хуа,

как шепот искусного гипнотизера. Не забыла ли она о своем великодушном решении? Опустив улыбающиеся глаза и перебирая руками бронзовое распятие, она стыдливо подошла к таинственному иностранцу.

Гость пошарил в кармане брюк и, побрякивая серебром, некоторое время, любуясь, смотрел на Цзинь-хуа смеющимися, как и прежде, глазами. Но вдруг улыбка в его глазах сменилась горячим блеском, гость вскочил со стула и, крепко обняв Цзинь-хуа, прижал ее к своему пахнущему водкой пиджаку. Цзинь-хуа, словно теряя сознание, с запрокинутой головой, со свешивающимися нефритовыми сережками, но с румянцем на бледных щеках, зачарованно смотрела в его лицо, придвинувшись прямо к ее глазам. Разумеется, ей уже было не до того, чтобы раздумывать, отдаться ли этому странному иностранцу или уклониться от его поцелуя из опасения заразить гостя. Подставляя губы его бородатому рту, Цзинь-хуа знала только одно — что ее грудь заливают радость жгучей, радость впервые познанной любви.

## 2

Через несколько часов в комнате с уже потухшей лампой еле слышное стрекотанье кузнечиков придавало осеннюю грусть сонному дыханию двух людей, доносящемуся с постели. Но сон, который в это время снился Цзинь-хуа, вознесся из-под пыльного полога кровати высоко-высоко над крышей в лунную звездную ночь.

\* \* \*

...Цзинь-хуа сидела на стуле из красного сандалового дерева и кушала палочками разные блюда, расставленные на столике. Тут были ласточкины гнезда, акульки плавники, тушеные яйца, копченый карп, жареная свинина, уха из трепангов — всего не перечесать. А посуда вся состояла из красивых блюд и мисок, сплошь расписанных голубыми лотосами и золотыми фениксами.

За ее спиной было окно, завешанное кисейной занавеской, и оттуда — там, должно быть, протекала река — слышалось непрестанное журчанье воды и всплеск весел. Цзинь-хуа казалось, будто она в своем родном с

детства Циньвае. Но она, несомненно, находилась сейчас в небесном граде, в доме у Христа.

Время от времени Цзинь-хуа опускала палочки и осматривалась кругом. Но в просторной комнате видны были только столбы с резными фигурами драконов и горшки с большими хризантемами, окутанные паром от кушаний; кроме нее, больше не было ни души.

И все же, как только блюдо пустело, перед глазами Цзинь-хуа, распространяя теплый аромат, откуда-то появлялось другое. И вдруг жареный фазан, к которому она еще не успела прикоснуться, захлопал крыльями и, опрокинув сосуд с вином, взвился к потолку.

В это время Цзинь-хуа заметила, что кто-то неслышно подошел сзади к ее стулу. Поэтому, не кладя палочек, она быстро оглянулась. Там, где, как она почему-то думала, должно было находиться окно, вместо окна на стуле из сандалового дерева, застланном атласным покрывалом, с длинной бронзовой трубкой для кальяна в зубах величественно сидел незнакомый иностранец.

Цзинь-хуа с первого же взгляда увидела, что это тот самый мужчина, который пришел к ней сегодня ночью. Только над головой этого иностранца, на расстоянии одного сяку, висел в воздухе тонкий светящийся ободок, похожий на трехдневный месяц.

Тут вдруг перед Цзинь-хуа, как будто выскочив прямо из стола, появилось на большом блюде вкусное ароматное кушанье. Она сейчас же протянула палочки и хотела было взять лакомый кусочек, но вдруг вспомнила о сидящем сзади иностранце, оглянулась через плечо и застенчиво сказала:

— Не сядете ли и вы сюда?

— Нет, ешь одна. Если ты съешь это, то твоя болезнь за ночь пройдет.

Иностранец с нимбом, не вынимая изо рта длинной трубки для кальяна, улыбнулся улыбкой, исполненной беспредельной любви.

— Значит, вы не хотите покушать?

— Я? Я не люблю китайской кухни. Ты меня еще не узнала? Иисус Христос никогда не ел китайских блюд.

Сказав это, нанкинский Христос медленно поднялся с сандалового стула и, подойдя сзади, нежно поцеловал в щеку ошеломленную Цзинь-хуа.

Цзинь-хуа очнулась от райского сна, когда по тесной комнате уже разливался холодный осенний рассвет. Но под пыльным пологом в постели, похожей на лодочку, еще царил теплый полумрак. В этой полутьме смутно вырисовывалось запрокинутое, с еще закрытыми глазами, лицо Цзинь-хуа, закутанной по самый подбородок в выцветшее старое шерстяное одеяло. На бледных щеках, вероятно от ночного пота, слиплись спутанные напомаженные волосы, а между полуоткрытыми губами, как крупинки риса, чуть белели мелкие зубки.

Хотя Цзинь-хуа проснулась, душа ее еще бродила среди видений ее сна — пышные хризантемы, плеск воды, жареные фазаны, Иисус Христос... Но под пологом становилось все светлей, и в ее блаженные грезы стало вторгаться отчетливое сознание грубой действительности, сознание того, что вчера она легла на эту тростниковую постель вместе с таинственным иностранцем.

«А вдруг болезнь пристанет к нему...»

От этой мысли Цзинь-хуа сразу стало тяжело, и ей показалось, что она не в силах будет сегодня утром еще раз взглянуть ему в лицо. Но, уже проснувшись, все еще не видеть его милого загорелого лица было для нее еще тяжелей. Поэтому, немного поколебавшись, она робко открыла глаза и окинула взглядом постель под пологом, где уже стало совсем светло. Однако, к ее удивлению, рядом с ней, кроме нее самой, закутанной в одеяло, не было не только иностранца с лицом, похожим на распятого Христа, но и вообще никого.

«Выходит, и это мне приснилось»...

Цзинь-хуа сбросила грязное одеяло и привстала. Затем, протерев обеими руками глаза, она приподняла тяжело свисавший полог и все еще заспанными глазами оглядела комнату.

В комнате в холодном утреннем воздухе все предметы вырисовывались с беспощадной отчетливостью. Старенький стол, потухшая лампа, стулья — один валялся на полу, другой был повернут к стене, — все было так же, как накануне вечером. Мало того, в самом деле, на столе, среди разбросанных арбузных семечек, тускло

блестело маленькое бронзовое распятие. Мигая ослепленными глазами и оглядывая комнату, Цзинь-хуа некоторое время сидела на смятой постели и, зябко поживаясь, не двигалась с места.

— Нет, это был не сон...— прошептала Цзинь-хуа, думая о непонятном исчезновении иностранца. Конечно, можно было подумать, что он потихоньку ушел из комнаты, пока она спала. Но ей не верилось, что он, так горячо ее ласкавший, ушел, не сказав ни слова на прощанье,— вернее, ей было слишком тяжело этому поверить. К тому же она забыла получить у таинственного иностранца обещанные десять долларов.

«Неужели он и вправду ушел?»

С тяжелым сердцем она хотела было надеть сброшенную на одеяло черную шелковую кофту. Но вдруг ее протянутая рука остановилась, и лицо залила живая краска. Услышала ли она за крашеной дверью звук шагов таинственного иностранца или запах водки, пропитавший подушки и одеяла, пробудил смутившие ее воспоминания ночи? Нет, в этот миг Цзинь-хуа почувствовала, что благодаря чуду, свершившемуся в ее теле, злокачественные сифилитические язвы за одну ночь бесследно исчезли.

«Значит, это был Христос!»

Не помня себя, она в одной рубашке чуть не скатилась с постели и, преклонив колена на холодном каменном полу, как прекрасная Мария из Магдалы, беседовавшая с воскресшим господом, вознесла горячую молитву.

### 3

Однажды вечером весной следующего года молодой японский турист, который когда-то уже посещал Цзинь-хуа, опять сидел против нее за столом при тусклом свете лампы.

— А распятие-то все еще висит? — заметил он в разговоре слегка насмешливым тоном, и тогда Цзинь-хуа, сразу же сделавшись серьезной, рассказала ему удивительную историю о том, как Христос, сойдя однажды ночью в Нанкин, исцелил ее от болезни.

Слушая этот рассказ, молодой японский турист думал про себя вот что:

«Я знаю этого иностранца. Это японо-американский метис. Зовут его, кажется, Джордж Мерри. Он хватался моему знакомому корреспонденту из агентства Рейтер, что однажды в Нанкине провел ночь с проституткой, с христианкой, а когда она сладко заснула, потихоньку сбежал. Когда я прошлый раз был в Нанкине, он как раз остановился в том же отеле, что и я, так что в лицо я его до сих пор помню. Он выдавал себя за корреспондента английской газеты, но был совершенно недостойный, дурной человек. Потом он на почве сифилиса сошел с ума... Выходит, что он, пожалуй, заразился от этой женщины. А она до сих пор принимает этого беспутного метиса за Христа! Открыть ли ей глаза? Или промолчать и оставить ее навеки в этом сне, похожем на старинные западные легенды?..»

Когда Цзинь-хуа кончила, он, как будто опомнившись, зажег спичку и закурил душистую сигару. И, нарочно приняв заинтересованный вид, выжал из себя вопрос:

— Вот как... Странно... И ты ни разу с тех пор не болела?

— Нет, ни разу,— не колеблясь ответила Цзинь-хуа с ясным лицом, продолжая грызть арбузные семечки.

*Июль 1920 г.*



## ПОДКИДЫШ

На улице Нагасуми-тё в Асакуса есть храм Сингёдзи — нет, это не большой храм. Впрочем, там имеется деревянная статуя святого Нитирó, так что у него есть своя история. Осенью двадцать второго года Мэйдзи у ворот этого храма был подкинут мальчик. Разумеется, ему не было и года, и бумажки с именем при нем не оказалось. Завернутый в кусок старого желтого шелка, он лежал головой на женских дзори с оборванными шнурками.

Настоятелем храма Сингёдзи в ту пору был старик по имени Тáмура Ниссо́; как раз когда он совершал утреннюю службу, к нему подошел пожилой привратник и сообщил, что подкинули младенца. Настоятель стоял лицом к статуе будды; почти не оглядываясь на привратника, как будто ни в чем не бывало, он ответил:

— Вот как! Принеси его сюда.

Больше того, когда привратник робко принес младенца, настоятель сейчас же взял его на руки и стал беззаботно ласкать, говоря:

— А славный мальчуган! Не плачь! Не плачь! С нынешнего дня я возьму тебя на воспитание.

Обо всем этом привратник, питавший слабость к настоятелю, нередко рассказывал прихожанам, продавая им ветки иллиция и курительные свечи. Вы, может быть, не знаете, что настоятель Ниссо раньше был

штукатуром в Фукугава, но девятнадцати лет от роду упал с подмостков, потерял сознание и вдруг возымел желание уйти в монахи. Очень странный был человек и нрава неумного.

Настоятель назвал этого подкидыша Юноскэ и стал воспитывать его, как родного сына. Я сказал «стал воспитывать», однако так как дело было в храме, куда со времени революции не ступала нога женщины, то это оказалось задачей нелегкой. И нянчился, и заботился о молоске — все делал в свободное от чтения сутр время сам настоятель. Да что, однажды, когда Юноскэ заболел, кажется, простудился, — а как раз, к несчастью, служили панихиду по знатному прихожанину Каси-но Ниситацу, — настоятель, одной рукой прижимая к груди пылающего жаром ребенка, а в другой держа хрустальные четки, как обычно, спокойно читал сутры.

Однако настоятель, чувствительный при всем своем молодечестве, втайне лелеял мысль о том, чтобы, если возможно, найти ребенку его настоящих родителей. Когда настоятель поднимался на амвон — и теперь еще можете увидеть на столбе у ворот старенькую дощечку с надписью: «Проповедь ежемесячно шестнадцатого числа» — он, приводя в пример случаи из древности в Японии и в Китае, с жаром говорил, что не забывать своей родительской любви — значит воздавать благодарность Будде. Но дни проповедей проходили один за другим, а не находилось никого, кто бы явился сам и назвался отцом или матерью подкидыша. Впрочем, нет, один раз, когда Юноскэ было три года, случилось, что пришла сильно набеленная женщина, заявившая, что она его мать. Но она, по-видимому, замышляла использовать подкидыша для недоброго дела. И так как тщательные расспросы обнаружили, что женщина эта внушает подозрения, вспыльчивый настоятель жестоко ее выругал и, чуть не пустив в ход кулаки, тут же выгнал вон.

И вот настала зима двадцать седьмого года Мэйдзи, когда пошли усиленные слухи о японо-китайской войне; шестнадцатого числа в обычный день проповеди, когда настоятель вернулся в свою келью, вслед за ним вошла изящная женщина лет тридцати четырех — тридцати пяти. В келье возле очага, на котором стоял котел, Юноскэ чистил мандарин. Увидев его, женщина

без всяких приготовлений протянула к настоятелю просительно сложенные руки и, подавляя дрожь в голосе, решительно сказала: «Я мать этого ребенка». Настоятель, естественно, изумленный, некоторое время не в силах был даже с ней поздороваться. Но женщина, не обращая на него внимания, уставившись глазами в циновку на полу, словно затвердив наизусть, — хотя ее душевное волнение отражалось во всем ее облике, — вежливо и обстоятельно выражала благодарность за воспитание ребенка до того дня.

Так это продолжалось некоторое время, пока настоятель, подняв свой веер с красными спицами, не заставил ее сначала рассказать, почему она подкинула ребенка. Тогда, по-прежнему не поднимая глаз от циновки, женщина рассказала следующее.

Пять лет тому назад ее муж открыл рисовую лавку на улице Тавара-мати в Асакуса. Но не успел он получить первую прибыль, как растратил все свое состояние, и тогда они решили потихоньку уехать в Йокогаму. Но их связывал по рукам и ногам только что родившийся у них мальчик. Вдобавок у матери, к несчастью, совсем не было молока, и поэтому в тот вечер, перед самым отъездом из Токио, супруги, обливаясь слезами, подкинули младенца к воротам храма Сингёдзи.

Потом с помощью одного едва знакомого человека они, даже не пользуясь поездом, добрались до Йокогамы, муж поступил на службу в извозное заведение, а женщина пошла служить в лавку, и два года они работали не покладая рук. Судьба ли тем временем повернулась к ним лицом, только летом третьего года хозяин извозного заведения, ценя честную работу мужа, поручил ему вести недавно открытое маленькое отделение на улице Омото-дори в районе Хоммоку-хэн. Лишнее говорить, что женщина сейчас же оставила свое место и стала жить с мужем.

Дела в отделении шли довольно бойко. Кроме того, на следующий год у них родился мальчик. Разумеется, в это время в глубине души у них зашевелились горькие воспоминания о брошенном дитяти. В особенности женщине, когда она подносила к ротик младенца свою бедную молоком грудь, всегда отчетливо вспоминался вечер их отъезда из Токио. Но работы по заведению было много, ребенок день ото дня подрастал. В банке

у них появились кое-какие сбережения. Так обстояло дело, и как бы то ни было, супруги снова получили возможность зажить счастливой семейной жизнью.

Но повезло им не надолго. Не успели они порадоваться, как весной двадцать седьмого года муж заболел тифом и, не пролежав и недели, сразу скончался. Если бы только это одно, то женщина, вероятно, примирилась бы с судьбой, но безутешной ее сделало то, что не наступил и сотый день со смерти мужа, как долгожданный ребенок вдруг умер от дизентерии. В то время женщина днем и ночью рыдала как безумная. Нет, не только в то время. Почти полгода она была как потерянная.

Когда ее горе стало утихать, первое, что всплыло в ее душе,— это мысль повидать подкинутого старшего сына. «Если только этот ребенок жив и здоров, я возьму его к себе и воспитаю сама, как бы ни было мне тяжело»,— думала она и от нетерпения не находила себе места. Она сейчас же села в поезд и, как только приехала в милый ее сердцу Токио, тут же пошла к воротам милого ее сердцу храма Сингёдзи. Это было как раз шестнадцатого, в день проповеди.

Она хотела сейчас же подойти к покоям настоятеля, чтобы узнать у кого-нибудь о ребенке. Но пока проповедь не кончилась, она, конечно, не могла повидаться с настоятелем. Поэтому, горя нетерпением, она замешалась в толпу благочестивых мужчин и женщин, заполнивших весь храм, и краем уха стала слушать проповедь настоятеля Ниссо или, вернее сказать, просто стала ждать, пока кончится проповедь.

А настоятель и в этот день, изложив рассказ о том, как женщина Лотос встретила со своими пятьюстами детьми, проникновенно проповедовал святость родительской любви. Женщина Лотос снесла пятьсот яиц. Эти яйца поплыли по течению и попали к царю соседней страны. Пятьсот богатырей, вышедшие из этих яиц, не зная, что женщина Лотос их мать, напали на ее замок. Услыхав об этом, женщина Лотос поднялась на башню замка и сказала: «Я мать всех вас пятисот. Вот доказательство». И, обнажив груди, она нажала на них своей красивой рукой. И молоко, как струи из пятисот источников, полилось из груди женщины с высокой башни прямо в рты всем пятистам богатырям. Эта индийская притча произвела на несчастную женщину,

которая рассеянно слушала проповедь, сильнейшее впечатление. Поэтому-то, как только проповедь закончилась, она, не утирая слез, вышла из храма и поспешила по галерее искать настоятеля.

Расспросив о подробностях, настоятель Ниссо подождал Юноскэ, сидевшего у очага, и свел его, после пятилетней разлуки, с матерью, лица которой ребенок не знал. Что женщина не лгала, настоятелю, разумеется, было понятно. Взяв на руки Юноскэ, она всеми силами старалась не плакать, и у великодушного настоятеля вместе с улыбкой на ресницах заблестала слеза.

Что было потом, вы, в общем, знаете и без моих слов. Юноскэ уехал с матерью в Йокогама. После смерти мужа и сына женщина, по предложению сострадательного хозяина извозного заведения и его жены, стала учить людей шитью и таким образом могла хоть и скромно, но без тягот зарабатывать на жизнь.

Закончив свой долгий рассказ, посетитель взял стоявшую перед ним чашку. Но, так и не коснувшись ее губами, взглянул на меня и тихо добавил:

— Этот подкидыш — я.

Молча кивнув, я подлил в чайник воды. Что эта трогательная история о подкидыше — история детства моего гостя Мацубара Юноскэ, даже я давно догадался, хотя встречался с ним впервые.

После нескольких часов молчания я обратился к гостю:

— Ваша мать еще в добром здравии?

И получил неожиданный ответ:

— Нет, она скончалась год назад. Но... женщина, о которой я вам рассказывал, не была моя мать.

Видя мое изумление, гость улыбнулся одними глазами:

— Что ее муж имел на Тавара-мати в Асакуса рисовую лавку, что он уехал в Йокогама и работал там, все это, конечно, правда. Но позже я узнал, что рассказ о том, будто они подкинули ребенка, был ложью. За год до того, как умерла мать, я по делам лавки — как вы знаете, я торгую хлопчатобумажной пряжей — ходил в окрестности Ниигата и как-то раз очутился в одном поезде с торговцем мешками, который в свое время жил рядом с домом матери на улице Тавара-мати. Он и без моих расспросов рассказал, что у матери тогда роди-

лась девочка, которая еще перед закрытием лавки умерла. Вернувшись в Йокогама, я сейчас же потихоньку от матери посмотрел посемейный список, и оказалось, что в самом деле, как и сказал торговец мешками, когда она жила на улице Тавара-мати, у нее родилась дочка. И умерла на третьем месяце жизни. Мать по каким-то соображениям, чтобы взять меня, который ей не сын, выдумала историю о подкидыше. И после этого в течение двадцати с лишком лет заботилась обо мне, забывая о сне и пище.

По каким соображениям — этого я до сих пор, сколько ни думал, не понимаю. Но хотя я и не знаю, так ли это на самом деле, все же самой правдоподобной причиной мне представляется то, что проповедь настоятеля Ниссо произвела на душу матери, лишившейся мужа и ребенка, сильнейшее впечатление. Пока она слушала эту проповедь, ей и захотелось стать именно той матерью, которой я не знал. Пожалуй, так. О том, что меня подобрали у храма, она, вероятно, узнала от прихожан, пришедших на проповедь. Или же ей об этом рассказал храмовой привратник.

Мой гость замолчал и, точно спохватившись, с задумчивым видом стал пить чай.

— И вы сказали матери о том, что вы ей не родной сын, что вы знаете о том, что вы ей не сын?

Я не мог удержаться от этого вопроса.

— Нет, не сказал. Это было бы слишком жестоко по отношению к матери. И мать до самой своей смерти не сказала мне об этом ни слова. Вероятно, она тоже думала, что сказать — жестоко по отношению ко мне. Да и в самом деле, мое чувство к матери, после того как я узнал, что я ей не сын, несколько изменилось.

— В каком смысле?

Я пристально посмотрел в глаза гостю.

— Оно стало еще теплее, чем раньше. Потому что с тех пор, как я узнал обо всем, она для меня, подкидыша, стала больше чем матерью, — мягко ответил гость. Словно не зная, что он сам был ей больше чем сын.

*Август 1920 г.*

## БОГ АГНИ

### 1

Это произошло в Китае, на одной из улиц Шанхая. Однажды на втором этаже дома, в котором даже днем царил полумрак, старуха индуска со злым лицом о чем-то очень серьезно беседовала с американцем, с виду торговцем.

— Хочу, чтобы вы мне опять погадали, бабушка,— сказал американец, закуривая новую сигару.— За этим, собственно, и пришел.

— Погадала? А я решила этим пока не заниматься,— ответила старуха, пристально, с затаенной усмешкой глядя на гостя.— Стараешься, гадаешь, а некоторые даже не заплатят как следует.

— Ну я-то хорошо заплачу,— сказал американец, небрежно бросив перед старухой чек на триста долларов.

— Это задаток. А если ваше гадание сбудется, получите еще.

Увидев чек на триста долларов, старуха сразу подобрела.

— Очень много даете, даже совестно как-то. Так о чем бы вы хотели погадать?

— Вот о чем.— Не выпуская из зубов сигары, американец улыбнулся.— В общем, когда начнется война между Америкой и Японией. Ведь если знать это точно, мы, торговцы, сможем неплохо подзаработать.

— Тогда приходите завтра. Я погадаю и все узнаю, что вам нужно.

— Да? Только, пожалуйста, не подведите.

Старуха самодовольно и горделиво расправила плечи.

— Уже пятьдесят лет я гадаю и ни разу не ошиблась. Знаете ли вы, что мне помогает в этом сам бог Агни?

После ухода американца старуха пошла к двери, ведущей в соседнюю комнату, и позвала:

— Хуайлянь, Хуайлянь!

На зов явилась красивая девочка-китаянка. Видимо, несладко ей жилось. Пухлые щечки были бледно-восковые.

— Что ты там копаешься? Вот уж, поистине, другой такой бесстыжей не сыщешь. Опять, наверное, на кухне дрыхла?

Но сколько бы ни ругали Хуайлянь, она всегда молчала, опустив глаза.

— Слушай хорошенько. Сегодня ночью снова обратимся к богу Агни. Так что помни это и будь готова.

Девочка подняла печальные глаза и взглянула в злое лицо старухи.

— Сегодня ночью?

— Сегодня ночью, ровно в двенадцать. Смотри не забудь.— И старуха угрожающе подняла палец вверх.— А будешь совать нос не в свое дело и мешать мне, пеняй на себя. Ведь убить тебя, если только я захочу, мне легче, чем свернуть голову цыпленку.

Лицо у старухи вдруг вытянулось и застыло. Она быстро взглянула на девочку и тут заметила, что та каким-то образом очутилась у открытого окна и смотрит на унылую улицу.

— Чего ты там не видела?

Хуайлянь еще сильнее побледнела и снова в упор посмотрела на старуху.

— Ладно. Ладно. Не знаешь ты еще меня, раз ни во что не ставишь. Горя еще не хлебнула.

Старуха зло сверкнула глазами и, схватив веник, замахнулась.

И надо же было такому случиться! Именно в этот момент слышались чьи-то шаги, в дверь грубо постучали.



В тот день, в то самое время мимо дома проходил молодой японец. Неизвестно почему, но, взглянув на девочку-китайку, показавшуюся в окне второго этажа, он остановился как вкопанный.

Тут подошел пожилой китаец-рикша.

— Эй, послушай! Не знаешь, кто живет там, на втором этаже,— обратился японец к рикше.

Не выпуская из рук оглобель, китаец поднял голову.

— Там? Там живет какая-то старуха индуска,— с неприязнью ответил он и заторопился уходить.

— Погоди-ка. Что за старуха?

— Гадалка. Говорят, даже колдовать умеет. В общем, если тебе дорога жизнь, лучше не ходи к ней.

Китаец ушел, а японец постоял, скрестив руки на груди, в раздумье, потом, видимо, принял решение и быстро вошел в дом. Тут он услышал плач девочки и брань старухи. Перепрыгивая через ступеньки, японец одним махом взбежал по полутемной лестнице и изо всех сил начал стучать в дверь. Ему сразу открыли. Но в комнате он увидел одну только старуху. Девочки уже не было, она, видимо, скрылась в соседней комнате.

— Вы ко мне?

Заподозрив неладное, старуха пристально взглянула на вошедшего.

— Ты, кажется, гадалка?

Японец скрестил руки на груди и, в свою очередь, с ненавистью посмотрел на старуху.

— Да.

— Тогда незачем спрашивать, зачем я пришел. И так все ясно. Погадай мне!

— О чем же вам гадать?

Старуха со все большим подозрением рассматривала японца.

— Прошлой весной пропала дочь моего хозяина. Вот об этом и погадай,— сказал японец, отчеканивая каждое слово.— Мой хозяин — японский консул в Гонконге. Его дочь зовут Таэко. Я — Эндо, служу у консула. Ну? Где же девочка? — сказал Эндо и выхватил из кармана пистолет.— Может, она здесь? По данным гонконгской полиции, девочку похитила женщина, похожая на индуску. Будешь упираться, не поздоровится.

Непохоже было, чтобы старуха хоть чуточку испугалась. Напротив, на губах ее даже блуждала улыбка, словно она одурачила незнакомца.

— Что ты болтаешь? Никакой девочки я в глаза не видела.

— Ври больше! Только что в этом окне я заметил Таэко, ту самую девочку.

Держа наготове пистолет, Эндо свободной рукой указал на дверь в соседнюю комнату.

— Раз упрямишься и не признаешься, приведи тогда китаянку, которая там находится.

— Она — моя приемная дочь.

Старуха, словно издеваясь, опять ехидно улыбнулась.

— Приемная или не приемная, это я сразу увижу, когда взгляну. Не приведешь, я сам к ней пойду.

Но только было Эндо сделал шаг, как старуха оказалась у двери и загородила ее.

— Это дом мой. А тебя я знать не знаю и не позволю тут расхаживать.

— Прочь с дороги! Не то убью!

Эндо поднял пистолет. Вернее, хотел поднять. Но в этот самый миг старуха закаркала, как ворона, и Эндо, словно пораженный током, выпустил пистолет из рук. Уж на что смелый был Эндо, и то растерялся. Некоторое время он с удивлением озирался по сторонам. Потом снова обрел мужество и с криком: «Проклятая колдунья!» — как тигр, налетел на старуху. Старуха оказалась достойной противницей. Она ловко увернулась, схватила веник и метнула мусор с пола прямо в лицо Эндо, пытавшегося схватить ее. Соринки превратились в искры и, рассыпавшись по лицу, нещадно жгли глаза и губы. Эндо стало невтерпеж. Подгоняемый огненным вихрем, он скатился вниз и выскочил на улицу

### 3

Ночью, около двенадцати, Эндо опять одиноко стоял перед домом старухи и с досадой смотрел на светящееся окно второго этажа.

«Какая жалость. С таким трудом узнал, где находится девочка, и не могу вызволить ее отсюда. Может,

заявить в полицию? Нет, нет, китайская полиция весьма нерасторопна, это проверено на горьком опыте Гонконга. А если старуха увезет куда-нибудь девочку, найти ее снова будет довольно трудно. К тому же против этой проклятой колдуньи и пистолет бессилён!..»

Пока Эндо предавался размышлениям, из окна второго этажа вылетел и затрепетал на ветру лист бумаги.

«О! Может быть, это письмо от барышни?»

С этими словами Эндо поднял листок, осторожно достал из кармана фонарик, и на записку упало круглое пятно света. На клочке бумаги и в самом деле было что-то написано рукой Таэко. Там виднелись едва заметные следы карандаша. В записке было сказано: «Эндо-сан, старуха, что живет в этом доме, злая колдунья. Случается, что по ночам она вселяет в меня дух индусского бога Агни. И тогда я бываю как мертвая. Потому и не знаю, что затем происходит. Во всяком случае, по словам старухи, бог Агни вещает моими устами. Сегодня ровно в двенадцать она опять вселит в меня этого духа. Обычно я незаметно для себя впадаю в забытие, но сегодня постараюсь притвориться заколдованной несколько раньше и скажу, что если она не отпустит меня к отцу, бог Агни убьет ее. Старуха пуще всего боится бога Агни и, услышав такое, непременно отпустит меня домой. Пожалуйста, завтра утром приходите снова. Иного способа вырваться из рук старухи нет. До свидания».

Дочитав письмо, Эндо достал из кармана часы. Без пяти двенадцать. «Да, уже скоро. Вот ведь как получается: мой противник — хитрая колдунья, а барышня совсем еще ребенок, и если мне не повезет, то...»

Не успел он это подумать, как старуха, видимо, принялась за колдовство. В окне на втором этаже стало темно. И сразу же откуда-то потянуло странным пряным запахом. Таким крепким, что, казалось, он проник даже в камни мостовой.

В это время старуха, раскрыв в темной комнате на столе колдовскую книгу, усердно произносила магические заклинания. Саму книгу почти невозможно было

разглядеть, и только буквы, подсвечиваемые курильницей, будто мерцали в темноте.

Перед старухой на стуле неподвижно сидела взволнованная Хуайлянь, вернее, Таэко, одетая в китайское платье. Она размышляла: «Попало ли к Эндо письмо, которое я бросила из окна? Тень человека, проходившего в то время по улице, я приняла за тень Эндо. Ну, а вдруг я ошиблась?» Эта мысль окончательно лишила ее покоя. Малейшая оплошность — и старуха обнаружит ее притворство. Тогда конец. План побега из этого страшного дома будет раскрыт. И Таэко, изо всех сил сжимая дрожащие руки, с нетерпением ждала, когда придет время притвориться, чтоб в нее вселился бог Агни, как это было ею задумано.

Старуха наконец прочла заклinationa и стала ходить вокруг Таэко, проделывая какие-то магические движения. Она то останавливалась перед Таэко, вздымая кверху широко раскинутые руки, то, заходя сзади, тихонько подносила их ко лбу девочки, будто хотела закрыть ей глаза. В тот момент старуху можно было принять за летучую мышь или громадную птицу, которая в свете бледного огня курильницы мечется по комнате.

Между тем Таэко стал, как всегда, одолевать сон. Но заснуть сейчас — значило загубить так тщательно разработанный план. Сегодняшний побег — единственная возможность вернуться к отцу.

— Боги Японии, пожалуйста, сделайте так, чтобы я не уснула. Мне бы хоть одним глазком взглянуть на отца, за это я готова тут же умереть. Боги Японии, пожалуйста, дайте мне силы обмануть старуху.

Таэко несколько раз горячо повторила эту молитву. Но ее все сильнее и сильнее клонило ко сну. Вот до нее донесся странный едва различимый звук, словно где-то ударили в гонг. Этот звук всегда возвещал о приближении бога Агни, спускающегося с небес.

Тут силы окончательно покинули девочку. Мерцающее пламя курильницы, старуха — все моментально исчезло, как дурной сон.

— Бог Агни, бог Агни, пожалуйста, услышь мои слова.

Вскоре, когда колдунья, распластавшись на полу, заговорила хриплым голосом, девочка, сидя на стуле, спала как мертвая.

Не говоря уже о Таэко, самой старухе не могло прийти в голову, что в этот момент кто-то следит за ней. А между тем совсем близко находился еще один человек, подглядывавший в замочную скважину. Кто же, по-вашему, это был? Разумеется, Эндо.

Прочитав письмо Таэко, Эндо собирался простоять на улице до рассвета. Но стоило ему подумать о несчастной девочке, как он тотчас же лишился покоя. Тихонько, как вор, пробрался он в дом, быстро прошел к двери на втором этаже и уже давно подсматривал за тем, что делается в комнате.

Тут необходимо заметить, что в замочную скважину Эндо видел только мертвенно-бледное лицо Таэко, освещенное тусклым светом курильницы. Все остальное было скрыто от него — и стол, и колдовская книга, и распластавшаяся на полу старуха. Зато хриплый голос колдуньи он слышал так ясно, будто стоял рядом с ней:

— Бог Агни, бог Агни, пожалуйста, услышь мои слова.

Не успела старуха произнести это, как Таэко, казавшаяся бездыханной, не открывая глаз, вдруг заговорила. Только не своим, а каким-то грубым мужским голосом.

— Я не желаю слушать твои просьбы. Нарушая мой приказ, ты постоянно творила зло. Сегодня же отрекусь от тебя. И не только отрекусь, но и покараю тебя за все твои злодеяния.

Старуха, видимо, была потрясена. Некоторое время она молчала и словно бы задыхалась. Но Таэко, не обращая на нее ни малейшего внимания, продолжала торжественным голосом:

— Ты выкрала дочь у несчастного отца. Если тебе дорога жизнь, не завтра, а сегодня же, да побыстрей, отпусти ее домой.

Эндо, не отрываясь от замочной скважины, ждал ответа старухи. Но вместо того, чтобы перепугаться, старуха с отвратительным смехом подскочила к Таэко.

— Можешь сколько угодно дурачить других, только не меня. За кого ты меня принимаешь? Я, кажется, еще не выжила из ума настолько, чтобы дать тебе провестить меня. Отпустить тебя домой, да побыстрее? Ты

что, полицейский чиновник? Разве бог Агни может такое приказывать? — Старуха вытащила нож и поднесла его к лицу Таэко, которая по-прежнему сидела с закрытыми глазами. — Ну, признавайся честно, ты нарочно, не боясь греха, оскверняешь голос бога Агни?

Давно наблюдая за происходящим, Эндо, однако, и не подозревал, что Таэко в самом деле спит. И потому при виде этой картины у него невольно сжалось сердце из-за опасения, что план раскрыт. Таэко же, и бровью не пошевелив, продолжала с насмешкой:

— Настал твой час. Неужели мой голос ты приняла за человеческий? Быть может, он и слаб, но это голос пламени, полыхающего в небе. Разве это тебе не понятно? Если не понятно, поступай как знаешь. Я только хочу спросить у тебя, скоро ли ты отпустишь эту девочку? Или ослушаешься моего приказа?

Старуха будто заколебалась немного. Но тут же снова приободрилась. В одной руке держа нож, она другой схватила Таэко за волосы и притянула к себе.

— Ведьма! Ты все еще упрямисься! погоди же! Я выполню свое обещание, быстро лишу тебя жизни.

Старуха занесла нож. Еще минута — и Таэко умрет. Эндо моментально выпрямился и стал ломиться в дверь. Но дверь не поддавалась. Как он ни бил, сколько ни старался — только обдирал руки.

## 6

В это время из мрака запертой комнаты вдруг донесся громкий крик. Затем кто-то грохнулся на пол. Эндо, как безумный, стал звать Таэко и, напрягши все силы, несколько раз надавил плечом на дверь.

Раздался грохот ломающихся досок, треск срываемого замка — и дверь наконец была выломана. Здесь все еще мерцало слабое пламя курильницы и стояла такая тишина, словно никого не было.

Эндо с трепетом окинул взглядом едва освещенную комнату.

Похожая на мертвеца, Таэко по-прежнему смиренно сидела на стуле, и Эндо вдруг ощутил всю торжественность момента, ему даже показалось, будто голова девочки окружена ореолом.

— Барышня, барышня!—громко закричал Эндо прямо в ухо Таэко. Но Таэко, не открывая глаз, молчала.

— Барышня! Крепитесь. Я — Эндо.

Тогда Таэко, будто только что проснулась, чуть приоткрыла глаза.

— Эндо-сан?

— Да. Эндо. Все в порядке. Успокойтесь. Бежим скорее.

Таэко, как бы в полусне, ответила чуть слышно:

— План оказался негодным. Я нечаянно уснула. Простите меня.

— То, что все произошло не по плану, вина не ваша. Ведь, как и обещали мне, вы сумели притвориться, будто в вас вселился бог Агни. Это было прекрасно. Ну, а теперь бежим быстрее!

Эндо нетерпеливо обнял Таэко и поднял со стула.

— Ах, это неправда. Я ведь уснула. И совершенно не помню, что говорила,— с досадой сказала Таэко, припав к груди Эндо.— План оказался неудачным. Я никак не могу бежать.

— Да разве можно так? Пойдемте вместе со мной. Будет ужасно, если мы растеряемся и упустим случай.

— А старуха?

— Старуха?

Эндо еще раз оглядел комнату. На столе он увидел раскрытую колдовскую книгу. А под столом навзничь лежала старуха. Это было так неожиданно! Лежала мертвая, в луже крови, вонзив нож в собственную грудь.

— Что с ней?

— Она мертва.

Таэко взглянула на Эндо и нахмурила свои красивые брови.

— Я... ничего не знала... Старуху... Эндо, это вы ее убили?

Эндо перевел взгляд на Таэко. Только сейчас он понял, что их план провалился, но умерла все же старуха, а Таэко свободна. Эндо понял наконец удивительную силу рока.

— Не я ее убил... Ее убил приходивший сюда бог Агни,— торжественно прошептал Эндо, неся на руках Таэко.

*Декабрь 1920 г.*

## ВАЛЬДШНЕП

Это было под вечер, в мае 1880 года. Иван Тургенев, гостивший в Ясной Поляне через два года после того, как он там был последний раз, и граф Толстой, хозяин усадьбы, пошли в лес за Воронку поохотиться на вальдшнепов.

На охоту вместе с этими двумя старыми писателями отправились молодежавая еще жена Толстого и дети с собакой.

Дорога до Воронки пролежала через поля ржи. Поднявшийся на закате легкий ветерок, тихо пролетая над колосьями, доносил запах земли. Толстой с ружьем за плечами шагал впереди. Время от времени, обернувшись назад, он заговаривал с Тургеневым, который шел рядом с его женой. Каждый раз автор «Отцов и детей», как будто с некоторым удивлением поднимая глаза, обрадованно отвечал мягким голосом и при этом иногда смеялся хриплым смехом, от которого тряслись его плечи. По сравнению с грубоватым Толстым его манера говорить была изящной и притом несколько женственной.

Когда дорога пошла полого в гору, к ним подбежали два деревенских мальчика, видимо, братья. При виде Толстого оба они сразу остановились и поклонились. Потом, сверкая подошвами босых ног, опять опрометью побежали в гору. Сзади один из детей Толстого громко крикнул им что-то вслед. Но те, как будто не слыша, бежали дальше и скрылись из виду во ржи.



— Деревенские дети интересны! — обратился к Тургеневу Толстой, подставляя лицо лучам заходящего солнца. — Случается, что, слушая эту детвору, я учусь простым, прямым оборотам речи, о которых мы и понятия не имеем.

Тургенев обернулся. Теперь он не тот, что раньше. Раньше слова Толстого волновали его, как ребенка, и он иронизировал...

— Недавно, когда я учил эту детвору, — продолжал Толстой, — один вдруг хотел выскочить из класса. Я его спрашиваю: «Ты куда?» — а он говорит: «Мелку откусить». Не сказал ни «взять мелку», ни «отломить мелку», а сказал именно «откусить». Употребить такое слово могут только русские дети, которые действительно откусывают мел зубами. Нам, взрослым, так не сказать.

— В самом деле, на это способны одни только русские дети. И когда я слышу такие разговоры, я остро чувствую, что вернулся в Россию.

Тургенев огляделся, как будто увидел поля ржи впервые.

— Да, пожалуй. Во Франции даже дети не стесняются курить папиросы.

— Да, кстати, ведь, кажется, и вы в последнее время совсем перестали курить? — Толстая искусно избавила гостя от возможных колкостей Толстого.

— Да, я совсем бросил курить: в Париже были две красавицы, которые говорили, что от меня несет табаком и поэтому они не позволяют мне их целовать.

На этот раз криво усмехнулся Толстой.

Тем временем перешли через Воронку и добрались до места тяги. Это была болотистая поляна недалеко от речки, где лес уже редел.

Толстой уступил Тургеневу лучшее место, а сам стал шагах в полтораста в углу поляны. Толстая стала возле Тургенева, а дети разбрелись кто куда.

Небо еще алело. Ветви деревьев, оплетавшие небо, туманно дымились — это, конечно, теснилась на них душистая молодая листва. Тургенев стоял с ружьем в руке и словно пронзал взором листву. Из сумрачной глубины леса время от времени доносился легкий шорох еле заметного ветерка.

— Малиновки и чижи поют, — как будто про себя сказала Толстая, склонив голову набок.

Медленно, в молчании, прошло полчаса.

Тем временем небо стало как вода. Только там и сям белели стволы берез. Вместо пения малиновок и чижей теперь изредка долетал крик поползня... Тургенев опять стал пронзительно всматриваться в листву. Но в глубине леса все уже погрузилось в вечерний сумрак.

Вдруг по лесу разнесся звук выстрела. Не успел он отзвучать, как ожидавшие поодаль дети наперегонки с собакой бросились искать добычу.

— Ваш супруг меня опередил,— сказал Тургенев, с улыбкой оглянувшись на Толстую.

Вскоре, пробираясь через густую траву, к матери подбежал второй сын — Илья. Он сообщил, что Толстой застрелил вальдшнепа.

Тургенев вмешался в разговор.

— А кто нашел?

— Дора (кличка собаки). Когда она его отыскала, он еще был живой.

Опять обернувшись к матери, мальчик, здоровое личико которого разгорелось от возбуждения, принялся подробно рассказывать, как Дора нашла вальдшнепа.

В воображении Тургенева мелькнула картинка рассказа вроде главы из «Записок охотника».

Когда Илья ушел, опять воцарилась прежняя тишина. Из сумрачной глубины леса лился весенний аромат молодой листвы и запах сырой земли. По временам издали слышался крик какой-то сонной птицы.

— А это?

— Зяблик,— сейчас же ответил Тургенев.

Зяблик вдруг смолк. И на некоторое время в вечернем сумраке леса не слышалось ни звука. Небо... замер малейший ветерок, небо понемногу окутывало безжизненный лес своей синевою,— и вдруг над головой с печальным криком пролетела иволга.

Звук выстрела снова нарушил безмолвие леса спустя целый час.

— Видно, Лев Николаевич и в охоте на вальдшнепов меня побивает,— сказал Тургенев, пожимая плечами и смеясь одними глазами.

Топот бегущих детей, изредка лай Доры... Когда опять все затихло, на небе уже там и сям крапинками сверкали звезды. Лес, насколько хватал взгляд, замкнулся в молчании ночи, не шевелилась ни одна вет-

ка. Двадцать минут, тридцать минут... скучно тянулось время, и вместе с тем во влажной темноте к ногам откуда-то подползал белесоватый туман. Но все еще не было никаких признаков появления вальдшнепов.

— Что это сегодня сделалось? — пробормотала Толстая, и в словах ее прозвучало сочувствие. — Редко так бывает, но...

— Слушайте! Соловей поет.

Тургенев намеренно перевел разговор совсем на другую тему.

Из глубины темного леса действительно долетало звонкое соловьиное пенье. Оба они на некоторое время замолчали и, думая каждый о своем, заслушались соловья...

И вдруг, — пользуясь словами самого Тургенева, — «и вдруг — но одни охотники поймут меня», вдруг поодаль из травы с криком, в котором нельзя было ошибиться, взмыл вальдшнеп. Белея подкрыльями, он полетел среди свешивающихся ветвей, стремясь скрыться в вечерней тьме. В тот же миг Тургенев вскинул ружье и быстро нажал на спусковой крючок.

Взвился дымок, блеснул огонь — и по затихшему лесу прокатился выстрел.

— Попали? — громко спросил, подходя к нему, Толстой.

— Попал! Камнем упал...

Дети с собакой уже столпились вокруг Тургенева.

— Идите искать! — приказал им Толстой.

Дети, с собакой впереди, принялись везде искать. Но сколько ни искали, убитый вальдшнеп не находился. Дора рыскала, не щадя сил, лишь иногда останавливалась и недовольно скулила.

Наконец на помощь детям пришли Толстой и Тургенев. Но им не попадалось на глаза ни перышка, которое бы показывало, куда делся вальдшнеп.

— Видно, вы его не убили, — обратился минут через двадцать Толстой к Тургеневу из темноты между деревьями.

— Да как же я мог не убить? Ведь я видел, как он камнем упал.

Говоря так, Тургенев искал кругом в траве.

— Попасть-то попали, но, может быть, только в крыло. Он хоть и упал, но мог убежать.

— Да нет же, я попал не в крыло. Я наверняка его убил.

Толстой в замешательстве нахмурил свои густые брови.

— Тогда собака должна была б его найти. Подстреленную дичь Дора всегда принесет.

— Однако раз я наверняка знаю, что убил его, то делать нечего, — раздраженно ответил Тургенев, не выпуская из рук ружья. — Убил или не убил, эту разницу и ребенок знает. Я ясно видел.

Толстой насмешливо взглянул на Тургенева.

— А что же такое с собакой?

— Не знаю, что с собакой. Я только говорю то, что видел. Камнем упал, — неожиданно пронзительным голосом сказал Тургенев, видя в глазах Толстого вызывающий блеск. — Il est tombé comme pierre, je t'assure<sup>1</sup>.

— Тогда Дора не могла б его не найти.

К счастью, в это время в разговор стариков писателей как ни в чем не бывало вмешалась Толстая, с улыбкой подошедшая к ним. Она сказала, что завтра утром пошлет детей еще раз поискать, а теперь лучше оставить все как есть и вернуться в усадьбу. Тургенев сейчас же согласился.

— Тогда я их попрошу. Завтра непременно узнаем.

— Да, завтра наверняка узнаем, — бросил со злобой иронией Толстой, все еще недовольный, повернулся к Тургеневу спиной и быстрыми шагами пошел из леса...

\* \* \*

В этот вечер Тургенев удалился к себе в спальню около одиннадцати часов. Оставшись наконец один, он тяжело опустился на стул и растерянно осмотрелся кругом.

Тургеневу была отведена комната, которая обычно служила Толстому кабинетом. Большие книжные шкафы, бюст в нише, три-четыре портрета, висящая на стене голова оленя — все это при свете свечи казалось неуютным, лишенным всякого признака веселости. И все же то, что он остался один, по крайней мере, в этот вечер, Тургенева до странности радовало.

---

<sup>1</sup> Камнем упал, я тебя уверяю (франц.).

...До того, как удалиться в спальню, гость вместе со всей семьей коротал вечер в разговорах за чайным столом. Тургенев, насколько мог, оживленно разговаривал и смеялся. Однако Толстой все время сидел с угрюмым видом и почти не принимал участия в разговоре. Тургеневу это было и неприятно и обидно. Поэтому он нарочно старался не замечать молчания хозяина, более обычного расточая любезности членам семьи.

Каждый раз, когда Тургенев отпускал удачную шутку, подымался общий смех. Когда он искусно показал детям, как кричит слон в гамбургском зоологическом саду, и изобразил повадки парижского уличного мальчишки, смех стал еще громче. Но по мере того как за столом делалось веселей, у Тургенева на душе становилось все более тяжело и неловко.

Когда разговор перешел на французскую литературу, Тургенев, не в силах больше разыгрывать оживление, вдруг обернулся к Толстому и заговорил с ним намеренно легким тоном:

— Вы знаете, что недавно появился новый многообещающий писатель?

— Нет, не знаю. Кто такой?

— Де Мопассан. Ги де Мопассан. По крайней мере, это писатель с неподражаемо острой наблюдательностью. У меня как раз с собой в чемодане сборник его рассказов «*La maison Tellier*»<sup>1</sup>. Если будет время, прочитайте.

— Де Мопассан?

Толстой с сомнением посмотрел на гостя. Но он так и не ответил, прочтет ли рассказы или нет. Тургенев помнил, как в детстве его мучили злые старшие дети... Точно такая же обида и теперь подступала к его сердцу.

— Раз уж заговорили о новых писателях, то и у нас появился один удивительный.

Заметив его замешательство, Толстая сейчас же стала рассказывать о посещении чудаковатого гостя. С месяц назад, под вечер, явился довольно бедно одетый молодой человек и заявил, что хочет непременно видеть Толстого, так что его провели в комнаты. И вот первые его слова при виде Толстого были: «Прошу вас немедленно дать мне рюмку водки и хвост селедки».

<sup>1</sup> «Заведение Телье» (франц.).

Этим одним он немало всех удивил, но нельзя было не удивиться еще больше тому, что этот странный молодой человек — уже пользующийся некоторой известностью начинающий писатель.

— Это был Гаршин.

Когда Тургенев услышал это имя, ему еще раз захотелось попытаться вовлечь Толстого в разговор: помимо того, что отчужденность Толстого становилась ему все неприятней, теперь появился удобный повод: когда-то он первый обратил внимание Толстого на произведения Гаршина.

— Неужели Гаршин? Кажется, его рассказы неплохи. Я не знаю, что вы после того читали, но...

— Кажется, неплохи.

Все-таки Толстой ответил равнодушно, лишь бы отделаться...

Тургенев встал и принялся ходить по кабинету, покачивая седой головой. Его тень, которую отбрасывала на стену стоявшая на столе свеча, то росла, то уменьшалась. Он шагал молча, заложив руки за спину и не отводя грустных глаз от голых досок пола.

В душе Тургенева одно за другим всплывали яркие воспоминания более чем двадцатилетней давности — того времени, когда он был дружен с Толстым. Как Толстой, тогда офицер, прокутив несколько ночей подряд, нередко приходил ночевать к нему в его петербургскую квартиру... Как Толстой в гостиную у Некрасова, победоносно глядя на него, забывал все на свете в своих нападках на Жорж Санд... Как Толстой, который как раз тогда написал «Двух гусаров», гуляя с ним в лесу Спасского, останавливался и восхищался красотой летних облаков... И, наконец, как Толстой в доме у Фета и сам он, сжав кулаки, бросали в лицо друг другу самые ужасные оскорбления... Какое ни возьми из этих воспоминаний, всегда упрямый Толстой был человеком, не признающим за другими никакой искренности. Человеком, который во всем, что делают другие, подозревает фальшь. И так не только тогда, когда то, что делали другие, расходилось с тем, что делает он сам. Пусть кто-нибудь распутничал так же, как он, он не мог простить распутство другому так, как он прощал его себе самому. Он не мог поверить даже тому, что другой способен так же чувствовать красоту летних обла-

ков, как чувствует он сам. Он ненавидел и Жорж Санд потому, что питал сомнение в ее искренности. И когда он одно время порвал с Тургеневым... Да нет, и теперь, как и раньше, он в утверждении, что Тургенев убил вальдшнепа, подозревает ложь...

Тургенев глубоко вздохнул и остановился перед нишей. В нише, освещенной далеко стоящей свечой, смутной тенью вырисовывался мраморный бюст. Это был бюст старшего брата Льва Толстого — Николая. Подумать только, с тех пор как ушел из жизни дорогой и ему, Тургеневу, привязчивый к людям Николай, прошло уже больше двадцати лет. Если бы брат мог хоть вполовину так, как Николай, считаться с чувствами других... Словно не замечая, как текут часы весенней ночи, Тургенев долго стоял перед нишей, устремив на полутемный бюст печальные глаза...

\* \* \*

На другое утро Тургенев довольно рано вышел в залу, которая в этом доме служила столовой. Стены залы увешаны были портретами предков, — и под одним из них Толстой за столом просматривал почту. Кроме него, в зале не было больше никого.

Старики писатели поздоровались.

Тургенев и теперь, всматриваясь в выражение лица Толстого, готов был помириться с ним, заметь он хоть малейший признак доброжелательности. Но Толстой, все еще раздраженно проронив два-три слова, в том же полном молчании возобновил просмотр почты. Тургенев придвинул стоящий поблизости стул, взял со стола газету и волей-неволей тоже безмолвно принялся читать. В сумрачной зале некоторое время не слышалось ни звука, кроме бульканья кипящего самовара.

— Хорошо спали ночь? — обратился Толстой к Тургеневу, окончив просмотр почты и как будто о чем-то подумав.

— Хорошо.

Тургенев опустил газету и ждал, что Толстой заговорит еще раз. Но хозяин, наливая себе из самовара чай в серебряную чашку, больше не произнес ни слова.

Так повторилось раз или два, и Тургеневу, как и накануне вечером, все тяжелее было смотреть на недо-

вольное лицо Толстого. В особенности сейчас, утром, когда с ними не было никого из посторонних, ему становилось прямо невмоготу. «Хоть бы жена Толстого пришла»,— несколько раз подумал он, внутренние волнуясь. Но почему-то все еще никто не приходил.

Пять минут, десять минут... Словно не в силах больше вытерпеть, Тургенев бросил газету и неуверенно встал со стула.

В это время за дверью раздались громкие голоса и топот ног. Слышно было, как наперегонки с шумом взбегали по лестнице... И в тот же миг дверь резко распахнулась, и в комнату, оживленно болтая, влетело несколько мальчиков и девочек.

— Папа! Нашелся!

Илья, стоявший впереди других, с торжеством потряс чем-то, что держал в руке.

— Я первая заметила! — закричала Татьяна, очень похожая на мать, не желая уступить брату.

— Он, видно, зацепился, когда падал. Повис на ветке березы,—объяснил наконец самый старший—Сергей.

Толстой ошеломленно обводил глазами детей. Но когда он понял, что вчерашний вальдшнеп благополучно найден, на его заросшем бородой лице сразу появилась ясная улыбка.

— Вот как? Зацепился за ветку дерева? Вот почему собака его не нашла.

Поднявшись, он подошел к Тургеневу, стоявшему среди детей, и протянул ему свою сильную руку.

— Иван Сергеевич! Теперь и я могу успокоиться. Я не такой человек, чтобы лгать. Если бы эта птица упала, Дора непременно б ее нашла.

Тургенев почти со стыдом пожал руку Толстому. Кто нашелся — вальдшнеп или автор «Анны Карениной»? Душу автора «Отцов и детей» залила такая радость, что на этот вопрос он не мог ответить.

— И я не такой человек, чтобы лгать. Смотрите — разве я его не убил? Ведь когда раздался выстрел, он тут же камнем упал.

Старики писатели переглянулись и, как будто сговорившись, расхохотались.

*Январь 1921 г.*



## СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Однажды вечером я гулял по Гиндза со своим старым приятелем Мураками.

Вдруг, точно случайно вспомнив, Мураками заговорил о своей младшей сестре, жившей в Сасэбо:

— Недавно пришло письмо от Тиэко. Она тебе кланяется.

— Тиэко-сан здорова?

— Да, в последнее время совсем поправилась. А когда жила в Токио, у нее нервы сильно расшатались — ты с ней в это время встречался?

— Встречался. Но насчет нервов...

— Неужели ты не знал? Она тогда была прямо сумасшедшая. То плачет, то смеется. Странная с ней история...

— Странная история?

Прежде чем ответить, Мураками толкнул стеклянную дверь кафе. Мы сели друг против друга за столик, откуда видна была улица.

— Да, странная история. Я еще тебе не рассказывал? Я узнал ее от Тиэко перед моим отъездом в Сасэбо.

Как ты знаешь, муж Тиэко был офицер команды броненосца, отправленного во время европейской войны на Средиземное море. На время его отсутствия сестра

переехала ко мне, и когда война стала подходить к концу, у нее вдруг ужасно расшатались нервы. Главной причиной, пожалуй, было то, что письма от мужа, которые она до того получала каждую неделю, вдруг перестали приходить. Ну, так как Тиэко рассталась с мужем всего через полгода после свадьбы, то смеяться над тем, что она радовалась его письмам, даже мне, человеку достаточно бесцеремонному, казалось жестоким.

Вот тогда это и случилось. Однажды... Да, это было в праздник Кигэнсэцу, день был холодный, с утра лил дождь, но Тиэко заявила, что хочет съездить в Камакура, давно там не была. В Камакура жила одна ее школьная подруга, замужем за каким-то дельцом. Тиэко хотела поехать к ней в гости, но поскольку в такой дождь непременно ехать в гости в Камакура вовсе не было надобности, то мы — и я сам, конечно, и жена — несколько раз заговаривали, не лучше ли ей поехать завтра. Но Тиэко упрямо твердила, что хочет ехать непременно сегодня. И наконец, рассердившись, быстро собралась и ушла.

— Может случиться, что я останусь ночевать и вернусь только завтра утром. — С этими словами она ушла, но немного погодя — что с ней случилось? — вернулась, мокрая до нитки и бледная-бледная. Между прочим, оказалось, что от Центрального вокзала до трамвайной остановки Хорибата она шла без зонтика. Почему? Вот в этом и заключается странная история.

Когда Тиэко подошла к Центральному вокзалу... Впрочем, нет, еще раньше с ней случилось вот что. В трамвае, на который она села, к ее огорчению, все места были заняты. Когда она взялась рукой за ремень, за окном прямо перед ее глазами смутно обрисовалось море. Так как трамвай в это время проходил по Дзимбо-мати, морю, конечно, показываться было неоткуда. Тем не менее через окно видно было, как в воздухе, над улицей колышутся набегающие волны. А когда на окно попадали капли дождя, в тумане даже обозначалась едва заметно линия горизонта. По одному этому можно судить, что у Тиэко уже в то время нервы были не в порядке.

Когда она подошла к Центральному вокзалу, стоявший у дверей носильщик в красной шапке внезапно

поклонился ей и сказал: «О вашем супруге никаких новостей?» Это, конечно, было странно. Но еще более странным было то, что Тиэко не нашла в этом вопросе ничего странного! Она даже ответила: «Благодарю вас. Только за последнее время почему-то ничего от него не получаю». Тогда носильщик сказал: «В таком случае я с ним повидаюсь». Повидается? Но ведь муж далеко, на Средиземном море... Только тут Тиэко обратила внимание на то, что этот незнакомый носильщик говорит какие-то странные вещи. Но пока она собралась его переспросить, носильщик слегка поклонился и скрылся в толпе. И как Тиэко ни искала, больше она этой красной шапки не видела. Нет, не то чтобы не видела, а просто лица этого носильщика — странное дело! — она никак не могла припомнить. Поэтому она и не могла его найти, а в то же время каждую красную шапку она принимала за этого самого носильщика. Притом у нее почему-то было такое ощущение, словно этот таинственный носильщик все время за ней наблюдает. Тут не то что ехать в Камакура, а даже оставаться на вокзале ей стало как-то жутко. В конце концов, даже не раскрыв зонтика, она под проливным дождем, как во сне, убежала оттуда.

Разумеется, вся эта история приключилась с ней просто из-за нервов, но на этой прогулке Тиэко простудилась. Со следующего дня у нее целых трое суток держался сильный жар, и она все время бредила, — словно обращаясь к мужу, говорила то: «Простите меня!», то: «Отчего вы не возвращаетесь?» Но история злополучной поездки в Камакура на этом не кончилась. Даже когда простуда совсем прошла, стоило Тиэко услышать слово «носильщик», как она на целый день расстраивалась и почти не раскрывала рта. Один раз произошел даже смешной случай: на вывеске какой-то транспортной конторы был нарисован носильщик, и когда она это увидела, то дальше не пошла, а повернула домой.

Однако прошел месяц, и ее страх перед носильщиком понемногу почти исчез. «Сестрица, в одном рассказе Кёка говорится о носильщике с кошачьей физиономией. Может быть, эта странная вещь приключилась с тобой от чтения этого рассказа?» Но как-то в марте ее опять напугал носильщик. И с тех пор до возвращения мужа Тиэко ни под каким видом, даже если нужно

было, не ходила на вокзал. И тебя не пошла провожать тоже из-за того, что боялась носильщика.

В этот мартовский день из Америки после двухлетнего отсутствия приехал приятель ее мужа. Тиэко с утра отправилась к нему. Как ты знаешь, в том районе даже днем малоллюдно. На пустынной улице у тротуара стоял, точно забытый, передвижной ларек с игрушечными мельницами. День был пасмурный, ветреный, и цветные вертушки, установленные на лотке, бешено вертелись. У Тиэко от одного этого зрелища почему-то сжалось сердце. Когда же, проходя мимо лотка, она случайно подняла глаза,— спиной к ней сидел на корточках человек в красной шапке. Вероятно, это просто уселся покурить продавец вертушек или кто-нибудь в таком роде. Но когда Тиэко увидела, что шапка у него красная, ее почему-то охватило странное предчувствие, и она даже подумала, не вернуться ли ей домой.

Однако с момента прихода на вокзал до того, как она встретила приехавшего, к счастью, ничего не случилось. Только когда встречающие во главе с приятелем мужа выходили с перрона через полутемную дверь вокзала, кто-то сзади обратился к Тиэко со словами: «Ваш супруг, говорят, ранен в правую руку. Поэтому он и не пишет». Тиэко мгновенно обернулась, но никакой красной шапки позади не оказалось. За Тиэко шел морской офицер с женой, ее хорошие знакомые. Понятно, этот морской офицер не стал бы ни с того ни с сего говорить ей такие вещи, поэтому слова, которые она услышала, иначе как странными назвать было никак нельзя. И все-таки Тиэко обрадовалась, что красной шапки нигде не видно. Пройдя через здание вокзала, они всей компанией направились к подъезду проводить товарища мужа до автомобиля. Тогда сзади опять кто-то отчетливо произнес: «Сударыня, вероятно, ваш супруг через месяц вернется домой». Тиэко опять обернулась, но позади стояли только знакомые, встречавшие приятеля мужа, и никакой красной шапки не было видно. Но хотя сзади ее и не было, зато впереди двое носильщиков укладывали в автомобиль багаж. Один из них на секунду повернул голову и как-то странно усмехнулся. Увидев его, Тиэко так побледнела, что даже окружающие это заметили. Когда же она немного овладела собой, то убедилась, что там, где она видела двоих

носильщиков, багаж укладывает один. И совсем не тот, который только что усмехался. Она подумала, что уж теперь-то запомнила лицо усмехнувшегося носильщика. Но потом все же оказалось, что она по-прежнему помнит его смутно. И как она ни старалась, в памяти всплывало только лицо без глаз и без носа да красная шапка... Вот вторая странная история, которую рассказала Тиэко.

Потом через месяц, — да, примерно в то время, когда ты уехал в Корею, — муж действительно вернулся. И, странное дело, он и вправду некоторое время не мог писать из-за раны в правую руку. Моя жена сразу же стала подшучивать над Тиэко: «Она все время думала о муже, естественно, что она это знала!» Через две недели Тиэко с мужем уехали на место его службы в Сасэбо, но не успели они обосноваться там, как мы, к величайшему изумлению, прочли в присланном ею письме третью странную историю.

Когда они уезжали с Центрального вокзала и поезд уже тронулся, носильщик, который нес их багаж, заглянул к ним в окно, должно быть, чтобы пожелать им доброго пути. При виде его лицо мужа приняло странное выражение, и немного погодя он смущенно рассказал Тиэко следующее. Во время стоянки их корабля в Марселе, когда он сидел с приятелем в кафе, внезапно к столу подошел японец-носильщик и фамильярным тоном спросил, как обстоят дела. Конечно, по улицам Марселя японцы-носильщики не рассказывают. Но муж Тиэко почему-то несколько не удивился и рассказал, что ранен в правую руку и скоро возвращается домой. В эту минуту какой-то пьяный опрокинул рюмку коньяку. И когда муж моей сестры испуганно оглянулся, японец-носильщик исчез, как сквозь землю провалился. Что же это такое? Глаза у него были открыты, но он не мог понять, приснилось ли это ему или случилось на самом деле? Вдобавок приятели держали себя так, как будто они не заметили, чтобы к нему кто-либо подходил. Поэтому он в конце концов решил никому об этом случае не рассказывать. Но когда он вернулся в Японию, он узнал, что Тиэко два раза встречала какого-то таинственного носильщика. Тогда он подумал, что в Марселе, пожалуй, видел именно его; однако это слишком походило на рассказы о привидениях. Кроме

того, он боялся подтруниваний над тем, что во время славного похода он думает о жене; поэтому он все еще молчал. Но когда он увидел носильщика, только что заглянувшего в окно, оказалось, что этот носильщик ни на волос не отличается от того, который заходил в кафе в Марселе... Рассказав эту историю, муж помолчал, но потом, тревожно понизив голос, добавил: «Не странно ли? Я сказал: «Ни на волос не отличается»,— а между тем никак не могу отчетливо припомнить его лицо. Только в тот миг, когда он заглянул в окно, я подумал: «Он самый!..»

Когда Мураками дошел до этого места, к нашему столу приблизились несколько человек, только что вошедших в кафе — по-видимому, его знакомые,— и стали шумно здороваться с ним. Я поднялся.

— Ну, пока, до свиданья. До отъезда в Корею загляну к тебе.

Выйдя из кафе, я невольно глубоко вздохнул: только теперь я понял, почему три года назад Тизко, дважды нарушив обещание прийти на тайное свиданье со мной на Центральный вокзал, прислала мне письмо, в котором кратко сообщала, что хочет навеки остаться верной женой.

*Январь 1921 г.*

|

---

**КОНЧИНА**  
**ПРАВЕДНИКА**  
*(Свиток картин)*

Ребенок. Смотрите, сюда идет какой-то чудной монах! Смотрите все, смотрите все!

Уличная торговка суси. В самом деле какой странный монах! Так неистово ударяет в гонг и при этом вопит...

Старик, торговец хворостом. Никак не пойму, чего он хочет,— на ухо туговат. Скажи, что он там кричит, а?

Жестящик. Он кричит: «О будда Амида, отзовись! О будда Амида, отзовись!»

Старик. Да ну?.. Значит, он не в себе.

Жестящик. Похоже на то.

Торговка овощами. Ах, нет, это, наверно, блаженный праведник. Помолюсь-ка ему на всякий случай.

Торговка суси. Но какое противное у него лицо! Разве у праведников бывают такие?

Торговка овощами. Грешно так говорить! Бог накажет...

Ребенок. Дю-дю, дурачок! Дю-дю, дурачок!

Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!

Собака. Гав!.. Гав-гав!..

Дама, идущая на богомолье. Взгляни, какой забавный монах!

Ее спутница. Эти блаженные, чуть только увидят женщину, того и гляди, привяжутся с какой-нибудь непристойностью. Хорошо, что он еще далеко, свернем скорее в сторону.

Литейщик. Э, да, никак, это вельможа из Тадо!..

Странствующий торговец ртутью. Слышал я, что супруга его и дети день-деньской льют о нем слезы...

Литейщик. И все же вступить на путь Будды, покинув ради этого даже жену с детьми, — что ни говорите, а по нынешним временам это замечательно!

Торговец сушеной рыбой. Что же тут хорошего? Поставь-ка себя на место брошенной жены и детей — поневоле зло возьмет, пусть даже не женщина разлучила, а сам Будда!

Молодой самурай. А ты права. В этом есть свой резон! (Хохочет.)

Собака. Гав-гав!.. Гав-гав!..

Монах-вельможа. Отзовись, будда Амида!.. Отзовись! Отзовись!..

Самурай-всадник. Эй, коня напугал, отче!.. Стой, стой!..

Слуга, несущий за ним поклажу. На блаженного и рука не поднимется...

Старая монахиня. Всем ведомо, что монах этот был прежде злодеем, любившим пуще всего убийство... Поистине благо, что он обратился на путь истины.

Молодая монахиня. Да, верно, страшный был человек... Не только убивал все живое, охотясь в лесах и на реках, но, бывало, не раз стрелял в простолюдинов, в нищих...

Нищий с сандалиями в руках. Вовремя же я его повстречал. Случись это на недельку раньше, стрела, возможно, пробурала бы мне дырку в брюхе.

Торговец каштанами. С чего бы это такой душегуб вздумал постричься?

Старая монахиня. Да, чудеса... Наверное, была на то воля Будды.

Торговец маслом. А я думаю, не иначе как в него вселился тэнгу или другая нечистая сила.

Торговец орехами. Нет, по-моему, не тэнгу, а лисица.



Торговец маслом. Но говорят, что именно тэнгу в любую минуту может оборотиться Буддой...

Торговец орехами. Сказал тоже... Не только тэнгу... И лиса на это мастерица.

Нищий. Выберу-ка я минутку, стащу горсточку каштанов да суну в мешок для подающих...

Молодая монахиня. Ой, смотрите, куры все забрались на крышу,— верно, гонга испугались...

Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!

Рыбак. Вот еще нелегкая принесла! Сколько шума наделал!

Его приятель. Что это там? Какой-то нищий бежит сюда?

Дама-путешественница с длинной вуалью и под зонтиком. Ах, как ноги у меня устали! Этому нищему и то позавидуешь!

Ее слуга. Осталось только перейти мостик, и за ним сразу город.

Рыбак. Заглянуть бы разок под эту вуаль...

Его товарищи. Смотри, пока мы по сторонам зевали, наживку-то оборвало...

Монах-вельможа. О будда Амида! Отзовись! Отзовись!..

Ворона. Карр!.. Карр!

Женщина, сажаящая рассаду в поле. «О кукушка! Словно в насмешку поешь ты, когда я гну спину в поле...»

Ее подруга. Какой смешной монах, правда?

Ворона. Карр!.. Карр!..

Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!

На некоторое время воцаряется тишина. Только ветер шелестит в соснах.

О будда Амида! Отзовись! Отзовись!

Меж сосен снова проносится порыв ветра.

Старый монах. Святой отец, а святой отец!..

Монах-вельможа. Ты звал меня?

Старый монах. Воистину. Куда путь держите, святой отец?

Монах-вельможа. Иду на запад.

Старый мона х. На западе — море.

Мона х-вельмо ж а. Что ж, море мне не помеха. Буду идти на запад до тех пор, пока не сподоблюсь лицезреть будду Амида.

Старый мона х. Что за удивительные речи слышу я! Неужто вы полагаете, будто смертный может лицезреть будду Амида и поклониться ему?

Мона х-вельмо ж а. Иначе зачем бы я стал призывать его так громогласно? Для этого я и от мира ушел.

Старый мона х. Были к тому, наверно, немаловажные причины?

Мона х-вельмо ж а. Нет, особых причин никаких не было. Только, возвращаясь третьего дня с охоты, услышал я по дороге поучения одного проповедника. Вник в его слова и тут понял — грешник, даже самый великий, преступивший все священные заповеди, если только обратит свои помыслы к Будде и станет служить ему всем сердцем своим, сможет обрести вечную жизнь в чистой обители рая. И от этих слов в то же мгновение меня охватила такая любовь к будде Амида, что вся кровь забурлила в жилах...

Старый мона х. И как же тогда поступил святой отец?

Мона х-вельмо ж а. Я схватил этого проповедника, повалил и прижал к земле...

Старый мона х. Что?! Повалил и прижал к земле?..

Мона х-вельмо ж а. Потом выхватил меч из ножен, приставил к груди проповедника и потребовал, чтобы он назвал место, где обитает будда Амида.

Старый мона х. Странная, однако, манера задавать вопросы!..

Мона х-вельмо ж а. Жалобно на меня глядя, он пробормотал: «Запад... запад...» Но я тут мешкаю, а между тем смеркается. Нельзя терять ни минуты пути, это грех перед буддой Амида... О будда Амида, отзовись!.. Отзовись!..

Старый мона х. Поистине мне повстречался странный безумец... Пойду-ка и я своим путем...

В третий раз прошумел ветер в соснах. Слышно, как глухо рокоцут волны.

**Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись!.. Отзовись!..**

Рокот волн. Время от времени слышно, как щебечут у берега чайки.

О будда Амида, отзовись! Отзовись!.. Какой пустынный берег, нет даже лодок. Одни лишь волны. А за волнами, возможно, лежит страна, где родился будда Амида... Будь я птицей-бакланом, мигом перелетел бы туда, но увы... А ведь проповедник сказал, что милосердие и доброта Будды беспредельны. Значит, не может он не отозваться, если со всем усердием призывать его громким голосом... Стану же звать его, сколько достанет сил, звать, пока не умру. А вот, на счастье, и сухая сосна с развоенной вершиной протянула во все стороны ветви... Заберусь-ка на эту вершину... О будда Амида, отзовись! Отзовись!

Снова рокот волн, тяжкий, глухой.

Старый монах. Вот уже седьмой день пошел с тех пор, как повстречался мне тот безумец. Он говорил, что хочет еще при жизни лицезреть очами будду Амида... Куда он потом скрылся? О-о, там, на верхушке сухой сосны — человек... Конечно же, это он, тот монах. Святой отец, а святой отец!.. Молчит. Оно и понятно. Он мертв. Бедняга умер голодной смертью, ведь при нем не было даже сумы для подаяния.

В третий раз слышится рокот волн, тяжкий, глухой.

Нельзя оставлять его на дереве — он станет добычей воронов... Все заранее предопределено в нашем мире. Похороню же его... О-о, что это? В устах мертвеца вырос белоснежный цветок лотоса! В самом деле, я давно уже ощутил дивный аромат... Значит, тот, кого я счел безумцем, оказался блаженным праведником? А я, того не ведая, обращался с ним непочтительно — сколь же велико мое упущение!.. Да славится имя твое, будда Амида! Да славится имя твое, будда Амида!.. Да славится имя твое, будда Амида!

*Март 1921 г.*

## В ЧАЩЕ

*Что сказал на допросе судейского чиновника  
дровосек*

Да. Это я нашел труп. Нынче утром я, как обычно, пошел подальше в горы нарубить деревьев. И вот в роще под горой оказалось мертвое тело. Где именно? Примерно в четырех-пяти тѣ от проезжей дороги на Ямá-сина. Это безлюдное место, где растет бамбук попережку с молоденькими криптомериями.

На трупе были бледно-голубой суйкан и поношенная шапка эбоси, какие носят в столице; он лежал на спине. Ведь вот какое дело, на теле была всего одна рана, но зато прямо в груди, так что сухие бамбуковые листья вокруг были точно пропитаны киноварью. Нет, кровь больше не шла. Рана, видно, уже запеклась. Да, вот еще что: на ране, ничуть не испугавшись моих шагов, сидел присосавшийся овод.

Не видно ли было меча или чего-нибудь в этом роде? Нет, там ничего не было. Только у ствола криптомерин, возле которой лежал труп, валялась веревка. И еще... да, да, кроме веревки, там был еще гребень. Вот и все, что было возле тела, — только эти две вещи. А трава и опавшая листва кругом были сильно истоптаны, — видно, убитый не дешево отдал свою жизнь. Что, не было ли лошади? Да туда никакая лошадь не проберется. Конная дорога — она подальше, за рощей.

*Что сказал на допросе судейского чиновника  
странствующий монах*

С убитым я встретился вчера. Вчера... кажется, в полдень. Где? На дороге от Сэкияма в Ямасина. Он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся в Сэкияма. На женщине была широкополая шляпа с покрывалом, так что лица ее я не видел. Видно было только шелковое платье с узором цветов хаги. Лошадь была рыжеватая, с подстриженной гривой. Рост? Что-то около четырех сун выше обычного... Я ведь монах, в таких вещах худо разбираюсь. У мужчины... да, у него был и меч за поясом, и лук со стрелами за спиной. И сейчас хорошо помню, как у него из черного лакированного колчана торчало штук двадцать стрел.

Мне и во сне не снилось, что он так кончит. Поистине, человеческая жизнь исчезает вмиг, что росинка, что молния. Ох, ох, словами не сказать, как все это при-  
скорбно.

*Что сказал на допросе судейского чиновника стражник*

Человек, которого я поймал? Это — знаменитый разбойник Тадзёмару. Когда я его схватил, он, упав с лошади, лежал, стелая, на каменном мосту, что у Авадагути. Когда? Прошлым вечером, в часы первой стражи. Прошлый раз, когда я его чуть не поймал, на нем был тот же самый синий суйкан и меч за поясом. А на этот раз у него, как видите, оказались еще лук и стрелы. Вот как? Это те самые, что были у убитого? Ну, в таком случае убийство, без сомнения, совершил Тадзёмару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан, семнадцать стрел с ястребиными перьями — все это, значит, принадлежало убитому. Да, лошадь, как вы изволили сказать, была рыжеватая, с подстриженной гривой. Видно, такая ему вышла судьба, что она сбросила его с себя. Лошадь щипала траву у дороги неподалеку от моста, и за ней волочились длинные поводья.

Этот самый Тадзёмару, не в пример прочим разбойникам, что шатаются по столице, падок до женщин. Помните, в прошлом году на горе за храмом Акиторибэ, посвященном Биндзуру, убили женщину с девочкой, по-видимому, паломников? Так вот, говорили, что это

дело его рук. Вот и женщина, что ехала на рыжеватой лошади, — если он убил мужчину, то куда девалась она, что с ней случилось? Неизвестно. Извините, что вмешаюсь, но надо бы это расследовать.

*Что сказала на допросе судейского чиновника старуха*

Да, это труп того самого человека, за которого вышла замуж моя дочь. Только он не из столицы. Он самураем из Кóкуфу и Вакаса. Зовут его Канадзава Такэхиро, лет ему двадцать шесть. Нет, он не мог навлечь на себя ничьей злобы — у него был очень мягкий характер.

Моя дочь? Ее зовут Масаго, ей девятнадцать лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюбленного до Такэхиро. Она смуглая, возле уголка левого глаза у нее родинка, лицо маленькое и продолговатое.

Вчера Такэхиро с моей дочерью отправился в Вакаса. За какие грехи свалилось на нас такое несчастье! Что с моей дочерью? С судьбой зятя я примирилась, но тревога за дочь не дает мне покоя. Я, старуха, молю вас во имя всего святого — обыщите все леса и луга, только найдите мою дочь! Какой злодей этот разбойник Тадзёмару или как его там! Не только зятя, но и мою дочь... (Плачет, не в силах сказать ни слова.)

### *Признание Тадзёмару*

Того человека убил я. Но женщину я не убивал. Куда она делась? Этого и я тоже не знаю. Пойдите! Сколько бы вы меня ни пытали, я ведь все равно не смогу сказать то, чего не знаю. К тому же, раз уж так вышло, я не буду трусить и не буду ничего скрывать.

Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полудня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось, и на миг мелькнуло ее лицо. На миг — мелькнуло и сразу же снова скрылось — и, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось мне лицом бодисатвы. И я тут же решил, что завладею женщиной, хотя бы пришлось убить мужчину.

Вам кажется это страшно? Пустяки, убить мужчину — обыкновенная вещь! Когда хотят завладеть женщиной, мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом, что у меня за поясом, а вот вы все не прибегаете к мечу, вы убиваете властью, деньгами, а иногда про-

сто льстивыми словами. Правда, крови при этом не проливается, мужчина остается целехонек — и все-таки вы его убили. И если подумать, чья вина тяжелей — ваша или моя, — кто знает?! (Ироническая усмешка.)

Но это не значит, что я недоволен, если удастся завладеть женщиной, не убивая мужчины. А на этот раз я прямо решил завладеть женщиной без убийства. Только на проезжей дороге такой штуки не проделать. Поэтому я придумал, как заманить их обоих в глубь рощи.

Это оказалось нетрудно. Пристав к ним как попутчик, я стал рассказывать, что напротив на горе есть курган, что я его раскопал, нашел там много зеркал и мечей и зарыл все это в роще у горы, чтобы никто не видел, и что, если найдется желающий, я дешево продам любую вещь. Мужчина понемногу стал поддаваться на мои слова. И вот — что бы вы думали! Страшная вещь алчность! Не прошло и получаса, как они повернули свою лошадь и вместе со мной направились по тропинке к горе.

Когда мы подошли к роще, я сказал, что вещи зарыты в самой чаще, и предложил им пойти посмотреть. Мужчину снедала жадность, и он, конечно, не стал возражать. Но женщина сказала, что она не сойдет с лошади и останется ждать. Это с ее стороны было вполне разумно, так как она видела, что роща очень густая. Все шло как по маслу, и я повел мужчину в чаще, оставив женщину одну.

На окраине заросли рос только бамбук. Но когда мы прошли около полтё, стали попадаться и криптомерии. Для того, что я задумал, трудно было найти более удобное место. Раздвигая ветви, я рассказывал правдоподобную историю, будто сокровища зарыты под криптомерией. Слушая меня, мужчина торопливо шел вперед, туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попадался все реже, уже вокруг стояли криптомерии — и тут я внезапно набросился на него и повалил его на землю. И он сразу же оказался привязанным к стволу дерева. Веревка? Какой же разбойник бывает без веревки? Веревка была у меня за поясом — ведь она всегда могла мне понадобиться, чтобы перебраться через изгородь. Разумеется, чтоб он не мог кричать, я забил ему рот опавшими бамбуковыми листьями, и больше с ним возиться было нечего.

Покончив с мужчиной, я вернулся к женщине и сказал ей, что ее спутник внезапно занемог и что ей надо пойти посмотреть, что с ним. Незачем и говорить, что и на этот раз я добился своего. Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки, пошла в глубь рощи. Но когда мы пришли к тому месту, где к дереву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку за пазуху и выхватила кинжал. Никогда еще не приходилось мне видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда настороже, наверняка получил бы удар в живот. От этого-то я увернулся, но она ожесточенно наносила удары куда попало. Но ведь недаром я Тадзёмару — мне в конце концов удалось, не вынимая меча, выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина ничего не может поделать. И вот я наконец, как и хотел, смог овладеть женщиной, не лишая жизни мужчину.

Да, не лишая жизни мужчину. Я и после этого не собирался его убивать. Но когда я хотел скрыться из рощи, оставив лежащую в слезах женщину, она вдруг как безумная вцепилась мне в рукав и, задыхаясь, крикнула: «Или вы умрете, или мой муж... кто-нибудь из вас двоих должен умереть... Быть опозоренной на глазах двоих мужчин хуже смерти... Один из вас должен умереть... а я пойду к тому, кто останется в живых». И вот тогда мне захотелось убить мужчину. (Мрачное возбуждение.)

Теперь, когда я вам это сказал, наверно, кажется, что я жестокий человек. Это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины. Потому что вы не видели ее горящих глаз. Когда я встретился с ней взглядом, меня охватило желание сделать ее своей женой, хотя бы гром поразил меня на месте. Сделать ее своей женой — только эта мысль и была у меня в голове. Нет, это не была грубая похоть, как вы думаете. Если бы мною владела только похоть, я отшвырнул бы женщину пинком ноги и ушел. Тогда и мужчине не пришлось бы обогреть мой меч своею кровью. Но в то мгновение, когда в сумраке чащи я взгляделся в лицо женщины, я решил, что не уйду оттуда, пока его не убью.

Однако хотя я и решил его убить, но не хотел убивать его подло. Я развязал его и сказал: будем биться на мечах. Веревка, что нашли у корней дерева, это и



была та самая, которую я тогда бросил. Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и сразу же, не вымолвив ни слова, яростно бросился на меня. Чем кончился этой бой, незачем и говорить. На двадцать третьем взмахе мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе — прошу вас, не забудьте этого! Я до сих пор поражаюсь: во всем мире он один двадцать раз скрестил свой меч с моим. (Веселая улыбка.)

Как только он упал, я с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине. Но — представьте себе, ее нигде не было! Я стал искать среди деревьев. Но на опавших бамбуковых листьях не осталось никаких следов. А когда я прислушался, то услышал только предсмертное хрипенье в горле у мужчины.

Может быть, когда мы начали биться, женщина ускользнула из рожи, чтобы позвать на помощь? Как только эта мысль пришла мне в голову, я понял, что дело идет о моей жизни. Я взял у убитого меч, лук и стрелы и сейчас же выбрался на прежнюю тропинку. Там все так же мирно щипала траву лошадь женщины. Говорить о том, что было после, — значит напрасно тратить слова. Только вот что: перед въездом в столицу у меня уже не было того меча. Вот и все мое признание. Подвергните меня самой жестокой казни — я ведь всегда знал, что когда-нибудь моей голове придется торчать на верхушке столба. (Вызывающий вид.)

*Что рассказала женщина на исповеди в храме  
Киёмидзу*

Овладев мною, этот мужчина в синем обернулся к моему связанному мужу и насмешливо захохотал. Как тяжело, наверно, было мужу! Но как он ни извивался, опутывавшая его веревка только глубже врезалась в тело. Я невольно вся подалась к нему — нет, я только хотела податься. Но тот мужчина мгновенно пинком ноги швырнул меня на землю. И вот тогда это и случилось. В этот миг я увидела в глазах мужа какой-то неопиcуемый блеск. Неопиcуемый... даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить в себе дрожь. Не в силах выговорить ни единого слова, муж в это мгновение излил всю свою душу во взгляде. Но его глаза выражали не гнев, не страдание — в них сверкало холодное презрение ко мне, вот что они выражали! Не от

пинка того мужчины, а от ужаса перед этим взглядом я, не помня себя, вскрикнула и лишилась чувств.

Когда я пришла в себя, того мужчины в синем уже не было. И только к стволу криптомерии по-прежнему был привязан мой муж. С трудом поднимаясь с опавших бамбуковых листьев, я пристально смотрела ему в лицо. Но взгляд его нисколько не изменился. Его глаза по-прежнему выражали холодное презрение и затаенную ненависть. Не знаю, как сказать, что я тогда почувствовала... и стыд, и печаль, и гнев... Шатаюсь, я поднялась и подошла к мужу.

«Слушайте! После того, что случилось, я не могу больше оставаться с вами. Я решила умереть. Но... но умрете и вы. Вы видели мой позор. После этого я не могу оставить вас в живых». Вот что я ему сказала, как ни было это трудно. И все-таки муж по-прежнему смотрел на меня с отвращением. Сдерживая волнение, от которого грудь моя готова была разорваться, я стала искать его меч. Но, вероятно, все похитил разбойник — не только меча, но даже и лука и стрел нигде в чаще не было видно. Только кинжал, к счастью, валялся у моих ног. Я занесла кинжал и еще раз сказала мужу: «Теперь я лишу вас жизни. И сейчас же последую за вами».

Когда муж услышал эти слова, он с усилием пошевелил губами. Разумеется, голоса не было слышно, так как рот у него был забит бамбуковыми листьями. Но когда я посмотрела на его губы, то сразу же поняла, что он сказал. Все с тем же презрением ко мне муж проговорил одно слово: «Убивай». Почти в беспомощности я глубоко вонзила кинжал в его грудь под бледно-голубым суйканом.

Кажется, тут я опять потеряла сознание. Когда, очнувшись, я оглянулась кругом, муж, по-прежнему связанный, уже не дышал. Сквозь густые ветви криптомерий, сплетенные со стволами бамбука, на его бледное лицо упал луч заходящего солнца. Подавляя рыдания, я развязала веревку на трупе. И потом... что стало со мной потом? Об этом у меня нет сил говорить. Что я ни делала, я не могла найти в себе силы умереть. Я подносила кинжал к горлу, я пыталась утопиться в озере у подножья горы, я пробовала... Но вот не умерла, осталась живой, и этим мне не приходится гордиться. (Грустная улыбка.) Может быть, милосердная, состра-

дательная богиня Каннон отвернулась от такого ничемного существа, как я. Но что же мне делать, мне, убившей своего мужа, обесчещенной разбойником, что мне делать? Что мне... мне... (Внезапные отчаянные рыдания.)

*Что сказал устами прорицательницы дух убитого*

Овладев женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Рот у меня, разумеется, был заткнут. Сам я был привязан к стволу дерева. Но я все время делал жене знаки глазами: «Не верь ему! Все, что он говорит,— ложь»,— вот что я хотел дать ей понять. Но жена, опечаленно сидя на опавших листьях, не поднимала глаз от своих колен. Право, можно было подумать, что она внимательно слушает слова разбойника. Я извивался от ревности. А разбойник искусно вел речь, добиваясь своей цели. Утратив чистоту, жить с мужем будет трудно. Чем оставаться с мужем, не лучше ли ей пойти в жены к нему, разбойнику? Ведь он решился на бесчинство именно потому, что она ему полюбилась... Вот до чего он дерзко договорился.

Слушая разбойника, жена наконец задумчиво подняла лицо. Никогда еще я не видел ее такой красивой! Но что же ответила моя красавица жена разбойнику, когда я был, связанный, рядом с ней? Теперь я блуждаю в небытии, но каждый раз, как я вспоминаю этот ее ответ, меня жжет негодование. Вот что сказала жена: «Ну, так ведите меня, куда хотите». (Долгое молчание.)

Но ее вина не только в этом. Из-за этого одного я, наверно, не мучился бы так, блуждая во мраке. Вот что произошло: жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву. «Убейте его! Я не могу быть с вами, пока он жив!..» — выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его!» — эти слова и теперь, как ураган, уносят меня в бездну мрака. Разве хоть когда-нибудь такие мерзкие слова исходили из человеческих уст? Разве хоть когда-нибудь такие гнусные слова касались человеческого слуха? Разве хоть когда-нибудь... (Внезапный взрыв язвительного

хочота.) Услышав эти слова, даже разбойник побледнел. «Убейте его!» — кричала жена, цепляясь за его рукав. Пристально взглянув на нее, разбойник не ответил ни «да», ни «нет» и вдруг пинком швырнул ее на опавшие листья. (Снова взрыв язвительного хохота.) Скрестив на груди руки, он обернулся ко мне. «Что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой». Убить? За одни эти слова я готов все ему простить. (Снова долгое молчание.)

Пока я колебался, жена вдруг вскрикнула и бросилась бежать в глубь чащи. Разбойник в тот же миг кинулся за ней, но, видимо, не успел схватить ее даже за рукав. Мне казалось, что я все это вижу в бреду.

Когда жена убежала, разбойник взял мой меч, лук и стрелы и в одном месте разрезал на моей веревку. Помню, как он пробормотал, скрываясь из рощи: «Теперь надо подумать и о себе».

Когда он ушел, всюду кругом стало тихо. Нет, не всюду, — рядом еще слышались чьи-то рыдания. Снимая с себя веревку, я внимательно прислушался. И что же? Я понял, что это рыдаю я сам. (Третий раз долгое молчание.)

Наконец я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Передо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как к горлу подкатил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише. О, какая это была тишина! В этой горной роще не щебетала ни одна птица. Только на стволах криптомерий и бамбука горели печальные лучи закатного солнца. Закатного солнца... Но и они понемногу меркли. Уже не видно стало ни деревьев, ни бамбука. И меня, распростертого на земле, окутала глубокая тишина.

И вот тогда кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это. Но все кругом застлал сумрак. И кто-то... этот кто-то невидимой рукой тихо вынул кинжал у меня из груди. В тот же миг рот у меня опять наполнился хлынувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия.

*Январь 1922 г.*

## ГЕНЕРАЛ

### 1. ОТРЯД «БЕЛЫЕ НАШИВКИ»

Дело было на рассвете двадцать шестого декабря тридцать седьмого года Мэйдзи. Отряд «Белые нашивки» N-ского полка N-ской дивизии выступил с северного склона высоты 93 для штурма дополнительного форта на горе Суншунань.

Так как дорога тянулась под прикрытием горы, отряд в этот день шел в особом порядке, колонной по четыре. Безусловно, когда ряды солдат с винтовками стали двигаться вперед по полутемной голой дороге и только белели в сумраке нашивки да раздавался тихий стук шагов, — это была трагическая картина. И действительно, заняв свое место во главе колонны, командир, капитан М., с этой минуты сделался необычно молчаливым, и лицо его приняло задумчивое выражение. Но солдаты, сверх ожидания, не потеряли своей обычной бодрости. Этому способствовали, во-первых, сила японского духа — «ямáтодамасíй» и, во-вторых, сила водки.

Через некоторое время отряд вышел в каменистую речную долину, где с гор дул сильный ветер.

— Эй, погляди-ка назад! — обратился рядовой первого разряда Тагути, бывший торговец бумагой, к рядовому первого разряда Хорио той же роты, бывшему плотнику. — Смотри, все отдают нам честь!

Рядовой Хорио оглянулся. В самом деле, на гребне высившегося за ними черного холма, на фоне заалевшего неба, офицеры во главе с командиром полка на прощанье козыряли бойцам, идущим на смерть.

— Ну что? Здорово? Попасть в отряд «Белые нашивки» — большая честь!

— Какая там честь! — с горечью сказал рядовой Хорио, поправляя на плече винтовку. — Все мы идем на смерть. Вот они и говорят, что [за знак чести купим и уьем]. Дешево это стоит!

— Так нельзя. Так говорить — нехорошо перед [императором].

— Ну тебя к черту! Хорошо, нехорошо — чего там! За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут.

Рядовой Тагути промолчал; он привык к повадкам приятеля, которому стоило подвыпить, чтобы сразу же начать свои циничные шуточки. Но рядовой Хорио упрямо продолжал:

— Нет, за козырянье ничего не купишь. Вот они и напевают на все лады, дескать ради государства, ради императора. Только все это враки. Что, брат, разве не верно?

Тот, к кому обратился рядовой Хорио, был тихий ефрейтор Эги из той же роты, бывший учитель начальной школы. Однако на этот раз тихий ефрейтор почему-то сразу вспылал и, казалось, готов был полезть в драку. Он злобно бросил прямо в лицо подвыпившему Хорио:

— Дурак! Идти на смерть — наш долг!

В это время отряд «Белые нашивки» уже подымался по противоположному склону речной долины. Там безмолвно встречали зарю шесть-семь фанз, обмазанных засохшей грязью, а над их крышами громоздилась холдная темно-бурая гора Суншушань с будто выписанными на ней зеленватыми складками. Пройдя деревню, колонна рассыпалась. Солдаты в полном снаряжении стали карабкаться по тропинкам и ползком медленно приближались к позициям противника.

Разумеется, вместе с другими ползком продвигался вперед и ефрейтор Эги. «За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут» — эти слова рядового Хорио не шли у него из головы. Однако по натуре не-

разговорчивый, он держал свои мысли при себе. Но с тем большей силой эти слова раздражали его и в то же время вызывали боль, точно бередили старую рану. Продвигаясь ползком, как зверь, по подмерзшей тропинке, он думал о войне, думал о смерти. Однако в этих мыслях не было ни луча света. Даже если смерть [ради императора]... все равно она проклятое чудовище. Война... он почти не считал войну преступлением. Преступление, поскольку источник его, в отличие от войны, в страстях отдельных личностей, в известной мере можно [понять]. Но [война — служба императору], и больше ничего. А он — да не только он, две с лишним тысячи человек из разных дивизий, сведенные в отряд «Белые нашивки», волей-неволей должны умереть на этой великой [службе].

— Пришли! Пришли! Ты из какого полка?

Ефрейтор Эги огляделся по сторонам. Отряд добрался до сборного пункта у подножья Суншущань. Здесь уже толпились солдаты из разных дивизий в мундирах цвета хаки, украшенных старомодными нашивками.

Его окликнул один из них — тот, что сидел на камне под бледным солнцем и выдавливал угорь на щеке.

— N-ского полка.

— Тепленькое местечко!

Ефрейтор Эги не ответил на шутку, лицо его было мрачно.

Несколько часов спустя над позициями пехоты со страшным ревом проносились снаряды — и свои и вражеские. На склоне горы Суншущань, высившейся прямо перед глазами, наша морская артиллерия из Ляцзятунь тоже взрывала тучи желтой пыли. Каждый раз, когда вздымалась такая туча пыли, в воздухе сверкала лиловая вспышка, и при дневном свете это было особенно страшно. Однако, выжидая удобный момент, двухтысячный отряд «Белые нашивки» не терял обычной бодрости. В самом деле, чтобы не быть раздавленными страхом, им только и оставалось держаться как можно веселей.

— Чертовски палат!

Рядовой Хорио взглянул на небо. В эту секунду протяжный вой вновь разодрал воздух прямо над его головой. Хорио невольно втянул голову в плечи и обратился

к рядовому Тагути, который прикрыл нос платком, чтобы защититься от тучи пыли и песку.

— Это двадцативосьмисантиметровый.

Рядовой Тагути изобразил улыбку. И тихонько, чтобы не заметил Хорио, спрятал платок в карман. Это был вышитый по краям платочек, подаренный ему приятельницей-гейшей, когда он уезжал на фронт.

— У него другой звук, у двадцативосьмисантиметрового,— сказал Тагути и вдруг растерянно выпрямился. В то же время и другие солдаты один за другим, как будто по неслышной команде, стали вытягиваться в струнку: в сопровождении нескольких штаб-офицеров к ним величественно подходил командующий армией генерал Н.

— Тише! Тише!

Окидывая взглядом позиции, генерал заговорил хорошо поставленным голосом:

— Здесь тесно, можете не выстраиваться. Из какого вы полка, отряд «Белые нашивки»?

Рядовой Тагути почувствовал, что взгляд генерала устремлен прямо на его лицо. Этого было достаточно, чтобы он смутился, словно девушка.

— N-ский пехотный полк.

— Вот как? Ну, действуй смело! — Генерал пожал ему руку. Потом перевел взгляд на рядового Хорио и опять, протягивая правую руку, повторил то же самое: — И ты действуй смело!

Когда генерал обратился к нему, рядовой Хорио вытянулся и замер, как будто все мускулы у него окаменели. Широкие плечи, большие руки, обветренное лицо с выступающими скулами — все эти его черты, по крайней мере, в глазах старого генерала, складывались в облик образцового воина империи. Остановившись перед ним, генерал с жаром продолжал:

— Вон там форт, и из этого форта сейчас стреляют. Сегодня ночью вы его возьмете. А резервы за вами вслед приберут к рукам все остальные форты в окрестности. Значит, вы должны быть готовы броситься на этот форт... — В голосе генерала зазвучал несколько театральный пафос. — Поняли? Конечно, по пути ни в коем случае не останавливаться, не стрелять. Налететь стремглав, как будто ваши тела — снаряды. Прошу вас, действуйте решительно!



Генерал пожал руку рядовому Хорио, как будто в этом пожатии хотел передать всю значимость слова «решительно». И пошел дальше.

— Веселого мало...

Проводив взглядом генерала, рядовой Хорио хитро подмигнул рядовому Тагути.

— Такой дед руку пожал!

Рядовой Тагути криво усмехнулся. При виде этой улыбки у рядового Хорио почему-то появилось ощущение какой-то неловкости. И в то же время эта кривая улыбка показалась ему отвратительной. Тут в разговор вмешался ефрейтор Эги:

— Ну как, за рукопожатие [купить] удалось?

На этот раз криво усмехнулся рядовой Хорио.

— Нехорошо, нехорошо. Нечего передразнивать.

— Как подумаешь, что [тебя купили], зло берет! Я и сам готов отдать свою жизнь.

В ответ на слова ефрейтора Эги заговорил Тагути:

— Да, все мы готовы отдать жизнь за родину.

— За что, не знаю, знаю только, что готов отдать. Подумай, [если на тебя направит револьвер разбойник], все готов отдать.

Брови ефрейтора Эги угрюмо сдвинулись.

— Именно так я и думаю. Если разбойники отберут у тебя деньги, вряд ли они скажут, [что и жизни лишат]. А для нас одна дорога — смерть... Но если все равно умирать, так не лучше ли умереть достойно?

Пока Тагути говорил, в глазах еще не совсем протрезвевшего рядового Хорио появилось выражение презрения к своему добродушному товарищу. «Отдать жизнь — только и всего?» — размышлял он, задумчиво глядя в небо. И решил в отплату за рукопожатие генерала этой ночью стать, как и все, живым снарядом...

Вечером, после восьми часов, ефрейтор Эги, в которого попала ручная граната, уже лежал дочерна обугленный на склоне горы Суншушань. Пробравшись через колючую проволоку, к нему, что-то отрывисто выкрикивая, подбежал солдат из отряда «Белые нашивки». Увидев труп товарища, солдат поставил ему на грудь ногу и вдруг громко захохотал. Этот хохот в свирепом треске ружейного огня прозвучал жутко.

— Банзай! Да здравствует Япония! Черти сдаются!

Противник разбит! Да здравствует N-ский полк! Банзай! Банзай!

Он кричал и кричал, потрясая винтовкой, и не обратил внимания даже на взрыв ручной гранаты, расколовшей мрак перед его глазами. При свете взрыва обнаружилось, что это рядовой Хорио, который в разгар атаки, раненный в голову, видимо, сошел с ума.

## 2. ШПИОНЫ

Утром пятого марта тридцать восьмого года Мэйдзи в штабе А-ской кавалерийской бригады, расквартированной в Цюаньшэнчжу, в полутемном помещении штаба шел допрос двух китайцев. Их только что задержал по подозрению в шпионаже и препроводил в штаб часовой временно приданного бригаде N-ского полка.

В низенькой фанзе, конечно, и в этот день каны разливали легкую теплоту. Но унылая атмосфера войны чувствовалась во всем — и в звоне шпор, задевавших за кирпичный пол, и в цвете брошенных на стол шинелей. К пыльной белой стене с наклеенными полосками красной бумаги была аккуратно прикреплена кнопками фотография гейши в европейской прическе, это было и смешно и трагично.

Китайцев допрашивали офицер из штаба бригады, адъютант и переводчик. На все вопросы китайцы давали ясные ответы. Мало того, один из них, видимо старший, с маленькой бородкой, пускался в объяснения раньше, чем переводчик успевал задать вопрос. Но его ответы самой ясностью своей вызывали у штабного офицера чувство внутреннего протеста, еще большее желание видеть в них шпионов.

— Эй, солдат,— гнусаво позвал штабной офицер стоявшего у дверей часового, который задержал китайцев. Солдат этот был не кто иной, как рядовой Тагути из отряда «Белые нашивки». Стоя спиной к решетчатой двери, он рассматривал карточку гейши и, испуганный окриком штабного офицера, гаркнул во все горло:

— Слушаюсь!

— Это ты их поймал? Когда это произошло?

Добродушный Тагути заговорил, как будто читая по писаному:

— Я стоял на посту на северной окраине деревни, у дороги на Мукден. Тогда командир роты на дереве...

— Что? Командир роты на дереве?..— Штабной офицер приподнял веки.

— Так точно. Командир роты взобрался на дерево для наблюдения. Командир роты приказал мне: взять их! Но когда я хотел их задержать, вот этот... так точно, этот безбородый сразу же обратился в бегство...

— И все?

— Так точно. Все.

— Хорошо.

Штабной офицер с выражением некоторого разочарования на багровом жирном лице сообщил переводчику содержание следующего вопроса. Переводчик заговорил намеренно энергично, чтобы никто не заметил, как ему скучно:

— Если ты не шпион, зачем же ты бежал?

— Как же не бежать? Ведь японский солдат чуть не набросился на меня,— нисколько не робея, ответил второй китаец со свинцово-серой кожей, должно быть, курильщик опиума.

— Но ведь вы шли по дороге в полосе военных действий? Человеку мирному ходить здесь незачем...— сказал адъютант, умевший говорить по-китайски, и бросил на бескровное лицо китайца злобный взгляд.

— Нет, есть зачем. Как мы только что говорили, мы шли в Синмынтунь разменять бумажные деньги. Вот они, посмотрите.

Бородатый китаец спокойно обвел взглядом лица офицеров. Штабной офицер фыркнул, в глубине души ему было приятно, что адъютант получил отпор.

— Разменять деньги? Рискуя жизнью? — не желая сдаваться, сухо усмехнулся адъютант.— Во всяком случае, пусть разденутся догола.

Переводчик перевел приказание, и китайцы, опять без всякого страха, быстро разделись.

— На нем остался набрюшник? Давай-ка его сюда.

Беря в руки набрюшник, переводчик почувствовал, что белое полотно еще пропитано теплом тела, и это вызвало у него ощущение какой-то грязи. В набрюшнике торчали три толстые булавки, длиной в три сун. Офицер долго разглядывал эти булавки при свете, падавшем из окна. Однако, за исключением узора из

сливовых цветов на плоских головках, на них не было ничего необычного.

— Что это такое?

— Я лечу уколами,— не смущаясь, спокойно ответил бородастый.

— Снимите башмаки.

Китайцы следили за ходом обыска почти бесстрастно, даже не прикрывая то, что всегда прикрывают. Не говоря уже о штанах и куртке, ни в башмаках, ни в носках не нашлось ничего уличающего. Оставалось только распороть башмаки. С этой мыслью адъютант хотел было обратиться к штабному офицеру.

Но в эту минуту из соседней комнаты внезапно вошел командующий армией в сопровождении командира и офицеров из штаба армии. Генерал как раз посетил командира бригады, чтобы о чем-то договориться с адъютантами и штабом.

— Русские шпионы?

Задав этот вопрос, генерал остановился перед китайцами и окинул их острым взглядом. (Впоследствии некий американец как-то раз беззастенчиво сказал, что в глазах знаменитого генерала было что-то маниакальное. В этих маниакальных глазах, особенно в таких случаях, появлялся зловещий блеск.)

Штабной офицер коротко доложил генералу обстоятельства дела. Генерал время от времени кивал, словно что-то припоминая.

— Остается только избить их, чтобы заставить признаться,— сказал штабной офицер.

Тогда генерал показал рукой, в которой он держал карту, на лежавшие на полу башмаки китайцев.

— Распорите-ка башмаки!

У башмаков отпороли и отвернули подошвы. Оттуда вдруг посыпались на пол вшитые внутрь пять-шесть карт и секретные документы. При виде этого оба китайца изменились в лице. Однако все так же молча, упрямо смотрели на пол.

— Я так и думал! — самодовольно улыбнулся генерал, оборачиваясь к командиру бригады.— Башмаки всегда подозрительны. Пусть одеваются. Ну, таких шпионов мне еще видеть не случилось!

— Я поражен проницательностью его превосходительства! — с любезной улыбкой произнес адъютант,

передавая командиру бригады доказательства шпионажа. Он словно позабыл, что еще до генерала сам обратил внимание на башмаки.

— Но раз ничего не нашли, даже раздев их догола, значит, могло быть только в башмаках.— Генерал все еще был в превосходном настроении.— Я сейчас же заподозрил, что в башмаках.

Командир бригады тоже был оживлен.

— Право,— сказал он,— местному населению грош цена: когда мы пришли, они вывесили японский флаг, а когда стали делать обыски по домам, оказалось, что у них припрятаны и русские флаги.

— В общем, пройдохи!

— Именно! Стреляные воробьи!

Пока шел этот разговор, штабной офицер с переводчиком продолжали допрашивать китайцев. Вдруг, обратив к рядовому Тагути раздраженное лицо, офицер словно выплюнул приказание:

— Эй, солдат! Ты шпионов поймал, так ты их и прикончи.

Двадцать минут спустя на краю дороги, к югу от деревни, сидели у ствола засохшей ивы оба китайца, связанные друг с другом за косы. Рядовой Тагути пригнул штык и прежде всего развязал им косы. Потом, взяв винтовку на руку, встал за спиной пожилого китайца. Однако, прежде чем его убить, он хотел, по крайней мере, предупредить, что убивает.

— Нии...<sup>1</sup> — начал он, но как будет «убивать» по-китайски, не знал.

— Нии, сейчас убью!

Оба китайца, точно сговорившись, разом оглянулись, но, не обнаруживая никакого страха, стали кланяться в разные стороны. «Прощаются с родиной»,— готовясь к удару штыком, объяснил себе эти поклоны рядовой Тагути. Окончив поклоны, они, как будто ко всему готовые, спокойно вытянули шеи. Рядовой Тагути занес винтовку. Но они были так покорны, что у него рука не подымалась всадить в них штыки.

— Нии, сейчас убью! — невольно повторил он.

В это время со стороны деревни показался кавалерист.

---

<sup>1</sup> Ты (китайск.).

— Эй, солдат!

Когда он подъехал ближе, оказалось, что это фельдфебель. Увидев китайцев, он придержал лошадь и надменно обратился к Тагути:

— Русские шпионы? Очевидно, они. Дай-ка мне зарубить одного.

Рядовой Тагути криво усмехнулся.

— Хоть обоих.

— Ну? Это щедро!

Фельдфебель легко спешил. Потом зашел за спину китайца и вынул висевший на боку японский меч. В это время со стороны деревни снова раздался дробный стук копыт, и подскакали три офицера. Не обращая на них внимания, фельдфебель занес меч. Но прежде чем он его опустил, три офицера медленно поравнялись с ним. Командующий армией! Фельдфебель и рядовой Тагути повернулись лицом к ехавшему верхом генералу и отдали честь.

— Русские шпионы!

В глазах генерала на миг сверкнуло безумие маньяка.

— Руби! Руби!

Фельдфебель взмахнул мечом и одним ударом зарубил молодого китайца. Голова, подпрыгивая, покати-лась по корням ивы. Кровь большим пятном растеклась по желтоватой земле.

— Так! Великолепно!

Генерал с довольным видом кивнул и тронул коня.

Проводив генерала взглядом, фельдфебель с окровавленным мечом стал позади второго китайца. По всему было видно, что резня доставляет ему еще больше удовольствия, чем генералу.

«Этих... и я бы мог убить»,— подумал рядовой Тагути, присаживаясь у ствола сухой ивы. Фельдфебель опять занес меч. Бородатый китаец молча вытянул шею, не дрогнув ресницами...

Один из сопровождавших генерала штабных офицеров, подполковник Ходзуми, сидя в седле, смотрел на холодную весеннюю равнину. Но глаза его не видели ни далеких высохших роц, ни поваленных на краю дороги каменных плит; в голове у него все время звучали слова некогда любимого писателя Стендаля:

«Когда я смотрю на увешанного орденами человека, я не могу не думать о том, какие жестокости пришлось ему совершить, чтобы добыть эти ордена».

Опомнившись, он заметил, что сильно отстал от генерала. Слегка вздрогнув, он пришпорил лошадь. В бледных лучах только что выглянувшего солнца сверкнуло золото позументов.

### 3. СПЕКТАКЛЬ В ЛАГЕРЕ

Четвертого мая тридцать восьмого года Мэйдзи в штабе армии, расположенном в Ацзинюбао, после утреннего богослужения в память павших воинов решено было устроить спектакль. Под зал заняли обычный в китайских деревнях деревенский театр под открытым небом, перед наскоро сколоченной сценой повесили занавес, тем дело и ограничилось. А на циновках задолго до назначенного часа уселись солдаты. Эти солдаты в грязноватых мундирах цвета хаки, со штыками, болтающимися у пояса, были жалкими зрителями, настолько жалкими, что даже называть их зрителями казалось насмешкой. Но оттого радостные улыбки, сиявшие на их лицах, казались еще трогательнее.

Офицеры штаба армии во главе с генералом, этапная инспекция и прикомандированные к армии иностранные офицеры сидели в ряд на стульях позади, на возвышении. Хотя бы из-за одних штабных погонов и адъютантских аксельбантов этот ряд выглядел куда более блестящим, чем солдатские ряды. Больше, чем сам командующий армией, способствовал этому блеску любой иностранный офицер, будь он хоть последним дураком.

Генерал и в этот день был в превосходном настроении. Беседуя с одним из адъютантов, он время от времени заглядывал в программу, и в глазах его все время, как солнечный свет, теплилась приветливая улыбка.

Наконец наступил назначенный час. За искусно раскрашенным занавесом, на котором были изображены цветущие вишни и восходящее солнце, несколько раз глухо ударили в колотушки. И сейчас же рука поручика-распорядителя отдернула занавес.

Сцена изображала комнату в японском доме. Сложенные в углу мешки с рисом давали понять, что это

рисовая лавка. В комнату вошел хозяин лавки в переднике, хлопнул в ладоши, крикнул: «Эй, о-Набэ! Эй, о-Набэ!» — и на зов явилась служанка, ростом выше, чем он сам, в причёске итэгаэси. Потом — потом сразу же началось действие пьесы, содержание которой не стоит и рассказывать.

Каждый раз, когда кто-нибудь из актеров отпускал грубую шутку, в рядах зрителей, сидевших на циновках, подымался хохот. Даже офицеры, сидевшие позади, и те почти все улыбались. Исполнители, видимо, подзадориваемые хохотом, громоздили одну комическую выходку на другую. В конце концов хозяин в фундоси принялся бороться со служанкой, на которой была набедренная повязка.

Хохот усилился. Один капитан из этапной инспекции чуть не зааплодировал при виде этой сцены. И вот в эту самую минуту вдруг громкий гневный голос разнесся над заливавшимися хохотом людьми, как свист бича.

— Безобразие! Дать занавес! Занавес!

Голос принадлежал генералу. Положив руки в перчатках на толстую рукоятку сабли, он грозно смотрел на сцену.

Поручик-распорядитель, согласно приказу, поспешно задернул занавес перед носом ошеломленных актеров. Зрители на циновках замерли; не считая легкого шороха, все стихло.

Иностранным чинам и сидевшему рядом с ними подполковнику Ходзуми было жаль, что веселье прекратилось. Представление, конечно, не вызвало у подполковника даже улыбки. Однако он был человек с широкими взглядами и мог сочувствовать зрителям. И, кроме того, пробыв несколько лет в Европе, он слишком хорошо знал иностранцев, чтобы задумываться над тем, можно ли показывать иностранным чинам голых борцов.

— Что случилось? — удивленно обратился к подполковнику Ходзуми французский офицер.

— Генерал приказал прекратить.

— Почему?

— Вульгарно... Генерал не любит вульгарности.

Тем временем на сцене снова раздался стук колотушек. Затихшие солдаты оживились, кое-где послыша-



лись аплодисменты. Подполковник Ходзуми облегченно вздохнул и огляделся кругом. Офицеры, сидевшие рядом с ним, видимо, чувствовали себя неловко, некоторые то смотрели на сцену, то отворачивались, и только один, по-прежнему положив руки на шашку, не отрывал пристального взгляда от сцены, где уже поднимали занавес.

Следующая пьеса, в противоположность предыдущей, была старинная сентиментальная драма. На сцене, кроме ширм, стоял только зажженный фонарь. Молодая женщина с широкими скулами и горожанин с кривой шеей пили саке. Женщина время от времени пронзительным голосом обращалась к горожанину, называя его «молодой барин». Затем... подполковник Ходзуми, не глядя на сцену, погрузился в воспоминания. В театре Рюсэйдза, облокотясь на барьер балкона, стоит мальчик лет двенадцати. На сцене свесившиеся ветви цветущей вишни. Декорация освещенного города. Посреди них, с плетеной шляпой в руке, красуется знаменитый Бандзаэмон в роли японского пирата. Мальчик, затаив дыхание, впивается взглядом в сцену. И у него была такая пора...

— Дрянь спектакль! Когда ж дадут занавес! Занавес! Занавес!

Голос генерала, как взрыв бомбы, прервал воспоминания подполковника. Подполковник опять взглянул на сцену. По ней уже бежал растерявшийся поручик, на бегу задегивая занавес. Подполковник успел заметить, что на ширме висят пояса мужчины и женщины.

Губы подполковника невольно искривились горькой улыбкой. «Распорядитель чересчур несообразителен! Уж если генерал запретил борьбу между женщиной и мужчиной, так неужели он станет спокойно смотреть на любовную сцену?» С этой мыслью подполковник покосился туда, откуда слышался громкий негодующий голос: генерал все еще раздраженно говорил с устройством.

В эту минуту подполковник вдруг услышал, как злой на язык американский офицер заметил сидевшему рядом французскому офицеру:

— Генералу Н. не легко: он и командующий армией, он и цензор.

Третья пьеса началась минут через десять. На этот раз, даже когда застучали колотушки, солдаты уже не хлопали. «Жаль! Даже спектакль смотрят под надзором!» — Подполковник Ходзуми сочувственно глядел на толпу в хаки, не смеяшую даже разговаривать в полный голос.

В третьей пьесе на сцене на фоне черного занавеса стояли две-три ивы. Это были настоящие живые зеленые ивы, где-то недавно срубленные. Бородатый мужчина, видимо пристав, распекал молодого полицейского. Подполковник Ходзуми в недоумении взглянул на программу. Там значилось: «Разбойник с пистолетом Симидзу Садакити, сцена поимки на берегу реки».

Когда пристав ушел, молодой полицейский воздел очи горé и прочел длинный жалобный монолог. В общем, смысл его слов, при всей их пространности, сводился к тому, что он долгое время преследовал «разбойника с пистолетом», но поймать не мог. Затем он как будто увидел его и, чтобы остаться незамеченным, решил спрятаться в реке, для чего заполз головой вперед за черный занавес. На самый снисходительный взгляд было больше похоже, что он залезает под мокситную сетку, чем ныряет в воду.

Некоторое время сцена оставалась пустой, только раздавался стук барабана, видимо изображавший шум волн. Вдруг сбоку на сцену вышел слепой. Тыкая перед собой палкой, он хотел было идти дальше, как неожиданно из-за черного занавеса выскочил полицейский. «Разбойник с пистолетом, Симидзу Садакити, дело есть!» — крикнул он и подскочил к слепому. Тот мгновенно приготовился к драке. И широко раскрыл глаза.

«Глаза-то у него, к сожалению, слишком маленькие!» — по-детски улыбаясь, заметил про себя подполковник.

На сцене началась схватка. У разбойника с пистолетом, в соответствии с прозвищем, действительно, имелся наготове пистолет. Два выстрела... три выстрела... Пистолет стрелял раз за разом подряд. Но полицейский в конце концов храбро связал мнимого слепого.

Солдаты, как и следовало ожидать, зашевелились. Однако из их рядов по-прежнему не послышалось ни слова.

Подполковник покосился на генерала. Генерал на этот раз внимательно смотрел на сцену. Но выражение его лица было куда мягче, чем раньше.

Тут на сцену выбежали начальник полиции и его подчиненные. Но полицейский, раненный пулей в борьбе с мнимым слепым, упал замертво. Начальник полиции сейчас же принялся приводить его в чувство, а тем временем подчиненные приготовились увести связанного разбойника с пистолетом. Потом между начальником полиции и полицейским началась трогательная сцена в духе старых трагедий. Начальник, словно какой-нибудь знаменитый правитель старых времен, спросил, не хочет ли раненый сказать что-нибудь перед смертью. Полицейский сказал, что на родине у него есть мать. Начальник полиции сказал, что о матери ему тревожиться нечего. Не осталось ли у него перед кончиной еще чего-нибудь на сердце? Полицейский ответил, что нет, сказать ему нечего, он поймал разбойника с пистолетом и ничего больше не желает.

В этот миг в затихшем зрительном зале в третий раз прозвучал голос генерала. Но теперь это было не ругательство, а глубоко взволнованное восклицание:

— Молодчина! Настоящий японский молодец!

Подполковник Ходзуми еще раз украдкой взглянул на генерала. На его загорелых щеках блестили следы слез. «Генерал — хороший человек!» — с легким презрением и в то же время доброжелательно подумал подполковник.

В это время занавес медленно закрылся под гром аплодисментов. Воспользовавшись этим, подполковник Ходзуми встал и вышел из зала.

Полчаса спустя подполковник, покуривая папиросу, гулял с одним из своих сослуживцев, майором Накамура, по пустырю на окраине деревни.

— Спектакль имел большой успех. Его превосходительство Н. очень доволен, — сказал майор Накамура, покуривая кончики своих «кайзеровских» усов.

— Спектакль? А, «Разбойник с пистолетом»?

— Не только «Разбойник с пистолетом». Его превосходительство вызвал распорядителя и приказал экстренно сыграть еще одну пьесу. Вернее, отрывок из пьесы об Акагаки Гэндзо. Как она называется, эта сцена? «Тóкури-но вакáрэ»?

Подполковник Ходзуми, улыбаясь глазами, смотрел на широкие поля. Над уже зазеленевшей землей растилалась легкая дымка.

— Она тоже имела большой успех,— продолжал майор Накамура.— Говорят, его превосходительство поручил распорядителю спектакля сегодня в семь часов устроить что-нибудь вроде эстрадного вечера.

— Эстрадный вечер? С рассказчиком смешных историй, что ли?

— Нет, какое там! Будут рассказывать сказания. Кажется, «Как князь Мито ходил по стране».

Подполковник Ходзуми криво усмехнулся. Но собеседник, не обратив на это внимания, веселым тоном продолжал:

— Его превосходительство, говорят, любит князя Мито. Он сказал: «Я, как верноподданный, больше всего чту князя Мито и Като Киёмаса».

Подполковник Ходзуми, не отвечая, посмотрел наверх. В небе, между ветвями ив, плыли тонкие слюдяные облачка. Подполковник глубоко вздохнул.

— Весна, хоть и в Маньчжурии!

— А в Японии уже ходят в летнем.

Майор Накамура подумал о Токио. О жене, умеющей вкусно готовить. О детях, посещающих начальную школу. И... чуть-чуть затосковал.

— Вон цветут абрикосы!

Подполковник Ходзуми радостно показал на купы розовых цветов далеко за насыпью. «Ecoute moi, Madeleine»<sup>1</sup> — неожиданно пришли ему на память стихи Гюго.

#### 4. ОТЕЦ И СЫН

Однажды поздно вечером в октябре седьмого года Тайсё генерал-майор Накамура, в свое время штабной офицер майор Накамура, в своей обставленной по-европейски гостиной задумчиво сидел в кресле с дымящейся сигарой в зубах.

Двадцать с лишним лет праздности превратили его в милого старичка. А в этот вечер, может быть, бла-

---

<sup>1</sup> Послушай меня, Мадлен (*франц.*).

годаря японскому костюму, в его облысевшем лбу, в припухлых очертаниях рта чувствовалось что-то особенно добродушное. Откинувшись на спинку кресла, он медленно обвел взглядом комнату и вдруг вздохнул.

Стены были увешаны фотографиями, по-видимому, репродукциями европейских картин. На одной из них была изображена грустная девушка, прильнувшая к окну. На другой — пейзаж: кипарисы, сквозь которые виднелось солнце. В электрическом свете фотографии придавали старомодной гостиной несколько холодный, чопорный вид, однако генерал-майору все это, кажется, не нравилось.

Некоторое время царила тишина, затем генерал-майор вдруг услышал легкий стук в дверь.

— Войдите!

В ответ на эти слова в гостиную вошел высокий юноша в студенческой форме. Остановившись перед генерал-майором, он протянул руку к стулу и грубовато спросил:

— Что-нибудь нужно, отец?

— Да. Садись!

Юноша послушно сел.

— В чем дело?

Генерал-майор вопросительно взглянул на золотые пуговицы сына.

— А сегодня?..

— Сегодня было собрание в память Каваи — отец, вероятно, не знает, это студент филологического факультета, как и я. Так вот, я только что оттуда вернулся.

Генерал-майор кивнул и выдохнул густой дым гаваны. Затем он несколько торжественно приступил к сути разговора:

— Вот картины на стенах, это ты их переменял?

— Да, я не успел сказать, я переменял их сегодня утром. А разве плохо?

— Не то что плохо. Не плохо, но мне хотелось бы, чтобы ты оставил хоть фотографию его превосходительства Н.

— Рядом с этими?

Юноша невольно улыбнулся.

— А разве рядом с этими ее повесить нельзя?

— Не то что нельзя, но это будет смешно.

— Ведь здесь есть портреты! — Генерал-майор указал на стену над камином. Со стены из рамы на генерал-майора спокойно взирал пятидесятилетний Рембрандт.

— Это дело другое. Это нельзя повесить рядом с генералом Н.

— Вот как! Ну, значит, ничего не поделаешь.

Генерал-майор легко уступил сыну. Однако, опять выдохнув сигарный дым, тихо продолжал:

— Что ты... или, вернее, твои сверстники, что вы думаете о его превосходительстве?

— Да ничего не думаем. Вероятно, был замечательный солдат.

В старческих глазах отца юноша заметил легкое опьянение от вечерней рюмки сакэ.

— Конечно, замечательный солдат, а кроме того, он был поистине отечески добросердечный человек.

И генерал-майор начал сентиментально рассказывать случай из жизни генерала. Это было после японо-русской войны, когда он навестил генерала в его вилле на равнине Насу. Когда он приехал туда, сторож сказал ему, что генерал с женой только что пошли гулять в горы. Генерал-майор знал дорогу и сейчас же отправился вслед за ними. Пройдя два-три тэ, он увидел генерала в простом кимоно; генерал стоял с женой. Генерал-майор немного постоял, поговорил со стариками. Генерал все никак не трогался с места. Когда генерал-майор спросил: «У вас тут какое-нибудь дело?» — генерал рассмеялся. «Видите ли, жена сказала, что ей хочется в уборную, так вот школьники, гулявшие с нами, побежали искать ей место, а мы их тут ждем...» В то время у дороги, помню, еще валялись каштаны... — Генерал-майор сощурил глаза и весело улыбнулся. Тут из пожелтевшего леса выбежали веселые школьники. Не обращая внимания на генерал-майора, они окружили генерала с женой и наперебой стали рассказывать о местах, которые они для нее нашли. Началось невинное соперничество — каждый хотел, чтобы она пошла с ним. «Ну, бросим жребий!» — сказал генерал и опять обратился к генерал-майору свое смеющееся лицо...

Юноша тоже не мог не засмеяться...

— Рассказ невинный. Но не для слуха европейцев!

— Вот какой тон был заведен! И поэтому стоило в разговоре с двенадцатилетним школьником сказать: «Его превосходительство Н.», как оказывалось, что мальчик относится к нему с любовью, как к родному дяде. Нет, его превосходительство вовсе не был просто солдат, как вы это думаете.

Окончив приятный разговор, генерал-майор опять взглянул на Рембрандта над камином.

— Это тоже замечательный человек?

— Да, великий художник.

— А его превосходительство Н.?

Лицо юноши выразило замешательство.

— Мне трудно выразить... Этот человек мне ближе по духу, чем генерал Н.

— А его превосходительство для вас далек?

— Как бы это сказать? Например, такая вещь. Вот Каваи, в память которого было сегодняшнее собрание. Он тоже покончил с собой. Но перед самоубийством...— юноша серьезно посмотрел на отца,— ему было не до того, чтобы сниматься.

На этот раз замешательство мелькнуло в добродушных глазах генерал-майора.

— А не лучше ли было бы сняться? На память о себе?

— На память кому?

— Не кому-нибудь, а... Да разве хотя бы нам не хочется иметь возможность видеть лицо его превосходительства Н. в его последние минуты?

— Мне кажется, что об этом, по крайней мере, сам генерал Н. не должен был бы думать. С какими чувствами генерал совершил самоубийство, это я, кажется, до известной степени могу понять. Но что он снялся — этого я не понимаю. Вряд ли для того, чтобы после его смерти фотографии украшали витрины...

Генерал-майор гневно перебил юношу:

— Это возмутительно! Его превосходительство не обыватель. Он до глубины души искренний человек.

Но и лицо и голос юноши были по-прежнему спокойны.

— Разумеется, он не обыватель. Я могу представить и то, что он искренен. Но только такая искренность нам не вполне понятна. И я не могу поверить, чтобы она была понятна людям, которые будут жить после нас.

Между отцом и сыном на некоторое время водворилось тягостное молчание.

— Времена другие! — проговорил наконец генерал.

— Да-а... — только и сказал юноша. Глаза его приняли такое выражение, словно он прислушивается к тому, что делается за окном.

— Дождь идет, отец.

— Дождь?

Генерал-майор вытянул ноги и с радостью переменял тему.

— Как бы айва опять не осыпалась!

*Январь 1922 г.*



## КОММЕНТАРИИ

## ВОРОТА РАСЁМОН

Стр. 25. *Итимэгаса* — старинная женская плетеная шляпа с цилиндрической, слегка сужающейся кверху тульей, с широкими, заметно опущенными полями.

*Момизбоси* — старинный мужской головной убор, имевший вид высокой мягкой шапки без полей с загнутым вперед верхом. Эти детали одежды предназначены для указания эпохи, к которой относится рассказ.

*Статуи будд.* — Будда — человек, достигший, согласно представлениям буддизма, нирваны, то есть состояния полной духовной отрешенности от реальной жизни и слияния с божественной сущностью бытия.

Стр. 26. *...этого хэйанского слуги.* — Хэйан — название периода японской истории — 794—1192 годы.

*...часа Обезьяны...* — По старинному японскому счислению времени сутки были разделены на двенадцать частей, по два часа каждый. Эти отрезки времени носили названия зодиакальных животных.

*Час Тигра* — с 3 до 5 часов утра, *час Зайца* — с 5 до 7 часов утра, *час Дракона* — с 7 до 9 часов утра, *час Змеи* — с 9 до 11 часов утра, *час Обезьяны* — с 3 до 5 часов дня, *час Пса* — с 7 до 9 часов вечера.

Стр. 27. *Кимоно* — дословно: «одежда», общераспространенное название обычного типа как старинной, так и современной японской одежды, мужской и женской; имеет вид халата с очень

широкими свешивающимися рукавами, запахивающегося спереди и придерживаемого широким поясом.

Стр. 27. *Дзори* — распространенный тип обуви. Имеет вид деревянной подошвы, покрытой сверху плетеной соломой или узорчатой материей на мягкой подкладке, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец.

Стр. 28. *...цвета коры дерева хиноки* — то есть светло-шоколадного. Хиноки — кипарисовик туполистный.

Стр. 30. *Сун* — мера длины, равная 3,3 см.

## МАСКА ХЁТТОКО

*Хёттоко* — комическая маска мужского лица с криво посаженными глазами и скошенным ртом.

Стр. 32. *Праздник цветущей вишни* — праздник любования цветами вишни, широко популярный в Японии.

*Кэн* — игра, состоящая в том, что двое, сидя друг перед другом, поочередно делают разные движения пальцами, имеющие условное значение.

*Сямисэн* — щипковый трехструнный музыкальный инструмент.

Стр. 35. *Кабуки* — старинный японский театр, все роли в котором до нынешнего времени играют мужчины. Сложился в XVII веке. Актеры Кабуки по традиции слегка подражали в своих движениях куклам японского театра Бунраку, который одно время был более популярен, чем Кабуки.

Стр. 37. *Секта Монто* — просторечное название крупной буддийской секты Синсю.

*...бросил в реку изображение Тайсяку, положил под котел изображение Ситимэн...* — Тайсяку, сокращенное от Тайсякутэн, Ситимэн, сокращенное от Ситимэн-даймёдзин, — боги — покровители буддизма.

## НОС

Стр. 39. *...удостоенный высокого сана найдодзёгубу...* — Сан монаха-служителя дворцовой часовни.

*Будда Амида (с а н с к р. Амитабха)* — один из наиболее почитаемых в Японии будд.

Стр. 40. *Сяку* — мера длины, равная 33 см.

*Сутра «Каннон-кё».* — Сутры — буддийское Священное писание. Каннон-кё — название двадцать пятого раздела восьмого свитка

сутры Садхармапундарика, объясняющееся тем, что он посвящен бодисатве Каннон. Кё — сутра.

Стр. 41. *Мандгалаяна и Шарипутра* — входили в число шестнадцати учеников Будды (Гаутама).

*Нагарджуна* — один из основателей главного направления буддизма — Махаяны, получившего распространение в Индии, Китае, Корее и Японии.

*Асвагхоша* — буддийский проповедник, живший через шесть веков после Будды (Гаутама). Автор «Жизни Будды».

...у *шуханьского князя Лю Сюань-дэ*... — Шухань — одна из трех частей Ханьского царства в период так называемого «Троецарствия». Лю Сюань-дэ (160—213) — сын императора, герой битв тех времен.

Стр. 43. *Бу* — мера длины, равная 3,03 мм.

Стр. 44. «*Сутра священного лотоса*» — с а н с к р. «Садхармапундарика», одна из главных сутр. По-японски называется «Мёхорэнгкё» — «Сутра священного лотоса».

...*изображение Вишвабхадры*... — Вишвабхадра — один из двух бодисатв, сопровождавших Будду (Гаутаму). Обычно изображается восседающим на белом слоне.

Стр. 45. *Гинко* — цветущее дерево.

## БАТАТОВАЯ КАША

Стр. 47. ...*в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна*. — С начала исторического периода в Японии установилось летосчисление по правлению императора. Годам каждого правления присваивалось название. Годы Гэнкэй — 877—884, годы Нинна — 884—888.

*Гои* — низший придворный ранг.

Стр. 48. *Суйкан* — короткое, как куртка, кимоно.

*Эбоси* — высокая мягкая шапка; принадлежность костюма знати.

Стр. 49. *Сакэ* — рисовая водка, национальный алкогольный напиток.

Стр. 50. *Сасинуки* — род хакама, составлявший часть старинного костюма.

*Хакама* — широкие штаны, по силуэту приближающиеся к юбке. Часть официального мужского костюма.

Стр. 52. *Мальга из Удзи* — небольшая рыбка, водящаяся только в озере Бива.

Стр. 53. *Черное сакэ* — сакэ, в который подбавлен порошок из зерен черного кунжута и пепел кустарника *Clerodendron trichoto-*

тип. Полагалось употреблять черную водку только по особым праздникам.

Стр. 54. *Мукабаки* — короткие, до половины икр, кожаные или меховые штаны для верховой езды.

*Каригину* — короткое, как куртка, кимоно особого покроя, принадлежность старинного костюма.

Стр. 57. *Мискантус* — растение, напоминающее осоку, *Miscanthus sinensis*.

Стр. 58. *Ну, лиса, слушай меня хорошенько!* — Лиса — один из распространенных животных образов японского фольклора; считается, что лиса обладает волшебной силой, может быть оборотнем, наводить злые чары и т. п.

Стр. 59. *Вариго* — ящичек с внутренними делениями для разных закусок.

## ОБЕЗЬЯНА

Стр. 65. «*Хангёку*» — молоденькая, еще не доучившаяся гейша.

## НОСОВОЙ ПЛАТОК

Стр. 72. *Стриндберг* (1849—1912) — шведский писатель и *Уайльд* (1856—1900) — английский писатель — были в Японии во втором десятилетии XX века самыми «модными» из иностранных писателей. «Изысканность» вкусов профессора сказывается в том, что он читает не художественные произведения этих авторов — романы, повести или драмы, а критические статьи Стриндберга «Драматургия» (1907—1910), эссе «Замыслы» и лирическую исповедь Уайльда «De profundis».

Стр. 73. *Фонарь-гифу* — особый тип японского фонаря яйцеобразной формы; называется по имени местности, где первоначально такие фонари только и изготовлялись.

*Бусидо* — система морали и норм поведения японского воинского сословия в эпоху феодализма. Требовала огромной самодисциплины.

Стр. 74. *Тэйкоку* (буквально: «Императорский театр») — крупный драматический театр в Токио.

Стр. 75. *Хаори* — тип длинного жакета японского покроя; принадлежность нарядного и выходного японского костюма.

«*Марумагэ*» — прическа, которую носят только замужние женщины.

Стр. 76. *Нисияма-кун*. — Кун — приставка после мужского имени, носящая фамильярный характер.

...чашку черного чая. — В Японии обычно пьют зеленый чай, черный чай — принадлежность европейского стола.

Стр. 78. *Таби* — японские носки, шьются из плотной, обычно белой материи, большой палец отделен, чтобы его можно было продеть в ремешок обуви.

Стр. 80. *Госпожа Хайберг* — жена датского поэта Иоганна Людвиг Хайберга.

## ТАБАК И ДЬЯВОЛ

Христианство проникло в Японию во второй половине XVI века, но в 1587 году уже было запрещено, и христиане стали жестоко преследоваться. Поскольку проводниками христианства были преимущественно португальские (реже испанские) миссионеры, в язык японских христиан вошли европейские имена, названия и ряд слов христианского культа из португальского языка, измененные согласно законам японского произношения, например: padre — патэрэн — патер, cruz — курусу — крест, deus — дэусу — бог и т. п.

Стр. 81. *Годы Кэйтё* — 1596—1615 годы.

*Годы Тэммон* — 1532—1555 годы.

...годов *Бунроку*. — Годы Бунроку — 1592—1596 годы.

*Святой Франциск* — Франциск Ксавье (1506—1552) — иезуит, первый проповедник христианства в Японии, куда прибыл в 1549 году. Причислен католической церковью к лику святых.

Стр. 82. ...с богом *Южных Варваров*... — Южными Варварами до революции 1867 года называли европейцев.

...как писал о том *Анатоль Франс*... — См. рассказ Франса «Резеда господина кюре».

*Черный корабль*. — Так до революции 1867 года называли корабли европейцев.

Стр. 83. *Парайсо* — рай (португ. paraíso).

Стр. 84. ...вид у *красноволосого*... — Красноволосыми до XX века называли европейцев.

Стр. 86. *Дзэсусу Кирисито*. — Иисус Христос (искаж. португ. Jesu Cristo).

Стр. 87. *Вирудзэн Мария* — Дева Мария (искаж. португ. Virgem Maria).

Стр. 88. *Храм Намбандзи* — католический храм, построенный

в 1568 году. Буквальный перевод названия: «Храм Южных Варваров».

Стр. 88. *Касин Кодзи* (? — 1617) — прославлен в Японии как знаток чайной церемонии.

*Мацунага Дандзё*, чаще именуемый Мацунага Хисахидэ (1510—1577) — крупный японский феодал и военачальник

...к трудам *достопочтенного Лефкадио Хёрна*. — Лефкадио Хёрн (1850—1904) с 1890 года жил в Японии, написал ряд книг о Японии, и очерковых и беллетристических, — «Кокого» (лат.) («Душа»), «Japanese fairy tales» («Японские сказки») и ряд других.

...*Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру*... — Христианство было запрещено в 1587 году в правление Тоётоми Хидэёси. При Токугава запрет был сохранен.

*После Мэйдзи* — то есть после революции 1867 года.

## MENZUPA ZOILI

Стр. 89. *Киносита Мокутаро* (1885—1945) — японский драматург и поэт, также врач.

Стр. 92. *Кумэ* — Кумэ Масао (1891—1952) — японский писатель, личный друг Акутагава. Описание внешности незнакомца — портрет Кумэ.

Стр. 94. *Ст. Джон Эрвин* (1833—?) — ирландский драматург и новеллист.

## СЧАСТЬЕ

Стр. 95. *Каннон-сама*. — Каннон — буддийское божество (санскритская Авалокитешвара), в Китае и Японии — богиня милосердия. Сама — вежливая приставка к именам женским и мужским, а также персонифицирующая.

*Епископ Тоба* — собственное имя Какую (1053—1140) — монах буддийской секты Тэндай, чьи жанровые картины особенно прославились в XVII—XVIII веках, получив название тобаэ.

Стр. 96. ...с *богами и буддами*. — Под «богами» подразумеваются боги синтоистского пантеона (синто — национальная религия Японии); под буддами — божества буддийского пантеона, то есть существа совершенные, достигшие нирваны.

Стр. 99. ...*обменялись чарками*... — Имеется в виду один из моментов свадебного обряда.

## ПОКАЗАНИЯ ОГАТА РЁСАЙ

Стр. 105. *...трижды наступила на него ногой.* — Попирание ногами креста было официальной формой отречения от христианства.

## ОИСИ КУРАНОСКЭ В ОДИН ИЗ СВОИХ ДНЕЙ

Рассказ касается популярного эпизода из истории японского самурайства, известного под названием «Истории мести сорока семи ронинов» (ронином назывался самурай, либо потерявший связь со своим кланом, либо лишившийся клана ввиду осуждения или казни своего сюзерена и конфискации его владений), — эпизода, считающегося одним из самых ярких проявлений так называемого бусидо — системы морали и норм поведения японского воинского сословия, самураев, в эпоху феодализма. Краеугольным камнем ее были верность господину, то есть своему сюзерену, мужество, презрение к смерти, самообладание. Верность требовала самоубийства в случае гибели сюзерена и мести, если эта гибель была кем-либо причинена. Кстати сказать, хотя месть за своего господина, как социально обязательное явление, существовала и всячески культивировалась только в среде самурайства, рассказы о разных актах мести приобрели в Японии широчайшую популярность в народной среде. (Научно определяет содержание бусидо Н. И. Конрад в статье «Японский феодальный эпос» в сб. «Восток», М. 1935, в частности, стр. 265—268; блестящую художественную характеристику его дает Р. Н. Ким в своих глоссах «Ноги к змее» к книге Б. Пильняка «Корни японского солнца», Л. 1927, стр. 135—146.)

История мести сорока семи ронинов такова: главе клана Аки, крупному феодалу Асано Наганори, было при дворе сёгуна поручено совместно с церемониймейстером Кира Ёсинака принять послов императора. Наганори отказался выполнить некоторые требовавшиеся обычаями правила этикета, за что Кира Ёсинака стал его публично укорять. Тогда Наганори в раздражении ранил его мечом, а сёгун приговорил за это Наганори к смерти через харакири. Его феодальные владения были отняты (в 1701 г.). Самурай Наганори, превратившись в ронинов, поклялись отомстить Кира. Но так как по приказанию последнего за ними была устроена слежка, они рассеялись, прибегнув к разной маскировке (представление о ней дает рассказ «История одной мести»). Старшина самураев — Оиси Ёсио, иначе Кураноскэ, уехал в Киото и там



предался крайнему разгулу, терпя всяческие унижения от многих самураев, возмущенных его явным отступничеством от клятвы мести. На самом же деле втайне он поддерживал связь с остальными самураями своего клана. Почти через два года, 14 декабря 1703 года сорок семь самураев под командой Оиси Кураноскэ ночью ворвались в замок Кира Ёсинака, перебили всю стражу, и Оиси собственноручно отрубил Ёсинака голову. Сорок семь самураев прошествовали по всему Эдо на кладбище и возложили на могилу своего князя голову его врага, а потом предали себя в руки властей. До суда они были отданы на поруки в дома разных крупных феодалов, в частности, сам Оиси и шестнадцать других — в дом Хосокава Цунатоси. Они были приговорены к смерти и 4 февраля 1704 года совершили харакири.

Осужденные и до и после казни пользовались огромным сочувствием всего самурайства, видевшего в этом акте воплощение идеалов бусидо. История мести сорока семи ронинов послужила сюжетом большого числа драм, рассказов разных жанров, песен и т. п.

Стр. 109. *Сёдзи* — раздвижная наружная стена японского дома в виде деревянной рамы, на которую натянута чрезвычайно прочная бумага; в настоящее время бывают и застекленные сёдзи.

...том *«Троецарствия»*... — «Троецарствие» («Саньго-чжиянь») — знаменитый памятник литературы средневекового Китая (первое рукописное издание — в 1494 г.), историко-героический роман, в котором прославлялись качества и подвиги древних воинов. См. «Троецарствие», Государственное издательство художественной литературы, 1954.

Стр. 110. *Хибати* — жаровня в виде круглого или четырехугольного фаянсового, бронзового и т. п. ящичка с горячими углями. Вплоть до 50-х годов XX века — самый распространенный вид отопления в японском доме.

Стр. 113. *Фусума* — внутренние раздвижные перегородки в японском доме.

Стр. 114. *«Тайхэйки»* — знаменитое произведение японской литературы второй половины XIV века, героический роман-эпос, прославивший воинские подвиги и качества японского средневекового рыцарства. Впоследствии приобрел значение одного из источников кодекса чести и моральных норм японского самурайства. Подробно об этой эпопее см. в указанной выше статье Н. И. Конрада.

*Доно* — приставка к именам лиц, имеющих воинское звание.  
...представления *дзёрури* или там *Кабуки*... — Дзёрури, театр

марионеток, и Кабуки, театр актера, были «новыми» (сложившимися в XVII в.) формами театра горожан — купечества, ремесленников и т. п.

Стр. 116. *Харакири* — способ самоубийства путем вспарывания живота. Этот способ был принят у японских самураев как свидетельство их презрения к боли и применялся главным образом в случае смерти (гибели в бою и т. п.) сюзерена (так называемое «самоубийство вслед») или в случае навлечения на себя бесчестия. (О роли харакири в идеологии бусидо см. в указанной выше статье Н. И. Конрада, стр. 251—255.)

...действовать по-эдоски...— Эдо — название Токио до 1867 года, с начала XVII века был резиденцией сёгуна, фактического правителя Японии до 1867 года и главы, верховного сюзерена, всего самурайства.

Стр. 117. *Симабара* и *Гион* — районы веселых домов в Киото в XVII—XVIII веках.

Стр. 118. ...словно живые образы *Югири* и *Укихаси*, прямо как будто сбежавшие из Восточного Дворца.— Югири и Укихаси — куртизанки, эти имена заимствованы из классического романа X века «Гэндзи-моногатари», действие которого частично протекает в этом дворце.

## РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОТВАЛИЛАСЬ ГОЛОВА

Рассказ относится ко времени японо-китайской войны (июль 1894 г.— апрель 1895 г.).

Стр. 124. ...их раньше бинтовали...— В Китае еще в начале XX века в зажиточных домах сохранился старинный обычай с детства бинтовать особым образом девочкам ноги, чтобы сделать ступню крошечной.

*Ли* — китайская мера длины, равная 3,9 км.

Стр. 126. *Ситайхоу* (1834—1908) — вдовствующая императрица, жена императора Сянь Фэна, фактически правившая Китаем, возведя в 1874 году на престол трехлетнего императора Гуансюя. Однако в 1898 году, недовольная направлением политики молодого императора, совершила переворот и опять взяла в свои руки власть.

...в «Странных историях» *Ляо Чжая*...— Ляо Чжай — псевдоним китайского писателя Пу Сун-лина (начало XVIII в.); см.: Ляо Чжай, «Странные истории», изд-во «Мысль», Л. 1928.

## КЭСА И МОРИТО

Стр. 130. *Танка* — самая распространенная форма классической поэзии: 5 строк по 5—7—5—7—7 слогов. В древней Японии в быту аристократии для молодых людей обоего пола считалось обязательным умение писать танка, которыми обменивались влюбленные и которые писались также по самым различным поводам.

Стр. 133. *Имай* — форма стихов, распространенная в XI—XIII веках, состоит из двух четверостиший с чередованием строк по 5—7 слогов.

## ПАУТИНКА

Японские литературоведы считают, что сюжет этого рассказа навеян эпизодом из «Братьев Карамазовых» (см. ч. III, гл. 3, рассказ Грушеньки о луковке).

Стр. 137. *Игольная гора* — гора в аду.

*Река Сандзу* — река, которую грешники после смерти переходили, прежде чем попасть в ад.

...словно в глазок биоскопа.— Словом «биоскоп» переведено подзокимеганэ; это коробка, в один конец узкой части которой вставлялись картинки, вращавшиеся на стержне. В другом конце коробки было окошко, в которое смотрели на движущиеся картинки.

## МУКИ АДА

Стр. 141. *Святой Дайтоку* — один из пяти святых годайсонмё, почитаемый в эзотерическом буддизме. Обладает шестью лицами и шестью руками, изображается восседающим на белом быке. Поражает зло.

*Ши Хуан-ди и Ян-ди* — Цинь Ши Хуан-ди — знаменитый китайский император III в. до н. э.; Ян-ди — император VI в. н. э.

...дух самого садайдзина Тору...— Садайдзин — одно из трех высших правительственных и придворных званий VIII—XII веков. Садайдзин Тору (822—895) — историческое лицо, легенда о появлении его духа имеется в «Кондзяку-моногатари» (гл. 27).

Стр. 142. ...отдал «в сваи» своего любимого отрока...— Речь идет о приношении в жертву человека, обычая, существовавшем в древней Японии при закладке зданий, мостов и т. п.

...ширмы с картиной мук ада.— На всем протяжении истории японского искусства, с древности до нынешних дней, крупнейшие художники писали картины на шелку, в том числе на шелковых ширмах, большей частью двух- или многостворчатых.

Стр. 143. *Татами* — очень плотные, толщиной 6—8 см, циновки стандартного формата (около 1,8 кв. м), которыми застилается пол в японском доме. По такому полу ходят без обуви.

Стр. 143. *...неся ветку сливы с письмом...* — По этикету, принятому в среде древней японской аристократии, письма подносились с какой-нибудь цветущей веткой.

Стр. 144. *Акомэ* — старинная женская одежда.

Стр. 146. *Киссётэн* (с а н с к р. Шримакадэви) — буддийская богиня.

*Фудо* — один из пяти святых (см. прим. к «Святой Дайитоку»). Изображается как грозный каратель грешников, сидящий посреди пламени с мечом в руке.

*Каванари* Кудара (782—853) — японский художник.

*Канаока* — Косэ-но Канаока — японский художник, живший в последней четверти IX века.

«*Круговорот жизни и смерти*» — обязательный сюжет росписи в буддийском храме; задача ее — отвратить от всякого проявления жизни и пробудить стремление к нирване.

Стр. 148. *Мондзю* — одно из буддийских божеств.

Стр. 149. *...меч-горы, поросшие нож-деревом* — детали пейзажа ада по буддийским представлениям.

*Мандзи* — буддийский символ в виде свастики, но с концами, загнутыми налево, — древнеиндийский символ вечности и блаженства.

*Асида* — деревянная обувь в виде подошвы с двумя поперечными деревянными подставками 8—10 см высоты.

Стр. 163. *Наоци* — старинная придворная одежда, право ношения которой имели только особы высших рангов; надевалась в торжественных случаях.

Стр. 168. *...не понимает он законов пяти извечных отношений...* — Пять отношений, по исконным восточным представлениям, — отношения между правителем и подданными, отцом и сыном, мужем и женой, старшим и младшим и между друзьями.

## УБИЙСТВО В ВЕК «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Периодом «Просвещения» (кайка) называются в Японии 70-е и 80-е годы XIX века, то есть первые десятилетия годов Мэйдзи, когда Япония интенсивно европеизировалась.

Стр. 170. *Китанива Цукуба* (1841—1887) — известный фотограф тех лет.

Стр. 171. *Чжэн Бань-цзо* — китайский литератор, писавший стихи свободной формы, известный также как каллиграф.

...в то время еще не существовало титулов...— Нынешняя система титулов была введена в 1884 году.

Стр. 174. *Цукидзи* — район Токио, где в те годы был квартал, отведенный для проживания иностранцев.

Стр. 175. ...*жена и сестра*...— Имеется в виду Акико, на которой писавший собирался жениться и к которой потом стал относиться как к сестре.

*Мёга* — имбирь, *Zingiber Mioga*.

Стр. 176. *Нарусима Рёхоку* (1837—1884) — известный общественный деятель первых десятилетий Мэйдзи.

## СМЕРТЬ ХРИСТИАНИНА

См. общий комментарий к рассказу «Табак и дьявол».

Стр. 182. *«Imitatione Christi»* — «Подражание Христу», сочинение Фомы Кемпийского.

*Эклезия* — церковь (п о р т у г.).

Стр. 183. *Даймё* — крупный феодал.

Стр. 190. *Инфэрну* — ад (и с к а ж. п о р т у г. inferno).

Стр. 191. ...*книга под названием «Legenda Aurea...»* — Это вымышленная автором книга. Западноевропейская «*Legenda Aurea*» — книга XIII века, написана итальянцем Iacobus de Borgine.

Стр. 192. *Хирагана* — одна из двух графических форм японской фонетической (слоговой) азбуки. Употребляется и в письмах и в печати.

## УЧИТЕЛЬ МОРИ

Стр. 193. *Симадзак*и (фамилия) *Тосон* (псевдоним) (1873—1943) — крупнейший классик новой японской литературы, создатель японского буржуазного реалистического романа.

*Энсэй* — дословно «учитель», кроме того, вежливое обращение к мужчине, вежливая приставка после мужского имени.

Стр. 197. *Кан* — мера веса, равная 3,75 кг.

...*так как он с давних пор хорошо распевал стихи...*— Некоторые виды спортивных упражнений в те времена, к которым относится рассказ, и в более ранний период принято было производить под распевание речитативом стихов.

Стр. 198. *Гэта* — самый распространенный тип национальной обуви, имеет вид деревянной подошвы с двумя поперечными под-

ставками высотой 4—5 см, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец.

Стр. 200. *«A Psalm of Life»* — стихотворение американского писателя Лонгфелло (1807—1882).

Стр. 200. *Осикава Сюнро* (1877—1914) — писатель, автор популярных приключенческих романов.

Стр. 202. *...из средней школы в высшую нормальную...* — В Японии в те годы начальная школа (с шестилетнего возраста) имела шесть классов, средняя — три класса, высшая нормальная (обязательная только для тех, кто потом поступал в университет) — два класса.

Стр. 203. *Канда* — район в Токио, где расположено большинство букинистических лавок.

### О СЕБЕ В ТЕ ГОДЫ

Стр. 207. *Нарусэ Масакадзу* (1892—1936) — впоследствии специалист по французской литературе, профессор университета в городе Фукуока. Был одно время участником журнала «Синситё».

Стр. 208. *Мацуока* — Мацуока Юдзуру (род. 1891 г.), в то время студент философского факультета, был одно время участником журнала «Синситё».

«Синситё». — Первый номер этого журнала, составленный Акутагава, Кикиути, Мацуока, Нарусэ и Кумэ, вышел в феврале 1916 года; журнал просуществовал всего год. В нем были впервые провозглашены принципы неореализма и неомастерства.

*Сэн* — одна сотая иены (при нынешней инфляции не употребляется).

*Лоуренс* (1855—1916) — англичанин, профессор университета Тодай.

Стр. 209. *Тодда Минору* (род. в 1885 г.) — окончил английское отделение литературного факультета университета Тодай, впоследствии был ректором института Аояма.

Стр. 210. *Фудзико Кацудзи* (1872—1935) — один из крупнейших японских филологов.

*Макс Мюллер* (1823—1900) — английский специалист по сравнительному языкознанию.

Стр. 211. *Я... писал рассказ «Кошелек».* — Этот рассказ остался неопубликованным.

Стр. 212. *Написал наконец половину «Носа».* — См. стр. 39 в этом томе.

Стр. 212. *Японские альпы* — широко распространенное название трех горных цепей на острове Хонсю.

*Таяма Катай* (1871—1930) — писатель, в чьих произведениях реализм заметно перерождался в натурализм.

...в стиле *Гюисманса*... — Гюисманс Жорж-Карл (1848—1907) — французский писатель.

Стр. 213. *Дюрталь* — герой некоторых произведений Гюисманса.

Стр. 214. *Кикиути из Киото* — Кикиути Хироси (или Кан) (1889—1948) — крупный писатель, первые годы близкий к Акутагава по направлению; принимал участие в журнале «Синситё».

*Юдзэн* — особый способ набивной окраски тканей, отличающейся богатством цветов; назван по имени его изобретателя.

...остатки со стола *Нагаи Кафу* и *Танидзаки Дзюнъитиро*. — Нагаи (1879—1959) и Танидзаки (1886—1965) — крупные представители японской буржуазной литературы.

*Киркегор* (1813—1855) — датский философ и религиозный мыслитель, оказавший сильное влияние на всю скандинавскую литературу.

...пишет трехактную пьесу на тему из жизни *Сакья Муни*. — Эта пьеса, «По ту сторону греха», была опубликована в первом номере «Синситё». Сакья Муни — имя Будды (Гаутамы), родоначальника буддизма.

Стр. 215. *Мусякодзи Санэацу* (род. в 1886 г.) — японский писатель и драматург, в 1910 году вместе с Сига Наоя основал журнал «Сиракаба» («Белая береза»). Во втором десятилетии увлекся толстовством.

...часто в своей «Смеси»... — «Смесь», или «Разное» («Дзаккан»), — раздел в журнале «Сиракаба».

Стр. 216. ...«день уже склонился к вечеру»... — цитата из Евангелия от Луки, гл. 24, стих 29.

...«горело в нас сердце наше» — там же, гл. 24, стих 32.

...«посадили на осленка»... — там же, гл. 19, стих 35.

...«постигал одежды свои по дороге»... — там же, гл. 19, стих 36.

Стр. 217. *Тюся* — Итикава Яодзо седьмой, впоследствии Итикава Тюся (1860—1936) — знаменитый японский актер.

*Утаэмон* — Накамура Утаэмон пятый (1865—1940), знаменитый исполнитель женских ролей.

*Дома и садзики* — партер и ложи.

«*Татибаная*» — прозвище Итикава Удзаэмона пятнадцатого (1874—1945), знаменитого японского актера.

Стр. 218. *Икэда Тэрука* (1883—1921) — японский художник, пользовавшийся известностью во втором десятилетии XX века.

Стр. 219. *Игикава Санки* (род. в 1886 г.) — специалист по английской литературе.

Стр. 220. *Петцольд* — норвежская пианистка, с 1909 по 1924 год преподававшая в Токийской консерватории.

Стр. 221. *Оби* — широкий парчовый пояс, несколько раз обматывающий кимоно. У женщин — обычно яркий и пестрый, завязывается особым бантом, у мужчин — несколько уже и темных цветов.

*Ямада Косаку* — известный японский дирижер (род. в 1886 г.); в начале 30-х годов гастролировал в СССР.

Стр. 223. *Хироцу Кадзуо* (1891—1968) — японский писатель и критик.

«*Эмали и Камеи*» — сборник стихотворений (1852) Теофиля Готье (1811—1872).

*Пусть он не зажжет «звезду страха».* — У Гюго в эклоге, обращенной к Бодлеру, есть выражение: «Новая звезда».

Стр. 224. *Симонс* (1863—1931) — английский поэт и критик.

*Риккерт Генрих* — немецкий философ (1863—1936).

Стр. 226. *Кана* — в Японии, кроме иероглифов, употребляется звуковая азбука, называемая кана. Она имеет две графические формы — хирагана (см. прим. к рассказу «Смерть христианина») и катакана. Последняя употребляется реже.

## ПРОСВЕЩЕННЫЙ СУПРУГ

Точнее, но тяжеловесней для заглавия было бы перевести «Супруг в век «Просвещения». (О «Просвещении» см. первое примечание к рассказу «Убийство в век «Просвещения»).

Стр. 228. *...в музее Уэно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи.* — Уэно — название парка и района в Токио. Выставочный музей существует там до сих пор; однако упомянутой в рассказе выставки не было.

Стр. 229. *Хиросигэ Андо* (1797—1858) — японский художник, мастер гравюры на дереве, крупнейший пейзажист.

*...где висели гравюры «укиёэ, созданные Тайсо Ёситоси.* — Укиёэ — знаменитый стиль гравюр по дереву японских художников XVIII — первой половины XIX века. Тайсо Ёситоси (1839—1892) — один из последних художников этого стиля.

*...Кикугоро и Хансиро в парике стиля итёгаэси разыгрывают под театральной луной...* — Кикугоро пятый (1845—1903) и Ивап



Хансиро восьмой (1829—1882) — знаменитые актеры тех лет. Итёгаэси — прическа простонародных девушек. В театре Кабуки роли женщин до сих пор исполняют мужчины. В театральную луну вставлялся зажженный светильник и луну вешали перед задней кулисой.

*...когда древняя столица Эдо уже потеряла какие-то свои черты, но еще не превратилась в Токио...* — Эдо — старое название Токио. Переименование произошло в 1867 году.

Стр. 230. *...вроде заметки о бал-маскараде в клубе Рокумэй-кан.* — Здание под этим названием было построено в 1883 году в Токио, в районе Тиёда. В нем часто происходили балы, благотворительные базары и т. п., на которые допускались только японская знать и чины иностранных посольств.

*...нарядную улицу «кирпичных домов».* — Кирпичные дома европейского типа в 70-х годах XIX века в Токио были новинкой.

Стр. 232. *«Les orientales»* — Гюго, в русском переводе «Восточные мотивы» (1914).

*...мы смотрели пьесу о мятеже Симпурэн.* — Имеется в виду мятеж недовольных реформами, вспыхнувший 24 октября 1887 года в префектуре Кумамото и на другой же день подавленный.

*...после сцены, в которой Оно Тэппэй кончает жизнь самоубийством...* — Оно Тэппэй — роль, соответствующая личности Ода Курото (1835—1876), главе группы, поднявшей мятеж Симпурэн.

Стр. 233. *...из-за указа о запрещении носить мечи...* — Право ношения двух мечей принадлежало воинскому классу и дворянству. Закон, лишивший их этого права, вышел в марте 1876 года.

Стр. 234. *...предпринял поездку в Корею, в город Кэйдзё.* — Кэйдзё (в японском произношении) было официальным названием Сеула (Кйонсон — в корейском произношении).

*Ню* — статуи богов — охранителей Ню стоят по обе стороны входа в буддийские храмы.

*Хаги* — цветущий кустарник, леспедеца двухцветная, один из любимых образов японской поэзии.

*Басё (1644—1694)* — знаменитый поэт позднего средневековья, писал стихи в форме трехстиший.

*...идеальное место для «удивительной встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой».* — В 1885 году вышел политический роман Токая Санси под заглавием «Удивительная встреча прекрасной девушки», и это выражение стало модным.

Стр. 235. *...заказал художнику Годзэта Хобаю портрет жены.* — Имеется в виду знаменитый художник-портретист нового стиля Годзэта Хогё (1827—1892). Трудно сказать, изменил ли Акутага-

ва имя художника, сохранив фамилию, и это сознательный прием, или же просто ошибка его памяти.

Стр. 237. ...*за столом, освещенным керосинокалильной лампой.*— Керосиновая лампа, не говоря уже о керосинокалильной, в 70-е годы была в Японии европейской новинкой.

...*на пьесе «Одэн-но Кавабуми».*— Имеется в виду пьеса Каватакэ Мокуами, основой для сюжета которой послужила жизнь Такахаси Одэн, отравившей своего мужа и совершившей еще ряд преступлений, арестованной в 1876 году и в 1879 году казненной.

Стр. 238. ...*всеим своим видом напоминая ассистента на сцене.*— Так называется в спектаклях старинного жанра «но» участник, обязанность которого подавать актеру или принимать от него реквизит, поскольку это требуется по ходу действия. В известном смысле такой участник как бы опекает актера во время спектакля.

Стр. 238. *Садандзи* — знаменитая династия актеров классического японского театра Кабуки. Который по счету Садандзи, у автора не сказано.

Стр. 241. *Синъютэй Энгё.*— Имеется в виду знаменитый эстрадный рассказчик Санъютэй Энтё (1830—1900).

Стр. 244. *Хэ Шу-чжан* — посол Китая в Японии с 1876 до 1879 года.

*Ся и Чжоу* — древнейшие государства Китая.

...*уже приблизилась к знаменитой «сосне свиданий».*— Знаменитая сосна на берегу Сумидагами в районе Асакуса, где находился новый квартал Ёсивара, служившая приметным знаком для приплывавших сюда лодок.

## МАНДАРИНЫ

Стр. 249. ...*без признака масла...*— Японские прически требуют, чтобы волосы были смазаны особым маслом.

## СОМНЕНИЕ

Стр. 256. *Токонома* — ниша в стене, иногда с одной-двумя полочками, где висит картина, стоит ваза с цветами и т. п.; обязательная принадлежность комнаты.

...*на таинственном какэмоно с изображением «Ивовой Каннон»*...— Какэмоно — традиционная для японских и китайских художников форма картин, которые вешают на стену (картины писались и на свитках и на ширмах). Какэмоно имеет форму длинной продольной полосы шелка или бумаги, узкие края кото-

рой закреплены на костяных или деревянных палочках; вешается вертикально, хранится в свернутом виде. «Ивовая Каннон» — один из образов Каннон, буддийской богини милосердия, считающийся особо милосердным; Каннон склоняется к молящимся, как склоняет свои ветви ива, — отсюда ее название, — а потому изображается она с веткой ивы в руках.

Стр. 257. *На нем было приличное, хотя и без гербов, хаори и хакама...* — Вытканые гербы — принадлежность хаори как части официального костюма.

Стр. 259. *...в двадцать четвертом году Мэйдзи* — в 1891 году.

Стр. 264. *Хонгандзи* — храм буддийской секты Синсю.

## ДЗЮРИАНО КИТИСКЭ

См. общий комментарий к рассказу «Табак и дьявол».

Стр. 270. *Бэрэн* — Вифлеем (искаж. португ. Belem).

*Офурисодэ и каидори* — старинные костюмы японской знати.

Стр. 271. *...был приговорен к распятию.* — В XVII веке христианство каралось смертной казнью путем распятия так же, как в средние века казнили крестьянских повстанцев, так что сам этот способ не был связан с христианством как таковым.

*...как она рассказана в «Нагасаки-тёмонсю»* и т. д. — Все названия хроник автором вымышлены.

*...моего самого любимого святого глупца.* — Святой глупец — калька немецкого «Heiliges Narr». Выражение заимствовано из либретто к опере Вагнера «Парсифаль».

## КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ

Рассказ заимствован из «Ши-цзы» («Истории») Сыма Цяня (145—86 гг. до н. э.). Имя Бисэй (китайск. Ми-шэн) стало в Японии символом твердого исполнения обещания, а также простодушия, граничащего с глупостью.

## ЧУДЕСА МАГИИ

Стр. 275. *Мисра-кун, патриот, родом из Калькутты.* — Вымышленный персонаж из новеллы Танидзаки Дзюньитиро «Хассан-хан». Хассан-хан — главный герой этой новеллы, философ и маг, тоже вымышленный персонаж.

Стр. 281. *Ивасаки или Мицуи* — крупнейшие японские капиталисты.

## ЛУК

Стр. 284. *Дзимботё на Канда*. — Дзимботё — название улицы в районе Канда.

*Такэхиса Юмэдзи-кун* (1884—1934) — художник, в частности, книжный иллюстратор.

Стр. 285. *Нанивабуси* — жанр популярных песенок.

*Мицумамэ* — лакомство из гороха с имбирем.

Стр. 286. *«Кукушка»* — сентиментальный роман (1900) известного японского писателя Токутоми Рока, популярный в первые два десятилетия.

*Мацуи Сумако* — знаменитая в 10-е годы артистка, впервые исполнявшая в Японии такие роли в европейских пьесах, как Офелия, Нора (в драме Ибсена), Катюша (в инсценировке «Воскресения» Толстого). У нее был нашумевший в свое время роман с писателем Симамура Хогэцу, после смерти которого она в 1919 году покончила самоубийством. Ей было посвящено несколько книг, но книги с таким названием, какое дано в рассказе, не существует.

*«Новое Асагао-никки»* — одноактная пьеса (1912) известного японского драматурга Окамото Кидо. *«Асагао-никки»* — название средневековой пьесы.

*«Если посмотреть с высоты гор на долину»* — может быть, название популярной повести, а может быть, и вымышленное автором название.

...рисунок художника *Кабураги Киёката-куна «Женщина Гэнроку»*... — Художник Кабураги (род. в 1878 г.) в 10-е годы был известен преимущественно как иллюстратор.

*Китamura Сикай-кун* (1871—1927) — скульптор.

*«Симпа»* (буквально: «Новая школа») — название нового театра, противопоставившего себя традиционным жанрам японского театрального искусства, в частности, Кабуки, ставившего переводные европейские пьесы, инсценировки современных японских романов (в частности, «Кукушки»), а также европейских (например, «Воскресения»).

Стр. 287. ...*соболезнование госпоже Намико*. — Таэко и Намико — герой и героиня романа «Кукушка». Намико умирает от чахотки.

*Сё* — около 1,8 л.

*Дзуси* — известное курортное место в префектуре Канагава, место действия романа «Кукушка» и любовной сцены в инсценировке этого романа.

Стр. 287. *Кордова* — город в Испании, место действия «Кармен».

Стр. 288. *Сацумская бива* — старинный вид бива, четырехструнного щипкового инструмента.

Стр. 289. *...в районах Канда и Хонго...* — В этих районах расположены два университета, то есть это студенческие районы.

*Кабутоя и Санкайдо* — художественные галереи. Кабутоя помещается на Гиндза, 8 тёмэ, Санкайдо ликвидирована, была в районе Акасака.

*Сиваура* — в то время район на окраине Токио.

*Мицукоси* — название одного из крупнейших универсальных магазинов в Токио.

Стр. 290. *Мадемузель Мори Рицuko* — актриса театра Тэйгэки, то есть театра жанра «симпа».

*Подобно святой Женевьеве Шаванна...* — Сюи де Шаванн (1824—1898) — французский художник. «Святая Женевьева, охраняющая Париж» — его известная фреска в парижском Пантеоне.

*...под красным светом фонаря...* — Красный фонарь указывал место трамвайной остановки.

Стр. 292. *...голосом, каким поют песню Сасураи...* — Имеется в виду печальная песня, впервые исполненная со сцены в пьесе «Живой труп» Л. Н. Толстого в 1917 году и очень распространенная в последующие годы.

## ДУ ЦЗЫ-ЧУНЬ

Эта новелла Акутагава представляет собой переработку одноименной китайской новеллы Танского периода.

Стр. 294. *...в столице Танского государства.* — Танским государством здесь назван Китай в период Танской династии (618—907).

Стр. 295. *Сюань-цзун (713—756)* — китайский император.

*«Драконий глаз»* — плоды нефелия.

Стр. 298. *...я даос-отшельник...* — Даос — последователь даосизма, религиозно-философского учения, проповедующего отшельничество.

Стр. 301. *Дзё* — мера длины, равная 3,79 м.

Стр. 302. *Царь Яньло* (по-китайски), Эмма (по-японски), Яма раджа (на санскрите) — владыка ада, судящий грешников.

## ОСЕНЬ

Стр. 310. *Кансай* — юго-западная часть Хонсю, главного из островов, образующих Японию. Осака расположен в Кансай, Токио — в восточной части Хонсю, так называемом Канто.

Стр. 312. *...применял, как Миямото Мусаси, два меча...* — Миямото Мусаси — знаменитый фехтовальщик XVII века, основатель школы фехтования двумя мечами.

*Яманотэ* — район в Токио, где живут преимущественно состоятельные люди.

Стр. 314. *Кото* — струнный музыкальный инструмент типа цитры, на котором главным образом играют женщины, в древнее время распространенный среди аристократии, в XX веке — и в буржуазных семьях.

Стр. 316. *Реми де Гурмон* (1858—1915) — французский писатель, автор философских очерков, критических статей, биологических этюдов и историко-литературных работ.

*Вот она, тринадцатая ночь!* — Подразумевается ночь на 14-е число девятого месяца по лунному календарю, славящаяся особенно красивым полнолунием.

## МАДОННА В ЧЕРНОМ

Стр. 322. *...годы Казэй, когда «черные корабли» наводили страх на гавань Урага.* — Годы Казэй — 1848—1854. В 1853 году американские корабли под командованием коммодора Перри вошли в бухту Урага (близ Йокосука). Наведя орудия на город, Перри потребовал свободного доступа в страну.

Стр. 323. *...склонившись стриженной головой.* — В старину пожилые женщины-вдовы стригли волосы в знак благочестия.

## РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ МЕСТИ

Стр. 326. *Коку* — 180 л. Самураи получали жалованье натурой, рисом; коку риса весит около 150 кг.

Стр. 328. *Сукэатаги* (буквально: «вспомогательный меч») — официальная должность, вроде оруженосца.

*...договор во всем быть вместе...* — В Японии издавна существовал обычай (отчасти сохранившийся до XX в.), состоявший в том, что друзья и влюбленные записывали клятву в дружбе или любви на листе бумаги дважды, на правой и левой стороне

листа, а посредине ставили личную печать, и лист разрезался пополам, так что каждый получал и хранил клятву с половиной печати.

Стр. 329. *Амигаса* — большая плетеная шляпа в виде низкого конуса; ее носили крестьяне, бродячие торговцы, мастеровые и т. п.

Стр. 331. *Хатамото* — вассалы непосредственно сёгуна.

Стр. 334. *Тасуки* — тесемки, которыми подвязывают широкие рукава японской одежды, чтобы они не мешали движениям рук.

*Хасэбэ Норинага* — известный оружейник школы Сагами, ученик Масамунэ.

*Рай Кумитоси* — знаменитый оружейник XIII века.

Стр. 334. *Мон* — мелкая денежная единица.

Стр. 337. «*Великий бодисатва Хатиман!*» — Хатиман в синтоизме — бог войны, в буддизме — бодисатва. Бодисатва — категория божеств буддийского пантеона, предшествующая буддам.

#### СУСАНОО-НО-МИКОТО НА СКЛОНЕ ЛЕТ

Стр. 340. *Победив змея из Коси, Сусаноо-но-микото взял себе в жены Кусинада-химэ...* — Сусаноо — один из главных богов синтоистского пантеона. Победа над гигантским змеем и спасение при этом девушки Кусинада — его главный подвиг. Микото — почтительная приставка к имени божества, химэ — приставка к имени женщины знатного происхождения.

...в стране *Такамагахара*. — По синтоистской мифологии местопребывание божеств, синтоистский Олимп.

Стр. 343. *Муку* — *Arphanante aspera* Planch, дерево из семейства вязовых, русского перевода не существует.

Стр. 344. *Сугадатами* — плотные циновки, сплетенные из осоки.

Стр. 348. *Прически мидзура* — древние мужские прически, длинные волосы разделялись пробором и перехватывались тесемками у ушей с подхватыванием концов, так что перед ушами свешивалась петля волос.

#### НАНКИНСКИЙ ХРИСТОС

Стр. 357. *Остатки пилюль «гунланьвань»* — пилюли с ртутью против сифилиса.

«*Цзялуми*» — мазь с каломелью против сифилиса.

## ПОДКИДЫШ

Стр. 367. ...ветки иллиция...— *Illicium religiosum* Sieb. et Zucc, иллиций священный, дерево, ветки которого, особенно в пору цветения, применяются в буддийских храмах и на кладбищах.

Стр. 368. ...со времени революции не ступала нога женщины.— Имеется в виду революция 1867—1868 годов. До 1868 года женщины в буддийский храм допускались.

## БОГ АГНИ

Стр. 373. *Бог Агни* — ведический бог огня.

## ВАЛЬДШНЕП

Канва рассказа «Вальдшнеп» заимствована из эпизода, рассказанного в «Моих воспоминаниях» И. Л. Толстого. Вот как он изложен там (см. в изд. 1933, стр. 131—132).

«Мы пошли всей компанией, то есть папа, мама и мы, дети, за Воронку.

Папа поставил Тургенева на лучшее место, а сам стал шагах в полтораста от него на другом конце той же поляны.

Мама стояла с Тургеньевым, а мы, дети, недалеко от них развели костер.

Папа стрелял несколько раз и убил двух вальдшнепов, а Ивану Сергеевичу не везло, и он все время завидовал счастью отца.

Наконец, когда стало уже темно, на Тургенева налетел вальдшнеп, и он выстрелил.

— Убили? — крикнул отец с своего места.

— Камнем упал,— пришлите собаку поднять,— ответил Иван Сергеевич.

Папа послал нас с собакой, Тургеньев указал нам, где искать вальдшнепа, но как мы ни искали, как ни искала собака, вальдшнепа не было.

Наконец подошел Тургеньев, пришел папа,— вальдшнепа нет.

— Может быть, подранили, мог убежать,— говорил папа, удивляясь,— не может быть, чтобы собака не нашла, она не может не найти убитую птицу.

— Да нет же, Лев Николаевич, я видел ясно, говорю вам, камнем упал, не раненый, а убитый наповал, я знаю разницу.

— Но почему же собака его не находит? Не может быть, что-нибудь не то.



— Не знаю, но только скажу вам, что я не лгу, камнем упал,— настаивал Тургенев.

Так вальдшнепа и не нашли, и остался какой-то неприятный осадок, как будто кто-то из двух не совсем прав. Или Тургенев, говоря, что он убил вальдшнепа, или папа, утверждая, что собака не может не найти убитой птицы.

И это случилось как раз тогда, когда обоим им так хотелось избежать всяких недоразумений.

Ведь для этого они даже избегали серьезных разговоров и приводили время только в приятных развлечениях...

Вечером, прощаясь с нами, папа тихонько шепнул нам, чтобы мы утром, пораньше пошли опять на это место и искали бы хорошенько.

И что же оказалось?

Вальдшнеп, падая, застрял в развилке, на самой макушке осины, и мы насилу его оттуда вышибли.

Оба они оказались правы, и все кончилось к обоюдному удовольствию.

«Мои воспоминания» были переведены на японский язык с текста, печатавшегося в 1913 году в газете «Русское слово», и вышли под названием «Ю-но митару тити Торустой» в Токио, изд. Синтёся, в 1914 г., раньше, чем они вышли отдельным изданием в России<sup>1</sup>. Из этого и других имеющихся на японском языке источников (они указаны ниже) заимствованы и отдельные детали рассказа. Психологическая разработка, разумеется, принадлежит автору; в связи с ней сделаны некоторые симптоматические отступления от рассказа в мемуарах И. Л. Толстого. О сложности отношения Акутагава к личности Л. Н. Толстого говорит и такая его заметка: «Если прочесть биографию Толстого, написанную Бирюковым, то ясно, что «Исповедь» и «В чем моя вера» были ложью. Но ничье сердце не страдало так, как сердце Толстого, ее рассказывающего. Его ложь сочтется алой кровью куда больше, чем правда иных» («Слова пигмея», «Толстой»).

Стр. 383. ...сказал именно «откусить». — См. «Мои воспоминания» И. Л. Толстого, стр. 29.

...они не позволяют мне их целовать. — См. П. Бирюков, «Л. Н. Толстой. Биография», т. II, 1908, стр. 275.

Стр. 386. ...которая обычно служила Толстому кабинетом. — См. «Мои воспоминания», стр. 132.

<sup>1</sup> Сведения об издании мемуаров И. Л. Толстого в Японии были по моей просьбе любезно сообщены мне специалистом по русской литературе К. Наруми, за что приношу ему благодарность.

...на стене голова оленя...— См. там же, стр. 41—42.

Стр. 387. *Если будет время, прочитайте.*— Сухотина-Толстая пишет: «Тургенев много говорил о Мопассане... Он первый указал на него моему отцу, когда Мопассан был еще начинающим молодым писателем. Он дал отцу роман Мопассана «La maison Tellier» и посоветовал отцу прочесть его. Но на отца эта книга не произвела впечатления» (Сухотина-Толстая, «Друзья и гости Ясной поляны», по изд. 1923 г., стр. 14).

Стр. 388. *Это был Гаршин.*— Речь идет о посещении Гаршина в марте 1880 года, когда у него уже начиналась психическая болезнь (см. «Мои воспоминания», стр. 135).

...во всем, что делают другие, подозревает фальшь.— Бирюков приводит цитату из воспоминаний о Тургеневе Евгения Гаршина: «У Толстого, рассказывал Тургенев, рано сказалась черта, которая затем легла в основание всего его довольно мрачного мирозерцания, мучительного прежде всего для него самого. Он никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью...» (Бирюков, «Л. Н. Толстой. Биография», т. I, 1906, стр. 276).

## КОНЧИНА ПРАВЕДНИКА

Стр. 397. *Суци* — колочки из вареного риса, сдобренного уксусом и солью, с рыбной или овощной начинкой.

Стр. 398. *Тэнгу* — персонаж японских сказок, который часто совершает злые проделки.

## В ЧАЩЕ

Стр. 402. *Тё* — мера длины, равная 109 м.

Стр. 403. *В часы первой стражи* — в восемь часов вечера.

...за храмом Акиторибэ, посвященным Биндзуру...— Японские храмы, как буддийские, так и синтоистские, обычно посвящены какому-нибудь одному божеству или святому. Биндзуру (с а н с к р. Pindola) — первый из шестнадцати архатов, то есть учеников Будды.

Стр. 404. ...ее лицо показалось мне ликом бодисатвы.— «Образ бодисатвы» здесь соответствует нашему «ангельский лик».

Стр. 405. ...нашел там много зеркал и мечей.— Зеркала в древности были металлические, обычно бронзовые.

## ГЕНЕРАЛ

Генерал Ноги принадлежит к числу тех деятелей новой Японии, имена которых особенно охотно использовались для националистической пропаганды. Один из крупнейших японских полководцев, он выступил на авансцену в решающий момент развития японского империализма. Участие в японо-китайской войне дало ему чин генерал-лейтенанта и баронский титул. Но славу принесло ему взятие Порт-Артура в японо-русскую войну. Ноги, уже в чине полного генерала, состоял в должности командующего 3-й армией, сформированной специально для взятия Порт-Артура, и руководил жесточайшими штурмами, стоившими японцам огромных потерь. Порт-Артур был взят 1 января 1905 года. Эта решающая для исхода войны победа дала генералу Ноги графский титул и звание члена Высшего военного совета.

Однако не только военные успехи сделали из генерала Ноги популярнейшую фигуру националистической пропаганды. Не меньшую популярность создало ему то, что его можно было называть «образцом древнего воина, живым воплощением бусидо». Воспитанный в духе традиций кодекса феодальной воинской чести (он родился в 1848 г.), генерал Ноги подчеркнуто воплощал эти традиции в жизнь. Особенно прославляется как проявление бусидо его смерть. После кончины императора Мэйдзи, последовавшей в июле 1912 года, он, как говорят официальные биографы, «впал в безысходную тоску» и в конце концов совершил самоубийство. Это самоубийство явилось величайшим актом феодальной верности, требовавшей «смерти вслед за господином». В день похорон императора, 13 сентября, за несколько часов до смерти, он в полной форме, при всех орденах сфотографировался и затем при звуке выстрела, оповещавшего о выезде катафалка с прахом императора, совершил у себя дома харакири. Одновременно, следуя феодальному принципу верности мужу, покончила с собой его жена.

Самоубийство Ноги доставило ему, пожалуй, большую славу, чем вся его жизнь. В 1916 году Ноги посмертно был возведен в звание особы второго ранга. Дом, где он покончил с собой, был превращен в храм, посвященный его духу, — это так называемый Ноги-дзиндзя.

В рассказе «Генерал» имеется ряд купюр во всех изданиях этого рассказа, в том числе и послевоенных, сделанных в оригинале японской цензурой. Некоторые из пропусков восстановлены (на что указывают в переводе квадратные скобки) в книге Вада Сигэджиро «Акутагава Рюноскэ», Осака, 1956; другие пред-

положительно в издании Собрание сочинений Акутагава, 1958 (т. II, стр. 403—406).

Акутагава по поводу этих купюр писал: «В моем рассказе «Генерал» власти вычеркнули ряд строк. Однако, как видно из нынешних газет, живущие в нужде инвалиды войны ходят по улицам Токио с плакатами вроде таких: «Мы обмануты нашими командирами, мы — подножка для их превосходительств», «Нам жестоко лгут, призывая не вспоминать старое» и т. п. Вычеркнуть самих инвалидов как таковых и властям не под силу» («Заметки Тёкодо», II).

Стр. 416. ...*каны разливали легкую теплоту.*— Каны — система отопления, принятая в Китае и в Корее и состоящая в том, что снизу обогреваются пол и лежанки.

Стр. 422. ...*хозяин в фундоси принялся бороться со служанкой, на которой была набедренная повязка.*— Фундоси — мужская набедренная повязка типа плавок. Надо учесть, что в японском театре женские роли традиционно исполняют мужчины.

Стр. 425. *Акагаки Гэндзо* — один из сорока семи самураев (см. вводное примечание к рассказу «Онси Кураноскэ в один из своих дней»). Для театра Кабуки была написана и пьеса о нем.

*Токури-но вакарэ* — расставание за бутылочкой сакэ (токури — бутылка особой формы, узкая и высокая).

Стр. 426. ...*князя Мито и Като Киёмаса.*— Токугава Мицукуни, князь Мито — один из феодалов-политиков XIX века, прославляемый националистической литературой как образец просвещенного и гуманного правителя и борца за национальные идеалы. Като Киёмаса — феодал конца XVI века, прославляемый как образец феодальной верности господину, храбрости и простоты.

*«Ecoute moi, Madeleine»* — из стихотворения «Мадлен» («Madeleine») в сборнике «Оды и баллады» («Odes et Ballades») Гюго.

*Седьмой год тайсё* — 1918 год.

## СОДЕРЖАНИЕ

### НОВЕЛЛЫ

|  |     |
|--|-----|
| <i>Н. Фельдман. Предисловие</i> . . . . .  | 5   |
| Ворота Расёмон. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                 | 25  |
| Маска хёттоко. <i>Перевод Л. Ермаковой</i> . . . . .                                 | 32  |
| Нос. <i>Перевод А. Стругацкого</i> . . . . .   | 39  |
| Бататовая каша. <i>Перевод А. Стругацкого</i> . . . . .                              | 47  |
| Обезьяна. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                       | 65  |
| Носовой платок. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                 | 72  |
| Табак и дьявол. <i>Перевод В. Синовича</i> . . . . .                                 | 81  |
| Mensura Zoili. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                  | 89  |
| Счастье. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .  | 95  |
| Показания Огата Рёсай. <i>Перевод И. Львовой</i> . . . . .                           | 103 |
| Оиси Кураноскэ в один из своих дней.<br><i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .         | 109 |
| Рассказ о том, как отвалилась голова. <i>Перевод</i><br><i>Н. Фельдман</i> . . . . . | 120 |
| Кэса и Морито. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                  | 129 |
| Паутинка. <i>Перевод В. Марковой</i> . . . . .                                       | 137 |
| Муки ада. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                       | 141 |
| Убийство в век «Просвещения». <i>Перевод</i><br><i>Б. Раскина</i> . . . . .          | 170 |
| Смерть христианина. <i>Перевод А. Рябкина</i> . . . . .                              | 182 |
| Учитель Мори. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                   | 193 |
| О себе в те годы. <i>Перевод Б. Раскина</i> . . . . .                                | 207 |
| Просвещенный супруг. <i>Перевод Б. Раскина</i> . . . . .                             | 228 |
| Мандарины. <i>Перевод Н. Фельдман</i> . . . . .                                      | 248 |

|  |     |
|--|-----|
| Трясина. Перевод В. Сановича . . . . .                           | 252 |
| Сомнение. Перевод Н. Фельдман . . . . .                          | 255 |
| Дзюриано Китискэ. Перевод Н. Фельдман . . . . .                  | 269 |
| Как верил Бисэй. Перевод Н. Фельдман . . . . .                   | 272 |
| Чудеса магии. Перевод В. Марковой . . . . .                      | 275 |
| Лук. Перевод И. Головнина . . . . .                              | 284 |
| Ду Цзы-чунь. Перевод В. Марковой . . . . .                       | 294 |
| Осень. Перевод Н. Фельдман . . . . .                             | 306 |
| Мадонна в черном. Перевод И. Львовой . . . . .                   | 320 |
| Рассказ об одной мести. Перевод Н. Фельдман . . . . .            | 326 |
| Сусаноо-но-микото на склоне лет. Перевод<br>И. Вардуля . . . . . | 340 |
| Нанкинский Христос. Перевод Н. Фельдман . . . . .                | 355 |
| Подкидыш. Перевод Н. Фельдман . . . . .                          | 367 |
| Бог Агни. Перевод И. Головнина . . . . .                         | 373 |
| Вальдшнеп. Перевод Н. Фельдман . . . . .                         | 382 |
| Странная история. Перевод Н. Фельдман . . . . .                  | 391 |
| Кончина праведника. Перевод И. Львовой . . . . .                 | 397 |
| В чаше. Перевод Н. Фельдман . . . . .                            | 402 |
| Генерал. Перевод Н. Фельдман . . . . .                           | 411 |
| Комментарии Н. Фельдман . . . . .                                | 433 |





**АКУТАГАВА РЮНОСКЭ**  
**ИЗБРАННОЕ**  
**Том I**

**Редактор С. Хохлова**  
**Художественный редактор**  
**Ю. Воярский**  
**Технический редактор**  
**Л. Платонова**  
**Корректоры Р. Андрианова и Г. Суриц**

**Сдано в набор 16/IV 1969 г.**  
**Подписано к печати 14/IV 1970 г.**  
**Бумага № 1. Форм. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—14,5 печ. л.**  
**24,36 усл. печ. л. 23,603 уч.-изд. л.**  
**Заказ № 2425. Тираж 50 000 экз.**  
**Цена 90 коп.**

**Издательство «Художественная литература»**  
**Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19**

**Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».**  
**Москва, Краснопролетарская, 16.**